

**Фридрих Даниель  
ШЛЕЙЕРМАХЕР**

**Речи о религии к  
образованным людям её  
презирающим.  
Монологи**

Памятники религиозно-философской мысли Нового времени.

Западная религиозная философия

**Шлейермахер Ф.**

**Речи о религии к образованным людям ее презирающим. Монологи.** Пер. с нем. и пред. С.Л.Франка/СПб.: АО «АЛЕТЕЙЯ».1994-432с.

Личность и воззрения Шлейермахера мало известны у нас. Настоящая книга знакомит читателя с одной из крупнейших фигур того немецкого духовного движения конца XVIII и начала XIX века, которое зовется "романтической школой". И - что, быть может, самое замечательное - Фридрих Шлейермахер был, кажется единственным мыслителем этой эпохи, идеи которого непрерывно влияли и продолжают доселе влиять на немецкую мысль.

ISBN: 5-87983-015-2

## **Содержание**

С. Л. Франк. Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера

I

II

III

IV

С. Л. Франк. Предисловие переводчика

Указатель содержания «Речей о религии»

Указатель содержания «Монологов»

РЕЧИ О РЕЛИГИИ К ОБРАЗОВАННЫМ ЛЮДЯМ ЕЕ ПРЕЗИРАЮЩИМ

Предисловие автора к третьему изданию

ПЕРВАЯ РЕЧЬ Самооправдание

ВТОРАЯ РЕЧЬ О сущности религии

ТРЕТЬЯ РЕЧЬ О религиозном воспитании

ЧЕТВЕРТАЯ РЕЧЬ Об общественном начале в религии или о церкви и священстве

ПЯТАЯ РЕЧЬ О религиях

Послесловие

ПОЯСНЕНИЯ К «РЕЧАМ О РЕЛИГИИ»

Пояснения к первой речи

Пояснения ко второй речи

Пояснения к третьей речи

Пояснения к четвертой речи

Пояснения к пятой речи

Пояснения к послесловию

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА ко второму изданию

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА к третьему изданию

## МОНОЛОГИ

### Обращение

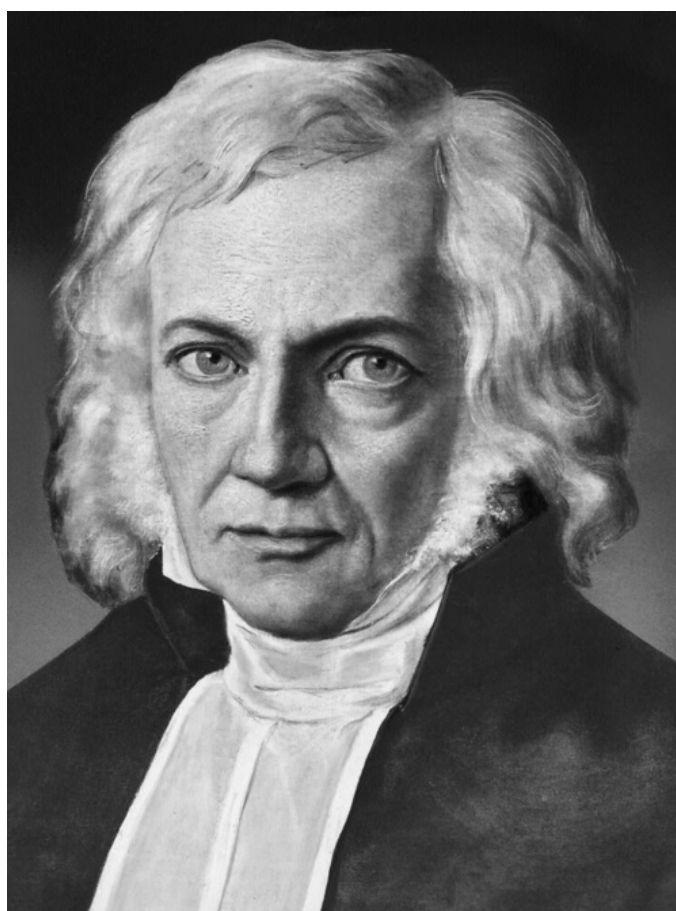
#### 1. Размышление

#### 2. Испытания

#### 3. Мирозерцание

#### 4. Горизонты

#### 5. Юность и старость



**С. Л. Франк.**

### **Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера I.**

Личность и воззрения Шлейермахера мало известны у нас. А между тем он был одной из крупнейших фигур того немецкого духовного движения конца XVIII и начала XIX века, которое зовется «романтической школой». И — что, быть может, самое замечательное — он был, кажется, единственным мыслителем этой эпохи, идеи которого непрерывно влияли и продолжают

доселе влиять на немецкую мысль. Многие единомышленники и соратники Шлейермахера сохранили для нас лишь исторический интерес, наприм., Фридрих Шлегель; другие, как Фихте и Шеллинг, только теперь начинают возрождаться из несправедливого забвения; романтические поэты, за единственным исключением гениального юноши Новалиса, также не могут оказывать сколько-нибудь сильного влияния на современные души. От одного только Шлейермахера идет в Германии непрерывная нить традиции и духовного воздействия вплоть до наших дней. Конечно, суждение даже целого столетия не есть еще окончательный «приговор истории»; но оно, по меньшей мере, свидетельствует, что идеи Шлейермахера обладают исключительной жизнеспособностью и что они были менее всего подчинены узким местным и временным влияниям. Можно также сказать, что оно свидетельствует о некотором здоровом реализме и жизненной широте его воззрений, ибо все фантастическое, субъективное и вычурное не может сохраниться в смене даже немногих поколений. Шлейермахер живет доселе в немецкой научной мысли: его религиозно-философские воззрения образуют основу и исходную точку всего немецкого протестантского богословия, и его историко-философские изыскания, наряду с «Историей философии» Гегеля, также положили начало всей немецкой истории философии. Что касается его этических взглядов, сущность которых выражена в «Монологах», то, по крайней мере, относительно 60-х годов XIX века, немецкий идеализм и романтическое мировоззрение были более всего забыты и презрены в Германии, биограф Шлейермахера говорит: «Среди всех моральных сочинений современных мыслителей только „Монологи“ действуют доселе на широкие круги. Где они встречаются более глубоким натурам в решающие годы развития, они почти всегда оказывают определяющее влияние. Каждый внимательный наблюдатель знает немало число людей, которые обязаны именно „Монологам“ толчком к более сознательной и высокой нравственной жизни»<sup>1</sup>. С того времени это влияние, несомненно, скорее возросло, чем понизилось.

Но, конечно, главное значение Шлейермахера тесно связано со всем тем кругом идей и настроений, которые волновали немецкую мысль в эпоху романтизма, и может быть правильно оценено лишь на фоне того, что есть объективно верного в этом движении, или что, по меньшей мере, сохраняет силу для нашего времени. «Речи о религии» Шлейермахера являются одной из высших вершин этого замечательного движения мысли, и их значение для той эпохи — а, следовательно, косвенно для исторического развития идей вообще — начинает в полной мере уясняться только теперь. Правда, Шлейермахер сам испытал на себе влияние Канта, Фихте, Шеллинга (не считая более ранних мыслителей, главным образом, возрожденного трудами Якоби Спинозы). Но своеобразный синтез этих идей и их слияние в религиозно-философское мировоззрение есть самостоятельное деяние Шлейермахера, в котором впервые, за исключением более ранних натурфилософских сочинении Шеллинга, был совершен переход от

интеллектуалистического идеализма Канта и Фихте к религиозному реализму. Шеллинг, который вначале встретил «Речи о религии» отрицательно и в известном стихотворном «Эпикурейском исповедании» противопоставил религиозному мировоззрению Шлейермахера жизнерадостную любовь к природе, как основной мотив своей натурфилософии, вскоре затем признал себя повинным в «непростительной небрежности» и объявил «Речи о религии» «прекраснейшим выражением, или скорее даже образом вселенной», а их автора — великим и вдохновенным мыслителем<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *W. Ditthey: «Leben Schleiermachers»*. В. I. Berlin, 1870. Стр. 450. Эта книга замечательного, еще недостаточно оцененного берлинского мыслителя есть не только лучшее обстоятельное жизнеописание Шлейермахера (к сожалению, не доведенное до конца), но, кажется, и лучшая по глубине и богатству идей история немецкой романтики и всего немецкого умственного движения конца XVIII и начала XIX в. Из сочинений, имеющих на русском языке, укажем на (гораздо более слабую) книгу *Гайма: «Романтическая школа»* (М., 1891 г.), одна глава которой посвящена специально Шлейермахеру.

«Речи о религии», несомненно, предвосхитили одну их самых глубоких, тогда еще не высказанных основ шеллинговой философии — новое, реалистическое понимание «интеллектуального созерцания». Еще более решающее влияние оказали «Речи» на Гегеля. Правда, это влияние было скрытым, и если не считать мимоходом высказанного одобрения в первом сочинении Гегеля «О различии между философскими системами Фихте и Шеллинга», где он признает в «Речах» «влечение лучшего духа согласовать разум с природой и избавить природу от насилий, творимых над нею системами Канта и Фихте», то значение Шлейермахера для мировоззрения Гегеля внешним образом нигде не видно из произведений последнего, а его позднейшая резкая оценка богословского учения Шлейермахера<sup>2</sup> свидетельствует о глубоком антагонизме между этими двумя умами. Однако в отношении Гегеля к Шлейермахеру сказывается лишь его общая неблагодарность к романтическому мировоззрению, из которого родилась его система. И в настоящее время, благодаря работе Дильтея о юношеском развитии Гегеля и опубликованным по его почину ранним работам Гегеля<sup>3</sup>, мы знаем, что основная идея гегелевской философии — идея объективного духа, или соборного сознания, как носителя исторического развития, возникла из религиозно-исторических размышлений, на которые непосредственно натолкнули Гегеля «Речи о религии» Шлейермахера. Наряду с этими философскими влияниями «Речей» надлежит отметить их могущественное действие на религиозную поэзию Новалиса и на замыслы его философских романов.

Но место Шлейермахера в этом духовном движении определяется еще и иначе. Если исключить Гете, который в стороне от этого брожения мыслей и чувств или, вернее, над ним, и с высоты своего гармонически-целостного умонастроения спокойно учитывал как сильные и плодотворные, так и слабые и незрелые стороны в идейном мятеже романтизма, — то Шлейермахера придется признать единственным трезвым в среде опьяненных. Он один умерял порожденную действием его же собственных воззрений фантастическую мечту о слиянии поэзии с наукой в единое религиозное знание, незрелые замыслы поэтического мифотворчества и всякого рода упования на возрождение религии литературными средствами.

<sup>1</sup> *Dilthey*, стр. 440 и ел.

В предисловии к «Философии религии» Hinrichs'a, где Гегель и если религия состоит в чувстве, и притом в «чувстве зависимости», «то имам счв лучший христианин». Ср. «Briefe von und an Hegel», 1887, Th. 2, стр. 66.

<sup>3</sup> *Dilthey*: «Jugendgeschichte Hegels. Abhandl. der Preuss. Akademie der Wissenschaften», 1905. *H. Nohl*- «Hegels theologische Jugendschriften». Tübingen, 1907. Ср.

*Dilthey*: «Aufbau der geschichtlichen Welt In den Geisteswissenschaften». Berlin, 1910. Стр. 24

Уяснив единство научного и поэтического созерцания с мистическим сознанием в их исходных точках, он отчетливо отметил ненарушимые грани между этими духовными сферами в их дальнейшем самостоятельном развитии. Он хорошо понимал религиозную слабость «фантастических натур», которым, говоря словами его «Речей», «недостает силы проникновения вовнутрь, способности овладеть существенным» и которые «привыкли останавливаться на призрачном, и потому вместо здоровой и сильной жизни имеют лишь рассеянные и беглые душевные движения»; он понимал также односторонность замкнутого, обращенного лишь вовнутрь субъективизма, в котором «высшее чувство неразвито и скудно» и «истинное внутреннее общение с миром болезненно и ограничено». Он ставил себе задачу, с одной стороны, показать безграничную широту и здоровую жизненную насыщенность религиозного сознания, не мирящуюся ни с какой сектантской узостью и болезненной усеченностью духовного бытия, и с другой стороны — уяснить самобытную природу религии, не допускающую смутного, бесформенного отождествления ее с метафизикой, моралью или поэзией. Он сознавал, что религия, будучи сама по себе верховным и абсолютным началом духовной жизни, должна быть вместе с тем все же понята, как *одна из функций* духа, не стесняющая остальных его отправлений и не сливающаяся с ними; эту трудную проблему иерархии духовных сфер, органической неразрывности и вместе дифференцированное™ функций

духовной жизни он, по крайней мере, ясно постигал и пытался разрешить, тогда как окружавшая его идейная среда порождала либо явления духовной бесформенности — всякого рода фальсификацию религии или игру в религию, будь то «естественная религия» просветительства или поэтическая религия романтиков, — либо же явления духовного деспотизма религии в форме сектантского догматизма и фанатического изуверства. В Шлейермахере более зрелое человеческое сознание XIX в., преодолевшее рационализма XVIII века и вместе с тем насыщенное духовным наследием всей новой европейской культуры, как бы опознало свое религиозное содержание. Он сумел найти слова для невыразимого, вскрыть тайну религиозного чувства и утвердить для него место среди сложных и, по-видимому, враждебных ему элементов нового жизнепонимания.

Это историческое значение Шлейермахера есть вместе с тем и его современное значение. Мыслящему наблюдателю современных духовных течений бросается в глаза их поразительное сходство с умственным движением начала XIX века. Конечно, в истории ничто не повторяется, и наряду со сходством можно отметить существенные черты различия. Уже научное и, главным образом, историческое значение, накопленное XIX веком, определяет важную разницу между нашим временем и началом прошлого столетия. Материал мысли расширился и утончился во всех направлениях, опыт бесконечно возрос, и соответственно этому всякого рода надежды и замыслы должны считаться с большими трудностями, и вместе с юношеской наивностью теряют и смелость юношеского размаха. Но главные, господствующие ныне мотивы все же в основных своих чертах повторяют мотивы начала XIX века: глубокое разочарование во всех формах рационализма, перенесение центра тяжести интереса с внешней стороны жизни на внутреннюю, мечты о возрождении утраченной органической целостности духовного бытия. Философское движение нашего времени, начав с рецепции мировоззрения Канта, уже возродило в новой форме философские идеи Фихте и Якоби и неизбежно наталкивается на проблемы Шеллинга и Гегеля. Социологическая мысль, среди крушения социализма, посвящена той же критике социального рационализма, которая лежит в основе философско-исторического мировоззрения Берка и Бональда, Гегеля и исторической школы. Что все современное искусство стоит под знаком романтического бунта и разделяет и его сильные, и его слабые стороны — это не требует особых пояснений. Достаточно известно также, что это брожение идей снова поставило на очередь проблему религии. Можно указать даже на книгу, которая почти ровно через 100 лет после «Речей о религии» Шлейермахера выдвинула и осветила вопрос о природе и правах религиозного сознания, и для нашего времени имеет приблизительно тоже значение, что книга Шлейермахера — для той эпохи: это — «Многообразие религиозного опыта» Джемса<sup>1</sup>; основные идеи этой книги почти совершенно совпадают с идеями Шлейермахера, и можно, не умаляя ценности этой книги, с полным основанием сказать, что Джемс только снова нашел для

современных людей ту Америку, которая за 100 лет до него была открыта и в некоторых отношениях гораздо точнее описана Шлейермахером.

## II.

Фридрих Даниель Шлейермахер родился в 1768 г. в Бреславле. Его отец и оба деда были пасторами, и в особенности его дед со стороны отца, Даниель Шлейермахер, был даровитой и страстной религиозной натурой, жизнь которой протекла в бурных религиозных увлечениях и разочарованиях.

<sup>1</sup> См. нашу статью о ней: «Философия религии В. Джемса», *Русская Мысль*, 1910 г., № 2.

В 1783 году, на пятнадцатом году, Шлейермахер поступил в гимназию гернгутерской «братской общины» в Ниски (в Силезии, около Герлица) и через два года перешел в гернгутерский богословский семинарий в Барби. Гернгутерские «братские общины» распространились в Германии в первой половине XVIII века усилиями графа Цинцендорфа и представляли как бы церковные организации пиетизма. Центром их религиозного настроения была идея греховности и искупления, и в своих воспитательных учреждениях они сумели сделать эту идею личным опытом каждого члена, заставляя переживать ее ежедневно и ежечасно. Характерная черта религиозности гернгутеров состояла в том, что религия не была в их жизни обособленным началом, а пропитывала и определяла всю их семейную и общинную жизнь, все условия быта и деятельности. Когда Шлейермахер поступил в гернгутерскую школу, пиетизм вне братских общин находился уже в упадке, отчасти потеряв внутреннюю духовную силу, отчасти побежденный просветительским богословием школы Вольфа. Но тем строже ограждался аскетический религиозный дух в школах гернгутеров от соприкосновения с новой наукой и философией, со всяким веянием нового мировоззрения. Новые мысли проникали в богословский семинарий Барби контрабандой, наставники умели только насильственно подавлять, а не внутренне разрешать религиозные сомнения юношей; и одни за другим лучшие воспитанники семинария уходили из него в университеты. Покинул его и Шлейермахер после тяжкого религиозного кризиса и, несмотря на увещания и угрозы отца, перешел в галльский университет.

Этот юношеский кризис не нарушил, однако, в Шлейермахере преемственности религиозного развития. Религиозность была не только привита ему средой, воспринята в детских и отроческих впечатлениях; она лежала у него в крови, как органическая сила, унаследованная от предков. Он сам говорит о себе в «Речах о религии»: «Благочестие было материнским телом, в святой тьме которого питалась моя юная жизнь и готовилась еще к скрытому от нее миру; в нем дышал мой дух, пока он еще не нашел соответствующей себе сферы в науке и жизненном опыте; оно помогало мне,



когда я начал проверять веру отцов и очищать мысли и чувства от мусора прошедших времен; оно осталось у меня, даже когда Бог и бессмертие поры детства исчезли перед моим сомневающимся взором». Правда, это «благочестие» в течение долгого, десятилетнего периода ученичества и скитаний — от поступления в галльский университет, весной 1787 года, до начала берлинской жизни, осенью 1796 года—находилось как бы в скрытом состоянии. На мировоззрение Шлейермахера оказывает влияние сперва философия немецкого просветительства, представителем которой в Галле был известный противник Канта Эбергард, и вскоре затем философия Канта, которая навсегда осталась одним из элементов жизнепонимания Шлейермахера. Философские и моральные интересы занимают его ум и в студенческую пору, и в следующие за ней годы, проведенные им в роли домашнего учителя в семье графа Дона, и затем на месте проповедника в маленьком городке Ландсберг, недалеко от Франкфурта-на-Одере. Опубликованные Дильтеем «Памятники внутреннего развития Шлейермахера»<sup>1</sup> показывают, с какой независимостью юный мыслитель относился ко всем действовавшим на него идейным течениям. Мы не можем найти в его развитии какую-либо систему, которая оказала бы на него такое внезапное и решающее влияние, какое воспринял, напр., Спиноза от Декарта или Фихте от Канта. Он медленно и упорно трудился над усвоением философии Канта, но вместе с тем сразу же отнесся критически к слабым ее пунктам, обнаружив противоречия в учении Канта о «вещах в себе» и о свободе воли и не найдя удовлетворения в моральной и религиозно-философской стороне доктрин Канта. Существенное влияние оказали на него и сочинения Якоби, но и к ним он сразу же обнаружил независимое и критическое настроение. Ознакомившись через Якоби с системой Спинозы (сочинения Спинозы были тогда еще недоступны в Германии), он с присущей ему историко-философской интуицией понял их гораздо вернее и глубже, чем Якоби; мировоззрение Спинозы во многих отношениях привлекло его, но и здесь он подметил слабый пункт в вопросе об отношении бесконечного к конечному и индивидуальному; и понимание проблемы индивидуальности, определившее позднее мировоззрение Шлейермахера, не дало ему возможности удовлетвориться рационалистическим пантеизмом. Наряду с этим изучением новой философии идет самостоятельное исследование философии Аристотеля и, в особенности, Платона, к которому Шлейермахер испытывает тяготение с юношеской поры. Итогом всех этих работ и размышлений, как и непрерывного внутреннего духовного развития, явилось разочарование не только в обычной рационалистической морали и религиозной философии, но и в более тонких, в конечном счете все же рационалистических, идеях Канта о морали и религии.

<sup>1</sup> «Denkmale der Inneren Entwicklung Schleiermachers», в приложении к цитированной выше биографии Шлейермахера.

Но так как коренной интерес Шлейермахера сосредоточивался именно на проблемах морали и религии, на самой моральной и религиозной жизни, то этот отрицательный отвлеченный итог сам собою претворился в положительное духовное переживание — в сознание самобытности нравственности и религии, как особых жизненных начал, в потребность уяснить эти начала из них самих, из их собственных глубочайших корней. «Примат практического (и религиозного) разума» над теоретическим, отвлеченно сформулированный Кантом, у которого этот примат, однако, теряет свое жизненное значение в силу совершенной интеллектуализации «практического разума», — в душе Шлейермахера преобразился в совершенно новую духовную формацию, в новый пафос, исходя из которого он достиг нового, чуждого всякому рационализму, понимания моральной и религиозной жизни. С этим еще только намечающимся мировоззрением он вступает в замечательный молодой кружок берлинской интеллигенции, с которым отныне связывается его жизнь и деятельность и в духовной атмосфере которого он обрел плоды своих долгих одиноких исканий.

Шлейермахер принадлежит к духовному типу людей, основной интерес которых направлен не на сферу объективного, а на внутреннюю жизнь личности. Он не ищет знания ради знания, не ищет также внешней деятельности и внешнего воплощения своего идеала; он занят всегда только своим внутренним развитием и самовоспитанием и работает только над самим собой. Идеи и поступки нужны ему лишь как орудия и символы «внутреннего действия» (*innere Handlung*), как внешний механизм для внутренней работы личности. Как бы велико ни было значение научной и практической деятельности Шлейермахера, его роль в развитии философских идей и в исторической эволюции протестантизма, — все это есть лишь как бы невольное и второстепенное отражение его значения как нравственной и религиозной личности. По своим природным задаткам, как и по характеру своего творчества, он был *гением жизни*. Таким он является нам в самых замечательных своих литературных произведениях, в «Монологах» и «Речах о религии», таким он обнаруживается во всей истории своей жизни, таким же он непосредственно являлся своим друзьям и современникам. «Что для меня неисчерпаемо плодотворно в тебе, — писал ему Фридрих Шлегель, — это то, что ты существуешь. Ты для меня в отношении человечности то же, что для меня были Фихте и Гете в отношении философии и поэзии». А тонкий знаток людей Варнгаген писал про него в своем дневнике: «Я охотно признаю его великую ценность как ученого, проповедника, писателя, вообще как человека ума и науки; но все это всегда казалось мне лишь блестящим приданным, которое он получил для своего подлинного жизненного назначения. В задачах, которые он должен был одолевать как человек в сфере чисто человеческих отношений, лежит его высшее отличие, его величайший интерес для мира».

Такому существу, конечно, нужны прежде всего не книги и идеи, а общение с живыми людьми, и притом общение личное, затрагивающее самые корни «я» и открывающее простор для его самообнаружения. Именно поэтому кружок духовно одаренных и идеалистически настроенных людей, в который вступил отныне Шлейермахер, был в его жизни единственным внешним фактором, действительно повлиявшим на него и пробудившим его гений к зрелой деятельности. То, что раньше занимало его душу в книгах и отвлеченных мыслях (хотя и в этот период биография его вскрывает значение некоторых личных связей), теперь, выступив перед ним в форме личностей и отношений к ним, сразу дает толчок для раскрытия внутреннего богатства его духа, для живого и плодотворного овладения глубочайшими темами и мотивами духовной культуры. «Всем я владею теперь внутренне, — писал он своей сестре через год после переселения в Берлин, — моими письмами, проповедями, моей философией». В интимном общении (чуждом всякого элемента любовного увлечения) с одной из самых замечательных женщин того времени, с Генриеттой Герц, в тесной дружбе и непрерывной совместной работе с Фридрихом Шлегелем, в личном и идейном соприкосновении с Гарденбергом-Новалисом, Тиком, Фихте и другими, в атмосфере неизмеримого духовного влияния Гете, жизненные идеалы которого, выраженные в «Вильгельме Мейстере», в ту пору стояли в центре общественного внимания, — наконец, в самоотверженной и возвышающей любви к Элеоноре Грунов, личность Шлейермахера прочно утвердила и ясно опознала свое духовное достояние. Молодой 28-летний пастор берлинской больницы Charité выдается среди круга своих блестящих товарищей своей сердечной серьезностью, зрелостью и независимостью своих нравственных оценок и в известных отношениях властвует над окружающим его духовным брожением. В качестве нравственного гения он владеет тем, чего часто недоставало его среде, — соединением свободной смелости жизненных суждений и отношений со строгой духовной чистотой и внутренней дисциплиной. И если иногда личные отношения и кружковые влияния увлекали его с верного пути и затемняли его обычное нравственное чутье, как это было, когда он в своих «Интимных письмах о Люцинде» взял на себя защиту морально и эстетически одинаково несостоятельного и незрелого романа Фридриха Шлегеля «Люцинда», то все же и в этих случаях объективно неверная оценка конкретных фактов искупалась глубиной и серьезностью вложенных в нее субъективных замыслов. Общая атмосфера романтического кружка, правда, наложила отпечаток на творчество Шлейермахера; сильнее всего она обнаруживается в некоторой патетической взвинченности его стиля, которая часто мешает пониманию правдивой глубины его идей и чувств. Здесь влияние среды попадало в слабое место натуры Шлейермахера. Он был в достаточной мере художественной натурой, чтобы находить сильное и красноречивое выражение для своих внутренних переживаний; но все же он не был подлинным художником и потому не мог найти истинно объективную, т.е. не риторически разукрашенную, а поэтически-правдивую, гармонически-спокойную форму самообнаружения.

Место инстинктивной поэтической идеализации, которая ничего не искажает и, озаряя высшим светом, все же только раскрывает простую душевную правду, у него занимает искусственная риторика, которая даже при величайшем мастерстве ее у Шлейермахера остается неадекватной выражаемому ею внутреннему содержанию и возбуждает подозрение в вычурности и вымученности самого чувства. Ближайшее знакомство с личностью, судьбой и творениями Шлейермахера опровергает это подозрение. Годы романтического подъема, годы дерзостного «духовного столпотворения» — как позднее называл это движение одни из его участников, Стеффенс — не сломили Шлейермахера, и он не упал с высоты, как это случилось со многими другими. Шлейермахер принадлежал к тем цельным натурам, которым, по выражению Гете, дано высшее блаженство соединить конец своей жизни с ее началом. Как он сумел в круге новых идей внести свою детскую религиозность и среди своих светских и часто легкомысленных друзей оставаться «гернгутером высшего порядка» (как он сам себя обозначал), так же он сумел сохранить до конца жизни тот моральный и религиозный подъем, который он нашел в эту пору первой возмужалости. Когда через 6 лет, в 1802 году, блестящий дружеский кружок распался, Шлейермахер имел достаточно духовной силы и зрелости, чтобы начать собирать жатву, возвращенную в эти годы. С того времени, в течение более 30 лет (Шлейермахер умер в 1834 г.), его жизнь посвящена упорной и разносторонней работе в качестве ученого, проповедника, общественного и церковного деятеля. Плоды его научной деятельности суть перевод Платона, задуманный еще вместе с Фридрихом Шлегелем, но выполненный им одним, ряд гносеологических, этических и историко-философских изысканий и двухтомное сочинение по догматике протестантской религии. Подобно Фихте, он стоял во главе духовного движения, направленного на национальное возрождение Германии после наполеоновских войн, участвовал в основании берлинского университета и был одним из самых влиятельных вождей нового общественного мнения. Могучим словом проповедника и пером публициста он неутомимо трудился над созданием свободной национальной культуры и государственности. Мировоззрение его в эту зрелую эпоху жизни, обогащенную личным и общественным опытом, конечно, во многом отличалось от тех пламенных идей, которыми горела его юношеская душа; в его духовной эволюции есть обычный, общечеловеческий переход от гениальной дерзости и силы юношества к более умудренной и терпимой, но и менее оригинальной широте возмужалости, есть и исторически характерное для той эпохи нарастание национально-государственного реализма из недр отрешенной личной культуры. Но позднейший берлинский профессор богословия, секретарь академии наук, влиятельный государственный и церковный деятель сохранил всю духовную независимость и высшую гуманность, которою чаровал своих друзей юношеский автор «Речей о религии» и «Монологов». В реакционную эпоху 20-х годов он выступает со смелой оппозицией, и вся его жизнь в эту пору полна благородной и часто опасной борьбы за духовную свободу в

области науки, воспитания и церкви. И Беттина фон Арним, знавшая не мало выдающихся людей, близко выдавшая и любившая Гете, высказывает о Шлейермахере-старике суждение, совпадающее с общим суждением о Шлейермахере-юноше: «Я не знаю, есть ли он величайший *человек* (Mann) своего времени, но он несомненно есть величайшая *человеческая личность* (Mensch)». Шлейермахер, говорит один из его новейших биографов,<sup>1</sup> «создал не школу, а историческую эпоху». Он был как бы создан для великого дела гармонического слияния идей с действительностью, для того воплощения идеальной личной культуры в реальной общественной жизни, которое было поставлено на очередь историческим развитием Германии того времени. Именно своеобразное, присущее его личности сочетание широты и смелости духовного горизонта с живым сочувствием и сердечным пониманием всего человеческого создало из Шлейермахера такую влиятельную и плодотворную фигуру в истории немецкой духовной культуры.

### III.

Самое замечательное произведение Шлейермахера есть, бесспорно, его «Речи о религии», которые, несмотря на их заглавие и стиль, никогда не были произнесены, а были написаны им зимою 1798—99 гг.

<sup>1</sup> Otto Braun во вступительной статье-биографии к новому изданию избранных сочинений Шлейермахера: *Schleiermachers Werke, Auswahl In vier Bänden, Fritz Eckart, Leipzig, 1910.*

#### 2 Фр. ИллиенрМахi'li

И по стилю, и по содержанию «Речи» явственно распадаются на две части: первые две речи, излагающие сущность религии вообще, образуют ядро всей книги; они написаны с исключительным подъемом и мастерской законченностью; напротив, последние три речи (о религиозном воспитании, об общественном начале в религии и о религиях) дают оценку реальных форм религиозной жизни с общей точки зрения, установленной в первой части; сам Шлейермахер говорил, что в них нет ничего, что не было бы уже скрыто высказано в первых двух речах; к этому нужно прибавить, что они написаны несколько более искусственным и менее гармоничным стилем; а что касается их содержания, то, объемля огромную и многообразную сферу частных явлений, они не всегда справляются со своей темой и должны быть признаны гораздо более спорными.<sup>1</sup> Мы остановимся здесь лишь на главных мыслях «Речей», выраженных в их первой, основополагающей части.

Речи обращены к «образованным людям, презирающим религию». Шлейермахер хорошо знает — это непосредственно вытекает из его понимания религии, — что никого нельзя *научить* религии; религия может только рождаться изнутри, а не сообщаться извне. Вместе с тем он верит, что нет человека, который был бы совершенно чужд религиозности или хотя бы

задатка к ней. Этим определяется метод его религиозного наставничества: нужно путем психологического анализа чувств и настроений, присущих противникам религии, и путем логической критики признаваемых ими понятий и оценок довести их до сознания, что в них самих живет презируемое ими религиозное чувство и что их теоретические представления о религии неадекватны их непосредственному сознанию. Прежде всего, из анализа явлений, подводимых под понятие религии, следует, что религия не вмещается ни в одну из признанных сфер или деятельностей духа: она не есть ни теоретическое знание, ни нравственное учение, ни искусство, ни практическая деятельность. Мы встречаем в ней элементы, присущие каждой из этих областей; но она не исчерпывается ни одним из них в отдельности и не может быть также простой механической смесью из них. В господствующей классификации отношений человека к миру, таким образом, не остается места для религии; однако, борьба против нее, чувства антипатии или презрения к ней сами по себе все же свидетельствуют, что религия есть во всяком случае не призрак, а некоторая самобытная реальность.

<sup>1</sup> О внешней истории возникновения «Речей», подтверждающей их деление на указанные две части, см. цитированн. биографию Дильтея, стр. 365 и ел. Гете отзывался с большим одобрением о начале «Речей», тогда как конец их «небрежностью стиля и христианским характером религии» возбудил в нем «здоровую и радостную антипатию». Dilthey, стр. 440.

Так, исходя из самого факта презрения к религии, Шлейермахер заставляет противников религии признать, что их понятие о религии смутно и неопределенно и что даже отрицательное отношение к религии требует признания ее некоторым своеобразным началом человеческой жизни и обязывает отдать себе отчет в этом начале. Этот итог подводит Шлейермахера к центральному пункту его «Речей» — к психологическому описанию религиозного сознания.

Риторический характер «Речей» влечет за собой один существенный их формальный недостаток: отсутствие в них строгих, с незыблемой твердостью отчеканенных определений; определения заменены в них текучими описаниями, отмечающими в изменчивых словесных выражениях многообразные оттенки обсуждаемого понятия. Из этого, однако, не следует, что сама мысль Шлейермахера бесформенна и неопределенна; напротив, в его изложении содержатся элементы совершенно точного научного психологического анализа. Два основных момента подчеркиваются им в понятии религии: *отношение к бесконечному* в содержании религиозного сознания и признак *чувства* («чувствования», как говорит школьный язык) в психологической природе этого сознания. Первый момент по существу вряд ли может возбудить какие-либо недоумения, хотя он и навлек на Шлейермахера обвинения в пантеизме. В противоположность научному знанию и практической деятельности, которые теоретически или действительно

всегда направлены на конечные вещи и соотношения между ними, «религиозное размышление есть лишь непосредственное сознание, что все конечное существует лишь в бесконечном и через него, все временное — в вечном и через него». «Искать и находить это вечное и бесконечное во всем, что живет и движется, во всяком росте и изменении, во всяком действии и страдании, и иметь и знать в непосредственном чувстве саму жизнь лишь как такое бытие в бесконечном и вечном, — вот что есть религия». Религия есть «чувство и вкус к бесконечному». Этим непосредственным сознанием и созерцанием бесконечности религия, с одной стороны, как указано, отличается от знания и практической деятельности, имеющих всегда дело с конечным; но, с другой стороны, этим же определяется ее связь с наукой и действительностью.

Подобно тому, как объективно бесконечное есть основа и общий фон для всего конечного, так и субъективно в нашем сознании восприятие бесконечного и жизнь в нем есть условие для восприятия конечного и овладения им. «Ведь что такое вся наука как не бытие вещей в вас, в вашем разуме? И что такое все искусство и творчество как не ваше бытие в вещах, которым вы придаете меру, образ и порядок? И разве не постольку лишь может то и другое созреть в вас к жизни, поскольку в вас непосредственно живет вечное единство разума и природы, всеобщее бытие всего конечного в бесконечном?» Интуиция бесконечности есть точка опоры для всякой деятельности сознания; наука и действительность, не будучи религией, рождаются в ее лоне и живут этой органической связью с ней, вне которой наука превращается в бесплодную схоластику, а живая нравственная жизнь заменяется убогим однообразием бездушных формул и правил. Эта интуиция вечного и бесконечного есть не итог, а напротив, исходный пункт и первое начало всей деятельности сознания. Личному самосознанию, которое есть первичная самоочевидность у Декарта и Фихте, Шлейермахер — вместе со Спинозой — противопоставляет, как непосредственное и первичное начало всякого сознания, интуицию бесконечности; основоположение Декарта: «*cogito ergo sum*», заменяется у Шлейермахера иным принципом, который можно было бы отлить в формулу: «*sum in infinite, ergo scio et ago*». «Где человек не сливается с вечным в непосредственном единстве созерцания и чувства, он в производном единстве сознания остается всегда отделенным от него». Философский идеализм останется бесплодным умозрением и «уничтожит вселенную, желая, по-видимому, сотворить ее», «если он не погрузится снова в это единство, чтобы религиозное смирение открыло его гордости иной реализм». Эту связь между религиозной интуицией и наукой Шлейермахер поясняет примером Спинозы, как и соответственную связь между религиозной интуицией и искусством — примером Новалиса. Но и обыденная жизнь, чуждая размышлению и творчеству, в своем движении ведаёт «некоторые переходы в бесконечное, просеки, открывающие горизонты». «Рождение и смерть суть такие точки, при восприятии которых мы не можем не замечать, что наше собственное я со всех сторон окружено

бесконечным, и которые, несмотря на свою повседневность, при ближайшем соприкосновении всегда возбуждают в нас тихую мечту и священное благоговение; и неизмеримость чувственного созерцания есть тоже по крайней мере намек на иную и высшую бесконечность». И лишь рассудочное воспитание умеет затыкать эти отверстия философскими карикатурами, искусственно отгораживать жизнь от невольного соприкосновения с объемлющей ее бесконечностью. Таков первый элемент религии — непосредственное созерцание бесконечного и вечного; он есть, таким образом, не греза или вымысел воображения, не догадка мудрствования, а первичный, изначальный факт всякой жизни и всякого сознания; его стоит только раз заметить, чтобы он стал навсегда самоочевидным.

Второй основной признак религии есть начало *чувства*, в его противоположности познанию и действию. Об этом пункте в шлейермахеровом понимании религии много спорили и не раз указывали на односторонность, с которой религии отводится здесь лишь отдельная ограниченная область душевной жизни, и на субъективизм, лежащий в основе отождествления религии с чувством.<sup>1</sup> Религия оказывается у Шлейермахера как бы только настроением, эмоцией, и он заходит так далеко, что не только все явления религиозности вмещает в область чувства, но и, наоборот, признает все чувства в основе религиозными, так что получается как бы логическое тождество между понятиями «религии» и «чувства». Религия чужда области познания, говорит не о «природе вещей», а только о «действии ее на нас», и Шлейермахер готов даже утверждать, что противоположность между истинным и ложным вообще не относится к религии. И точно так же религия сама по себе чужда нравственности, ибо не относится к области действия; и если бы можно было представить себе исключительно религиозного человека, лишённого всяких иных способностей, то «такой человек вообще не действовал бы, а только чувствовал бы». В этом изображении религии легко усмотреть утонченный субъективизм, превращающий религию в какое-то смакование внутренних переживаний и лишаящий ее всякого творческого и объективного элемента как в теоретической, так и в практической области. Не подлежит сомнению, что некоторые обороты речи, а пожалуй, и некоторые оттенки мысли Шлейермахера дают повод к такому толкованию; язык и мысль Шлейермахера борются здесь с проблемой величайшей трудности, и местами эта борьба остается как бы незаконченной. Тем не менее можно смело утверждать, что изложенное толкование совершенно не улавливает основной и глубочайшей мысли Шлейермахера; более внимательное отношение к ней устраняет всякую возможность приписывать Шлейермахеру банальный эстетический субъективизм в понимании религии и открывает именно в этом пункте глубокое проникновение в самобытную природу религиозности.

Термин «чувство» не вполне адекватен мысли Шлейермахера. Под ним он разумеет не обособленную, отдельную область душевной жизни, а



глубочайший корень всего сознания вообще; из этого корня позднее выделяются познавательная и практическая сферы, так что наряду с ними он действительно представляется *особым* началом, будучи на самом деле как бы лишь сохранившимся в дифференцированном сознании остатком или наследием первичного единства сознания вообще.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Возражения против этого пункта учения Шлейермахера собраны у *Pfleiderer'sfi*, «Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage», в главе о Шлейермахере.

Самое красноречивое и ясное выражение этой мысли Шлейермахер дает в том месте второй речи, где он пытается описать почти невыразимое словами начало сознания до дифференциации его на «я» и «не-я», на субъект и объект, на волю и познание. В этом начале внешний образ предмета -еще слит с внутренней жизнью субъекта; каждый акт жизни в своей самой общей и первоначальной форме есть такое единство «бытия для себя» и «бытия в целом», самосознания и восприятия; но в такой форме он не длится даже мгновения и для сознания тотчас же разлагается на внешнее представление и внутреннюю жизнь чувства; отсюда же берет начало противоположность между знанием и деятельностью, единение с миром через подчинение себя вещам и через подчинение вещей себе. Ни знание, ни действительность сами по себе не могут составить целой жизни; они взаимно предполагают друг друга, а следовательно, и первоначальное единство, т.е. свою связь с внутренней жизнью, данной в чувстве. Именно последнее, в противоположность знанию и действительности, есть область религиозности. В «чувстве» дана, таким образом, подлинная связь между практической и теоретической стороной жизни, между человеком и миром, и под ним Шлейермахер понимает мистическую первооснову жизни. Этот момент единства сознания и бытия есть «первая встреча всеобщей жизни с частной»; «он есть непосредственное, лежащее за пределами всякого заблуждения и непонимания, священное сочетание вселенной с воплотившимся разумом в творческом, зиждительном объятии. Тогда вы непосредственно лежите на груди бесконечного мира, в это мгновение вы — его душа, ибо вы чувствуете, хотя лишь через одну из его частей, все его силы и всю его бесконечную жизнь как ваши собственные».

<sup>1</sup> Понятие «чувства» играет здесь приблизительно ту же роль, что понятие «воли» в метафизической системе Шопенгауэра. Последнее, как известно, так же не тождественно феноменальной природе человеческой воли, рассматриваемой как одна из способностей или функций сознания, а представляет некую духовную первооснову, лишь *аналогичную* воле в узком смысле, и только символически, а не адекватно выражаемую этим термином. Всякое психологическое направление, пытающееся охарактеризовать общую природу сознания каким-либо термином, обычно обозначающим отдельную функцию или область сознания, неизбежно осуждено на такую

неадекватность между словесным выражением и мыслью. Учитывая эту неадекватность, можно сказать, что Шлейермахер есть представитель *эмоционализма* в психологии — направления, равноправного интеллектуализму и волюнтаризму, но почти не представленного в философской литературе; в настоящее время это направление, под названием «пагампиризм», развивается *Генрихом Гомперцом*, не без влияния Шлейермахера.

Отсюда следует, что «чувства», хотя ж не будучи тождественно теоретическому знанию, не есть однако только субъективный процесс в как бы замкнутой человеческой душе; «чувство» есть, наоборот, процесс раскрытия души и уловления ее тайной связи со вселенной; оно есть «идущее и миропологающее устремление», «живая беседа с вещами»; «чувство самодеятельно отыскивает свои предметы, оно идет навстречу им и отдается их объятиям; оно сообщает им нечто, что делает их его достоянием, его созданием, оно хочет находить предметы и открывать им себя; (теоретическое) объяснение же ничего не знает об этом живом усвоении, об этой озаряющей правде и подлинно угадывающей интуиции в детском созерцании». Таким образом чувство, будучи противоположным теоретическому знанию и постижению, есть вместе с тем высшее ведение, и можно даже сказать, что «всякое знание есть воспоминание» — воспоминание об этом первичном единстве, данном в чувстве и через него. Чувство или, что то же, религиозная интуиция, правда, говорит нам не о природе вещей, а только об ее действии на нас, о нашем впечатлении; но именно в этом впечатлении дана высшая правда, возносящаяся над всяким отвлеченным знанием. И если противопоставление между «истинным» и «ложным» не подходит к религии как таковой, то только потому, что оно «применимо лишь там, где имеешь дело с понятиями и где могут действовать отрицательные законы логики», тогда как «непосредственно в религии *все истинно*\* — как и все в ней хорошо.

Таким образом, подлинный смысл отождествления религии с чувством состоит у Шлейермахера не в том, чтобы отвести религии *субъективную* сферу — мы видим, напротив, что эта сфера по своей природе выходит за пределы противоположности между субъективным и объективным, — а в том, чтобы охарактеризовать ее как *жизнь*, как сознание, неотделимое от полноты переживания и, в качестве такового, возвышающееся над обособленными областями теории и практики и образующее их единство. Отсюда-дальнейшее противопоставление самой религии как таковой, ее позднейшим продуктам—религиозной теории (догматам) и религиозной практике. То и другое есть не сама религия, а лишь результат ее связи с теоретической и практической стороной человеческой жизни. Сама религия, как жизнь, не нуждается в догматах; догматы суть только символические фиксации в рефлексии своеобразного жизненного содержания религиозного сознания, нужные для отвлеченного уяснения этого содержания и сообщения

его другим; и точно так же догматы не должны смешиваться с научными или теоретическими суждениями о самих вещах, ибо они описывают не внешне-объективную природу как таковую, а наше внутреннее впечатление от нее или овладение ею. И, аналогично этому, религия не тождественна сама по себе с действительностью, а только сопровождает и углубляет ее, так что все может делаться только «с религией», но не «уд религии».<sup>1</sup>

Для нас бесспорно, что в этих мыслях Шлейермахера, несмотря на некоторую шаткость и неточность их выражений, содержится гениальное постижение труднейшей философской проблемы, образующей основу всей философии религии, — проблемы своеобразного совмещения субъективного и объективного начал в религиозном переживании. Вместе с Якоби, но в менее односторонней форме, чем последний, Шлейермахер блестяще и убедительно вскрывает самобытную природу религиозного переживания, забытую и непонятую в эпоху рационализма, и показывает сочетание в ней двух основных черт, которые современный психолог Джемс обозначает, как «эмоциональность» и «интуитивность». Этим совершенно разрывается обычная классификация, для которой объективно-познавательный элемент сознания всецело вмещается в сферу интеллектуальной деятельности, и, наоборот, чувствование относится только к субъективной сфере. Лишь психологическая литература последнего времени начинает постепенно и еще неуверенно подходить к явлению, которое с гениальной интуицией открыл Шлейермахер: к явлению *эмоционального знания* или, как выражается замечательный современный мыслитель Франц Brentano, «эмоциональной очевидности». В различной связи и под разными названиями — «вчувствования» (в современной эстетической литературе), «интроспекции» (Авенариус), «эндопатических чувств» в отличие от «идиопатических» (Генрих Гомперц) — психология приближается к этой явственной и вместе загадочной стороне жизни, в которой внутреннее возбуждение, чувствование или воля как бы раскрывает нам невидимые свойства и области реальности и дает начало особому, теоретически недоказуемому, но субъективно достоверному знанию.

<sup>1</sup> В основу нашего изложения положены только «Речи о религии», которые во многом отличаются от соответствующей теории в позднейшем богословском трактате о «Христианской вере». Укажем только, что в «Речах» совершенно отсутствует неудачное или, по меньшей мере, явно одностороннее определение религии как «чувства безусловной зависимости» («*Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit*»). Но и между отдельными изданиями «Речей» в этом отношении имеются некоторые разногласия в оттенках. Несмотря на преобладание более *догматического* понимания религии в позднейшем учении, в характеристике самой природы религиозного сознания как такового, с годами, напротив, элемент субъективизма несколько оттесняет ранее объективистическое понимание чувства как носителя религии, и ослабляется момент «созерцания» в религии. Мысль Шлейермахера

колеблется в этом пункте между полюсами кантианства и шеллингианства. При всех порождаемых этим колебанием неясностях не подлежит сомнению основная и самая ценная идея философии религии Шлейермахера: наличность особого ведения через внутреннюю жизнь, одинаково далекого и от теоретического научного знания о внешней действительности, и от чисто субъективного внутреннего настроения.

При этом оказывается, что это эмоциональное знание охватывает широкие и самые важные области жизни: к нему сводится эстетическое и нравственное восприятие, через которое мы не только субъективно оцениваем внешнюю действительность, но и объективно усматриваем в ней как нечто, ей самой присущее, начала красоты и добра; к нему сводится также всякое познание внешней духовной реальности, т.е. всякое познание «чужого я» или «чужого сознания», не данного нам в рациональном опыте (Липпс, Введенский), и, следовательно, все понятия и суждения обществоведения; и оно же есть источник мистического знания религиозных истин, недоказуемое, но самодостоверное «вещей невидимых обличение» в вере. Это эмоциональное знание само по себе есть факт, не подлежащий никакому сомнению; но спорными и трудными являются его отвлеченное уяснение и теоретическая оценка. Для чистого интеллектуализма и рационализма оно есть только психологическая иллюзия, тоща как подлинное знание дается лишь опытом (в узком смысле) и *логической* очевидностью; для супранатурализма оно есть, наоборот, единственное подлинное знание, которое либо совершенно вытесняет и объявляет призрачным всю научную, дискурсивную сферу, либо стремится подчинить ее себе и растворить в себе. Оба направления в большей или меньшей степени искажают своеобразную природу этого явления, то подчиняя его чуждым интеллектуалистическим критериям, то рационализируя его внутренний корень. Истинная задача психологического и гносеологического анализа состоит здесь, конечно, в том, чтобы открыть своеобразный объективизм, самобытную *познавательную* природу этого духовного начала с полным сохранением его субъективной, эмоциональной, практической жизненной природы. Современная психологическая литература, как и современная философия (в лице прагматизма), склонна к субъективистическому истолкованию феномена эмоционального знания. Нельзя отрицать, что и Шлейермахер *подходит* к нему с его субъективной стороны, и склонен несколько односторонне подчеркивать противоположность религии, как субъективного *переживания*, признакам объективного *знания*. Но при всех недоговоренностях, которые в этом отношении имеются у Шлейермахера, он все же отчетливо сознает несостоятельность *обеих* указанных точек зрения, в которых одна сфера духовного творчества и один род критериев незаконно объявляется верховным судьей над другой, чуждой областью. Религиозное, эмоциональное знание не претендует быть знанием в научном смысле слова, общеобязательным и холодно-пассивным теоретическим усвоением внешней действительности вне ее отношения к нашему сознанию и чувству; в религии

интересен не объект, отрешенный от сознающего и чувствующего субъекта, а неразрывная связь того и другого в самом переживании; и потому ее догматы суть описания содержания самого переживания, а не теоретические истины о вещах вне эмоционального отношения к ним. Но религиозное переживание не есть также только иллюзия или ошибка, ибо оно не признает над собой силы тех рациональных критериев, которые объявляют ее таковою; оно есть духовный процесс, по самой своей природе возвышающийся над интеллектуалистическими категориями субъективности и объективности. Религиозное и научное знание суть как бы разветвления и особые, самобытные и самодовлеющие стороны духовного бытия, которые каждая на свой лад раскрывают человеку его отношение к миру и коренятся оба в глубочайшем единстве духа и мира. Высшее единство знания и веры и вместе с тем раздельность и самозаконность самобытного существования того и другого — таков итог Шлейермахеровой философии религии. В противоположность Якоби он не называет рассудок «прирожденным богохульником», и в противоположность рационализму не объявляет религию суеверием. Истины, данные через чувство, и истины, данные через мышление, относясь к разным областям, не встречаются и потому и не сталкиваются между собой; и — что самое важное — даже само понятие *истины* имеет различный смысл в применении к каждой из этих областей. Религиозная правда не есть, подобно научной, интеллектуальное воспроизведение объекта; она есть жизнь в объекте, живое слияние с ним; и, как указано, сама противоположность между субъектом и объектом, образующая конститутивный признак теоретического познания, погашается в религиозном переживании; и потому последнее есть вообще не столько *знание об объекте*, сколько *тождество* с ним, переживание целостной субъективно-объективной правды. Все ошибки в оценке религии как ее сторонниками, так и ее противниками сводятся к непониманию этого основного различия, к отождествлению религиозной и теоретической правды. Что и отождествление религии с нравственностью, морализация религии, с этой точки зрения столь же непозволительно — это ясно само собой; ибо религиозная правда настолько же превосходит противоположность между сущим и должным, фактом и идеалом, как и противоположность между субъектом и объектом; она не есть ни знание о добре и зле, ни жизнь, повинующаяся отвлеченному нравственному идеалу; она есть жизнь в самом добре, жизнь в той первооснове, из позднейшего раздробления которой происходит противоположность между бытием и идеалом.

Еще один пункт Шлейермахерова понимания религии заслуживает особого упоминания: связь «чувства» и, следовательно, религиозного переживания с *личным самосознанием*, с моментом индивидуальности в человеческой жизни.<sup>1</sup> К числу основных убеждений Шлейермахера принадлежит мысль, что индивидуальность, личное своеобразие каждого человека, есть та точка в нем, через которую он глубже всего связан с истинным и бесконечным

бытием и точнее всего отражает его. Постигание метафизического и морального смысла индивидуальности есть великое открытие Шлейермахера; при его оценке нужно помнить, что оно было совершено в эпоху господства канто-фихтевского жизнепонимания, признававшего только отвлеченного идеального «человека вообще» и ставившего каждой личности задачу быть выразителем всеобщей человечности: единая мораль и единая «естественная религия» (или «религия в пределах разума») должна была объединять всех людей. Шлейермахеру, напротив, уяснилось, что внутренняя, метафизическая и моральная сущность человека неотделима от его своеобразия, что каждая личность есть самобытная энтелехия, призванная на свой лад выразить и осуществить бесконечную сущность бытия, и что вселенная есть не агрегат однородных атомов, а система или организм живых своеобразных существ. Это своеобразие каждого существа дано в глубочайшем единстве его сознания и, следовательно, отражается в его чувстве или созерцании бесконечного: отсюда многообразие религии, которое есть не случайное и печальное несовершенство, а необходимое и абсолютно ценное выражение самой природы религии, как связи сознания с целым. «Весь объем религии бесконечен и не может быть вмещен в одну определенную форму, а лишь в совокупность всех ее форм». Это сознание бесконечности религии и, следовательно, многообразия отдельных религий «дано вместе с самой религией»; «в нем и состоит само религиозное чувство, и оно должно поэтому присутствовать у всякого, кто действительно имеет религию». Отсюда внутренняя связь подлинной религиозности с терпимостью; терпимость вытекает у Шлейермахера не из формально-юридического принципа свободы заблуждения, а, наоборот, из сознания, что в религии вообще нет заблуждений в подлинном смысле, что всякая религия есть законное звено в той бесконечной цепи, которая образует недостижимую полноту созерцания бесконечного.

<sup>1</sup> Этот пункт отчетливо выдвинут в первом издании «Речей»; в позднейших изданиях он ослаблен в описании природы религии и подчеркнут лишь во вступительной речи и во второй части «Речей».

Лишь в сфере теоретических познаний, где определяется связь между конечными элементами и где истина как бы навязывается извне, имеет место общеобязательность и единство истины, а следовательно, и несовместимость разноречивых суждений; в религии, где воспринимается связь конечного с бесконечным и где познание тождественно с внутренней жизнью, множественность форм не противоречит истинности; напротив, *своеобразие* каждой религиозной формы есть единственный признак подлинности самой религии, тогда как неопределенная общность свидетельствует лишь об отсутствии развитой религии. И религиозная истина как целое, есть не отвлеченный экстракт из всех «положительных религий», а конкретная полнота всех своеобразий. Здесь, таким образом, снова обнаруживается своеобразная субъективно-объективная природа религии, которая не

допускает применения к ней рациональных критериев; будучи конкретным видением, слитым с внутренней личной жизнью, религия владеет абсолютным в его бесконечном жизненном многообразии; ни сектантский фанатизм, признающий известную систему понятий единственной и абсолютной истиной, ни плоский индифферентизм, считающий все своеобразное в религии субъективной фантастикой, не улавливают иррационального или сверхрационального существа религиозной правды. Эта мысль положена в основу всего дальнейшего изложения Шлейермахера, — его обсуждения проблем религиозного воспитания и общения и уяснения природы отдельных положительных религий.

#### IV.

Проблема индивидуальности образует также одну из основных тем второго замечательного творения Шлейермахера — его «Монологов», написанных почти экспромтом, под влиянием внезапного вдохновения, в 1800 году (следовательно, одновременно с аналогичным им «Назначением человека» Фихте). «Монологи» суть главное *этическое* сочинение Шлейермахера; несмотря на свою краткость, они по богатству и глубине мыслей значительно превосходят позднейшие научные этические работы Шлейермахера. Монологи написаны в форме душевного излияния и образуют, по словам автора, «лирический экстракт из постоянного дневника». Стиль их еще более искусствен и приподнят, чем стиль «Речей»; Шлейермахеру хотелось даже (но не удалось) внести в прозу «Монологов» стихотворные ритмы. Несмотря на эту искусственность, которую порицали даже друзья, «Монологи» суть все же подлинно художественное выражение нравственных настроений и идей.

Риторический стиль «Монологов» вытекает из потребности Шлейермахера найти язык для «музыки души» — язык, который непосредственно дан поэтам и который Шлейермахеру приходилось искусственно созидать для себя. Но как бы далек ни был язык Шлейермахера от высшей простоты подлинной художественности, он с изумительным мастерством достигает своей цели — выразить смысл внутренних движений духа, изложить нравственное миропонимание не как систему отвлеченных правил и учений, а как конкретную форму личной жизни. Моральная проблема всю жизнь занимала Шлейермахера и составляла его главный интерес. Еще в студенческие годы он пишет «философские рапсодии» о высшем благе, о человеческой свободе, позднее — о ценности жизни. Между 1796 и 1798 гг. он участвует вместе с братьями Шлегелями в составлении этических фрагментов, помещенных в романтическом журнале *Atheneum*. В 1797 году Фридрих Шлегель видел в его бумагах набросок «о безнравственности всякой морали» («über die Inunoralität aller Moral»). К той же эпохе относится его план написать «Апологию гуманности» против моральных систем Канта и Фихте. «Монологи» являются зрелым плодом этих упорных размышлений.

Первоначально в их план входила именно критика и даже сатира господствующих нравственных воззрений, и лишь невольно, вопреки сознательным намерениям автора, они вылились в форму лирического обнаружения собственного нравственного непонимания.

«Монологи», возникшие непосредственно из потребности «выразить себя самого, свое стремление, внутренний закон своей жизни», вместе с тем, по словам Шлейермахера, образуют «попытку перенести в жизнь философскую точку зрения, именуемую идеализмом, изобразить характер, соответствующий этой точке зрения». Их основная задача состоит в том, чтобы наглядно, посредством обнаружения идеального образа личности, показать основу нравственной жизни — независимость духа от внешнего мира, времени и судьбы. Этическая точка зрения «Монологов» имеет много общего со стоическим мировоззрением, к которому близки также нравственные идеи Канта и Фихте. В особенности между Шлейермахером и Фихте есть много точек соприкосновения; ведь вся философия Фихте по своему внутреннему мотиву может быть прямо определена как попытка выразить нравственный пафос идеалистического мировоззрения; и с первого взгляда могло бы показаться, что «Монологи» суть не что иное, как лирическая популяризация фихтеанства. Что это не так — это внешним образом доказывается уже тем, что вслед за «Монологами» Шлейермахер написал критику «Назначения человека» Фихте, в которой подчеркнул пункты расхождения между собой и Фихте. Этому соответствует также дисгармония между личными натурами обоих мыслителей: Фихте был для Шлейермахера слишком «головным» человеком, отвлеченные идеи которого мало отражались на характере и непосредственном личном облике; и хотя это суждение в общем не вполне верно, так как философия Фихте тесно связана с личными свойствами его духа, но это показывает, что натуры, а следовательно, и непонимания Шлейермахера и Фихте имели различный склад. Фихте был героической и титанической натурой, Шлейермахер был тонким художником нравственной жизни, «моральным гением»; и в этом характерологическом различии содержится также противоположность их мировоззрений.

Общая точка зрения «Монологов» уясняется лучше всего через сопоставление этих двух мировоззрений. Вместе с Фихте Шлейермахер ведет прежде всего борьбу против натуралистического непонимания, для которого человек, его внутренний дух и деятельность, есть лишь погруженный во время и подчиненный среде продукт внешнего мира — против того умонастроения, которое, по словам Фихте, готово скорее признать человека «куском лавы на Луне», чем *личностью*. «Внешний мир, — говорится в первом монологе, — мир, лишенный духа, есть для толпы величайшее и первое, дух же — только временный гость в мире, неуверенный в своем месте и в своих силах. Для меня же дух, внутренний мир, смело противостоит внешнему миру, царству материи и вещей». Жизнь



духа «не может изменить никакой мир, не может разрушить никакое время, ибо она сама созидает мир и время». Однако в обосновании и дальнейшем развитии этой точки зрения выступают существенные противоположности. Мы остановимся на двух, самых главных из них, которые особенно характерны для философского и этического мировоззрения Шлейермахера.

Прежде всего, Шлейермахер не разделяет субъективного идеализма Фихте, для которого внешний мир есть всецело продукт и отражение внутреннего действия духа. Некоторые его изречения, вроде только что приведенного, звучат, по-видимому, в духе субъективного идеализма; но они отражают лишь периферию мысли Шлейермахера и, проверенные из ее центра, получают иной смысл. Он был намерен «прочно сохранить, наряду с идеализмом, и реальный мир». <sup>1</sup> Идеализм, не восполненный реализмом, низводит вселенную «до значения простой аллегии, призрачной тени односторонней ограниченности своего пустого сознания». <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Письмо от 4 января 1800 г. *Dilthey*, стр. 340.

<sup>2</sup> «Речи о религии».

В противоположность Фихте, Шлейермахер исходит из анализа не «трансцендентального», а реально данного «я» и именно потому пытается утвердить свободу и самодовлеющую природу духа не вне и по ту сторону реальных связей и законов природы, в отвлеченной сфере чистой духовности, а в глубине самой конкретной жизни. Этим его воззрения приобретают более жизненный и реалистический характер, преодолевая канто-фихтевский дуализм между внутренним бытием идеального духа и внешней, эмпирической жизнью. Именно в пределах конкретной, объединенной жизни он требует того «полного отказа от обыденной точки зрения», который он называет «истинным золотым руном нравственного благородства». <sup>1</sup> Соотношение между духом и внешним миром представляется ему скорее в категориях шеллинговой, чем фихтевской философии: это соотношение мыслится по аналогии с соотношением души и плоти. «Не указывает ли сочетание духа с плотью на его более широкое сочетание со всем, что подобно плоти? Не воспринимаю ли я своими чувствами силу внешнего мира? Не ношу ли я вечно в себе самом вечные формы вещей? И не познаю ли я их только как ясное зеркало моего внутреннего существа?» Поэтому Шлейермахер не отрицает внешней необходимости, но видит в ней продукт и отражение взаимодействия свободных существ. Мир есть «вечное общение духов», «высокая гармония свободы». «Мое действие свободно, но не мое воздействие на мир духов, ибо оно подчинено вечным законам». Проблема духовной свободы сводится, таким образом, не к отрешенности от бытия вообще, а к проблеме внутренней независимости, сохраняемой в тесном общении с духовными силами внешнего мира. Отсюда вытекает гениальное по нравственной тонкости изображение соотношения между

внутренней нравственной деятельностью, направленной на собственную личность, и внешним творчеством для мира и в связи с ним, — между «цветением» и «несением плодов» — представленное в пятом монологе «Юность и старость». Отсюда также глубокое понимание проблемы общения, уяснение высшего нравственного значения форм объективации общения — союза дружбы, семьи, государства, уразумение технического прогресса, как только формального совершенствования механизма власти над плотью, за которым должно следовать духовное совершенствование самого общения. Здесь (в третьем монологе) нравственное чутье Шлейермахера яснее всего преодолевает рационалистический индивидуализм XVIII века и намечает то глубокое понимание самобытного значения коллективных форм человеческого бытия, которое позднее развил Гегель.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Письмо от 26 ноября 1803 г. *Dilthey*, стр. 341.

Второе и самое важное отличие воззрения Шлейермахера от нравственного идеализма Фихте лежит в отмеченной уже выше проблеме индивидуальности. Для Фихте, как и для всего индивидуализма XVIII в., индивидуальное своеобразие, многообразие личностей есть лишь недостаток, нечистота, устраняемая высшим влечением к чистому и всеобщему «я». Единичная личность есть для Фихте лишь «средство реализации разума»; и эта идея, как известно, образует также содержание «категорического императива» Канта. Напротив, Шлейермахер утверждает, что «*principium individui* есть самое мистическое в области философии»,<sup>1</sup> и именно на этом мистическом принципе он строит свое нравственное мировоззрение. Основная мысль всего этического мировоззрения Шлейермахера состоит в понимании нравственности, как требования *личного внутреннего саморазвития и самовоспитания*. Идее нравственного закона или нравственной нормы как регулятора человеческого поведения он противопоставляет идеал человечности как путеводную звезду для совершенствования внутреннего строя личности. С этим непосредственно связано убеждение в индивидуальном своеобразии нравственного начала жизни. Переход от уравнительного рационалистического индивидуализма, от идеи «человечности вообще» к мистическому индивидуализму своеобразной личности изложен, как личное переживание Шлейермахера, во втором монологе. «Долгое время, — говорит Шлейермахер, — и я удовлетворялся тем, что нашел разум; и, почитая превыше всего однородность бытия, я думал, что для каждого случая есть только одна правда, что поведение должно быть для всех одинаковым и что один человек отличается от другого лишь своеобразием своего положения и места». Но ненадолго мог он успокоиться на этом: «Я спрашивал, для чего же тогда нужна личность и единство текучего, преходящего сознания во мне?» И ему «уяснилось, что каждый человек должен на свой лад выражать человечество через своеобразное смешение его элементов, чтобы человечество обнаруживалось

всеми способами и чтобы в полноте пространства и времени осуществилось все многообразие, которое может таиться в его лоне». Только в силу этой мысли человек может сознать себя «лично желанным и, следовательно, избранным творением Божества», и это метафизическое сознание санкционирует задачу самовоспитания и культивирования личности.

<sup>1</sup> Размышления третьего монолога совпадают с мыслями, высказанными во второй речи о религии, в том ее месте, где намечается идея человечества как единого нравственного организма. Именно здесь лежит исходный пункт мировоззрения Гегеля.

<sup>2</sup> *Dilthey*, стр. 344.

Правда, эта точка зрения влечет моральные трудности, ибо здесь есть опасность разрыва с целым и недопустимой эгоистической удовлетворенности замкнутым личным бытием; но опасность эта преодолевается именно углублением самой точки зрения, сознанием, что глубочайшая и самая своеобразная точка личного бытия и есть та точка, через которую личность коренится в целом, которая связывает ее с абсолютным и всеединым. И точно так же личное своеобразие есть не замкнутость во вне, а предполагает универсальную восприимчивость и любовь. «Вне любви нет развития, вне самобытного развития нет завершенной любви; одно дополняет другое, и оба растут в неразрывной связи». Форма общения для самобытных существ есть не «закон и обязанность, однообразное поведение и справедливость», которые достаточны лишь для тех, кто хотят быть «грубой однообразной массой»; эта форма общения есть любовь, «притягательная сила духовного мира». Правда, высшая, абсолютно проникновенная любовь остается все же невозможной, пока личность связана оковами мира; мы можем только стремиться к ней, но когда мы достигли ее, тогда, вместе с любовью, мы и сами совершенны; «и тоща, наверно, близок час, который, кажется, для всех бьет уже раньше, — час, когда нужно снова отдать себя бесконечности и вернуться из мира в ее лоно». Этой религиозной мыслью, что абсолютное осуществление идеала любовного общения между самобытными существами переступает через грани эмпирического мира и возвращает нас в лоно бесконечности, завершается моральное жизнепонимание Шлейермахера.

Общее религиозное и нравственное мировоззрение Шлейермахера, вероятно, не сможет теперь никого удовлетворить сполна. В нем нет того законченного единства мысли, которое гипнотизирует в великих философских системах, нет и той художественной цельности и гармоничности, которая чарует нас, например, в мировоззрении Гете. Его мысль стоит, несомненно, на полпути между субъективизмом Канта и Фихте и объективизмом Спинозы, Шеллинга и Гегеля; это одинаково отражается и на его понимании религии, в котором центральная идея «чувства» как бы переливается всеми оттенками красок

между субъективизмом и объективизмом, и на его нравственном мировоззрении, которое также совмещает в себе пафос гордой личной самоудовлетворенности с пафосом смиренного соучастия личного духа в великой духовной вселенной. Мировоззрение Шлейермахера стоит несомненно на перекрестке между разными путями религиозно-философской и этической мысли; оно содержит зерна идей, могущие дать многообразные плоды. Но именно эта незавершенность и многозначность жизнепонимания Шлейермахера есть и его достоинство. Она имеет, прежде всего, большое педагогическое значение: учитывая многие оттенки и направления человеческого духа, Шлейермахер имеет возможность влиять на многих; его мысль незаметно втягивает противника в свою атмосферу, не пугая и не отталкивая его резкой односторонностью; именно эта черта делает из его «Речей о религии» классическую пропедевтику религиозного жизнепонимания. Но эта педагогическая ценность есть лишь производное следствие более общего и принципиального значения. Мировоззрение Шлейермахера, не вмещающаяся ни в какую систематическую теорию и в этом смысле оставаясь незавершенным, тем самым именно свидетельствует о жизненности и духовном богатстве самой личности. Кто полагает, что возможно всю жизнь уложить в систему, тому нечего искать у Шлейермахера; но кому доступно гетевское сознание серости всякой теории по сравнению с золотым деревом жизни, тот научится у Шлейермахера большему, чем у систематических философов. Середина пути есть часто более верная стоянка человеческой мысли, чем конец пути. При всей незаконченности *идей* Шлейермахера, его живое сознание, совмещающая в религиозной и нравственной сфере субъективизм и объективизм, индивидуализм и универсализм, дает большую жизненную мудрость и стоит ближе к идеалу всеобъемлющего мировоззрения, чем учения вполне последовательных мыслителей. Для отвлеченной мысли взгляды Шлейермахера дают лишь материал и исходные точки, требующие дальнейшего движения; для практического жизнепонимания Шлейермахер дает образец гармонически завершенной личности, более поучительный, чем самые законченные системы. Его понимание религии, теоретически не вполне отчетливое, более учитывает таинственное своеобразие этой глубочайшей сферы жизни и ведения, чем эмпирическая психология позитивистов и рационализирующая метафизика супранатуралистов. Его отношение к нравственной проблеме совмещает мудрость идеализма с широтой общественного реализма. Так Шлейермахер и для нас может быть тем наставником жизни, которым он был для своих современников и которым не переставал доселе быть на своей родине.

**С. Л. Франк**

При переводе «Речей о религии» и «Монологов» Шлейермахера представлялся вопрос, какое издание обоих сочинений должно быть положено в основу перевода. Оба сочинения выдержали несколько изданий

при жизни Шлейермахера и подвергались им неоднократной переработке, которая особенно существенна в «Речах о религии» и сравнительно незначительна в «Монологам». Немецкие критические издания «Речей о религии» (Punjer'a, 1879, и Otto, 1899, 2 изд. 1906) и «Монологам» (Schiele, Philosophische Bibliothek, B. 84, 1902) воспроизводят первые издания. Издатели справедливо указывают, что именно первые издания обеих работ отличаются исключительным сочетанием юношеской вдохновенности с ясностью изложения, тогда как позднейшие переработки и исправления нарушают первоначальную гармоничность изложения, усложняют и иногда затемняют ход мыслей попытками Шлейермахера согласовать воззрения разных эпох его жизни. Несмотря на это, мы все же признали необходимым положить в основу перевода позднейшие редакции обеих работ. Дело в том, что немецкие редакторы критических изданий считаются с распространенностью в Германии популярных воспроизведений последних изданий обоих сочинений, и потому находят нужным и возможным противопоставить им первоначальный текст. Напротив, там, где издание является единственным, должно, по нашему мнению, действовать общее правило, по которому читателю следует давать сочинение в том виде, в каком оно в последний раз выработано автором. К тому же, если первые издания «Речей о религии» и «Монологам» отличаются большей свежестью и гармоничностью, то позднейшие поправки и дополнения вносят в изложение большую зрелость и широту, оставляя общий дух обоих произведений, в целом, все же неприкосновенным. В отношении «Речей о религии», в частности, перевод с последнего издания дает возможность воспроизвести «Пояснения», внесенные Шлейермахером в 3-е издание. Эти «Пояснения», правда, по стилю, а во многих отношениях и по содержанию, резко расходятся с текстом самих «Речей»; они отделены от последних 22-летним промежутком и показывают нам совсем иного Шлейермахера — рассудительного богослова и трезвого церковного деятеля. Если их читать параллельно с текстом, то впечатление должно неизбежно разбиться и ослабеть. Поэтому следует первоначально читать текст «Речей о религии» сплошь, не задерживаясь на «Пояснениях», и лишь при повторном чтении обратиться к последним. Чтобы облегчить это, мы, в противоположность немецкому тексту, где «Пояснения» следуют за каждой отдельной «Речью» — поместили их после всего текста. Нам думается, что такое расположение и по существу более соответствует их внутреннему отношению к тексту «Речей о религии»; ибо они дают ряд совершенно самостоятельных размышлений, лишь примыкающих к самим «Речам».

Перевод сделан с распространенного популярного издания «Речей о религии» и «Монологам» в «Bibliothek der Gesamt-Utteratur» тто НепеаеГя (Nr. 346—348 и Nr. 370). Мы имели, однако, постоянно под руками критические издания Otto и Schiele и в сомнительных случаях сверяли с ними текст.

Для содействия лучшему пониманию хода размышления в «Речах о религии» и «Монологам» и для облегчения возможности справок в них, мы составили «Указатели содержания» обоих произведений, дополняющие краткое оглавление в конце книги.

С. Л. Франк

### Указатель содержания «Речей о религии»

Стр. Первая речь. Самооправдание .....	48—65
Почему автор решается говорить о религии, находящейся в полном пренебрежении у образованных людей. Сознание своего высшего призвания .....	48—55
Почему он говорит к своим соотечественникам, и именно к образованным среди них .....	55—57
Обычное представление о религии, по которому она слагается из страха перед высшим существом и ожидания будущей жизни, нуждается в проверке .....	57—59
Подлинная основа религии — не в мнениях и теориях, а в настроениях и душевных движениях .....	59—62
Отказ от утилитарного обоснования религии .....	62—65
Вторая речь. О сущности религии .....	66—131
Необходимость уяснения чистого начала религии .....	66—68
Религия не вмещается в сферу действительности, т. е. жизненного поведения и искусства .....	68—69
Она не вмещается также в область знания, ни теоретического, ни практического, и не может быть простой смесью обоих видов знания. Содержание документов религии лишь мнимо противоречит этому	69—74
Религия есть непосредственное сознание всего конечного в связи с бесконечным и вечным .....	74—76
Не будучи тождественной ни с научным знанием, ни с искусством, религия образует необходимую основу того и другого. Пример Спинозы и Новалиса .....	76—79

Представление и чувство, знание и действование вырастают из общего корня непосредственной жизни в целом, предшествующей всякой дифференциации ..... 79—82

Самобытная область религии есть область чувства ..... 82—83

Понятия и принципы в религии суть лишь знание о религии, описание того, что дано в чувстве. Религия и мифология ..... 83—87

В каком смысле применимо к религии понятие системы. Критика идеи единой всеобщей религии. Религия, как таковая, неповинна в распрях и нетерпимости ..... 87—92

Отношение между религией и действительностью. Религию нельзя считать побудительницей действий; поэтому она неповинна и в безнравственных действиях. Истинное значение аскетических упражнений в религии ..... 92—98

Итог предыдущих размышлений ..... 98—99

Религия и отношение к внешней природе. Ни страх перед силами природы, ни обычная эстетическая любовь к природе, ни преклонение перед ее огромностью и закономерностью ее явлений не выражают религиозного отношения к природе. Это отношение дано лишь в сознании связи единичного с общей жизнью целого, в радостной и доверчивой любви к природе ..... 99—105

Религия и отношение к человечеству. Религия невозможна вне общения и любви к людям. Человечество как единое целое. Универсальная симпатия и сознание родства личности со всем человеческим. Связь религии с историей; сознание высших законов исторической жизни 105—115

Религиозное сознание не исчерпывается областью природы и истории. Общее понятие благочестия и благоговения; неуместность его в нравственности и значение в религии. Универсализм религиозного чувства как восполнение всякой односторонности ..... 115—119

Догматы и вероучения в религии как результат рефлексии о чувстве. Разбор, с этой точки зрения, понятий чуда, откровения, вдохновения, пророчества. Догматы и вероучения приобретаются истинно религиозным человеком изнутри, как личное достояние, а не заимствуются извне, через подражание и доверие к чужому мнению. Поэтому религия не может поработать личность ..... 119—123

Идеи Бога и бессмертия в религии не суть особые понятия, выражающие теоретическое знание. Подобно всем понятиям в религии, они выражают содержание религиозного чувства ..... 123—124

Бог дан в чувстве через впечатления, возбуждаемые в нас миром. Понятие о Боге неизбежно более односторонне, чем чувство Бога. Религиозное чувство развивается от сознания хаоса через уяснение многообразия к сознанию систематического единства, и на всех ступенях этого развития понятие Бога колеблется между признаками безличного и личного существа. Противоположность между этими формами понятия Бога имеет лишь относительное значение и не может служить мерой религиозности ..... 124—130

Идея бессмертия выражает лишь момент вечности в содержании религиозного чувства. Обычные представления о бессмертии слишком ограничены и даже противоречат духу религии ..... 130—131

Третья речь. О религиозном воспитании ..... 132—151

Трудность пробуждения религиозного чувства в других людях. Естественность слабого распространения религиозности в эпоху всеобщего смятения и переворота. Невозможность обучить религии и извне привить ее. Самопроизвольность религиозного чувства ..... 132—136

Религия развивается сама собой, где ее развитие не преграждается искусственно. Религиозность детского воображения и детской любви к чудесному и таинственному. Гибельное действие рассудочного и утилитарного воспитания ..... 136—142

Слабость и односторонность религиозных настроений, возникающих под гнетом этого воспитания и в оппозиции к нему. Фантастические натуры и натуры, углубленные в себя. Наличие религиозности в современном обществе и отсутствие героев религии ..... 142—145

Развитие восприятий, их чистота и широта есть условие развития религиозности. Этому противоречит необходимая специализация и ограничение деятельности ..... 145—147

Три области восприятия: восприятие внутреннего «я», восприятие всего внешнего и восприятие художественного синтеза того и другого. Восприятие личности и восприятие внешнего мира непосредственно ведут к религиозному восприятию вселенной. Художественное сознание очищает и украшает религиозность; родственность судеб искусства и религии ..... 147—150



- Лучшие стремления современных людей, даже чуждых религии, ведут к возрождению религии ..... 150—151
- Четвертая речь. Об общественном начале в религии, или о церкви и священстве ..... 152—179
- Исключительно враждебное отношение большинства к религиозному общению и церкви ..... 152—153
- Неизбежность и естественность религиозного общения. Недостаточность общения через письменные памятники и невозможность религиозного общения в обычных формах мирского общения ..... 153—155
- Описание идеального религиозного общения. Отсутствие в нем противоположности между священниками и мирянами, дробления на секты и дикого прозелитизма ..... 155—160
- Это общение есть истинная церковь, которая есть не только идеал, но и реальность; от нее отлично то, что обычно именуется церковью 160—164
- Церковь в обычном смысле есть, напротив, союз верующих с ищущими религии. Она необходимо несовершенна и уклоняется от истинной природы религиозного общения. Но эти несовершенства суть не результат религии, а результат недостаточности религии в массах 164—165
- Возможное возражение, возлагающее вину за недостатки церкви на членов «истинной церкви», как естественных руководителей первой. Ответ на него: при отсутствии внешнего вмешательства в дела религиозного союза в нем само собой установилось бы нормальное отношение между совершенными верующими и несовершенными учениками ..... 165—168 .
- Гибельность вмешательства государства в церковь, дарования церкви привилегий и наложения на нее светских функций, педагогических и юридических ..... 168—171
- Необходимость свободного общения между учителями и учениками в церкви и отсутствия строго замкнутых религиозных союзов ... 171—176
- Возможные формы личного религиозного воздействия при современном несовершенстве церкви: выработка в себе религиозно значительной и авторитетной личности, и религиозное влияние в семье .... 176—178
- Надежды на возрождение религии. Заключительная характеристика истинного религиозного общения ..... 178—179
- Пятая речь. О религиях ..... 180—217

Итог предыдущих размышлений. Необходимость рассмотреть религию в ее конкретных воплощениях, т. е. в отдельных религиях .... 180—181

Осуждение множественности обособленных церквей не содержит отрицания множественности религий, а, наоборот, опирается на признание последней ..... 181—183

Необходимость множества положительных религий; предварительная критика «естественной религии». Наличие искажений и недоразумений во всех религиях не исключает божественности их основного содержания ..... 183—186

Многообразие восприятий отношения человека к Божеству определяет многообразие религий. Форма религии не определяется ни количеством содержащегося в ней религиозного материала, т. е. восприятий и чувств, — как это имеет место в сектах, — ни описанными выше ступенями религиозного развития, а только тем, что в каждой положительной религии одно из основных отношений к Богу является центральным и определяющим всю совокупность остальных отношений; и только в такой определенной форме может существовать подлинная религия ..... 186—192

Определенность положительной религии не стесняет религиозного сознания личности, а тесно связана именно с индивидуальным религиозным развитием. Все глубокие и самобытные религиозные натуры исповедуют какую-либо положительную религию ..... 192—198

Бесформенность и неопределенность т.н. «естественной религии» . . . 198—201

Призыв к рассмотрению положительных религий. Трудности определения сущности определенной формы религии; обычное смешение этой сущности с ее историческими проявлениями и придатками 201—205

Сущность иудейской религии состоит в «сознании всеобщего непосредственного возмездия, самобытной реакции бесконечного против всего отдельного конечного, что считается возникшим по произволу». Отсюда — диалогический характер этой религии, святость традиции, роль прорицания, вера в Мессию. Гибель этой религии ..... 205—207

Сущность христианства есть созерцание противоборства всего конечного единству целого и примиряющей деятельности Божества через посредников, соединяющих в себе конечное с бесконечным, человеческое с божественным. Полемический характер христианства. Чувство святой скорби в нем ..... 207—211

Сознание посреднического призвания и божественности у Основателя христианства; Свобода и безграничность основной идеи христианства 211—214

Вечное значение этой идеи; невозможность гибели христианства . . . 214—215

Христианство допускает возникновение новых религий наряду с собой. Признаки возможности нарождения новой религии в настоящем. Призыв к энергичному развитию и обнаружению религиозной жизни 215—217

Послесловие ..... 218—222

Выяснение смысла выраженного выше предсказания о нарождении новых форм религий ..... 218—219

О судьбах христианства. Противоположность между католицизмом и протестантизмом. Порицание господствующего в некоторых кругах увлечения католицизмом — увлечения, основанного на недомыслии. Невозможность устранения в настоящем противоположности между этими формами христианства. Национальное значение протестантизма в Германии ..... 219—222

## **Указатель содержания «Монологов»**

*Стр.* **Обращение** ..... 279

Ценность сообщения другим людям своего внутреннего самосозерцания 280

1. Размышление .....

Внешний мир отражает начала нашего духа. Деление времени на части

есть глубокая аллегория Большинство людей считают свою **жизнь** всецело погруженной во время

и не понимают наличности вечного в самой временной жизни Тщетность размышлений о жизни у тех, кто не понимает сущности духа

Дух и мир. Необходимость есть взаимодействие свобод Независимость внутреннего действия от внешнего успеха. Ценность самосозерцания Совместимость самосозерцания с творчеством

**2. Испытания** ..... 289

Боязнь самопознания у большинства людей. Ее источник — отсутствие сознания человечности в себе

Сознание общечеловеческой основы в личности не исчерпывает задачи самопознания

Идея своеобразия личности

Противоположность между путем внешнего, художественного творчества и путем внутреннего саморазвития. Автор признает своим последний путь

Восприимчивость и любовь, как условия внутреннего развития. Необходимая осторожность восприимчивости

Внутренний характер любви и дружбы

Потребность в совершенном союзе и ее неосуществимость в земной жизни

3. Мирозерцание .....

Господствующее восхваление успехов человека в мире

Власть над телом и материальным миром не может быть последней целью

Отсутствие сотрудничества и взаимопомощи в духовном мире

Несовершенство современных осуществлений дружбы, семьи, государства. Источник его—в отсутствии восприимчивости к внутреннему общению

Вера в грядущий мир и принадлежность к нему

Трудность общения между единомышленниками. Необходимость развития самобытного языка и самобытной нравственности, как условий общения между лучшими людьми

**4. Горизонты .....:· 315**

Страх большинства перед неведомой грядущей судьбой

От этого страха избавляет сознание внутренней свободы. Проверка этого на прошлой жизни автора. Уверенность в сохранении этого на прошлой жизни автора. Уверенность в сохранении своей независимости в будущем

Надежда на расширение жизни в будущем. Роль фантазии как средства для восполнения недостающего в жизни

Неизменность истинной любви

Смерть друзей убивает часть жизни. Потребность в смерти как завершение жизни

5. Юность и старость ..... 326

Мысль о неизбежности старения духа несостоятельна  
Независимость духовной жизни от жизни тела  
Совместимость юношеской свежести с подлинной зрелостью  
Нормальное сочетание индивидуального саморазвития и деятельности для мира — цветения и несения плода. Первое есть вечная область юности

## **РЕЧИ О РЕЛИГИИ К ОБРАЗОВАННЫМ ЛЮДЯМ ЕЕ ПРЕЗИРАЮЩИМ**

### **Предисловие автора к третьему изданию**

Когда мой друг издатель сообщил мне, что эти речи распроданы и что необходимо новое издание, я был почти испуган и готов был желать, чтобы он без моего ведома втайне отпечатал некоторое количество новых экземпляров. Ибо я был в большом затруднении, что мне делать. Отказаться от следующего издания было бы неправильно в отношении книги и в отношении меня самого; ведь большинство истолковало бы это решение так, что я не одобряю книгу и желал бы взять ее назад. Но к чему, с другой стороны, разрешать издание, когда времена так резко изменились, что лица, к которым обращены эти речи, как будто совсем уже не существуют. Ведь, конечно, если осмотреться теперь среди образованных людей — по крайней мере на нашей родине, которая и первоначально имелась в виду в этих речах, — то пришлось бы скорее признать необходимым писать речи к ханжам и рабам буквы, к невежественным и бессердечным ненавистникам, погруженным в суеверие и религиозную манию; и я мог бы, радуясь тому, что Фосс обнажил свой пламенный меч, сложить этот отслуживший меч в арсенале литературы, не без удовлетворения свершенными им делами. Однако уже в посвящении я высказался, в какой мере, по моему мнению, раз опубликованная книга еще принадлежит своему автору, и в какой мере уже не принадлежит ему; и потому мне казалось рискованным отрицать всякие права на эту книгу людей, которые еще нуждаются в ней, — а решение вопроса, имеются ли такие люди или нет, есть собственно обязанность и дело издателя, — и я тем менее мог отрицать эти права, что еще теперь, работая над своей догматикой, я принужден был неоднократно ссылаться на эту книгу. Это соображение перевесило остальные, — как и вообще должно брать перевес то, что в каком-либо отношении может казаться обязанностью; и оставался только вопрос, чем я могу еще помочь книге при данных условиях. В этом отношении также я не мог принять иного решения и приложить иные мерки, кроме тех, которыми я руководился при

подготовке второго издания; и я хотел бы лишь, чтобы, с одной стороны, читатель нашел в новом издании большую строгость мысли, подобающую более зрелому возрасту и более многолетнему опыту, и чтобы, с другой стороны, читатель не предъявлял требований, которых я не мог удовлетворить. Ведь раз нужно было сохранить форму, в которую вылилась книга в эпоху ее первоначального составления, то я не мог изменить всего, что мне в пятьдесят лет не нравится в этом первом опыте, с которым я публично выступил в тридцать лет. Поэтому, хотя я и внес немало изменений в текст, но все они имеют внешний характер и касаются почти только стиля, причем, однако, моей целью не могло быть вытравить все юношеские черты. Возможность еще раз вернуться к этой книге была мне отрадна преимущественно потому, что эта книга подверглась ложным толкованиям, отчасти весьма странным, и что в ее суждениях находили противоречия с тем, что не только можно было ожидать от наставника христианской веры, но что я и сам, в качестве такового, говорил и писал. Эти ложные толкования обусловлены, главным образом, тем, что почти совсем не было обращено внимания на риторическую форму книги, хотя она достаточно сильно сказывается на каждой ее странице, а также и на позицию, которую я занимал в ней и которая ведь не только обозначена в заглавии, как праздный придаток, а действительно соблюдается всюду в тексте. Если бы это было принято во внимание, то, конечно, было бы нетрудно согласовать все, сказанное здесь, с остальными моими работами, как вышедшими почти одновременно с этой книгой, так и написанными значительно позднее, и меня не стали бы почти единым духом обвинять в спинозизме и гернгутерстве, в атеизме и в мистицизме. Мой образ мыслей об этих предметах уже тогда принял ту самую форму, которую он сохраняет и доселе — если не говорить о большей зрелости и ясности, неизбежно приходящей с годами, — тогда как многие, которые тогда, казалось, шли одной дорогой со мной, теперь отклонились на совсем иные пути. Для того, чтобы предупредить эти ложные толкования, а также, чтобы указать на различия между моими нынешними и прежними взглядами, и наконец, чтобы при случае высказать некоторые соображения, на которые наводят суждения книги и которые казались мне своевременными, — я дополнил каждую мою речь пояснениями. Мне особенно отрадно, и главным образом в интересах молодого поколения, которое симпатизирует или склонно симпатизировать мне, что новое издание моих речей совпадает с появлением моего учебника христианского вероучения. Пусть каждая из этих работ на свой лад содействует уяснению святейшего общего достояния человечества.

**Берлин, апрель 1821 г.**

**ПЕРВАЯ РЕЧЬ Самооправдание**

Может показаться неожиданным и возбудить в вас естественное удивление, что еще находится человек, который осмеливается выступать именно перед людьми, возвысившимися над уровнем обыденности и проникнутыми мудростью века, и просить внимания к предмету, находящемуся в полном пренебрежении. Признаюсь также, я не знаю ничего, что могло бы обеспечить мне даже более легкий исход — приобрести ваше одобрение моим стремлениям, не говоря уже о более желанной цели — внушить вам мои чувства и воодушевить вас в пользу моего дела. Ибо уже издавна вера не была делом каждого; и всегда лишь немногим была ведома религия, тогда как миллионы людей на разные лады забавлялись ее покрывалами и с улыбкой удовлетворялись ими. Но в особенности теперь жизнь образованных людей далека от всего, что хоть сколько-нибудь походило бы на религию. Я знаю, вы не только не посещаете заброшенных храмов, но и столь же мало поклоняетесь Божеству в святой тиши; в ваших изукрашенных жилищах нельзя найти иных святынь, кроме разумных изречений наших мудрецов и прекрасных творений наших художников; человечность и общественность, искусство и наука — какое бы участие в них ни принимал каждый из вас и сколько бы ни считал нужным из них усваивать — настолько овладели вашей душой, что уже ничего не остается для вечного и священного Существа, которое кажется вам находящимся по ту сторону мира, и вы не испытываете никаких чувств к нему и от него. Я знаю, как хорошо вам удалось развить земную жизнь с такой полнотой и многосторонностью, что вы уже не нуждаетесь более в вечности; создав себе свою собственную вселенную, вы ныне считаете излишним думать о той вселенной, которая создала вас самих. Я знаю, вы все согласны между собой в том, что уже нельзя сказать ничего нового и основательного об этом предмете, который был достаточно обсужден со всех сторон мудрецами и провидцами — я хотел бы не добавлять: насмешниками и священниками. Менее всего — это ни от кого не может ускользнуть — вы склонны выслушать в этом вопросе священников, давно уже отвергнутых вами и признанных недостойными вашего доверия, так как они охотнее всего живут именно лишь в пустынных развалинах своего святилища, и -даже там не могут жить, не портя и не разрушая их еще более. Все это я знаю; и все же, очевидно божественно побуждаемый некоей внутренней и непреодолимой необходимостью, я чувствую себя вынужденным говорить, и не могу взять назад своего приглашения, чтобы именно вы меня выслушали.

Что касается последнего, то я мог бы спросить вас: чем объяснить, что, тогда как о всяком предмете, как бы мал или ничтожен он ни был, вы охотнее всего ищите поучения у тех, кто посвятили ему свою жизнь и свои духовные силы, и потому ваша любознательность не чуждается даже хижин поселянина и мастерских ремесленников, — вы лишь в вопросах религии считаете особенно подозрительным все, что исходит от тех, кто не только сами объявляют себя испытанными в них, но и признаются таковыми со стороны государства и народа? Неужели вы, к нашему удивлению, способны доказать,

что именно эти лица не обладают опытом в деле религии, а, напротив, имеют и восхваляют все иное, кроме религии? Вряд ли вы это скажете, о лучшие люди! Не обращая особого внимания, как и надлежит, на такое несправедливое суждение, я признаюсь вам, что и я — член этого сословия; я решаюсь сделать это, рискуя, что, если вы не будете внимательно слушать меня, я подпаду в ваших глазах под одно общее наименование с массой этого сословия, из которого вы допускаете мало исключений. Это есть, по крайней мере, добровольное признание, ибо мой язык вряд ли легко выдал бы меня, и еще менее, я надеюсь, выдали бы меня похвалы, которые стали бы расточать моему начинанию мои товарищи по цеху. Ибо что я здесь делаю, лежит всецело вне их сферы и мало похоже на то, что они хотели бы слышать и видеть.<sup>1</sup> Уже отчаянные крики большинства из них о гибели религии не находят во мне отклика, ибо неведома эпоха, которая воспринимала бы религию лучше, чем современная; и я совершенно чужд староверческих и варварских жалоб, с помощью которых они хотели бы восстановить разрушенные стены своего иудейского Сиона и его готические башни. По этим и иным основаниям я хорошо сознаю, что во всем, что я имею сказать вам, у меня нет ничего общего с моим сословием; отчего же мне тогда не признаться в своей принадлежности к нему, как в любом ином случайном обстоятельстве?

Ведь излюбленные им предрассудки никоим образом не должны стеснять нас, и свято почитаемые им пограничные столбы для всех вопросов и бесед не должны иметь значения для нас. Итак, я говорю с вами, как человек, о священных тайнах человечества, о том, что есть самый глубокий двигатель моего бытия, с тех пор, как я мыслю и живу, и что навеки останется для меня высшим, какое бы влияние на меня ни оказали еще впрямь движения времени и человечества. И что я говорю, это проистекает не из разумного решения, и не из надежды или страха, а также не определяется ни каким-либо иным произвольным или случайным обстоятельством; напротив, это есть чистая необходимость моей природы; это есть божественное призвание; это есть то, что определяет мое место в мире и делает меня тем, что я есть. И потому будет и неуместно и неразумно говорить о религии — но то, что меня влечет, подавляет своей божественной силой эти мелкие соображения.

Вы знаете, что Божество неким неотъемлемым законом принудило само себя раздвоить до бесконечности свое великое творение, слепить всякое определенное бытие лишь из двух противоположных деятельностей и каждую из своих вечных мыслей осуществить в двух враждебных друг другу и все же друг друга обуславливающих и неразрывных формах-близнецах. Весь этот телесный мир, проникнуть вовнутрь которого есть высшая цель вашего исследования, представляется наиболее осведомленным и созерцательным из вас вечно продолжающейся игрой противоположных сил. Каждая жизнь есть лишь задержанное проявление постоянно возобновляющегося усвоения и истечения, как и каждая вещь обладает своим



определенным бытием лишь благодаря тому, что на своеобразный лад соединяет и удерживает в себе противоположные исконные силы природы. Поэтому и дух, как он нам является в конечной жизни, должен быть подчинен такому закону. Человеческая душа — ее преходящие действия, как и внутренние особенности ее бытия заставляют нас признать это — осуществляет себя преимущественно в двух противоположных влечениях. А именно, в силу одного из них она стремится утвердить себя, как нечто особое, и тем, в своем развитии, как и в своем сохранении, привлечь к себе окружающее, опутать его сетью своей жизни, впитать его в свое собственное существо и растворить в последнем. Другое влечение есть, напротив, жуткая боязнь одинокой отрешенности от целого, стремление отдаться и раствориться в чем-то более великом, сознавать себя охваченным им и зависимым от него. Поэтому все, что вы ощущаете и делаете в отношении вашего обособленного бытия, все, что вы зовете наслаждением и обладанием, есть действие первого стремления. И с другой стороны, где ваши усилия не направлены на обособленную жизнь, где вы, напротив, ищете и сохраняете равное для всех и объемлющее всех бытие, т. е. где вы признаете в вашем мышлении и действовании порядок и закон, необходимость и связь, право и пристойность, где вы покоряетесь и отдаетесь ему, — там действует второе стремление. Но, подобно тому, как ни одна из материальных вещей не существует на основе лишь одной из этих двух сил телесной природы, так и каждая душа соучаствует в обоих первичных отправлениях духовной природы; и полнота живого мира состоит в том, что между этими противоположными краями — из которых в одном почти исключительно властвует одно стремление, и в другом — другое, так что на долю противоположного приходится лишь бесконечно малая часть — все соединяющие звенья не только действительно наличны в человечестве, но и все объемлются общей связью сознания; и, таким образом, каждый отдельный человек, несмотря на то, что он не может быть иным, чем он есть, все же познает всякого другого человека столь же отчетливо, как и себя самого, и вполне постигает все отдельные формы человечества. Однако те, кто стоят на крайних концах этого великого ряда, более всего далеки от такого познания целого. Ибо указанное усваивающее влечение, проникнутое противостоящим ему, принимает характер ненасытной чувственности, которая, заботясь лишь об отдельной жизни, стремится все более обогащать ее на земной лад, быстро и сильно обеспечивать и развивать ее; такого рода люди, в постоянной смене между вожделением и наслаждением, никогда не выходят за пределы восприятий единичного и, занятые всегда своекорыстными отношениями, неспособны ни ощутить, ни познать большее и целое бытие и существо человечества. Людям иного рода, которые слишком могущественно охвачены противоположным влечением и, лишены сдерживающей силы, не могут сами приобрести никакого своеобразного развития, истинная жизнь мира должна поэтому также остаться скрытой, как им и не дано творчески влиять на нее и создавать в ней что-либо своеобразное: их деятельность сводится к бесплодной игре пустыми

понятиями; и так как они никогда ничего не созерцают жизненно, а посвящают все свое рвение отвлеченным предписаниям, которые все превращают в средство и нище не оставляют цели, то они терзают себя бессмысленной ненавистью к каждому явлению, которое выступает перед ними с силой и удачей. — Как свести воедино эти крайние удаленности, чтобы преобразить данный рад в замкнутое кольцо — символ вечности и совершенства? Правда, нередко люди, в которых оба стремления притуплены и приведены в неподвижное равновесие; но такие люди в действительности стоят ниже, чем представители обеих крайностей. Ибо этим обычным, хотя часто более высоко ценимым явлениям мы обязаны не живому союзу обоих влечений; напротив, оба они лишь сокращены и низведены до уровня косной посредственности, в которой ничто не выступает чрезмерно, потому что она лишена всякой свежей жизни. Если бы все, не обитающие на крайних концах, стояли в этой точке, к которой ложная мудрость слишком часто хочет привести молодое поколение, то все отошли бы от верной жизни и от созерцания истины, высший дух покинул бы мир, и воля Божества оказалась бы совершенно невыполненной. Ибо в загадки такой разделенной или доведенной до покоя смеси едва проникнет и более глубокий взор. Лишь его созерцательная сила могла бы оживить развеянные кости; для обычного же взора, напротив, мир, так заселенный, был бы лишь слепым зеркалом, которое не давало бы поучительного отражения нашего собственного образа и мешало бы видеть лежащее позади него. Поэтому во все времена Божество посылает изредка существа, в которых оба влечения сочетаются плодотворным образом — будь это сочетание непосредственным даром свыше или результатом упорного завершеного самовоспитания. Такие существа вооружены дивными дарами, и путь им прокладывает присущее им всемогущее Слово; они суть истолкователи Божества и его дел и посредники между тем, что без них навеки осталось бы разъединенным. Я разумею прежде всего тех, кто в своей жизни вычеканивают в особой, своеобразной форме именно упомянутую всеобщую сущность духа, лишь тень которой доступна большинству в призрачности пустых понятий, и именно потому сочетают обе противоположных деятельности. Они тоже ищут порядка и связи, права и пристойности; но так как они ищут, не теряя самих себя, то они и находят. Они не выдыхают своего влечения в невыполнимых желаниях; оно исходит из них как творческая сила. Ради него они действуют и усваивают окружающее, а не ради лишенной всего высшего животной чувственности. Не разрушая, поглощают они, а творя, преобразовывают, всюду вдыхают в жизнь и ее орудия высший дух, упорядочивают и образуют мир, который носит печать их духа. Так они разумно управляют земными делами, являются законодателями и изобретателями, героями и покорителями природы, или же добрыми демонами, которые в более узких кругах, в тиши создают и подготавливают более благородное блаженство. Такие люди сами своим существованием доказывают, что они — посланники Бога и посредники между ограниченными людьми и бесконечным человечеством. Пусть обратит на них свой взор тот, кем владеет сила пустых

понятий; пусть он узнает в **их** делах предмет своих непродуманных стремлений, а в единичном, что он доселе презирал, — материал, который он собственно должен обработать; они объяснят ему не слышанный им голос Бога, они примирят его с землей и с его местом на ней. Но чисто земные и чувственные натуры еще более нуждаются в таких посредниках, через которых они научаются постигать то, что было суждено в высшей сущности человечества их собственным действиям и стремлениям. Они именно нуждаются в том, чтобы кто-либо противопоставил их низшему животному наслаждению иное наслаждение, предмет которого есть не то или это, а единое во всем и все в едином, — наслаждение, не знающее иных границ, кроме мира, который дух научился охватывать; они нуждаются в ком-либо, кто показал бы их боязливому беспомощному своекорыстию иное своекорыстие, через которое человек

в земной жизни и вместе с нею любит высшее и вечное, и противопоставил бы их неровному и страстному стремлению к захвату спокойное и верное владение. Познайте отсюда вместе со мной, каким неоценимым даром должно быть явление такого человека, в котором высшее чувство создало воодушевление, уже не могущее скрываться в молчании, у которого почти отдельные биения пульса духовной жизни приобретают способность передаваться в образах и словах, и который почти произвольно — ибо оно мало заботится о чьем-либо присутствии — должен изображать для других, в качестве мастера какого-либо божественного искусства, то, что происходит в нем. Такой человек есть истинный жрец высшего, ибо он приближает последнее к тем, кто привыкли воспринимать лишь конечное и малое; он представляет им небесное и вечное как предмет наслаждения и единения, как единственный неисчерпаемый источник того, на что направлены все их стремления. Так он пытается пробудить дремлющее зерно лучшей человечности, возжечь любовь к высшему, превратить пошлую жизнь в благородную, примирить детей земли с небом, которое им принадлежит, и противодействовать тяжеловесной привязанности времени к более грубому материалу. Это есть высшее священство, которое возвещает нам внутренний смысл всех духовных загадок и говорит к нам из царства Божия; это есть источник всех видений и пророчеств, всех священных произведений искусства и вдохновенных речей, которые рассеваются наудачу, без мысли о том, найдет ли их чья-либо восприимчивая душа и даст ли созреть в себе их плодам.

О, если бы некогда это призвание посредников прекратилось, и человеческое священство приобрело более прекрасное назначение! О, если бы наступило время, которое древнее пророчество описывает так, что никто уже не будет нуждаться в поучении, ибо все будут научены Богом! Если бы святой огонь горел повсюду, то не нужны были бы пламенные молитвы, чтобы вымолить его у неба, а достаточна была бы лишь кроткая тишина священных дев, чтобы поддерживать его; тоща он не разгорался бы в иногда устрашающее

пламя, а единственным его стремлением было бы уравнивать у всех людей их скрытое внутреннее горение. Каждый светил бы тоща в тишине себе и другим, и сообщение священных мыслей и чувств было бы легкой игрой: оно сводилось бы лишь к тому, чтобы в одном месте соединять различные лучи этого светила, в другом — преломлять их, здесь — рассеивать, а там — снова усиливать и сосредоточивать на отдельных предметах. Тоща самое тихое слово уже понималось бы, тоща как теперь и самые ясные высказывания способны вызывать недоумение. Можно было бы сообща проникать вовнутрь святилища, тоща как теперь приходится заниматься подготовительным делом в его преддверии. Делить с друзьями и соучастниками завершённые созерцания, — насколько это отраднее, чем выступать с еле набросанными очертаниями в далекую пустыню! Но как далеки теперь друг от друга те, между кем было бы возможно такое общение! Они распределены в человечестве с такой мудрой бережливостью, как в мировом пространстве — скрытые точки, из которых распространяется во все стороны эластичная материя — именно так, что лишь внешние границы сфер их деятельности соприкасаются между собой — чтобы ничто не было совершенно пусто, — но никогда одна точка не может встретиться с другою. Это мудро, конечно: ибо тем более всего тоска по общению и близости овладевает теми, кто всего более в них нуждаются; тем непреодолимее она вынуждает их самих создавать себе недостающих сотоварищей.

Именно этой силе я подчинен, и таково мое призвание. Дозвольте мне говорить о себе самом: вы знаете, что никогда не может быть гордостью то, что велит говорить благочестие; ибо оно всегда полно смирения. Благочестие было материнским телом, в святой теме которого питалась моя юная жизнь и готовилась к еще скрытому от нее миру; в нем дышал мой дух, пока он еще не нашел соответствующей себе сферы в науке и жизненном опыте; оно помогало мне, когда я начал проверять веру отцов и очищать мысли и чувства от мусора прошедших времен; оно осталось у меня, даже когда Бог и бессмертие поры детства исчезали перед моим сомневающимся взором; оно произвольно ввело меня в деятельную жизнь, показало мне, как сохранить святость моего нераздельного бытия, со всеми моими достоинствами и недостатками, и лишь через него я научился дружбе и любви. Когда речь идет о других преимуществах людей, то я знаю, что перед вашим судом, мудрые и рассудительные члены народа, мало свидетельствует об обладании ими, если человек может сказать, как он их ценит; ибо он может их знать из описаний, из наблюдения других, или как узнаются все добродетели—из общераспространенной старой молвы об их существовании. Но с религией дело обстоит так, и она сама настолько редка, что когда кто высказывает о ней что-либо, он необходимо должен обладать этим, ибо он никогда не мог услышать об этом. В особенности из всего, что я восхваляю и ощущаю как ее действие, вы мало могли бы найти даже в священных книгах; и кому из тех, кто сам того не испытал, это не покажется соблазном или безумием?

Но если я, проникнутый этими чувствами, должен наконец говорить и свидетельствовать о ней, то к кому же мне обращаться, как не к сынам Германии? И где, если не здесь, я нашел бы слушателей для своей речи? Не слепая любовь к родной почве или к сотоварищам по государству и языку заставляет меня говорить, а глубокое убеждение, что вы—единственные люди, которые способны к тому, а следовательно и достойны того, чтобы ваш дух был пробужден к святым и божественным вещам. Гордые островитяне, многими не по заслугам почитаемые, не знают иного лозунга, кроме приобретения и наслаждения; их ревность к науке есть лишь пустая игра, их жизненная мудрость есть фальшивый драгоценный камень, искусно и обманчиво составленный, по их обыкновению, и даже их святая свобода слишком часто за дешевую цену служит своекорыстию. Нищие они не придают серьезного значения тому, что выходит за пределы осязательной пользы.<sup>3</sup> Ибо всю науку они лишили жизни и употребляют лишь мертвое дерево на мачты и весла для своего жизненного плавания в погоне за приобретениями. И точно так же они ничего не знают о религии; каждый только проповедует привязанность к старыми обычаям и защищает свои уставы, и в этих обычаях и уставах усматривает мудро завещанное государственным устройством средство против исконного врага государства. По иным причинам, напротив, я отвращаюсь от франков, вид которых невыносим почитателю религии, ибо они в каждом своем действии, в каждом слове почти топчут ногами ее святейшие законы. Грубое равнодушие миллионов народа и остроумное легкомыслие отдельных блестящих умов, с которыми они смотрят на самое возвышенное событие истории, которое не только совершается на их глазах, но и захватывает их всех и определяет каждое движение их жизни; достаточно доказать, как мало они способны к святому трепету и к истинному поклонению. И что для религии ненавистнее разнузданного высокомерия, с которым властители народа противоборствуют вечным законам мира? И что она внушает, как не рассудительную и смиренную умеренность, о которой им, по-видимому, не напоминает ни малейшее движение чувства? Что для нее священнее высокой Немезиды, самые ужасные действия которой они даже не понимают в безумии своего ослепления? Где изменчивые кары, которым в других случаях было бы достаточно пасть на отдельные семьи, чтобы наполнить целые народы благоговением к небесному Существо и на века занять творения поэтов мыслью о вечной судьбе, — где такие кары тщетно повторяются тысячекратно, там до смешного незаметным и не слышанным прозвучал бы одинокий голос! Лишь в родной стране царит счастливый климат, который ни одному плоду не дает погибнуть без остатка; здесь вы встречаете, хотя и в рассеянном виде, все, что украшает человечество, и все, что созревает, развивает где-либо, по крайней мере в единичных личностях, свою прекраснейшую форму; здесь нет недостатка ни в мудрой умеренности, ни в тихом созерцании. Поэтому и религия должна найти здесь убежище от плотского варварства и от холодного земного настроения эпохи.

Но только не причтите меня, не успев меня выслушать, к тем, на кого вы смотрите, как на грубых и необразованных, как если бы способность воспринимать святыню, подобно устаревшей одежде, перешла к низшим слоям народа, которым одним еще подобает с трепетом и верой ощущать незримое. Вы доброжелательны к этим нашим братьям и хотели бы, чтобы им говорили и о других высших предметах, о нравственности, праве и свободе, и чтобы тем хоть на отдельные мгновения их внутренние стремления были направляемы к лучшим целям и в них пробуждалось бы сознание достоинства человечества. Так пусть же говорят с ними и о религии; пусть возбуждают иногда все их существо, чтобы оживлялось и это святейшее его влечение, в какой бы скрытой глубине оно ни дремало; пусть восхищают их отдельными вспышками света, которые можно выманить из глубины их сердца; пусть будет проложен им выход из их узкой ограниченности в бесконечность, и пусть на мгновение их низкая чувственность будет поднята до высокого сознания человеческой воли и человеческого бытия — этим будет всегда много приобретено. Но я спрашиваю вас: разве вы обращаетесь к ним, когда вы хотите вскрыть глубочайшую связь и высшую основу человеческих сил и действий, — когда понятие и чувство, закон и действие должны быть прослежены до их общего источника, и действительность должна быть изображена, как она вечно и необходимо основана на существовании человечества? Или, напротив, было бы уже большим счастьем, если бы в таких случаях ваши мудрецы находили понимание хотя бы только у лучших из вас? Но именно этого я теперь стремлюсь достигнуть в отношении религии. Не отдельные ощущения хочу я возбудить, которые, быть может, принадлежат к ее области; не отдельные представления хочу я обосновать или оспаривать — я хотел бы ввести вас в последние глубины, из которых возникает религия повсюду, во всех ее формах; я хотел бы показать вам, из каких задатков человечества она проистекает и как она принадлежит к тому, что есть для вас высшее и ценнейшее; я хотел бы повести вас на вершину храма, чтобы вы могли созерцать все святилище и открыть его самые скрытые тайны. И неужели вы серьезно допускаете во мне мысль, что те, кто сильнее всего отягощены ежедневными земными заботами, более всего способны приблизиться к небесному? Что те, кто трепещут перед силой мгновения и тесно прикованы к ближайшим предметам, могут выше всего поднять свой взор над морем? И что яснее всего откроет живое Божество тот, кто в однообразной смене мертвой хлопотливости еще не нашел самого себя? Нет, вы не захотите утверждать это, позоря самих себя! И потому я могу обратиться лишь к вам самим, вам, призванным покинуть обыденную стоянку людей и не боящихся трудного пути в глубины человеческого духа, чтобы найти живое созерцание ценности и связи его внутренних движений и внешних деяний.

С тех пор, как я сказал себе это, я долго находился в боязливом настроении тех, кто, потеряв любимую драгоценность, не решаются обыскать еще последнее место, в котором она может быть скрыта. Ибо если были времена,

когда вы еще считали свидетельством особого мужества частичное отрешение от догматов унаследованного вероучения, когда вы еще охотно говорили и слушали речи об отдельных предметах, если дело шло об уничтожении одного из таких понятий, — когда вам, тем не менее, еще нравилось видеть образ религии стройным и украшенным, ибо вы хотели сохранить по крайней мере у прекрасного пола некоторое чувство к святыне — то теперь и эти времена уже давно прошли; теперь уже совсем не должно быть речи о благочестии, и даже грации должны с неженственной жестокостью разрушить нежнейший цветок человеческой души. Поэтому у меня нет иной исходной точки для возбуждения вашего участия, которое я ищу, кроме самого вашего презрения; я хочу прежде всего только призвать вас быть вполне просвещенными и последовательными в этом презрении.

Исследуем же, прошу вас, из чего оно собственно исходило, из ясного ли воззрения или из неопределенной мысли? Из рассмотрения ли различных видов и сект религии, как они встречаются в истории, или из общего понятия, которое вы, быть может, произвольно составили себе? Без сомнения, некоторые из вас признаются в последнем; но будем остерегаться» чтобы то не были и здесь, как обычно, неправомерно решительные судьи, которые оценивают поверхностно, не дав себе труда приобрести точное знание о предмете, как он есть в действительности. Страх перед высшим существом или вообще мысль о влиянии последнего на события этой жизни — что вы зовете провидением, — и затем ожидание будущей жизни после этой — что вы зовете бессмертием, — не из этих ли признаков образуется ваше общее понятие? Не эти ли два отвергаемых вами представления образуют, по вашему мнению, в той или иной форме основу всякой религии? Но скажите мне, дорогие, как вы нашли это? Ведь все, что происходит в человеке или исходит от него, может рассматриваться и познаваться с двоякой точки зрения. Если вы что-либо рассматриваете из его средоточия, т. е. в его внутреннем существе, то оно есть выражение человеческой природы, основанное на одном из ее необходимых способов действия или влечений, или как бы вы ни называли это — ибо я не хочу теперь углубляться в тонкости вашего технического языка. Если вы, наоборот, рассматриваете что-либо извне, согласно определенному положению или форме, которые оно принимало в тех или иных случаях, то оно есть продукт времени и истории. С какой же стороны вы смотрите на религию, на это великое духовное явление, когда вы пришли к указанным представлениям, как к общему содержанию всего, что когда либо обозначалось этим именем? Вряд ли вы скажете: через рассмотрение первого рода. Ведь тогда, о лучшие люди, вы должны были бы допустить, что эти мысли как-либо основаны на человеческой природе. И если бы вы сказали, что в том виде, как они теперь встречаются, они возникли из неправильного истолкования или ложного направления необходимого стремления человечества, то вам же надлежало бы отыскать в них истинное и вечное, и соединить ваши усилия с нашими, чтобы человеческая природа была избавлена от несправедливости, которую

она всегда претерпевает, когда что-либо в ней неверно познается или направляется. Во имя всего, что вам свято — а, согласно только что выраженному признанию, для вас должно быть что-либо свято — я заклинаю вас, не уклоняйтесь от этой задачи, чтобы человечество, которое вы почитаете вместе с нами, не обрушилось на вас с праведным гневом за то, что вы покинули его в столь важном деле. И если из того, что вы услышите от меня, вы узнаете, что дело это, можно сказать, уже сделано, то я могу рассчитывать на вашу благодарность и ваше одобрение, даже если результат окажется иным, чем вы полагали. — Но, вероятно, вы скажете, что ваши понятия о содержании религии исходят из другой точки зрения на это духовное явление. Вы исходили из внешнего, из мнений, учений, обычаев, в которых проявляется всякая религия, и в них дело сводится всегда к указанным двум началам. И вы тщетно искали именно чего-либо внутреннего и первичного, что соответствовало бы этому внешнему, и потому религия есть для вас повсюду не что иное, как пустая и обманчивая видимость, которая, подобно мутному и давящему слою тумана, облекла часть истины. Это есть, конечно, ваше подлинное мнение. Но если вы действительно считаете оба эти пункта содержанием религии, во всех формах, в которых она является в истории, то все же мне позволительно спросить, правильно ли вы наблюдаете все эти явления и верно ли восприняли их общее содержание? Если ваше понятие возникло таким путем, то вы должны обосновать его на единичном; и если кто-либо скажет вам, что это понятие неверно и неудачно, и укажет вам на что-нибудь иное в религии, что не пусто, а имеет зерно здорового характера и происхождения, то вы должны сперва выслушать и судить, прежде чем продолжать презирать. Выслушайте же без досады, что я хочу теперь сказать тем, которые с самого начала, идя более верным, но и более трудным путем, держались созерцания единичного.

Вы, без сомнения, знакомы с историей человеческих заблуждений и изучали различные строения религиозного учения, начиная с бессмысленных басен диких народов вплоть до самого утонченного деизма, от грубых суеверий человеческих жертвоприношений до тех плохо сшитых обрывков метафизики и морали, которые теперь зовутся очищенным христианством; и вы нашли, что все они нелепы и противоречат разуму. Я далек от желания противоречить вам в этом. Напротив, если вы откровенно полагаете, что самые развитые религиозные системы обладают этим качествами не менее, чем самые грубые; если вы только убеждены, что божественное не может лежать в ряду, который с обеих сторон заканчивается пошлым и презренным, — то я охотно избавлю вас от труда точной оценки всех звеньев, лежащих в промежутке между этими конечными точками. Пусть все они представляются вам переходами и приближениями к концу, причем каждое выходит из рук своей эпохи все более блестящим и отточенным, вплоть до того совершенства, с которым это искусство в наш век творит свои игрушечные создания. Но это совершенствование вероучений и систем часто



было чем угодно, только не совершенствованием религии; и нередко первое двигалось вперед без малейшего соучастия второго. Я «е могу без досады говорить об этом; ибо всякого, кому доступно все проистекающее из глубины души, и кто серьезно озабочен развитием и выявлением всех сторон человека, должно приводить в отчаяние, что высокая и прекрасная сущность религии часто бывала удаляема от своего назначения и, лишенная свободы, пребывала в низком рабстве у схоластического и метафизического духа варварских и холодных эпох. Ведь что такое эти системы вероучения, рассматриваемые сами по себе, как не искусственные создания счисляющего рассудка, в которых каждая отдельная черта имеет смысл лишь во взаимном ограничении? Или они кажутся вам чем-либо иным, эти богословские системы, эти теории о начале и конце мира, эти анализы природы непостижимого существа, в которых все сводится к холодному аргументированию, и даже высшее может быть обсуждаемо лишь в тоне обычного школьного спора? Но ведь поистине — я апеллирую к вашему собственному чувству—не таков характер религии. Итак, если вы сосредоточились лишь на религиозных догматах и мнениях, то вы еще совсем не знаете самой религии, и то, что вы презираете, не есть она сама. Но потому же вы не проникли глубже, к тому, что есть внутренняя сторона этой внешности? Я изумляюсь вашему добровольному неведению, благодушные исследователи, и слишком спокойной нетребовательности, с которой вы остаетесь при том, что прежде всего было вам показано. Почему вы не исследуете самой религиозной жизни, и в особенности те благочестивые понятия духа, в которых все иные, известные вам деятельности оттеснены или почти устранены, и вся душа растворяется в непосредственном чувстве бесконечного и вечного и своего общения с ним? Ведь в такие мгновения непосредственно и наглядно проявляется то умонастроение, которое, по вашим словам, вы презираете. Лишь кто наблюдал и истинно познал человека в этих душевных движениях, может узнать религию и в упомянутых внешних ее выражениях; и тогда он увидит в них нечто иное, чем вы. Ибо, конечно, в последних всюду находится в связанном состоянии нечто от этого духовного содержания, без которого они совсем не могли бы возникнуть; но кто не умеет освободить его, тот—как бы тонко он ни анализировал их и как бы точно ни исследовал—будет иметь перед собой лишь мертвую, холодную массу. Наставление же это—искать скорее в рассеянных и по внешности неразвитых элементах ваш предмет, которого вы не могли найти в развитых и законченных явлениях, — это наставление не может ведь показаться вам странным, так как все вы более или менее заняты философией и осведомлены в ее судьбах. Хотя в ней дело должно было бы обстоять совсем иначе, и она по природе должна стремиться развиваться в замкнутой связи, так как лишь через созерцаемую полноту оправдывается всякое своеобразное познание и обеспечивается его сообщение другим, но все же вы в ее области часто должны идти этим же путем. Вспомните лишь, сколь немногие из тех, кто на собственном пути проникли внутрь природы и духа и созерцали из взаимное отношение и внутреннюю гармонию, — сколь

немногие из них все же сразу установили систему своего<sup>1</sup> знания; напротив, почти все сообщили свои открытия в более нежной, хотя и более хрупкой форме. И когда вы, наоборот, смотрите на системы во всех школах и видите, как часто они суть только приют и убежище мертвой буквы, так как именно — за редкими исключениями — самотворящий дух высокого размышления слишком бегл и слишком свободен для строгих форм, на которые больше возлагают надежды те, кто любит воспринимать и запечатлевать в себе чужое, — не воскликнете ли вы, когда кто-либо, не отличая этих изготовителей обширных зданий философии от самостоятельно философствующих, захочет ознакомиться через них с духом исследования — не воскликнете ли вы ему в поучение: «Берегись, друг! Не попади только к тем, кто идет по чужим стопам, собирает чужое и останавливается на том, что дал другой. Ибо у них ты не найдешь духа их искусства; ты должен идти к творцам, на которых он наверное почиет». И вот, к тому же должен я здесь призвать вас, ищущих религии, в которой тем более должно иметь место то же самое, так как она по всему своему существу настолько же далека от всего систематического, насколько философия по своей природе склонна к нему. Сообразите также, кому мы обязаны этими искусными построениями, над изменчивостью которых вы насмехаетесь, нестройность которых вас оскорбляет, и несоответствие которых их мелочной тенденции вам почти смешно? Героям ли религии? Назовите же среди всех, кто принес нам какое-либо новое откровение или хотя бы утверждает, что принес таковое, — начиная с того, кому впервые предносился образ царствия Божия — что, конечно, скорее всего иного могло бы привести в области религии к системе — и кончая последними мистиками или мечтателями, как вы обычно называете их, в которых, быть может, еще блестит исконный луч внутреннего света — а ведь вы не потребуете от меня, чтобы я причислил к ним тех богословов буквы, которые верят, что спасение мира и свет мудрости можно найти в новом одеянии их формул или в новых оборотах искусных доказательств, — назовите мне среди них хоть одного, кто считал бы стоящим заниматься такой сизифовой работой! Нет, лишь в отдельные мгновения, при разрядке небесных чувств, когда священный огонь должен излиться из переполненной души, раздастся могучий гром их речи, возвещающий, что через них говорит Божество. Совершенно так же понятие и слово есть, конечно, необходимое и неотделимое от внутреннего содержания выявление и, как такое, понятно именно лишь через свое внутреннее содержание и вместе с ним. А еще сочетать учение с учением — это они делают лишь при случае, когда нужно устранить недоразумения или вскрыть пустую видимость; а ведь только из таких сочетаний многих учений постепенно складываются эти системы. Поэтому вы не должны останавливаться с самого начала на том, что есть лишь повторенный и часто измененный отголосок такого первоначального звука; вы должны перенестись внутрь благочестивой души и постараться понять ее воодушевление; в момент самого действия вы должны воспринять это созидание тепла и света в душе, отдающейся вселенной;<sup>4</sup> иначе вы ничего не

узнаете о религии и уподобитесь тому, кто слишком поздно подносит горячий материал к огню, высеченному сталью из камня, и находит лишь холодную, ничтожную частицу грубого металла, которая уже ничего не может зажечь.

Итак, я требую, чтобы вы, отвлекшись от всего, обычно причисляемого к религии, обратили взор лишь на внутренние душевные движения и настроения, о которых свидетельствуют все речи и дела боговдохновенных людей. Лишь если вы и тогда не найдете здесь ничего истинного и существенного и не приобретете иного взгляда на дело — я надеюсь, лучшего взгляда, несмотря на ваши знания, ваше образование и ваши предрассудки; если вы и тогда не расширите и не измените вашего мелочного представления, которое было ведь создано лишь внешним наблюдением; если вы и тогда еще сможете презирать это устремление души к вечному, и вам будет казаться смешным рассматривать и с этой точки зрения все, что важно для человека, — тогда действительно я признаю свое дело проигранным и поверю, наконец, что ваше презрение к религии соответствует вашей природе; и тогда мне будет не о чем более говорить с вами.

Не опасайтесь, что я в конце прибегну еще к обычному средству и укажу вам, как необходима религия, чтобы поддерживать в мире право и порядок и мыслью о всевидящем оке и о бесконечном могуществе приходиться на помощь близорукости человеческого предвидения и узким пределам человеческой силы; или что она есть верный друг и спасительная опора нравственности, так как своими святыми чувствами и блестящими горизонтами она значительно облегчает слабому человеку борьбу с самим собой и осуществление добра. Так, правда, говорят те, кто выдают себя за лучших друзей и самых ревностных защитников религии; я же не хочу решать, что больше презирается в таком сочетании мыслей, — право ли и нравственность, которые представляются нуждающимися в поддержке, или же религия, которая должна их поддерживать, или наконец вы сами, к которым обращаются с такой речью. Ибо если этот мудрый совет должен быть дан вам самим, то как нагло было бы с моей стороны требовать от вас, чтобы вы легкомысленно играли вашими внутренними чувствами и через посредство чего либо, что вы не имеете иных оснований почитать и любить, определялись бы к тому, что вы и без того уже почитаете и осуществляете? Или если этими речами вам хотят лишь шепнуть на ухо, что вы должны делать в угоду народу, — то как можете вы, призванные воспитывать других и уподоблять их себе, начать с того, что будете обманывать их и выдавать им за священное и существенно необходимое то, к чему вы сами глубоко равнодушны и что, по вашему убеждению, они тоже могут отбросить, как только они поднимутся на ту ступень, на которой вы стоите? Я, по крайней мере, не могу призывать вас к такому образу действий, в котором я усматриваю гибельнейшее лицемерие в отношении мира и в отношении вас

самих; и кто хочет так рекомендовать религию, тот неизбежно лишь умножает презрение, которым она уже окружена. Ибо, допуская даже, что наши гражданские учреждения еще в высокой степени страдают несовершенством и обнаружили еще мало силы в предупреждении или истреблении произвола, — какой недопустимый отказ от насущного дела, какое трусливое недоверие к улучшению заключалось бы в намерении призвать на помощь нежелательную саму по себе религию! Ответьте мне лишь на одно:<sup>5</sup> имели ли бы вы правовое состояние, если бы его существование основывалось на благочестии? И не ускользает ли от вас, как только вы исходите отсюда, само понятие права, которое вы считаете столь священным? Так примитесь же непосредственно за само дело, если вам кажется, что оно находится в таком плохом положении; улучшайте законы, изменяйте учреждения, дайте государству железные руки, дайте ему сотни глаз, если оно их еще не имеет, но не усыпляйте тех, которые оно имеет, обманчивыми песнями. Не смешивайте этого дела с иным, — не то вы его совсем не устроите; и не объявляйте, к позору человечества, его самое возвышенное создание паразитическим растением, которое может питаться лишь чужими соками.

Даже в нравственности — я говорю это в согласии с вашими собственными воззрениями — даже в нравственности, которая гораздо ближе к нему, не нуждается право, чтобы обеспечить себе неограниченное господство в своей области; оно должно быть совершенно самостоятельно. Государственные люди должны всюду уметь осуществлять его, и тот, кто утверждает, что это возможно лишь через распространение религии — если вообще можно произвольно распространять то, что существует, проистекая лишь из души, — тот вместе с тем утверждает, что государственными деятелями должны быть лишь люди, способные вселить в человеческое сознание дух религии; но к какому темному варварству несчастных времен это вернуло бы нас! Но точно так же и нравственность не может в такой форме нуждаться в религии. Ибо что ониразумеют под этим, как не то, что слабое, искушаемое сознание должно искать себе помощи в мысли о будущем мире? Но кто делает различие между тем и этим миром, обманывает сам себя; по крайней мере все, у кого есть религия, знают лишь один мир. Поэтому если нравственности чуждо искание благополучия, то будущая жизнь не имеет большего значения, чем настоящая; и если она должна быть совершенно независимой от одобрения, то авторитет вечного Существа может означать для нее не более, чем авторитет мудрого человека. Если нравственность теряет свой блеск и свою прочность от каждой посторонней примеси, то еще более — от соединения с тем, что всюду выдает свою высокую и чуждую окраску. Но об этом вы достаточно слышали от тех, кто защищает независимость и всемогущество нравственных законов; я же добавляю, что и в отношении религии свидетельствует о величайшем презрении желание пересадить ее на чуждую почву, на которой она должна иметь служебное назначение. Даже и господствовать она не хотела бы в чужой области, ибо она не склонна к

завоеваниям и не стремится расширять свои владения. Ее удовлетворяет сила, принадлежащая ей по праву и в каждое мгновение снова заслуживаемая ею; и ей, которая все освещает, тем более свято то, что утверждает равное с ней место в человеческой природе.<sup>6</sup> Но непременно хотят, чтобы она настоящим образом служила; она должна иметь цель и доказать свою полезность. Какое унижение! Неужели ее защитники должны жадно стремиться доставить ей это унижение? Пусть лучше те, кто всюду ищут пользы и в глазах которых даже право и нравственность в конечном счете существуют в интересах чего то иного, сами потонут в этом вечном круговороте всеобщей полезности, в котором они топят все блага и в котором ничего не понимает человек, желающий сам для себя быть чем-либо, — пусть лучше они погибнут, чем выдают себя за защитников религии, дело которой они поддерживают так неумело! Какая слава для нее, небесной, что она так удачно устраивает земные дела людей! Какая честь для нее, свободной и беспечной, что она умеет до некоторой степени обострять и утончать совесть людей! Ради этого она не снизойдет для вас с неба! Что любитя и ценится в интересах чего-либо иного, вне его лежащего, то может быть полезным, но не бывает необходимо само по себе; и разумный человек оценивает его лишь в соответствии с целью, которой оно служит. И эта цена оказалась бы для религии довольно ничтожной; я, по крайней мере, не дал бы много за нее; ибо я должен сознаться, я не могу придавать особого значения тем несправедливым поступкам, которые она будто бы предупреждает, и тем нравственным действиям, которые она должна порождать. И если это есть единственное, что могло бы доставить ей почитание, то я не хочу принимать в ней участие. Это слишком незначительно, даже чтобы только мимоходом рекомендовать ее. Воображаемая слава, исчезающая при ближайшем рассмотрении, не может помочь религии, выступающей с более высокими притязаниями. Что религиозность сама по себе с необходимостью проистекает из глубины всякой лучшей души, что ей принадлежит самостоятельная сфера сознания, в которой она неограниченно властвует, что она достойна того, чтобы своей внутренней силой оживлять благороднейших и лучших людей и быть воспринятой и познанной ими в своем глубочайшем существе, — вот что я утверждаю и что я хотел бы обеспечить за ней; вам же теперь надлежит решить, стоит ли выслушать меня, прежде чем еще более укрепиться в своем презрении.

## **ВТОРАЯ РЕЧЬ О сущности религии**

Вы вероятно знаете, как старый Симонид упорным и все более длительным замедлением ответа заставил умолкнуть тех, кто затруднял его вопросом, что такое боги. Я хотел бы начать с подобного же замедления в нашем вопросе, столь сходном с упомянутым и не менее объемлющем—в вопросе о том, что такое религия. Разумеется, не для того, чтобы молчать и, подобно Симониду, оставить вас в недоумении; но для того, чтобы вы, приняв сами участие в размышлении, обратили на некоторое время взор на искомый пункт и

совершенно отрешились от всех иных мыслей. Ведь первое требование даже лиц, которые вызывают только низших духов, состоит в том, чтобы зритель, желающий видеть их явления и быть посвященным в их таинства, подготовился к ним в священной тишине через воздержание от земных вещей и затем, не отвлекаясь созерцанием посторонних предметов, с неразделенными чувствами смотрел на место, где должно показаться явление. Еще гораздо более имею право требовать такой послушной сосредоточенности я, так как я намереваюсь вызвать перед вами редкого духа, которого вы должны будете наблюдать долго с напряженным вниманием, чтобы признать в нем того, кого вы ищете, и постигнуть его черты, полные глубокого значения. Да, конечно, лишь если вы будете стоять перед священными кругами с той свободной трезвостью духа, которая ясно и правильно воспринимает каждое очертание, и, не поддаваясь ни соблазну старых воспоминаний, ни влиянию предвзятых допущений, будете стремиться из самих себя постигнуть изображаемое, — лишь тогда я могу надеяться, что вы если и не полюбите религию, которую я хочу вам показать, то по крайней мере сойдетесь в понимании ее значения и признаете ее высшую природу. Я хотел бы иметь возможность показать вам ее в каком-либо хорошо знакомом образе, чтобы вы тотчас же по ее чертам, по ее движениям и манерам вспомнили, что вы где-то видели ее в жизни. Но это невозможно; ибо в том виде, как я хочу ее показать вам, в ее первоначальном самобытном виде, она не выступает публично, а лишь тайно открывается тем, кого она любит. Да и не к одной только религии применимо, что то, в чем она открыто выражается или чем она публично представлена, уже не есть вполне она сама; напротив, о всем, что может быть признано по внутренней своей сущности чем-либо самобытным и своеобразным, можно по праву сказать то же самое, именно, что все внешнее, в чем оно выражается, уже не всецело принадлежит ему и не точно ему соответствует. Ведь даже язык не есть чистый продукт познания, как и нравы не суть чистый продукт настроения. В особенности это верно теперь и в отношении нас. Ибо к числу все более развивающихся характерных черт нового времени, отличающих его от старого, принадлежит то, что уже почти никто не есть что-либо особое, а все суть все. Подобно тому, как образованные народы вступали в столь многостороннее общение между собой, что их своеобразный характер уже не выступает чисто в отдельных моментах жизни, — так и в пределах человеческой души создано столь широкое и полное общение, что всякий элемент души, который вы можете мысленно выделить в качестве отдельной способности, отнюдь не создает столь же обособленно своих продуктов; напротив — разумеется, в общем и целом — каждая способность в каждом своем отправлении настолько проникается и определяется предупредительной любовью и поддержкой другой способности, что во всяком создании можно найти все, и хорошо уже, если вам удастся отличить в этом соединении главную производящую силу. Поэтому каждый человек может понять любую духовную деятельность лишь постольку, поскольку он может одновременно найти и созерцать ее в себе. И

так как вы утверждаете, что у вас нет такого знания о религии, то прежде всего, конечно, я должен постараться удержать вас от тех смешений, которые столь естественно вытекают из описанного положения вещей. Итак, будем исходить из основных моментов вашего собственного воззрения и проверим; правильно ли оно, если нет, то как мы могли бы из него достигнуть подлинного верного взгляда.

Религия есть для вас то образ мыслей, вера, своеобразный способ рассматривать мир и связывать то, что мы в нем встречаем; то способ действия, своеобразная склонность и любовь, особый род поведения и внутренней мотивации. Вне этого деления на теоретическое и практическое вам трудно мыслить, и хотя религия относится одновременно к обеим сторонам, вы все же привыкли обращать в каждом случае внимание преимущественно на одну из них. Рассмотрим же ее отчетливо с обеих точек зрения.

Что касается, прежде всего, действительности, то в ней вы ведь различаете двоякое, именно жизнь и искусство; приписываете ли вы вместе с поэтом жизни серьезность, а искусству — веселье, или как-либо иначе противопоставляете то и другое, во всяком случае вы отделяете одно от другого. Лозунгом жизни должна быть обязанность, ваш нравственный закон должен определять ее, добродетель должна обнаружить в ней свое господство, чтобы личность гармонировала с общим порядком мира и нище не вторгалась в него, задерживая или нарушая его. И потому, как вы полагаете, человек может обнаружить свою нравственную пригодность, причем в нем не будет заметно ни следа искусства; напротив, это совершенство должно достигаться строгими правилами, не имеющими ничего общего со свободными, подвижными предписаниями искусства. И вы даже считаете почти правилом, что у людей, которые точнее всего соблюдают порядок жизни, искусство отступает назад, и что они чужды ему. Напротив, художника должна вдохновлять фантазия, в нем всюду должен властвовать гений, и это есть для вас нечто совсем иное, чем добродетель и нравственность; высшая мера гениальности может, по вашему мнению, существовать при низшей мере нравственности; и вы даже склонны в отношении художника несколько смягчить строгие требования жизни, потому что рассудительная сила часто терпит ущерб от пламенной силы искусства. Но как же дело обстоит с тем, что вы называете благочестием, поскольку вы рассматриваете его, как своеобразный способ поведения? Относится ли оно к указанной области жизни и есть в ней нечто самостоятельное, следовательно, нечто благое и похвальное, но все же отличное от нравственности — ибо вы не хотите ведь выдавать их за одно и то же? Итак, нравственность не исчерпывает области, над которой она должна властвовать, если там действует наряду с ней иная сила, которая также имеет правомерные притязания на эту область, и может оставаться в ней рядом с первой? Или вы сведете вашу мысль к тому, что благочестие

есть отдельная добродетель, и религия — отдельная обязанность, т. е. подчините ее нравственности и включите в последнюю, как часть включается в целое, и скажете, как иногда говорят, что существуют особые обязанности в отношении Бога, исполнение которых есть религия, т. е. что религия есть часть нравственности, тогда как выполнение всех обязанностей есть нравственность в ее совокупности. Но не таково ваше мнение, если я верно понимаю ваши речи, как я привык их слышать и как я их теперь передал; ибо в них звучит мысль, что человек, исполненный благочестия, обладает чем-то совершенно своеобразным во всем складе своей жизни, и что нравственный человек может быть всецело и совершенно нравственным, не будучи при этом благочестивым. А каково же, с другой стороны, отношение между искусством и религией? Вряд ли они совершенно чужды друг другу; ведь издавна величайшее в искусстве носит религиозный отпечаток. И если вы называете художника благочестивым, даете ли вы ему и тогда снисхождение в отношении строгих требований добродетели? По-видимому, нет; ибо он тогда подчинен последним, как и всякий другой. Но тогда вы, оставаясь последовательными, не должны допускать, чтобы люди жизни, если они хотят быть благочестивыми, были все же чужды искусства; напротив, они должны будут воспринять в свою жизнь кое-что из этой области, и отсюда, быть может, возникает своеобразная форма, которую приобретает их жизнь. Но если ваше воззрение приводит к такому результату — а ведь что-либо подобное должно вытекать из него, так как иного выхода здесь не представляется—и если религия, таким образом, в качестве формы поведения есть смешение из указанных двух начал, смутная, подобно всем смесям, где оба элемента взаимно стесняют и ослабляют друг друга, — то ведь это объясняет мне только вашу антипатию к религии, но не ваше представление о ней. Ибо как можете вы называть чем-то самобытным такую случайную мешанину двух элементов, даже если бы возникала точнейшая пропорциональность между обоими, но при условии, что оба элемента в неизменном виде существуют один наряду с другим? Но если это не так, если благочестие есть подлинное внутреннее взаимопроникновение обоих начал, то вам, я думаю, ясно, что здесь мое сравнение уже неуместно и что такой синтез не мог возникнуть через привступление одного начала к другому, а должен опираться на первоначальное единство обоих. Но я сам предупреждаю вас: берегитесь согласиться со мной в этом! Ибо если бы дело обстояло так, то нравственность и гений в обособленном состоянии были бы лишь односторонними продуктами религии, выступающими наружу при ее гибели; религия была бы действительно высшим началом по сравнению с двумя другими и истинно божественной жизнью. Но будьте со своей стороны благодарны мне за это предупреждение, если вы его принимаете, и сообщите мне, не найдется ли у вас иного выхода, при котором ваше мнение о религии не представлялось бы лишенным содержания; пока же мне не остается ничего иного, как допустить, что вы еще недостаточно исследовали вопрос и еще не уразумели себя самих в отношении этой стороны религии.



Быть может, лучший исход получится при исследовании другой ее стороны, именно поскольку она рассматривается, как образ мыслей и вера.

Одно, я полагаю, вы допустите вместе со мной, именно что ваши знания, сколь бы многосторонними они ни представлялись, все же распадаются на две противоположные науки. О дальнейшем делении этих наук и о названиях, которыми вы их обозначаете, я не хочу далее распространяться, ибо все это относится к спорам ваших школ, до которых мне здесь нет никакого дела. Но поэтому и вы должны оставить мелочную критику слов, которыми я буду пользоваться для их обозначения, и не заботиться о том, к какому подвиду они применимы в каждом частном случае. Одну науку мы можем назвать физикой или метафизикой — все равно, одним ли из этих названий, или разделенной по этим двум обозначениям, другую же — этикой или учением об обязанностях или практической философией; во всяком случае мы согласны в отношении самой противоположности, которую я имею в виду, именно, что одна из этих наук описывает природу вещей или, — если вы ничего не хотите знать об этом, и это кажется вам слишком многим — по крайней мере, представления человека о вещах, о том, что есть мир для него и как он может его найти; другая же наука, напротив, учит, чем он должен быть для мира и что он должен делать в нем. Но поскольку религия есть образ мыслей о чем-либо и в ней встречается знание чего-либо, не имеет ли она общего предмета с этими науками? О чем говорит вера, как не об отношении человека к Богу и миру, о том, для чего Бог создал человека и в каком смысле мир властен или не властен над человеком? Но вместе с тем вера знает и полагает нечто не из одной этой области, но и из другой, ибо она тоже на свой лад различает между хорошим и дурным поведением. Неужели, таким образом, религия тождественна с естествознанием и нравственным учением? Вы этого не полагаете; ибо вы не хотите допустить, что наша вера столь же обоснована и прочна, что она стоит на той же ступени достоверности, как ваше научное знание; напротив, вы упрекаете ее в том, что она не умеет различать между доказуемым и вероятным. И точно так же вы не забываете усердно отмечать, что от религии исходили часто весьма странные предписания поведения и жизни; и вы, быть может, вполне правы; вы забываете только, что так же дело обстоит с тем, что вы зовете наукой, и что в обеих ее областях вы считаете необходимым многое исправлять в ней и мните себя выше своих отцов. И что же мы должны теперь сказать о сущности религии? Признать ее снова смесью, составленной из сочетания теоретического и практического знания? Но ведь это еще менее допустимо в области знания, особенно потому, что каждая из указанных двух отраслей его имеет свои особые приемы в построении знания. Такое смешение могло бы возникнуть лишь совершенно произвольно, и в нем оба элемента либо беспорядочно сталкивались бы между собой, либо же снова отстаивались и обособлялись друг от друга; и вряд ли такая смесь дала бы нам что-либо, кроме разве возможности сообщить начинающим некоторые результаты знания и внушить им охоту к самому делу. Если таково ваше

мнение, почему же вы восстаете против религии? Ведь пока на свете существуют новички, вы можете спокойно и безопасно сохранить ее. Вы могли бы лишь улыбаться над странным самообманом, в который мы попадаем, когда выражаем притязание совершенствовать вас с ее помощью; ибо вы слишком хорошо знаете, что вы далеко оставили ее за собой и что она всегда изготавливается лишь вами, людьми знания, для нашего употребления, так что вы были бы не правы, если бы проронили хоть одно серьезное слово по этому вопросу. Но не так, я полагаю, обстоит дело. Ибо, если я не ошибаюсь, вы уже давно заняты попытками сообщить народным массам краткие извлечения из вашего знания; назовете ли вы это религией, или просвещением, или как-нибудь иначе — это безразлично; но при этом вы считаете нужным сначала изгнать из народного сознания нечто иное, содержащееся в нем, или, если его не имеется, то воспрепятствовать его доступу в сознание, и именно этот объект вашей полемики, а не товар, который вы сами распространяете, вы называете верой. Но таким образом, дорогие мои, вера должна быть все же чем-то иным, а не указанной смесью мнений о Боге и мире и заповедей для этой или иной жизни; и благочестие должно быть чем-то иным, а не источником, который влечет к этим метафизическим и моральным крохам и изготавливает себе мешанину из них. Ибо иначе вы вряд ли стали бы спорить против него, и вам не впало бы в голову говорить о религии, как о чем-то, что отлично от вашего знания; спор образованных и знающих с верующими был бы тогда лишь борьбой глубины и основательности против поверхностного знания, борьбой учителей против учеников, которые не вовремя хотят отдаться досугу. Но если бы вы все же держались этого мнения, то я хотел бы потревожить вас разного рода сократовскими вопросами и принудить некоторых из вас, наконец, к открытому ответу на вопрос, может ли кто-либо быть одновременно мудрым и благочестивым, или спросить всех вас, знаете ли вы и в других областях принципы, по которым обобщается сходное, а частное подчиняется общему, или же вы только здесь не желаете их применять и пускаетесь в шуточки по такому серьезному вопросу. Но если это не так, то в чем же тут дело? Каким образом то, что в науке обособлено и разделено на две области, столь неразрывно соединено и связано между собой в вере, что одно не может мыслиться без другого? Ибо верующий полагает, что никто не способен различать надлежащее поведение, не зная одновременно отношения человека к Богу, и наоборот. Если связующий принцип лежит в теоретической области, почему же вы противопоставляете ей практическую философию, а не рассматриваете последнюю лишь как отдел первой? И тот же вопрос применим к обратному соотношению. Но обстоит ли дело так, или обе области, которые вы обычно противопоставляете, находят свое единство в некотором высшем первичном знании, вы все же не можете поверить, чтобы этим высшим восстановленным единством знания была религия, которую вы встречаете и оспариваете чаще всего у тех, кто более всего удален от науки. И я сам не буду склонять вас к этому, ибо я не хочу занимать места, которого я не мог бы удержать; но вы согласитесь со мной, что и в отношении этой

стороны религии вам еще надлежит заняться исследованием, что собственно она означает.

Будем говорить откровенно. Вы не любите религии—это было исходной точкой нашей беседы; но ведя против нее честную войну, которая все же стоит вам некоторых усилий, вы, однако, не захотите утверждать, что боретесь с призраком, подобным тому, над которым мы теперь бьемся. Она должна же быть чем-то самобытным, что может своеобразно развиваться в сердцах людей, чем-то мыслимым, сущность чего поддается самостоятельному определению, так чтобы о ней можно было бы говорить и спорить; и я нахожу весьма неправильным, что вы, создав совершенно несостоятельное механическое соединение из столь разнородных вещей, как познание и поведение, называете его религией и так много и бесцельно хлопочете над ним. Вы будете отрицать, что лукавили в этом вопросе; вы потребуете, чтобы я развернул все документы религии — так как я ведь уже отверг системы, комментарии и апологии, — начиная с прекрасных поэтических творений греков вплоть до священных писаний христиан; разве не везде в них находятся указания на природу богов и их волю, и не везде ли признаются святыми и блаженными те, кто познают первую и выполняют последнюю? Но ведь именно это я имел в виду, когда говорил вам, -что религия не проявляется в чистом виде, но что ее внешний образ определяется, сверх того, еще чем то внешним, что нашей задачей является именно извлечь отсюда ее сущность, а не прямолинейно и целиком принять ее внешнюю форму за внутреннее содержание, как это вы, по-видимому, делаете. Ведь и телесный мир не дает вам в чистом виде ни одного своего первичного элемента, в качестве добровольного создания природы — если только и здесь, как это случилось с вами в интеллектуальной сфере, вы не примете за простое начало весьма грубые вещи; напротив, открытие такого первичного элемента есть лишь бесконечная цель аналитического искусства. Так и в духовной области первичное не может быть достигнуто только, если вы осуществите в себе как бы второе искусственное его творение, да и то лишь на то мгновение, когда вы его осуществляете. Я прошу вас, уразумейте самих себя в этом отношении, и все будет вам напоминать об этом. Что же касается документов и автографов религии, то их близость к вашим наукам о бытии и действию или о природе и духе есть не только их неизбежная судьба, так как они могут заимствовать свой язык лишь из этих областей, но есть для них и существенная необходимость, неотделимая от самой их цели: чтобы проложить себе путь и подготовить сознание к восприятию своего более высокого предмета, они должны примыкать к более или менее научным мыслям об этих предметах. Ведь то, что представляется первым и последним в каком-либо произведении, не всегда есть его глубочайшее содержание. Если бы вы только умели читать между строк! Все священные писания подобны тем скромным книгам, которые не так давно были в ходу в нашем скромном отечестве и которые под бедным заглавием обсуждали важнейшие вопросы, и, обещая лишь отдельные разъяснения, пытались проникнуть в

глубочайшие глубины. Так и священные писания, правда, примыкают к метафизическим и моральным понятиям — если они не дают непосредственного поэтического подъема, что вам обыкновенно менее всего нравится—и по виду почти исчерпывают свою задачу в этом кругу; но мы требуем от вас, чтобы вы проникли сквозь эту видимость и позади нее познали их истинные намерения. Так и природа производит благородные металлы в виде руды, в соединении с низшими субстанциями, но ваш разум умеет все же открывать и воссоздать их в их прекрасном блеске. Священные писания предназначались не для одних только зрелых людей веры, но и преимущественно для детей веры, для вновь посвященных, для тех, кто стоит у порога и ждут приглашения. Как же могли они избегнуть того приема, которым я именно теперь пользуюсь в отношении вас? Они должны были исходить из данного и искать в нем средств к более сильному напряжению и повышенному настроению души, когда и новое сознание, которое они хотели пробудить, может быть вызвано из темных недр. И разве в способе отношения к этим понятиям, в пластической деятельности, хотя часто в области бедного и неблагодарного языка, вы не узнаете стремления прорваться из низшей сферы в высшую? Такая передача мыслей, вы сами это видите, не могла быть иной, чем поэтической или риторической; а что же ближе последнему, чем диалектическое? Не оно ли издавна употреблялось удачнее всего, чтобы открыть высшую природу как познания, так и внутреннего чувства? Но, конечно, эта цель не достигается, если кто не вдет дальше внешнего одеяния. И так как дело зашло так далеко, что в священных писаниях ищут преимущественно метафизику и мораль и оценивают их по результатам этих поисков, то мне казалось своевременным подойти к вопросу с другого конца и начать с резкой противоположности, в которой наша вера стоит к вашей морали и метафизике, и наше благочестие — к тому, что вы обычно называете нравственностью. Вот к чему я стремился и от чего отвлекся в сторону, чтобы сперва осветить господствующее среди вас представление. Теперь это выполнено, и я возвращаюсь назад.

Итак, чтобы совершенно точно явить и изобразить вам свое первичное и самобытное достояние, религия предварительно отказывается от всяких притязаний на что-либо, принадлежащее обеим областям науки и нравственности, и хочет вернуть все, что она сама заимствовала оттуда, либо что ей было навязано. К чему собственно стремится ваша наука бытия, ваше естествознание, в котором ведь должно соединяться все реальное содержание вашей теоретической философии? Я полагаю — познавать вещи в их самобытной сущности; установить особые отношения, в силу которых каждая вещь есть то, что она есть; определить место каждой в целом, и правильно различать ее от всех остальных; установить все реальное в его взаимообусловленной необходимости и показать однородность всех явлений с их вечными законами. Это дело поистине прекрасно и великолепно, и я не склонен принижать его; напротив, если мое, мимоходом брошенное и еле намеченное описание его вас не удовлетворяет, то я готов признать с вами

все высшее и наиболее исчерпывающее, что вы только можете сказать о знании и о науке; но если бы вы даже пошли еще дальше и указали мне, что естествознание ведет еще выше—от законов природы к высочайшему и вселенскому Управителю, в котором дано единство всего, и что вы не познаете природы, не постигая вместе с тем и Бога, — то я все же утверждаю, что религия не имеет никакого отношения даже и к этому знанию, и что ее сущность воспринимается вне участия последнего. Ибо мера знания не есть мера благочестия; напротив, последнее может открыться во всем своем величии, со всей своей исконностью и самобытностью, даже в том, кто сам по себе не имеет этого знания, а лишь, как всякий иной, заимствует отдельные части его от других. Более того, благочестивый человек охотно согласится, даже если вы несколько высокомерно отнесетесь к нему за это, что, как таковой — если он не есть одновременно и мудрец — он обладает знанием не так, как вы; и я хочу открыто истолковать вам, что большинство из них только чувствуют, но чего — они не объясняют; именно, что если вы ставите Бога во главе вашей науки, как основу всего познания или также и всего познаваемого, они находят это, правда, похвальным и почтенным, но не видят в этом своего способа иметь Бога и знать о нем — способа, из которого, как они охотно признаются и как это достаточно видно на них самих, не вытекает познание и наука. Для религии, правда, существенно размышление, и кто живет с замкнутыми тупыми чувствами, чей дух не открыт для жизни мира, того вы никогда не назовете благочестивым; но это размышление не направлено, подобно вашему естествознанию, на сущность конечного в связи с другим конечным или в противоположность ему, или, подобно вашему богопознанию — если мне позволено употребить мимоходом старые выражения — на сущность высшей причины самой по себе или в ее отношении к тому, что одновременно есть и причина, и следствие; напротив, религиозное размышление есть лишь непосредственное сознание, что все конечное существует лишь в бесконечном и через него, все временное — в вечном и через него. Искать и находить это вечное и бесконечное во всем, что живет и движется, во всяком росте и изменении, во всяком действии, страдании, и иметь и знать в непосредственном чувстве саму жизнь лишь как такое бытие в бесконечном и вечном — вот что есть религия. Она удовлетворена, когда находит это бытие; где последнее скрыто, там для нее преграда и тревога, нужда и смерть. И потому она, конечно, есть жизнь в бесконечной природе целого, во всеедином, в Боге, — жизнь, обладающая Богом во всё и всем в Боге. Но она не есть знание и познание— ни мира, ни Бога; такое знание она лишь признает, не отождествляя себя с ним; оно есть для нее также движение и откровение бесконечного в конечном, которое, подобно всему остальному, она видит в Боге и в котором она видит Бога. — И точно так же, к чему стремится ваше нравственное учение, ваша наука о поведении? И она хочет разьяснить в человеческом действовании и творчестве отдельные моменты в их определенности, и также для того, чтобы развить их в обоснованную и стройную систему. Но благочестивый человек признается вам, что, как таковой, он и об этом ничего

не знает. Он, правда, размышляет о человеческом поведении, но это размышление отнюдь не тождественно с тем, из которого возникает указанная система; он ищет и чувствует во всем лишь одно, именно действие Бога в людях. Правда, если ваше нравственное учение верно и если его благочестие верно, то он признает божественным не иное поведение, чем то, которое включено и в вашу систему; но знать и строить саму эту систему есть дело ваше, людей знания, а не его. И если вы не хотите этому верить, то взгляните на женщин, которые, по вашему собственному признанию, обладают религией; если она есть для них не украшение и наряд, если вы от них требуете тончайшего чувства в различении божественного поведения от иного, то требуете ли вы вместе с тем, чтобы они понимали ваше нравственное учение, как науку? — И то же самое, коротко говоря, относится и к самому действованию. Художник творит, что дано ему творить, в силу своего особого таланта; и такие таланты настолько разделены, что кто владеет одним, лишен другого, если он не хочет, против воли неба, обладать всеми сразу; но никогда вы не спрашиваете, если кого-либо при вас прославляют за благочестие, которое из этих дарований ему присуще в силу его благочестия. Гражданский человек — я беру это слово в древнем, а не в убогом современном смысле — руководит, управляет, движет в силу своей нравственности. Но эта нравственность есть нечто иное, чем благочестие; ибо последнее имеет и страдательную сторону, оно является, как отдача своей личности, как самоподчинение целому, которому противостоит человек, *тогда* как нравственность обнаруживается всего лишь, как вмешательство в целое, как самоопределение. И потому нравственность всецело связана с сознанием свободы, к области которой относится все, что она творит; благочестие, напротив, совсем не прикреплено к этой стороне жизни, а столь же жизненно и в противоположной области необходимости, где нет никакого самостоятельного действия отдельного лица. Значит, они все же различаются между собой; и если благочестие с радостью взирает на всякое действование через Бога, на всякую деятельность, через которую в конечном проявляется бесконечное, то оно все же не есть сама эта деятельность. Так утверждает оно свою собственную область и свой самобытный характер лишь тем, что оно безусловно выходит за пределы и науки, и практики, и лишь когда оно стоит рядом с последними, общая сфера духа всецело заполнена, и человеческая природа с этой стороны завершена. Благочестие обнаруживается перед вами, как необходимое и неизбежное третье начало, дополняющее первые два, как *их* естественная противоположность, обладающая не меньшим достоинством и величием, чем любое из них.

Я прошу вас не придавать моей мысли нелепого толкования и не думать, будто, по моему мнению, каждое из этих начал может существовать без иного, и будто кто-либо может обладать религией и быть благочестивым, но при этом быть безнравственным. Это, конечно, невозможно. Но, заметьте, столь же невозможно, по моему мнению, чтобы человек мог быть

нравственным без религии или научным без нее. И если бы вы, не без основания, пожелали заключить из сказанного, что, на мой взгляд, можно иметь религию, не имея науки, и что я сам положил начало такому разделению, то позвольте напомнить вам, что я здесь разумел лишь то же самое,

именно, что благочестие не есть мера науки. Но сколь мало человек может быть истинно научным, не будучи религиозным, столь же мало религиозный человек может иметь ложное знание, хотя бы он был несведущим; ибо его собственное бытие не принадлежит к тому низшему роду, который — согласно старому принципу, что равное познается лишь равным — не содержал бы в себе ничего познаваемого, кроме небытия под обманчивой видимостью бытия. Напротив, оно есть истинное бытие, которое и познает истинное бытие, а где последнее ему не встречается, там оно и не мнит видеть что-либо. А какая драгоценная жемчужина науки есть, по моему мнению, неведение для того, кто окован обманчивой видимостью, это вы знаете из моих речей, и если вы сами еще не убеждены в этом, то научитесь этому от вашего Сократа. Итак, признайте, что я по крайней мере согласен с самим собой и что подлинная и истинная противоположность знания есть не неведение, которое ведь всегда примешивается к вашему знанию, а то мнимое значение, которое также и притом вернее всего устраняется благочестием, так что оно не может существовать совместно с последним. Поэтому не обвиняете меня в том, что я устанавливаю такое разделение между знанием и благочестием или между действием и благочестием; вы не можете делать это, не приписывая мне незаслуженно вашего собственного воззрения и вашего столь же привычного, сколь неизбежного заблуждения, того самого заблуждения, которое я хотел бы уяснить вам в зеркале моей речи. Не для меня, а для вас самих, не признающих религии, как чего-то третьего наряду с двумя другими началами, знание и действие настолько расходятся между собой, что вы не усматриваете их единства, а полагаете, что можно обладать истинным знанием и быть лишенным верного поведения, и наоборот. Именно потому, что разделение, которое я применяю при исследовании, где оно необходимо, вы переносите на жизнь, хотя и пренебрегаете им в исследовании—как будто в самой жизни то, о чем мы говорим, может существовать отдельно и независимо одно от другого, — именно поэтому вы не имеете живого созерцания ни одной из этих деятельностей, а каждая из них становится для вас чем-то разделенным и оторванным; ваше представление всюду бедно и носит на себе печать ничтожества, так как вы лишены живого участия в живом. Истинная наука есть законное созерцание; истинная практика есть самопроизвольное развитие и искусство; истинная религия есть чувство и вкус к бесконечному. Желать иметь одну из них без остальных или мнить, что имеешь ее, — это есть дерзостный, высокомерный самообман, кощунственное заблуждение, проистекающее из нечестивого настроения, которое предпочитает трусливо и нагло похищать и все же лишь мнимо завладеть тем, чего оно могло бы

спокойно требовать и ожидать. Что может человек создавать ценного в жизни и в искусстве, как не то, что родилось в нем самом через пробуждение религиозного чувства? И как может человек научно охватить мир или, если и познание дается ему через определенный талант, осуществлять последний без этого чувства? Ведь что такое вся наука, как не бытие вещей в вас, в вашем разуме? Что такое все искусство и творчество, как не ваше бытие в вещах, которым вы придаете меру, образ и порядок? И разве не постольку лишь может то и другое созреть в вас к жизни, поскольку в вас непосредственно живет вечное единство разума и природы, всеобщее бытие всего конечного в бесконечном?<sup>2</sup> Поэтому вы найдете, что всякий истинно знающий вместе в тем благочестив и религиозен, и где вы увидите науку без религии, там будьте уверены, что она либо заимствована и воспринята через обучение, либо же внутренне больна, если только она не принадлежит к той пустой видимости, которая совсем не есть знание, а лишь служит потребности. И не таково ли это выведение и взаимное переплетение понятий, которое столь же безжизненно, сколь мало соответствует живому, или, в области нравственного учения, это убогое однообразие, которое мнит постичь высшую человеческую жизнь в единой мертвой формуле? Как может возникнуть последнее иначе, чем при отсутствии всеобщего чувства живой природы, которая всюду устанавливает многообразие и самобытность? Как может возникнуть первое иначе, чем при отсутствии сознания, что сущность и границы конечного определимы лишь из бесконечного, если конечное должно само быть бесконечным в своих границах? Отсюда господство одного лишь понятия; отсюда, вместо органического строения, механическое хитроумие ваших систем; отсюда пустая игра с аналитическими формулами — будь они категорическими или гипотетическими, — оков, которых не хочет выносить жизнь. Если вы хотите пренебречь религией, если вы боитесь отдаться влечению к первичному и благоговению перед ним, то и наука не явится на ваш зов; ибо она должна была бы или стать столь же низкой, как ваша жизнь, или же отделиться от нее и остаться в одиночестве; а в таком раздвоении она не может процветать. Когда человек не сливается с вечным в непосредственном единстве созерцания и чувства, он в производном единстве сознания остается всегда отделенным от него. И потому, к чему приведет высшее проявление умозрения наших дней, заверченный и всеобъемлющий идеализм, если он не погрузится снова в это единство, чтобы религиозное смирение открыло его гордости иной реализм, чем тот, который он так смело и с таким правом подчиняет себе? Он уничтожит вселенную, желая, по-видимому, сотворить ее; он низведет ее до значения простой аллегии, призрачной тени односторонней ограниченности своего пустого сознания! С благоговением преклонитесь со мной перед тенью святого, отверженного Спинозы! Его пронизывал высокий мировой дух, бесконечное было его началом и концом, вселенная — его единственной и вечной любовью; со святой невинностью и с глубоким смирением он отражался в вечном мире, и был сам его достойнейшим зеркалом; он был исполнен религии и святого духа; и потому он стоит одиноко и недостижимо,



как мастер своего искусства, но возвышаясь над непосвященным цехом, без учеников и без права гражданства.

Должен ли я еще показать вам, что то же применимо и к искусству? Что вы и здесь по той же причине имеете тысячи теней и блуждающих огней и обманов? Лишь молча — ибо новая и глубокая скорбь не знает слов — я хочу вам указать на один великий пример, который вы должны были бы знать так же хорошо, как и приведенный пример мыслителя, — на преждевременно усопшего божественного юношу, для которого все, чего касался его дух, было искусством, и все мирозерцание — одной великой поэмой, — на юношу, которого вы, хотя он едва произнес свои первые звуки, должны причислить к самым богатым поэтам, соединяющим глубину с ясностью и жизненностью. Узрите в нем силу воодушевления и рассудительности благочестивой души и признайте, что когда философы станут религиозными и будут искать Бога, как Спиноза, а художники станут благочестивыми и будут любить Христа, как Новалис, тогда будет отпраздновано великое воскресение обоих миров.<sup>3</sup>

Но чтобы понять, что я разумею под этим единством науки, религии и искусства и вместе с тем под **их** различием, попытайтесь проникнуть вместе со мной в глубочайшее святилище жизни; может быть, нам удастся сообща ориентироваться в нем. Лишь там вы найдете первичное отношение чувства и созерцания, из которого только и можно понять **их** единство и **их** разделение. Но я должен отослать вас к вам самим, к вашему собственному восприятию живого мгновения. Вы должны суметь уловить себя самих до начала сознания или по крайней мере вывести для себя состояние сознания из предшествующего ему. Вы должны заметить возникновение вашего сознания, а не размышлять над уже возникшим. Как только вы делаете предметом сообщения или размышления данную определенную деятельность вашей души, вы уже находитесь в пределах раздробленного и лишь разделенное может объять ваша мысль. Поэтому моя речь не может подвести вас к какому-либо определенному примеру; ибо как только что-либо становится примером, так уже прошло то, что хочет показать моя речь, и я мог бы обнаружить перед вами лишь слабый след первоначального единства разделенного. Но и этим я не хочу пока пренебречь. Уловите себя в мгновение, когда вы рисуете образ какого-либо предмета; не найдете ли вы, что с этим связано состояние, когда вы сами как бы возбуждены и определяемы предметом, и что это состояние образует особый момент вашего бытия? Чем определеннее вырисовывается ваш образ, чем более вы, таким образом, становитесь предметом, тем более вы теряете самих себя. Но именно потому, что вы можете проследить в процессе возникновения перевес одного и отступление назад другого — разве не должны были оба быть чем-то единым и тождественным в том первоначальном моменте, который ускользнул от вас? Или вы находите себя погруженным в себя самих, и все, что вы в иное время созерцаете в себе раздельно как многообразие,

неразрывно сливается теперь в самобытное содержание вашего бытия. Но разве, наблюдая себя, вы не подметите мимолетного образа предмета, из действия которого на вас, из волшебного прикосновения которого исходит ваше определенное самосознание? Чем более растет и проникает вас ваше возбуждение и ваша подчиненность этому возбуждению, чтобы, несмотря на свою мимолётность, оставить непроходящей след в воспоминании, наложить свою окраску и печать и на все новое, что ближайшим образом встретится вам, и тем соединить два мгновения в длительность времени, — чем более, повторяю, ваше состояние овладевает вами, тем бледнее и незаметнее становится этот образ. Но именно потому, что он бледнеет и исчезает, он был сначала ближе и ярче, был первоначально тождественным с вашим чувством. Но, повторяю, все это только следы, и вы вряд ли их поймете, если не захотите вернуться к первому началу этого сознания. И неужели вы не сможете сделать это? Скажите, что такое есть каждый акт вашей жизни, вне отличия от других, сам по себе, рассматриваемый в самой общей и первоначальной форме? Очевидно, то же самое, что есть и целое, но только в виде акта или момента. Он есть, следовательно, возникновение бытия для себя, и возникновение бытия в целом, то и другое одновременно; стремление вернуться в целое и стремление к самостоятельной жизни — то и другое другое одновременно; это—кольца, из которых составлена вся цепь; ибо вся ваша жизнь есть такое, сущее в целом, бытие для себя. Но в силу чего вы находитесь в целом? В силу ваших восприятий, я полагаю, ибо надо воспринимать, чтобы быть в целом. А в силу чего вы существуете для себя? В силу единства вашего самосознания, которое вы прежде всего имеете в чувстве, в поддающейся сравнению смене в нем «большого» и «меньшего». А каким образом то и другое может возникать лишь одновременно, если оба совместно образуют каждый акт жизни, — это ведь нетрудно увидеть. Вы становитесь сознанием, и целое становится предметом, и это взаимное слияние и единение сознания и предмета, пока еще то и другое не вернулось на свое место, пока предмет еще не оторвался от сознания и не стал объективным представлением, и вы сами не оторвались от сознания и не стали чувством, — это предшествующее состояние и есть то, что я имею в виду, тот момент, который вы каждый раз переживаете, но вместе и не переживаете, ибо явление вашей жизни есть лишь результат его постоянного прекращения и возвращения. Именно потому он почти не находится во времени, так он спешит пройти; и он едва может быть описан, так мало он собственно дан нам. Но я хотел бы, чтобы вы могли задержать его и свести к нему все виды вашей деятельности, от низшего до высшего, ибо все они равны в нем. Если бы я смел уподобить его, так как я не могу его описать, то я сказал бы, что он бегл и прозрачен, как запах, который роса навеивает на цветы и плоды, что он стыдлив и нежен, как девственный поцелуй, свят и плодотворен, как брачное объятие. И можно сказать, что он не только подобен всему этому, но и действительно есть все это. Он есть первая встреча всеобщей жизни с частной, он не заполняет времени и не образует ничего осязательного; он есть непосредственное, лежащее за пределами

всякого заблуждения и непонимания, священное сочетание вселенной с воспротивившимся разумом в творческом, зиждательном объятии. Тогда вы непосредственно лежите на груди бесконечного мира, в это мгновение вы — его душа, ибо вы чувствуете, хотя лишь через одну из его частей, все его силы и всю его бесконечную жизнь, как ваши собственные; он в это мгновение есть ваше тело, ибо вы проникаете в его мускулы и члены, как в свои собственные, и ваше чувство и чаяние приводит в движение его глубочайшие нервы. Таково первое зачатие всякого живого и первичного момента в вашей жизни, к какой бы области он ни принадлежал, и из него вырастает, следовательно, и всякое религиозное возбуждение. Но, повторяю, оно не длится даже мгновение; взаимопроникновение бытия в этом непосредственном союзе прекращается, как только наступает сознание, и тоща перед вами либо выступает все живее и яснее представление, подобно образу ускользящей возлюбленной перед очами юноши, либо же изнутри прорывается чувство и, расширяясь, заполняет все ваше существо, подобно тому, как краска стыда и любви покрывает лицо девушки. И когда ваше сознание определилось, как одно из двух, как представление или чувство, тогда — если вы не подпали всецело этому разделению и не потеряли в единичном истинное сознание своей жизни — у вас остается лишь знание первоначального единства обеих отдельных частей, их одинаковое происхождение из основы вашего бытия. В этом смысле, следовательно, истинно то, чему учил вас древний мудрец, — что всякое знание есть воспоминание, — воспоминание о том, что лежит вне времени, но именно потому может по праву быть поставлено во главе всего временного.

Каково, с одной стороны, отношение между представлением и чувством, таково же, с другой стороны, отношение между знанием, объемлющем то и другое, и действованием. Ибо это суть противоположности, через постоянную игру и чередующееся возбуждение которых ваша жизнь распространяется во времени и приобретает свою форму. Ведь всегда, с самого начала, ваше стремление к единению с миром через предмет есть одно из двух: либо преобладание силы вещей над вами, причем вещи хотят вовлечь вас в сферу своего бытия, вступая в вас самих; развивается ли из этого в вас представление или чувство, всегда это есть знание; либо же преобладание силы с вашей стороны, причем вы стремитесь запечатлеть на них свое бытие и внести в них свое творчество. Ведь именно это вы называете действованием в узком смысле, влиянием на внешнюю среду. Но лишь в качестве существ, возбужденных и определенных чем-либо, вы можете сообщать свое бытие вещам; так отдавайте же назад, закрепляйте и влагайте в мир то, что было создано и определено в вас этим первичным актом слитного бытия; и лишь таковым же может быть и то, что мир вносит в вас. Поэтому одно должно возбуждать другое попеременно, и лишь в смене знания и действования может осуществляться ваша жизнь. Ибо спокойное бытие, в котором одно не возбуждало бы другого, а то и другое, связуясь,

взаимно устраняло бы себя, — такое бытие было бы не вашей жизнью, а тем, из чего она развивается и во что она снова растворяется.

Итак, здесь перед вами те три начала, вокруг которых доселе вращалась моя речь — познание, чувство и действие, — и вы можете понять, что я разумею, когда говорю, что они не тождественны и все же неразрывны. Соедините все однородное и рассмотрите его само по себе — и вы найдете, что все те моменты, в которых вы осуществляете свою власть над вещами и запечатлеваете себя в последних, образуют то, что вы зовете вашей практической или в узком смысле нравственной жизнью. И, с другой стороны, те созерцательные моменты, в которых вещи воспроизводят свое бытие в вас, в качестве представлений, вы называете, независимо от их размера и значения, вашей научной жизнью. Может ли один из этих рядов сам по себе и без другого составить человеческую жизнь? Разве это не было бы смертью, и разве деятельность не должна была бы пожрать самое себя, если бы ее не возбуждала и не возобновляла иная сторона жизни? Но разве, в силу этого, одно тождественно с другим, и разве вы не должны все же различать их, если хотите понять свою жизнь и внятно говорить о ней? И каково отношение между этими двумя началами, таково же должно быть отношение третьего к ним обоим. И как вы назовете это третье начало, сторону чувства? Какая жизнь должна им составляться, в добавление к первым двум сторонам жизни? Я полагаю, что это есть религиозная жизнь, и вы несомненно не скажете иного, если захотите точнее поразмыслить о ней.

Итак, главное слово моей речи сказано; ибо такова самобытная область, которую я хочу отвести религии, и притом всецело ей одной; и эту область и вы принуждены будете ограничить и представить ей, — разве только вы предпочтете старую хаотичность ясному различению, или же приведете какие-нибудь совершенно новые, неведомые и непонятные мне соображения. Ваше чувство, поскольку оно описанным образом выражает ваше собственное бытие и жизнь, равно как общее бытие и жизнь вселенной — поскольку вам даны отдельные его моменты, как действие в вас Бога через посредство действия на вас мира, — вот ваша религиозность; и что в отдельности представляется принадлежащим к этому" ряду, — это не ваши познания или предметы вашего познания, а также и не ваши дела и поступки или различные области вашего действований, а только ваши чувства, равно как связанные с ними или обуславливающие их воздействия на вас всего живого и подвижного вокруг вас. Таковы исключительно элементы религии, но вместе с тем все они и принадлежат сюда; нет чувства, которое не было бы религиозным,<sup>4</sup> — или же оно свидетельствует о болезненном, поврежденном состоянии жизни, которое должно тогда обнаружиться и в других областях. Отсюда само собой следует, что, напротив, понятия и принципы, все без исключения, сами по себе чужды религии, — что теперь уже вторично уясняется нам. Ибо если они должны иметь значение, то они

принадлежат к познанию, а что принадлежит к последнему, то уже лежит в иной, не религиозной области жизни.

Отныне, так как мы уже имеем некоторую почву под ногами, нам легче исследовать, откуда могло возникнуть смешение, и нет ли какого-либо основания для всюду встречающейся связи понятий и принципов с религией, и как в этом же отношении обстоит дело с действованием. Без этого исследования было бы даже странно продолжать речь, ибо вы ведь обращаете в понятия то, что я говорю, ищете у меня известных принципов, и таким образом недоразумение пускало бы корни все глубже. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, если я представлю следующее объяснение. Если вы еще помните различные функции жизни, которые я наметил, то что препятствует тому, чтобы одна из них не стала в свою очередь предметом, которым занимаются или на котором упражняются другие? Не вытекает ли, напротив, из их внутреннего единства и равенства, что они стремятся таким путем переходить одна в другую? Мне, по крайней мере, дело представляется именно так. Таким путем, следовательно, вы, как чувствующие, можете стать объектом для самих себя, и созерцать свое чувство. И, с другой стороны, вы, как чувствующие, можете стать для себя объектом также в том смысле, что вы будете преобразующе воздействовать на ваше чувство и все более запечатлеть на нем ваше внутреннее бытие. Если вы теперь захотите назвать продукт указанного созерцания—общее описание чувства в его существе — принципом, и описание всех отдельных, выступающих в нем черт — понятием, и притом религиозным принципом и религиозным понятием, — то, вы, конечно, можете это сделать и будете правы в этом. Не забывайте только, что это собственно есть научное исследование религии, знание о ней, а не она сама, и что это знание, в качестве описания чувства, никогда не может стоять на одном уровне с самим описанным чувством. Напротив, последнее с полным здоровьем и силой может быть присуще человеку, не будучи подвергнуто особому рассмотрению, — примером чего являются почти все женщины; и вы не можете тогда сказать, что здесь нет благочестия и религии, а должны сказать, что отсутствует лишь знание о нем. Не забывайте также, что это рассмотрение уже предполагает указанную первичную деятельность и всецело покоится на ней, и что такие понятия и принципы суть не что иное, как пустое, извне сообщенное знание, если они не суть именно размышления о собственном чувстве человека. Итак, запомните, что как бы совершенно ни разумел человек эти принципы и понятия, как бы ясно он, по-видимому, ни сознавал их, в нем нет религии, если он не знает и не может показать, что они возникли в нем из проявлений его собственного чувства и суть его первоначальное личное достояние; не давайте уговорить себя, будто такой человек религиозен, и не признавайте его религиозным, ибо это не так; его душа ничего не зачала в области религии, и его понятия суть лишь подкинутые дети, создания других душ, усыновленные им в тайном сознании собственного бессилия. Нечестивыми и далекими от всякой божественной жизни я называю всегда тех, кто на этот

лад гордо выступают и кичатся своей религией. Один имеет понятия о порядке мира и формулы, которые должны выражать его, другой имеет предписания, с помощью которых он сам держит себя в порядке, и внутренний опыт, которым он обосновывает эти предписания. Первый сплетает из своих формул систему веры, последний вышивает из своих предписаний порядок спасения; и так как оба они замечают, что это не имеет надлежащей крепости без чувства, то возникает спор о том, сколько нужно взять понятий и объяснений, и сколько предписаний и упражнений, и сколько и каких именно трогательных и возвышенных ощущений нужно присоединить к ним, чтобы составить дельную религию, которая не была бы ни холодна, ни мечтательна, ни суха, ни поверхностна.

О глупцы с косными сердцами! Они не знают, что все это — лишь разложения религиозного сознания, которые, чтобы иметь какое-либо значение, должны быть его продуктом! И если им неведомо обладание чем-либо, что они могли бы разлагать, то откуда у них эти понятия и правила? У них есть память и подражание, но не верьте им, будто у них есть и религия; они не сами создали понятия, формулы которых им известны, а лишь заучили их наизусть и запомнили, — и чувства, которые они хотят воспринять в этих понятиях, они могут лишь мимически воспроизвести, как воспроизводят чужие черты лица, что дает всегда лишь карикатуру. И неужели можно из этих омертвленных разложившихся созданий, взятых из чужих рук, составить религию? Можно разлагать члены и соки органического тела на их составные части; но возьмите эти выделенные элементы, смешайте их в какой угодно пропорции, производите над ними какие угодно операции, — сможете ли вы из них снова сделать живую кровь вашего сердца? Сможет ли то, что уже мертво, снова прийти в движение в живом теле и соединиться с ним? Воссоздавать творения живой природы из их составных частей—на этом терпит крушение всякое человеческое искусство, и потому и этим людям не удастся воссоздать религию, как бы совершенно они ни восприняли извне и не привили себе ее отдельные перерожденные элементы. Нет, изнутри и в своей первичной, своеобразной форме должны возникать явления благочестия, т.е. непременно как собственные чувства, а не как плоское описание чужих чувств, могущее вести лишь к жалкому подражанию. И только таким описанием могут и должны быть религиозные понятия, из которых образуются упомянутые системы; ибо религия и не может, и не хочет быть самостоятельным познанием, проистекающим только из влечения к знанию. Что мы ощущаем и воспринимаем в религиозных переживаниях, есть не природа вещей, а ее действие на нас. Что вы знаете или мните о природе вещей, лежит далеко в стороне от области религии. Вселенная находится в непрерывной деятельности и открывает себя нам в каждый миг. Каждая форма, которую она создает, каждое существо, которому она в меру полноты его жизни дает обособленное бытие, каждое событие, которое она изливает из своего обильного, вечно плодотворного лона, есть ее действие на нас; и воспринимать в нашу жизнь и вдохновляться

в этих воздействиях и в том, что они в нас пробуждают, всем единичным не обособленно, а в связи с целым, всем ограниченным не в его противоположности иному, а как символом бесконечного — вот что есть религия<sup>5</sup>; а что хочет выйти за эти пределы и, например, глубже проникнуть в природу и субстанцию вещей, есть уже не религия, а некоторым образом стремится быть наукой; и, с другой стороны, если то, что должно лишь обозначать и выражать в словах наши чувства, претендует на значение науки о предметах — науки, основанной на откровении и вышедшей из религии, или на значение одновременно и науки, и религии, — то оно неизбежно впадает в мистицизм и пустую мифологию.

Так, было религией, когда древние, уничтожая ограничение пространства и времени и перенося на весь мир каждое своеобразное направление жизни, рассматривали последнее, как создание и господство в этой области всемогущего вездесущего божества; они восприняли в себя, как определенное чувство, своеобразный способ действия вселенной и обозначали его таким образом. Было религией, когда они при каждом счастливом событии, в котором хотя и случайно, но явственно открывались вечные законы мира, давали особое название богу, к которому оно относилось, и строили ему особый храм; они воспринимали здесь единичное, как-деяние вселенной, и на свой лад обозначали его связь и своеобразный характер. Было религией, когда они возвышались над суровым железным веком, полным неровностей и разлада, и снова искали золотого века на Олимпе, среди радостной жизни богов; так они ощущали в себе вечно бодрую, вечно живую и радостную деятельность мира и его духа, за пределами всей изменчивости и всего кажущегося зла, которое вытекает лишь из борьбы конечных форм. Но когда они устанавливали вычурно запутанную родословную этих богов, или когда позднейшая вера показывает нам длинный ряд эманации и рождений, то, хотя это по своему происхождению и есть религиозное изображение родства человеческого с божественным и связи несовершенного с совершенным, но все же само по себе есть пустая мифология и губительная для науки мистика. Чтобы свести воедино все сюда относящееся, я скажу: бесспорно, вся сущность религии состоит в том, чтобы ощущать все, определяющее наше чувство, в его высшем единстве, как нечто единое и тождественное, и все единичное и особое, как обусловленное им, т.е. чтобы ощущать наше бытие и жизнь, как бытие и жизнь в Боге и через Бога. Но изображать затем снова Божество, как обособленный отдельный предмет, так что нелегко избежать повода думать, что оно подвержено страданию, как и другие предметы, — это есть лишь обозначение, и хотя оно многим необходимо и всем близко, оно все же рискованно и обильно трудностями, от которых, быть может, никогда не освободится обычный язык. А еще относиться к этому предметному представлению о Божестве, как к познанию, и такое, отделенное от его влияний на нас через мир, бытие Бога до мира и вне мира, хотя и для мира, изображать и развивать, как научную истину, обоснованную религией — это

более всего в области религии есть бесспорно пустая мифология<sup>б</sup>, это есть легко ведущее к недоразумениям дальнейшее развитие того, -что было лишь средством изображения, как если бы оно было существом дела, т. е. решительное удаление за пределы самобытной почвы религии.

Отсюда вы можете также усмотреть, как следует обсуждать вопрос, есть ли религия система или нет, — вопрос, на который можно отвечать и безусловным отрицанием, и решительным утверждением, — что вы вряд ли ожидали. Если вы разумеете под ним вопрос, подчинена ли религия некоторой необходимой внутренней связи, так что характер религиозного чувства у каждого человека есть нечто целое, и один и тот же предмет не может возбуждать в человеке случайно то одно, то другое чувство — если вы разумеете это, то она, конечно, есть система. Все, что где-либо — будь то у многих или немногих — выступает, как особая форма и определенность чувства, есть нечто замкнутое и необходимое по своей природе; и, например, у христиан не может встречаться тот характер религиозного чувства, который вы находите у турок или индусов. Но это внутреннее единство религиозности, то расширяясь, то ссуживаясь, содержит большое многообразие сфер, и чем уже и меньше каждая из них, тем больше своеобразного она включает в себя, как необходимое, или отвергает, как несовместимое. Ведь если, например, христианство само по себе есть целое, то и каждая из противоположностей, в различные эпохи выступавших в нем, вплоть до новейшей противоположности между протестантизмом и католицизмом, есть тоже нечто замкнутое в себе. И точно так же благочестие каждого отдельного лица, коренящееся в каком-либо более крупном единстве, есть опять-таки нечто единое и замкнутое в себе и основано на том, что вы зовете своеобразием данного лица или его характером, одну из сторон которого оно именно и составляет. Поэтому в религии имеется бесконечное формирование и развитие, вплоть до отдельной личности, и каждая из этих форм есть опять целое и обладает множеством своеобразных проявлений. Ведь не захотите же вы конструировать каждое такое проявление, перечислять их и точно определять характерное в нем с помощью отвлеченных понятий, как будто бытие и развитие всего единичного конечным образом вытекает из целого через ряд последовательных ступеней, так чтобы можно было определять одно начало с помощью других! Если можно в этом отношении сравнивать с чем-либо религию, то лучше всего сопоставить ее с тем, что и в иных отношениях тесно с ней связано, — я имею в виду музыку. Ибо музыка образует, конечно, великое целое, особое замкнутое в себе откровение мира, и все же музыка каждого народа есть самостоятельное целое, которое в свою очередь расчленяется на своеобразные формы вплоть до гения и стиля отдельного композитора; и каждое живое выступление наружу этого внутреннего откровения в отдельном лице хотя и содержит в себе все указанные единства и возможно лишь в них и через них, но вместе с тем выливается в волшебство звуков с радостью и весельем нестесненного произвола, именно так, как колыхается



его жизнь и как его затрагивает мир; и точно так же религия, несмотря на необходимость в ее живом формировании, все же в отдельных своих проявлениях, как она непосредственно выступает в жизни, более всего далека от всякой видимости принуждения и стеснения. Ибо все необходимое воспринято здесь в жизнь, а следовательно и в свободу, каждое отдельное движение выступает, как свободное самоопределение именно данного сознания, в котором отражается преходящий момент мира. Нечестивым был бы тот, кто хотел бы требовать здесь чего-либо вынужденного, чего-либо внешне связанного и определенного; и если что-либо подобное содержится в вашем понятии системы, то вы должны здесь совершенно откинуть это. Система восприятий и чувств, — можете ли вы сами представить себе что-нибудь более странное? Или дело обстоит у вас так, что, чувствуя что-либо, вы вместе с тем соощущаете или сомыслите (называйте это, как угодно) необходимость, в силу этого чувства, чувствовать так, а не иначе, нечто, что вас в данную минуту совсем не затрагивает? Предаться такому размышлению разве не значило бы загубить свое чувство и заменить его чем-то совсем иным, холодным рассчитыванием и умничанием? Поэтому очевидно нельзя полагать, что для религии необходимо еще и сознавать эту связь своих отдельных проявлений, и не только иметь ее в себе и развивать из себя, но и обладать ее описанием и воспринимать извне; и было бы сомнением отказывать в достаточном благочестии тому, кто не имеет этого. Истинно благочестивые люди и не смущаются этим соображением в своей простой жизни и мало интересуются всеми так называемыми системами религии, построенными на этом воззрении. И поистине, они по большей части слишком плохи и далеко не сравнимы с теориями музыкального искусства, которому мы только что уподобили религию, сколько бы ошибочного ни заключалось и в последних. Ибо менее всего этим систематизаторам религии присуща скромная наблюдательность и внимательность, необходимая, чтобы уловить по возможности внутреннюю сущность того, что они описывают. И они, впрочем, менее стремятся к этому, чем к тому, чтобы счислять знаками и давать законченные и завершенные обозначения, что именно и носит случайный характер — почти столь же случайный, как обозначение звезд, в котором вы находите игру произвола и которое всегда недостаточно, ибо всегда усматривается и открывается новое, что в него не вмещается. Ведь не захотите же вы в таком обозначении найти систему, что-либо прочное и неизменное по природе, а не только в силу произвола и традиции! Совершенно так же обстоит дело и здесь. Ибо хотя каждая форма религии внутренне обоснована в себе самой, но именно ее обозначение всегда зависит от внешних обстоятельств. Тысячи людей могли бы иметь один род религиозных переживаний, и каждый, быть может, обозначал бы свое чувство иными признаками, руководимый не своим сознанием, а внешними условиями.<sup>7</sup> — Далее эти систематизаторы не столько хотят изображать своеобразное в религии, сколько подчинять одно начало другому и выводить из высшего. Но это менее всего соответствует интересу религии, которая ничего не знает о выведении и связывании. Не только какой-либо единичный

факт может быть назван в ней изначальным и первичным; напротив, все в ней непосредственно и истинно само по себе, все существует самостоятельно, без зависимости от чего-либо иного. Правда, каждая религия обладает своеобразной формой лишь в силу определенного способа и характера чувства; но было бы заблуждением относиться к такому чувству, как к тому, что вы зовете принципом и из чего можно выводить иное. Ибо эта определенная форма религии одинаково содержится в каждом отдельном элементе религии, каждое выражение чувства носит в себе такой особый отпечаток, и вне его последний нище не обнаруживается и никому не дается; и даже понять нельзя религию, если не понимаешь ее так. Ничто в ней не может и не должно доказываться из другого, и все общее, под что подводится единичное, всякое такого рода сближение и соединение либо лежит в чуждой области, если его относят к внутреннему и существенному началу в религии, либо же есть создание игры фантазии и свободного произвола. Каждый может иметь свой собственный распорядок и свои собственные рубрики; существо дела от этого ничего не приобретет и не потеряет; и кто истинно знает свою религию и ее сущность, тот поставит всякую внешнюю связь далеко ниже единичного, и ничем не пожертвует первой из последнего.

На этом пути люди пришли к удивительной мысли о всеобщей религии и о единственной ее форме, к которой все иные ее формы относятся, как ложное к истинному; и если бы я не опасался, что вы неправильно истолкуете меня, то я сказал бы даже, что лишь на этом пути люди пришли к сопоставлению между истинным и ложным, которое не особенно подходит к религии. Ибо собственно все это относится лишь туда, и применимо лишь там, где имеешь дело с понятиями, и где могут действовать отрицательные законы вашей логики, и ни к какой иной области. Непосредственно в религии все истинно; ибо как иначе могло бы в ней что-либо возникнуть? Непосредственно же лишь то, что еще не прошло сквозь понятие, а выросло только в чувства. Точно так же все, выливающееся в какую-либо религиозную форму, хорошо; ибо оно приобретает этот характер лишь потому, что высказывает общую высшую жизнь. Но весь объем религии бесконечен и не может быть вмещен в одну определенную форму, а лишь в совокупность всех ее форм.<sup>8</sup> Он бесконечен не только потому, что каждая отдельная религиозная организация имеет ограниченный кругозор, который не объемлет всего, и следовательно, не вправе думать, что вне его уже ничего не может быть воспринято, но и главным образом потому, что каждая религиозная организация своеобразна, т.е. ощущает на свой лад, так что и в пределах ее собственной области элементы религии могли бы приобретать иную форму для иной организации. Он бесконечен не только потому, что действие и страдание даже в отношении между ограниченным содержанием и душой могут бесконечно изменяться и с течением времени принимать все новые формы; и не только потому, что религия, как способность, остается всегда незавершенной и, следовательно, всегда развивается, воспроизводится во все более прекрасных формах и все глубже внедряется в природу человека: нет, религия бесконечна

во всех направлениях. Это сознание непосредственно дано вместе с самой религией, как вместе со знанием дано и знание его вечной истинности и достоверности; в этом и состоит само религиозное чувство, и оно должно поэтому присутствовать у всякого, кто действительно имеет религию. Каждый должен сознавать, что его религия есть лишь часть целого, что в отношении тех начал, которые пробуждают его религиозное чувство, должны иметься воззрения и ощущения, которые столь же религиозны и все же совершенно отличны от его собственных, и что другим формам религии должны соответствовать восприятия и чувства, доступа к которым он, быть может, совершенно лишен. Вы видите, как непосредственно вытекает из сущности религии эта прекрасная скромность, эта приветливо благожелательная терпимость, и как мало ее можно отделить от религии. И как несправедливы упреки, с которыми вы обращаетесь к религии, что она склонна к преследованиям и полна ненависти, что она разрушает общество и проливает потоки крови, как воду. Обвиняйте в этом тех, кто губят религию, кто хотят затопить ее множеством формул и отвлеченных определений и заковать ее в цепи так называемой системы. О чем же люди спорили в религии, что порождало в ней партии и возжигало войны? Об определениях понятий — иногда практических понятий, и всегда — теоретических; а те и другие не принадлежат к ней. Философия стремится объединить в общем знании тех, кто хотят знать, как это вы ежедневно видите, хотя и она, чем лучше себя понимает, тем более оставляет простора для многообразия; религия же даже в такой форме не стремится подвести под одну веру и одно чувство тех, кто верят и чувствуют. Она, правда, стремится внушить тем, кто еще не способен к религиозным переживаниям, сознание вечного единства первичного источника жизни, ибо всякий видящий есть новый жрец, новый посредник, новый орган; но именно поэтому она с отвращением избегает холодного однообразия, которое снова разрушило бы этот божественный избыток. Убогое системоискательство<sup>9</sup> отталкивает от себя все чуждое, часто даже не исследовав надлежащим образом его притязания, уже потому, что это чуждое могло бы нарушить стройные ряды собственной системы, требуя для себя места; оно есть обитель искусства споров и искания споров, оно должно вести войну и преследовать; ибо поскольку единичное относится тоже лишь к чему-либо единичному и конечному, одно единичное может, конечно, разрушить своим бытием другое; в непосредственном же отношении к бесконечному все изначальное внутреннее без взаимного стеснения находит себе место, все — едино и все — истинно. И лишь такие систематизаторы повинны во всем этом. Новый Рим, безбожный, но последовательный, шлет молнии отлучения и изгоняет еретиков<sup>10</sup>; старый, истинно благочестивый и религиозный в высшем стиле Рим был гостеприимен в отношении каждого Бога и потому заполнился богами. Поклонники мертвой буквы, которую изгоняет религия, наполнили мир криком и суетой; истинные же созерцатели вечного были всегда спокойными душами и либо оставались наедине с собой и с бесконечным, либо же, озираясь вокруг себя, охотно предоставляли каждому, кто только понимал

великое слово, быть религиозным на свой лад. Но этим широким взором и с этим чувством бесконечности религия смотрит и на то, что лежит за пределами ее собственной области и содержит в себе задаток неограниченной многосторонности в суждении и размышлении — многосторонности, которую действительно можно получить только от нее. Когда что-либо иное вдохновляет человека — я не хочу исключать отсюда даже нравственность и философию, поскольку **они еще** возможны, если отделить от них религию, а, напротив, ссылаюсь в отношении **их** на ваш собственный опыт, — то его мышление и стремление, на что бы оно ни направлялось, замыкает его в узком кругу, в котором заключено для него самое ценное и вне которого все кажется ему пошлым и недостойным. Кто хочет только мыслить по школьным правилам или действовать по принципам или что-либо выполнить в мире, тот неизбежно ограничивает сам себя и постоянно противопоставляет себе и делает предметом своей ненависти все, на что не направлены его заботы и дела. Лишь вольный воздух созерцания и жизни, если жизнь направлена на бесконечное и распространяется в бесконечность, дарует духу неограниченную свободу; лишь религия спасает его от теснящих оков мнения и вожделения. Все, что есть, необходимо для нее, и все, что может быть, есть для нее истинный и неизбежный образ бесконечного — надо лишь найти точку, из которой можно открыть его связь с бесконечным. Как бы негодно ни было нечто в иных отношениях и само по себе, в этом отношении оно всегда достойно быть, заслуживает сохранения и созерцания. Благочестивой душе религия делает все святым и ценным, даже само нечестие и саму пошлость, все, что эта душа объемлет и не объемлет, что входит в систему ее собственных мыслей и согласуется с ее своеобразной жизнью или нет; религия есть исконный и заклятый враг всякой духовной узости и односторонности. Если саму религию не затрагивают упреки, основанные лишь на ее смешении с знанием, которое, чего бы оно ни стоило, все же хочет быть именно знанием и, следовательно, принадлежит не к ней, а лишь к богословию, — а последнее вы должны были бы всегда отличать от религии, — то ее столь же мало затрагивают и упреки, которые ей делались со стороны поведения. Я уже коснулся слегка этого вопроса; но рассмотрим эти упреки в общей форме, чтобы совершенно устранить **их** и чтобы вы поняли, как следует, что я имею в виду. При этом, однако, мы должны точно различать двоякое. Во-первых, вы обвиняете религию в том, что она нередко склоняет к неприличным, ужасным и даже противоестественным поступкам в области общей гражданской и нравственной жизни. Я не хочу требовать от вас доказательства, что такие действия исходят от благочестивых людей; от такого доказательства я вас пока избавляю. Хорошо. Но, высказывая свое обвинение, вы ведь сами отделяете религию от нравственности. Разумеете ли вы под этим, что религия тождественна самой безнравственности или образует вид последней? Вряд ли, ибо иначе ваша война против религии должна была бы быть совсем иной, и вы должны были бы признать мерилом нравственности степень, в какой она уже преодолела благочестие. Но ведь вы не так поступаете против религии, если не считать тех немногих из вас,

которые действительно довели почти до безумия свою бессмысленную ревность в служении этому недоразумению. Или вы имеете в виду лишь то, что благочестие есть нечто иное, чем нравственность, что оно равнодушно к последней, а потому при случае может стать и безнравственным? Тогда вы, конечно, правы в вашем первом утверждении; а именно, поскольку благочестие можно мысленно отделить от нравственности, они различны, как я уже признал это, когда сказал, что сущность одного лежит в чувстве, другого же—в действии. Однако, как же из этой противоположности вы можете прийти до признания религии ответственной за поведение и до вменения ей последнего? Не правильнее ли в таком случае сказать, что такие люди были именно недостаточно нравственными; а если так, то они все же могли быть религиозными без вреда для себя. Ведь если вы хотите заставить нас идти вперед, — а ведь вы хотите этого — то было бы неразумно, когда в нас установилось неравенство между началами, которые собственно должны были бы быть равными, возвращать назад то, которое перегнало другое; напротив, вы должны подгонять отставшее, чтобы нам действительно подвинуться вперед. А чтобы вы не могли упрекнуть меня в придирке к словам, я обращаю ваше внимание на то, что религия сама по себе совсем не влечет человека к действию и что, если бы можно было мыслить ее присущей человеку вполне обособленно, без присутствия в нем чего-либо иного, — такой человек не осуществлял бы ни худых, ни хороших дел; ведь если вы захотите вспомнить и не пожелаете вновь отвергнуть сказанное выше, вы должны признать, что такой человек вообще не действовал бы, а только чувствовал бы. Потому-то и происходит то, на что вы часто и справедливо жалуетесь, именно что издавна многие из наиболее религиозных людей, в которых нравственная сторона жизни была слишком оттеснена и которые лишены были подлинных побуждений к действию, покидали мир и в одиночестве предавались праздному созерцанию. Заметьте себе: к этому религия может привести, когда она обособляется и, следовательно, становится болезненной, но она не может привести к жестоким и ужасным деяниям. Напротив, тот упрек, который вы хотите делать религии, можно при этом даже обратить и превратить в похвалу. Ведь деяния, которые вы порицаете, как бы различны они ни были в частностях, имеют все же то общее между собой, что они, по-видимому, проистекают из отдельного движения чувства. Ведь именно это вы всегда порицаете, все равно, называете ли вы это определенное чувство религиозным или нет; и я так мало расхожусь с вами в этом, что, напротив, тем более хвалю вас, чем основательнее и беспристрастнее вы это порицаете. Я прошу вас порицать это даже тогда, когда действие не кажется вам злым, а имеет вид благого. Ибо действие, если оно следует отдельному побуждению, попадает в силу этого в неподобающую ему зависимость и подчиняется слишком определенному влиянию даже внешних предметов, воздействующих на отдельное побуждение. Чувство по своей природе, каково бы ни было его содержание, бурно, если только оно не усыпительно; оно есть потрясение, сила, которой действие не должно покоряться и из которой оно не должно вытекать;

напротив, действие должно проистекать из спокойствия и рассудительности, из общего впечатления нашего бытия, и этот характер оно должно отражать на себе. Это равным образом требуется как в обыденной жизни, так и в государстве и искусстве. Но указанное уклонение может быть обусловлено лишь тем, что действующий — значит, мотив действия или нравственный элемент в нем — не оставил достаточного и полного простора для благочестия; и, таким образом, скорее можно думать, что если бы он был более благочестив, он и действовал бы более нравственно. Ибо из двух элементов состоит вся религиозная жизнь: человек, во-первых, должен отдаваться вселенной и открывать себя для действия той ее стороны, которая к нему обращена, и, во-вторых, он должен направлять вовнутрь это соприкосновение, которое, как таковое и в своей определенности, есть отдельное чувство, и воспринимать его во внутреннем единстве своей жизни и бытия; и религиозная жизнь есть не что иное, как постоянное возобновление этого процесса. И потому, когда человек переживает определенное душевное движение, порожденное в нем миром, будет ли благочестием то, что принуждает его вынести тотчас же это чувство наружу и обратить его в действие и поступки, которые тогда, конечно, носят на себе следы потрясения и затуманивают чистую связь нравственной жизни? Никоим образом! Напротив, благочестие призывало его внутренне насладиться приобретенным, воспринять его в глубине своего духа и слиться воедино с ним, чтобы чувство лишилось облачения временности и ощущалось не как единичное, не как потрясение, а как вечное, чистое и покойное. И тогда из этого внутреннего единства возникает и действие, как особая отрасль жизни, и, конечно, как мы уже ранее согласились, это есть обратное действие чувства; но лишь совокупное действие должно быть результатом совокупного чувства; отдельные же поступки должны зависеть в своей связи и последовательности от чего-то совсем иного, чем от мгновенного чувства; лишь в таком случае они, каждый в свое связи и на своем месте, свободно и самобытно выражают все внутреннее единство духа, а не тогда, когда они зависят от отдельного возбуждения и рабски соответствуют ему. Итак, несомненно, что ваше порицание не затрагивает религии, если не говорить о болезненном состоянии, и что даже это болезненное состояние не имеет первоначальной и самобытной основы в религиозной системе, а носит общий характер, так что из него не может быть ничего выведено специально против религии. Наконец, несомненно и должно быть ясно вам, что в здоровом состоянии, поскольку мы рассматриваем в отдельности религиозность и нравственность, нельзя считать действия человека обусловленными религией и религию — побудительницей действий; напротив, действие образует самостоятельный ряд, и религия также, как две различные функции одной и той же жизни. Поэтому человек не должен ничего делать из религии, а должен все делать и осуществлять с религией; непрерывно, подобно священной музыке, религиозные чувства должны сопровождать его деятельную жизнь, и нигде и никогда он не должен терять их. А что в этом разъяснении я не ввел в заблуждение ни вас,

ни себя самого — в этом вы убедитесь, если обратите внимание на то, что каждое чувство, чем более в ваших собственных глазах к нему применим характер религиозности, тем более обладает склонностью обратиться вовнутрь, а не прорываться наружу в действиях; и религиозный человек, исполненный глубокой внутренней жизни, оказался бы в величайшем затруднении и, пожалуй, даже не понял бы вас, если бы вы его спросили, что в частности он склонен делать в силу своего чувства, чтобы засвидетельствовать и проявить последнее. Лишь злые духи, а не добрые, владеют и движут человеком, легион жб ангелов, которым небесный Отец снабдил своего Сына, не осуществляли над ним никакой власти, не помогали ему в его отдельных действиях и не должны были делать это; но они вселяли радость и спокойствие в его душу, истощенную мыслями и поступками; иногда, в мгновения, когда вся его сила была обращена к действию, они исчезали перед его взором, но потом снова радостной толпой теснились вокруг него и служили ему. Но зачем я привожу эти частности и говорю образами? Ведь яснее всего моя правота обнаруживается в том, что, хотя я вместе с вами исходил из разделения, установленного вами между религией и нравственностью, и хотя мы именно надлежащим образом прослеживали это разделение, мы как бы сами собой вернулись к существенному их соединению в истинной жизни и видели, что все губительное для одной из них предполагает слабость и в другой, и что если одна из них не есть всецело то, что она должна быть, то и другая не может быть совершенной.

Таким образом, в этом отношении дело обстоит несомненно так. Но вы часто говорите еще о других действиях, которые непременно должна порождать религия, так как они не имеют значения для нравственности и, следовательно, никоим образом не могут возникать из нее, и по той же причине не могут возникать из чувственности, поскольку последняя противопоставляется нравственности, ибо и для нее они не имеют смысла; тем не менее они губительны, потому что в них люди приучаются держаться за пустое и ценить ничтожное, и потому, что они, при всей своей бессмысленности и бесцельности, слишком часто заступают место нравственной деятельности и прикрывают отсутствие последней. Я знаю, что вы разумеете; избавьте меня от длинного описания внешней дисциплины, духовных упражнений, лишений, истязаний и тому подобного, в чем вы упрекаете религию, как в ее создании, но о чем — не забывайте этого — также весьма равнодушно судят именно величайшие герои религии, основатели и возродители церкви. Здесь, правда, дело обстоит иначе; но и здесь, я полагаю, дело, которое я защищаю, оправдывает себя само. А именно, подобно тому, как знание, о котором мы ранее говорили, те учения и мнения, которые хотели ближе примкнуть к религии, чем они на то способны, были лишь обозначениями и описаниями чувства, короче, знанием о чувстве, но отнюдь не непосредственным знанием о действиях вселенной, пробуждающих чувство; и подобно тому, как это знание неизбежно должно было обратиться во зло, когда оно ставилось на место либо самого чувства,

либо подлинного непосредственного познания, — так и это поведение, предпринимаемое ради упражнения чувства и управления им и столь часто превращающееся в что-то пустое и бессодержательное — ведь мы не говорим здесь об ином, символическом и значительном поведении, выдающем себя не за упражнение, а за выражение чувства — есть также поведение как бы из вторых рук, которое на свой лад делает чувство своим объектом и воздействует на него, по аналогии со знанием, которое тоже делает чувство своим объектом и хочет теоретически воспринять его. Какую цену это поведение может иметь само по себе, и не оказывается ли оно столь же несущественным, как такое знание, — этого я не хочу здесь решать; ведь трудно правильно определить, и требует точного обсуждения вопрос, в каком смысле человек может хотеть управлять самим собой и в особенности своим чувством, которое, по-видимому, есть скорее дело целого и самобытный продукт жизни, чем намеренный и самостоятельный результат человеческой деятельности. Но, повторяю, это нас здесь не касается, и я хотел бы лучше обсуждать это с друзьями религии, чем с вами. Достоверно, однако, и я безусловно признаю здесь одно: мало найдется заблуждений более губельных, чем такое желание составить эти воспитательные упражнения чувства на место самого чувства; но только это очевидно есть заблуждение, в которое не могут впасть религиозные люди. Быть может, вы сразу же согласитесь в этом со мной, если я напомню вам, что нечто подобное встречается и в области нравственности. Ибо и здесь существует такое воздействие на свое собственное поведение — нравственные упражнения, которые человек, как обыкновенно говорится, предпринимает над самим собой, чтобы стать лучше; ставить такие упражнения на место непосредственной нравственной деятельности, на место доброты и правильного поведения — это, правда, случается, но вы не скажете, что это случается именно с нравственными людьми. Но сообразите также следующее. Вы собственно полагаете, что люди делают разные вещи, причем каждый перенимает у другого и передает следующим то, что для многих совсем не понятно и ничего не означает, но в отношении чего предполагается, что оно совершается ради возбуждения, поддержки и направления в известную сторону религиозного чувства. Итак, где это действие производится самостоятельно и где оно действительно имеет это значение, там оно очевидно относится к собственному чувству человека и предполагает известное состояние этого чувства, которое может быть воспринято, так что человек сознает самого себя и свою внутреннюю жизнь со всеми ее слабостями и неровностями. Это предполагает также интерес к такому самосознанию, высшее себялюбие, предметом которого является именно человек, как нравственно чувствующее существо, как воображаемая часть целого духовного мира; и, очевидно, с прекращением этой любви должно прекратиться и такое поведение. Итак, может ли когда-либо такое поведение нелепым и бессмысленным образом быть поставлено на место самого чувства и стремиться вытеснить его, не уничтожая вместе с тем само себя? Нет, такое заблуждение может возникнуть лишь в тех, кто в последних



глубинах своей души враждебны религии. Именно для таких людей эти упражнения чувства имеют самостоятельную ценность, ибо этим они могут приобрести славу, будто они скрывают в себе подлинное чувство; тому, что в других имеет глубокое значение, они могут внешне подражать, когда сознательно или бессознательно им нужно обмануть других видимостью высшей жизни, которая в действительности отсутствует в них. Так дурно, действительно, то, что вы в этом смысле порицаете; это есть всегда либо низкое лицемерие, либо жалкое суеверие, которое я охотно предоставляю вашему суду и которого не хочу защищать. И при этом безразлично, в чем состоят такого рода упражнения, и мы готовы отвергнуть не только то, что само по себе пусто, неестественно и ложно, но и все, что возникает на этом пути, хотя бы оно и пользовалось хорошей репутацией; дикие истязания, бессмысленный отказ от прекрасного, пустые слова и обряды, благотворительность — все это должно иметь для нас одинаковое значение, всякое суеверие мы должны признать одинаково нечестивым. Но никогда также мы не должны смешивать это суеверие с благонамеренным стремлением религиозных душ. То и другое различается поистине весьма легко; ибо всякий религиозный человек создает себе сам свою аскетику, в какой он нуждается, и не ищет какой-либо нормы, кроме той, которую он носит в себе. Суеверный же и лицемер строго держится данного извне и традиционного и ревностно соблюдает все это, как что-то общеобязательное и священное.

И это вполне естественно; ведь, если бы каждый обязан был сам изобретать свою внешнюю дисциплину и упражнение, свою гимнастику чувства, в связи со своим личным состоянием, то им плохо пришлось бы, и они не могли бы уже скрыть своей внутренней нищеты..

Долго задерживал я вас на самом общем, — почти можно сказать: на предварительном, на том, что должно было бы разуместься само собой. Но именно потому, что для вас, как и для многих других, которые менее всего согласились бы быть причисленными к вам, оставалось непонятным отношение религии к другим отраслям жизни, было необходимо с самого начала отвести источники наиболее обычных недоразумений, чтобы они потом не задерживали нас на нашем пути. Это я и выполнил по мере сил, и теперь, я надеюсь, у нас есть твердая почва под ногами; мы должны исходить из того мгновения, которое само никогда не может быть непосредственно созерцаемо, но в котором одинаково образуются все различные проявления жизни, подобно тому, как иные растения оплодотворяются уже в закрытом бутоне и как бы приносят плод в самом расцвете; и если, исходя отсюда, мы спросим, где среди всех проявлений жизни следует преимущественно искать религию, то мы убеждены, что на это нельзя дать иного верного и обоснованного ответа, как найти место религии там, где живые прикосновения человека с миром принимают преимущественно характер чувства, и указать, что в чувстве произрастают прекрасные и благоуханные

цветы религии; эти цветы, раскрываясь в указанном тайном действии, правда, вскоре опять опадают, но божественный росток всегда создает новые, окружая их райским климатом, в котором никакая непогода не мешает их развитию и никакая резкая среда не вредит нежным краскам и тонкой ткани цветов. На это внутреннее строение я хочу теперь обратить ваше очищенное и подготовленное внимание.

Прежде всего обратимся к внешней природе, которую многие считают первым и единственным храмом Божества и, в силу присущего ей особого способа действовать на душу, самой глубокой святыней религии, но которая теперь есть почти лишь преддверие к последней, хотя и должна была бы иметь большее значение. Ведь совершенно неверно воззрение, которое мне прежде всего бросается в глаза в вашей среде, будто страх перед силами, которые властвуют в природе и с присущей им беспощадностью угрожают жизни и делам людей, впервые возбудил в человеке чувство бесконечного или даже есть единственная основа всей религии. Разве вы не должны признать, что, если бы дело обстояло так, если бы благочестие явилось вместе со страхом, оно должно было бы также исчезнуть вместе с ним? Конечно, вы должны признать это; но, быть может, вам именно это и кажется, а потому рассмотрим дело ближе. Ведь очевидно, что великая цель всего трудолюбия, затрачиваемого на совершенствование земли, состоит в том, чтобы прекратить господство сил природы над человеком и уничтожить всякий страх перед ними. И действительно, в этом отношении уже сделано изумительно много. Молнии Зевса не пугают нас более, с тех пор, как Гефест изготовил щит против них; Гестия охраняет то, что она отвоевала у Посейдона, от гневных ударов его трезубца, и сыновья Ареса соединяются с сыновьями Асклепия, чтобы оберечь нас от быстро убивающих стрел Аполлона. Человек все более научается одолевать и губить одного из этих богов посредством другого и готов вскоре уже лишь, как победитель и властелин, смотреть на эту игру. Итак, если губители взаимно губят себя, а страх есть основа их почитания, то они постепенно должны приобретать вид чего-то будничного и обыденного; ибо что человек одолел или что мечтает одолеть, то он и способен измерить, и оно уже не может стоять перед ним, как ужасная бесконечность, так что религия должна была бы постепенно терять свои объекты. Но разве это где-либо случилось? Разве эти боги не почитались столь же ревностно, поскольку они, как братья и родственники, поддерживали и укрепляли друг друга, и поскольку они поддерживают и охраняют и человека, как младшего сына того же отца? Да и в вас самих, если вами еще овладевает благоговение перед великими силами природы, зависит ли оно от вашей обеспеченности или необеспеченности? Или у вас уже наготове смех, чтобы глумиться над громом, когда вы стоите под вашими громоотводами? И не есть ли вообще охраняющее и поддерживающее начало в природе также предмет поклонения? Обсудите также и следующее. Разве то, что угрожает и противодействует бытию и творчеству человека, есть только великое и бесконечное, или, напротив, то

же самое делает многое мелкое и ничтожное, что вы даже не можете определенно воспринять и преобразить во что-либо крупное, и что вы поэтому зовете случаем? А было ли это хоть когда-либо предметом религии и поклонения? А если вы хотите составить себе столь низменное представление об идее судьбы у древних, то вы плохо поняли их поэтическую религию. Ибо под этой возвышенной судьбой разумелось одинаково и сохраняющее, и разрушающее начало; а потому и священное благоговение перед ней, отказ от которого в самую прекрасную и просвещенную эпоху древности казался всем лучшим людям совершенным нечестием, было нечто иное, чем тот рабский страх, освобождение от которого было славным и добродетельным делом<sup>11</sup>. Что касается этого священного благоговения, если вы можете его постигнуть, то я охотно соглашусь, что оно есть первый элемент религии. Страх же, который вы имеете в виду, не только сам не есть религия, но и не может подготовить и подвести к ней. Напротив, единственное хорошее, что можно сказать о нем, — это только то, что он вынуждает людей обратиться к мирскому общению, к государству, чтобы этим путем избавиться от него; благочестие же человеческое начинается лишь там, где человек уже избавился от страха. Ибо любить мировой дух<sup>12</sup> и радостно созерцать его действие — вот цель религии, страх же не есть любовь. Но столь же мало вы должны верить тому, что любовь к природе, которую столь многие прославляют в качестве религии, есть истинно религиозная любовь. Мне почти отвратительно говорить об их манере спешить в великий прекрасный мир, чтобы раздобывать в нем маленькие трогательные ощущения — говорить о том, как они всматриваются в нежные рисунки и окраски цветов, или в магическую световую игру пылающего вечернего неба, и как они восхищаются пением птиц и красивой местностью. Они, правда, полны изумления и восторга и полагают, что никакой инструмент не может произвести этих волшебных звуков, и никакая кисть не может достигнуть такой окраски и рисунка. Но если бы мы вмешались в их мысли и стали умничать в их духе, то они сами должны были бы проклясть свою радость. Ведь их можно спросить: чему вы собственно здесь изумляетесь? Взрастите цветок в темном погребке, — и при удаче вы можете лишиться его всех этих красот, ничуть не изменяя его природы. И вообразите, что испарения будут несколько иначе ложиться вокруг нас, и вы, вместо этого великолепия, будете иметь перед глазами лишь серое неприятное покрывало, а однако явление, наблюдаемое вами, останется прежним. Попробуйте, наконец, представить себе, что те же самые полуденные лучи, ослепительность которых вы не выносите, кажутся людям, живущим к востоку от нас, мерцающей вечерней зарей — а ведь вы должны принять это во внимание, если хотите обсудить этот предмет в целом — и если тогда вы, очевидно, уже не будете иметь того же ощущения, то вы должны убедиться, что гнались лишь за пустым призраком. И они не только поверят этому, но это и действительно истинно для них, ибо они охвачены борьбой между видимостью и бытием, а где есть эта борьба, там не может возникнуть религиозное возбуждение и подлинное чувство. Да, если бы они

были детьми, которые действительно, не мечтая и не думая ни о чем ином, не сравнивая и не размышляя, воспринимают в себя свет и блеск и с помощью мировой души открывают себя миру, благоговейно чувствуют это и побуждаются к этому отдельными предметами; или если бы они были мудрецами, для которых всякий спор между видимостью и бытием разрешается в живом созерцании, которые поэтому могут снова переживать детские чувства и которым такие умничания не служат помехой, — тогда их радость была бы истинным и чистым чувством, моментом живого, дающего радостную весть о себе, соприкосновения между ними и миром. И если вы понимаете это более прекрасное состояние, то позвольте сказать вам, что и оно есть первичный и необходимый элемент религии. Но не выдавайте мне описанное пустое, вымученное чувство за движение благочестия, ибо оно слишком неустойчиво и есть лишь жалкая личина для их холодного, бесчувственного просвещения и извращения. Итак, оспаривая религию, не подкидывайте ей и здесь того, что не принадлежит ей; и не говорите с насмешкой, будто через унижительный страх перед бессмысленным и пустую игру с бессодержательной видимостью человек легче всего может достигнуть этой мнимой святости, и будто благочестие ни в ком не возникает легче и никому не идет лучше, чем трусливым, слабым, чувствительным душам. Далее в телесной природе перед нами выступает ее материальная бесконечность, огромные массы, рассеянные в необозримом пространстве и пробегающие неизмеримые пути; и когда воображение оказывается бессильным расширить уменьшенные образы этих явлений до их настоящей величины, то многие думают, что это бессилие тождественно с чувством величия и грандиозности вселенной. Вы правы, когда находите несколько ребяческим это арифметическое изумление и отказываетесь признавать большую ценность за тем чувством, которое легче всего возбудить у малолетних и невежественных именно в силу их невежества. Но легко также устранить недоразумение, будто такое чувство в этом его значении есть религиозное чувство. Разве даже те, кто привыкли так называть его, допустили бы, что когда эти великие движения не были еще исчислены, когда еще половина этих миров не была открыта и когда даже еще не знали, что светящиеся точки суть небесные тела — что в эту пору благочестие необходимо было меньшим, так как ему недоставало существенного элемента? И столь же мало они смогут отрицать, что эта бесконечность меры и числа, поскольку она действительно входит в наше представление — а ведь иначе она для нас и не существует, — становится всегда лишь конечным, что дух может охватить бесконечность этого рода в кратких формулах и счислять посредством них, как это ежедневно совершается. Но ведь наверно они не захотят допустить, что их благоговение перед величием и грандиозностью вселенной сколько-нибудь умалется в силу развития знания и техники. И все же это волшебство числа и массы должно было бы исчезнуть по мере того, как нам удавалось бы определить отношение единиц, которыми мы измеряем нашу величину и наше движение, к великим мировым единствам. Поэтому, пока чувство прикрепляется лишь к этому различию мер, оно и есть

только чувство нашей личной неспособности — правда, тоже религиозное чувство, но совсем иного рода. Благоговение же, это прекрасное, столь же возвышающее, сколь и смиряющее чувство нашего отношения к целому должно оставаться одинаковым не только там, где мера мирового действия слишком велика для нашей организации, или там, где она слишком мала, но и там, где она равна или ответственна ей. Но может ли тогда быть источником этого дивного чувства противоположность между малым и большим? Или, напротив, этим источником является сущность величия, тот вечный закон, в силу которого вообще возникают величина и число, а значит и мы, как таковые? Итак, все, подчиненное тяжести и в этом смысле умерщвленное не может само по себе действовать на нас; на нас действует лишь живое, и что во внешнем мире действительно привлекает религиозное сознание, это — не его массы, а его вечные законы. Возвысьте свой взор и посмотрите, как эти законы объемлют равномерно все, величайшее и мельчайшее, от мировых систем до пылинки, которая беспокойно носится в воздухе, и скажите тогда, не открывается ли вам божественное единство и вечная неизменность мира. Однако то, что в этих законах постоянно и чаще всего нас затрагивает и потому не ускользает и от обычного восприятия, именно порядок, в котором возвращаются все движения на небе и на земле, определенное появление и исчезновение всех органических сил, неизменная верность в порядке механизма и вечное однообразие в стремлениях пластической природы, — это именно в силу своей правильности возбуждает менее живое и великое религиозное чувство, поскольку, впрочем, здесь допустимо сравнение по степени. И это не должно вас удивлять; ведь когда вы рассматриваете отдельный отрывок великого художественного произведения и в отдельных частях этого отрывка снова замечаете самостоятельные и прекрасные формы и отношения—не будет ли вам тогда казаться скорее, что этот отрывок есть сам по себе художественное произведение, чем что он есть часть более крупного произведения? Не скажете ли вы тоща, что целому, если оно все создано в этом стиле, недостает размаха и смелости и всего, что дает почуять присутствие великого духа? Где мы должны ощущать возвышенное единство, широко задуманную связь, там, наряду с общей тенденцией к порядку и гармонии, необходимо должны существовать в частности отношения, которые не могут быть сполна поняты сами по себе. Мир также есть творение, лишь часть которого вы обозреваете, и если бы эта часть была вполне упорядочена и завершена сама по себе, то величие целого открылось бы вам лишь в неограниченной мере. Вы видите, что та неправильность мира, которая часто должна служить делу устранения религии, напротив, имеет для религии большую цену, чем порядок, который первый открывается нашему мирозерцанию и который доступен обозрению и в меньших частях мира. Отклонения в ходе небесных тел указуют на высшее единство, на более смелую связь, чем та, которую мы узнаем уже в правильности их пути, и аномалии и праздная игра пластической природы вынуждает нас видеть, что даже с самыми определенными своими формами она обращается со свободным, почти

можно сказать, капризным произволом, как бы с фантазией, правила которой могли бы открыться нам лишь с высшей точки зрения. Поэтому-то и в религии древних лишь низшим божествам, подчиненным девам, принадлежал надзор над равномерно повторяющимся, над тем, порядок чего был уже найден; отклонения же, которые были непонятны, революции, для которых не существовало законов, именно и были делом отца богов. Так и мы легко отличаем в нашем чувстве от спокойного и уравновешенного сознания, возбуждаемого понятой природой, то высшее сознание, в котором именно открывается, что единичное вовлечено в широчайшие связи целого, что частное зависит от еще неисследованной всеобщей жизни — те изумительные, трепетные, таинственные душевные движения, которые овладевают нами, когда фантазия внушает нам, что уже осуществленное познание природы совершенно не соответствует даже ее действию на нас; я разумею те загадочные чаяния, которые одинаково стремятся к просветлению и переходят в более живую деятельность познания, в других же, будучи неразумно и невежественно восприняты, приводят к ложным мнениям; такие мнения мы слишком решительно зовем суеверием: ведь в основе их лежит очевидно благочестивый трепет, которого мы сами не стыдимся. — Обратите также внимание, как вы сами поражаетесь общей противоположностью между всем живым и тем, что по сравнению с ним должно считаться мертвым, — как вы ощущаете ту сохраняющую, победоносную силу, благодаря которой все питается и, как бы насильственно пробуждая мертвое, вовлекает его в свою собственную жизнь, чтобы оно снова начало круговорот; как со всех сторон нас теснит готовый запас для всего живущего, который не лежит мертвым, а, живя, всюду сам воссоздает себя; как, при всем многообразии жизненных форм и невероятном множестве матери, потребляемой попеременно каждой из них, все же каждая форма имеет достаточно материи, чтобы пройти круг своего бытия, и каждая покоряется лишь своей внутренней судьбе, а не внешнему лишению. Какую бесконечную полноту содержит в себе это чувство, и какое через край переливающееся обилие! Как волнует нас впечатление общего отеческого промысла, и детское доверие к возможности провести в беспечной игре сладостную жизнь среди обильного и богатого мира. Посмотрите на полевые лилии, они не сеют и не жнут, но Отец небесный питает их; итак, не заботьтесь. Это радостное воззрение, это веселое, легкое настроение было уже для одного из величайших героев религии прекрасным плодом еще весьма ограниченного и бедного общения с природой; насколько более должны насладиться им мы, которым более богатая эпоха дала возможность глубже заглянуть вовнутрь природы, так что мы уже лучше знаем общераспространенные силы и вечные законы, по которым образуются и разрушаются все отдельные вещи, в том числе и те, которые, обособляясь в определенном объеме, имеют свои души в себе самих и которые мы называем телами. Посмотрите, как всюду непрерывно действующие влечение и отталкивание определяют все; как все различие и противоборство снова разрешаются в высшее единство, и что-либо конечное лишь мнимо может

гордиться вполне обособленным бытием; посмотрите, как все равное умеет скрываться и разделяться в тысячах различных форм, и как вы нигде не находите ничего простого, а, напротив, все находите искусно составленным и сплетенным. Но мы хотим не только видеть и обращать внимание всякого, кто принимает некоторое участие в просвещении нашего времени, что в этом смысле дух мира столь же явственно и совершенно открывается в малейшем, как и в величайшем, и не только останавливаться на таком его восприятии, которое развивается и овладевает душой всюду и во всем; ведь мировой дух, несмотря на отсутствие всех знаний, которые дают славу нашему веку, открылся уже древнейшим мудрецам далеких эпох и не только проявился в их созерцании, как чистый и осмысленный образ мира, но и возжег в их сердцах еще нам любезную и отрадную радость и любовь к природе, и если бы эта любовь и радость проникли ко всем народам, кто знает, какой великий и возвышенный путь прошла бы религия уже с самого начала! Мы хотим еще большего: ведь если теперь, в силу постепенно действующего общения между познанием и чувством, все, кто хотят считаться образованными, действительно владеют этим пониманием природы уже в непосредственном чувстве, и не находят в своем бытии ничего, что не было бы созданием этого духа и проявлением и выполнением этих законов, так что благодаря этому чувству все, что вторгается в их жизнь, есть для них действительно мир, созданный, проникнутый Божеством и единый—то в них всех должна была бы быть именно эта любовь и радость, именно это внутреннее благоговение перед природой, которым для нас освещены искусство и жизнь древних; ведь из этого благоговения там впервые возникла та мудрость, которую мы наконец начинаем восхвалять и прославлять в поздних плодах, после того, как мы вернулись к ней. И это было бы, конечно, очагом религиозных чувств, лежащих в этом направлении — такое чувство своего единства с природой, своей укорененности в ней, что при всех изменчивых явлениях жизни и даже при самой смене жизни смертью, которая поражает и нас, мы с радостью и спокойствием ожидали бы выполнения этих вечных законов.

Но то целое, которым только и может быть возбуждено в нас это чувство — любовь и борьба, своеобразие и единство в природе, через которые она становится целым для нас — легко ли это найти непосредственно в природе? Нет, именно в том и дело, и именно потому встречается так мало истинно религиозного наслаждения природой, что наше сознание склоняется в совсем иную сторону, и мы непосредственно воспринимаем это единство в глубине души, и лишь позднее, истолковывая его, переносим его на телесную природу. Поэтому душа есть для нас как местонахождение, так и ближайший мир религии<sup>13</sup>: во внутренней жизни отображается вселенная, и лишь через духовную, внутреннюю природу нам становится понятной телесная природа. Но и душа, чтобы создавать и питать религию, должна действовать на нас, как мир и в мире. Позвольте мне открыть вам загадку, которая почти недоступно скрыта в древнейших памятниках поэзии и религии. Пока первый человек был наедине с самим собой и природой, над ним, правда,

властвовало Божество, оно обращалось к нему в разных формах, но он не понимал его, ибо не отвечал ему; его рай был прекрасен, и с прекрасного неба ему блистали звезды, но дух его не раскрывался для мира; он не развивался также изнутри, из глубины своей души, и дух его обуревался лишь тоскою по миру: и вот он собрал вокруг себя всю животную тварь, ища в ней мира. Тогда познало Божество, что его мир — ничто, пока в нем человек один, оно создало помощницу человеку, и лишь тогда пробудились в нем живые и одухотворенные звуки, лишь тогда перед его глазами создался мир. В плоти от своей плоти и в кости от своей кости он открыл человечество, предчувствуя уже в этой первичной любви все направления и формы любви, и в человечестве он нашел мир; с этого мгновения он стал способен слышать голос Божества и отвечать ему, и кошунственное нарушение законов Божества уже не лишало его общения с вечным Существом<sup>14</sup>. В этой саге рассказана история каждого из нас. Тщетно все для того, кто сам себя уединяет; ибо, чтобы воспринять в себя жизнь мирового духа и иметь религию, человек должен сперва найти человечество, и он находит его лишь в любви и через любовь. Поэтому то и другое столь тесно и неразрывно соединено между собой; жажда любви, всегда удовлетворяемая и вновь пробуждающаяся, вместе с тем становится для него религией. Каждый горячее всего объемлет того, в ком для него яснее и чище всего отражается мир, каждый любит нежнее всего того, в ком он мнит найти соединенным все, что ему самому недостает, чтобы составить человечество; и точно так же каждому святее всего те религиозные чувства, которые выражают для него бытие в целостном человечестве — будь то как блаженство, или как потребность.

Итак, чтобы найти господствующие элементы религии, мы должны вступить в эту область, которая и для вас есть подлинная и любимейшая родина, где открывается ваша внутренняя жизнь, где вы ясно видите цель всех ваших стремлений и действий и вместе с тем чувствуете внутреннее биение ваших сил, постоянно влекущее вас к этой цели. Само человечество есть, собственно, для вас вселенная, и все остальное вы причисляете к последней, лишь поскольку оно стоит в связи с человечеством. Я не хочу уводить вас за пределы этой точки зрения; но я часто скорбел, что, при всем вашем интересе к человечеству и рвению к его пользе, вы все же находитесь в сложном отношении к нему и в раздоре с ним, и чистая любовь не может надлежащим образом проступить в вас. Вы мучительно стараетесь исправлять и лепить его, каждый на свой лад, и в конце концов вы с ропотом бросаете дело, которое не можете довести до конца. Я вправе сказать: это также происходит от недостатка религии в вас. Вы хотите действовать на человечество и на людей и рассматриваете с этой целью отдельных его представителей. Последние в высокой степени возбуждают ваше неодобрение; и среди тысячи причин, которыми это может объясняться, бесспорно прекраснейшей и принадлежащей лучшим из вас является та, что вы чересчур моральны на свой лад. Вы берете людей поодиночке, и потому у вас есть и идеал



отдельного человека, — идеал, которому никто не соответствует. Все это, вместе взятое, есть неправильное начинание, и с помощью религии вы достигнете лучшего состояния. Попробуйте только переменить объекты вашей деятельности и вашего наблюдения! Действуйте на отдельных людей; но в вашем размышлении поднимитесь на крыльях религии выше, к бесконечному неразделенному человечеству; только его ищите в отдельном человеке; рассматривайте бытие каждого человека, как откровение человечества для вас, — и от всего, что вас теперь тяготит, не останется и следа. Я, по крайней мере, признаю за собой также нравственное умонастроение, я также умею ценить человеческие достоинства, и низменное, рассматриваемое само по себе, может почти переполнить меня неприятным чувством презрения; но религия открывает мне великую и прекрасную точку зрения на все это. Нужно только смотреть на гения человечества, как на самого совершенного и всестороннего художника. Он не может ничего создать, что не имело бы своеобразного бытия. Даже когда он, по-видимому, лишь пробует краски и чинит кисти, возникают живые и значительные черты. Он мыслит бесчисленные образы и творит их. Миллионы носят одеяние своего времени и это верные копии его потребностей и его вкуса; в других обнаруживаются воспоминания о прошлом или предчувствия далекого будущего. Одни суть самый возвышенный и удачный отпечаток прекраснейшего и божественного; другие походят на карикатуры, созданные оригинальнейшим и беглым капризом мастера. Мысль, что есть сосуды чести и сосуды бесчестия, в ее обычном понимании содержит скорее нечестивое воззрение и недостаточное проникновение в смысл священных слов, на которых ее основывают. Лишь когда вы сравниваете единичное с единичным, такая противоположность может представиться вам: но вы не должны ничто рассматривать поодиночке, а должны, напротив, наслаждаться всем на том месте, где оно стоит. Все, что может быть воспринято одновременно и как бы стоит на одном листе, принадлежит к одной великой исторической картине, которая изображает момент общей деятельности целого. Хотите ли вы презирать то, что выделяет основные группы и придает целому жизнь и полноту? Разве отдельные небесные образы не прославляются тем, что тысячи других склоняются перед ними, и видно, как все направлено на них? Поистине, в этом есть нечто большее, чем плоское сравнение. Вечное человечество неустанно стремится выступить к свету из своего внутреннего таинственного бытия, и на многообразнейшие лады воплотиться в преходящем явлении конечной жизни. В этом — гармония вселенной, в этом — изумительное и несравненное единство упомянутого вечного художественного творения; вы же поносите это великолепие вашими требованиями жалкого обособления, ибо вы стоите лишь в первых сенях морали, и заняты в них лишь начатками: вечно заботясь о своей отдельности и успокаиваясь на единичном, вы пренебрегаете высокой религией. Ваша потребность обозначена достаточно отчетливо, вам остается только познать и удовлетворить ее! Ищите среди всех событий, в которых отражается этот небесный порядок — ведь каждый

из вас имеет свои любимые места в истории, — и посмотрите, не откроется ли вам в каком-либо из них небесный знак, который поможет вам понять, как жизненно в себе и как важно для целого даже малое: и тогда вашу любовь привлечет то, что в ином случае вы осматриваете с холодным презрением. Или полюбите какое-нибудь старое, отвергнутое понятие, и поищите среди всех святых людей, в которых выразилось прекрасное откровение человечества, кого-либо, кто мог бы быть посредником между вашим ограниченным образом мыслей и вечными законами мира; и когда вы найдете такого человека, который понятным для вас способом укрепляет слабое и оживляет мертвое своим связующим бытием, тогда обозрите все человечество и освятите отражением этого нового света все, что доселе казалось вам бесплодным и убогим. Какую цену имело бы однообразное повторение высшего идеала, причем люди, если отвлечься от времени и обстоятельств, были бы в сущности однородны, означали бы одну и ту же формулу лишь с разными коэффициентами — какую цену имело бы это по сравнению с бесконечной различностью человеческих явлений? Возьмите какой угодно элемент человечества, вы найдете каждый во всевозможных состояниях, начиная с почти совершенной его чистоты — ибо совершенную чистоту нигде нельзя найти — через многообразные смешения с каждым другим элементом, вплоть до почти всецелого насыщения всеми остальными — ибо и это есть недостижимая крайность; и смешение создается всевозможными способами, выражает все случайные видоизменения и редкие комбинации. И если вы еще можете мыслить соединения, которых вы не видите, то и это есть откровение вселенной, — намек на то, что в требуемой степени это смешение невозможно при нынешней температуре мира; и ваше воображаемое представление о нем открывает горизонты по ту сторону современных границ человечества и есть истинное высшее вдохновение, все равно, есть ли оно лишь новое пробуждение исчезнувшего прошлого, или произвольное и бессознательное пророчество о том, что будет в грядущем. Но если то, что, по-видимому, недостает для этого требуемого бесконечного многообразия, не есть подлинный недостаток, то нет и подлинного избытка в том, что с вашей точки зрения представляется таковым. В столь часто оплакиваемом избытке самых пошлых форм человечества, которые неизменно повторяются в тысячах оттисков, сосредоточенное религиозное сознание легко узнает пустую видимость. Вечный разум повелевает — и это может постигнуть и конечный разум, — чтобы те формы, в которых труднее всего различить самобытность, теснее всего сгрудились между собой; но каждая форма имеет нечто своеобразное; никто не равен другому, и в жизни каждого есть мгновение, подобное серебряному блеску неблагородных металлов, когда либо через внутреннюю близость более высокого существа, либо в силу некоего электрического удара, человек как бы возвышается над самим собой и возводится на высочайшую вершину того, чем он может быть. Для этого мгновения он был создан, в нем он достиг своего назначения, и после него иссякнутая жизненная сила снова падает. Завидное наслаждение — вызывать это

мгновение в бедных душах и наблюдать их в таком состоянии; но кому это никогда не удавалось, тому, конечно, все их бытие должно казаться излишним и презренным. Так существование каждого человека имеет двойкий смысл в отношении целого. Если я мысленно задержу движение той неустанной силы, которая переплетает между собой все человеческое и устанавливает в нем взаимозависимость всех частей, то каждая личность по своему внутреннему существу есть необходимый дополнительный элемент для совершенного созерцания человечества. В одном существе я вижу, как каждая оторванная частица человечества, если только в ней может продолжаться действовать внутреннее творческое влечение, одушевляющее целое, развивается в тонких и правильных формах; в другом я замечаю, как, благодаря недостатку оживляющей и связующей теплоты, не может быть преодолена твердость земного материала, или как слишком бурная атмосфера препятствует деятельности внутреннего духа, так что все проступает наружу в неприметных или неотчетливых формах; в одном случае предо мной — грубая и животная часть человечества, лишь слегка колеблемая первыми неумелыми побуждениями человечества, в другом случае я вижу чистейший дефлегмированный дух, отделенный от всего низменного и недостойного и витающий над землей, лишь слегка соприкасаясь с ней; но и все промежуточные звенья между этими двумя конечными точками обозначают в каком-либо отношении самостоятельную ступень и своеобразно свидетельствуют, как в обособленных мелких явлениях единичной жизни выражаются различные элементы человеческой природы. Разве мало того, что среди этого бесчисленного множества имеется всегда хоть несколько человек, которые суть выдающиеся и высшие представители человечества, — что каждый из них берет то тот, то иной мелодический аккорд, который не нуждается в сопровождении чужого голоса и в дальнейшем разрешении, а сразу своей внутренней гармонией восхищает и удовлетворяет всю душу? Но если самые благородные люди все же выражают человечество лишь на особый лад и в отдельные мгновения, то, с другой стороны, каждый из людей иного, обратного типа в каком-либо смысле имеет то же значение, — каждый есть своеобразное выражение человечества: и если бы недоставало хоть одного образа в этой великой картине, мы должны были бы отказаться воспринять ее сполна и совершенно в наше сознание. Итак, каждый существенно связан с тем, что есть внутреннее ядро нашей жизни; можем ли мы не чувствовать этой связи, не обнимать с интимной любовью и симпатией всех, даже без различия умонастроения и духовной силы? И в этом — один смысл, который каждый отдельный человек имеет в отношении целого. Когда я, напротив, наблюдаю вечные колеса человечества в их движении, то, с другой стороны, это необозримая взаимная переплетенность, в которой ничто подвижное не движется только само собой, и ничто движущее не движет лишь себя само, сильно успокаивает меня в отношении вашей жалобы, что разум и душевность, чувственность и нравственность, рассудок и слепая сила проявляются столь обособленно. Почему вы поодиночке рассматриваете все,

что ведь не действует в отдельности и само по себе? Ведь разум одного и душевность другого влияют друг на друга столь же сильно, сколь это было бы возможно и в одном и том же субъекте. Нравственность, которая должна совмещаться с чувственностью, дана вне ее; но разве господство первой в силу этого более ограничено, и разве вы полагаете, что чувственность была бы подчинена лучшему руководству, если бы нравственность, нигде не скопляясь, была поделена в мелких, еле заметных долях между всеми личностями? Слепая сила, которая отведена толпе, в своем действии на целое не предоставлена ведь самой себе и грубому произволу, а часто ею, неведомо для себя, руководит тот рассудок, скопление которого в больших массах вы встречаете в других пунктах, и столь же бессознательно она следует за ним по невидимым путям. Так с этой точки зрения для меня стираются столь отчетливо выступающие очертания личности; магический круг господствующих мнений и эпидемических чувств окружает и омывает все, как атмосфера, полная разряжающих и магнетических сил; она растворяет и очищает все и, расширяясь, вступает в деятельное соприкосновение даже с самым отдаленным: истечения тех, в ком самостоятельно живет свет и истина, она спешно разносит повсюду, так что в одних они глубоко проникают, в других по крайней мере блестяще отсвечивают на поверхности. В этой связи всего единичного со сферой, к которой оно принадлежит и в которой имеет значение, все хорошо и божественно; счастьем и покоем исполнено чувство того, кто умеет воспринимать все в этой великой связи. Но и чувство, подобно созерцанию, изолирует единичное в отдельные моменты; поэтому на нас с таким резким контрастом действует, с одной стороны, обычная жизнь людей, которые ничего не знают об этой зависимости, цепляются и держатся за одно и другое, чтобы окопать свое я, окружить его внешними укреплениями и тем обеспечить себе обособленное бытие, руководимое собственным произволом и неразрушимое для вечного потока мира—и, с другой стороны, судьба, которая необходимо смывает все это и на тысячи ладов истязает и ранит людей; и ощущая этот контраст, что может быть более естественным, чем сердечное сострадание всей горестной скорби, которая возникает из этой неравной борьбы, и боли от ударов, которые ужасная Немезида наносит повсюду?

Из этих странствий через всю область человечества религиозное чувство возвращается более утонченным и развитым к собственному я, и находит под конец у себя самого все, что прежде возбуждало его, лишь стекаясь из отдаленнейших областей. Ибо, конечно, когда мы, преображенные через соприкосновение с миром, впервые возвращаемся к себе и, полные этого чувства, проверяем впечатление от самих себя, и когда мы сознаем, как наше я по сравнению со всем объемом человечества превращается в нечто малое и незначительное, в нечто одностороннее, недостаточное и ничтожное — что более естественно тогда для смертного, чем подлинное безыскусственное смирение? И когда постепенно в нашем чувстве пробуждается понимание подлинной сущности того, что всюду сохраняется и укрепляется в ходе

человечества, а также и того, что, напротив, рано или поздно неизбежно должно быть разрушено и побеждено, если оно не преобразится или не видоизменится, — когда мы, с точки зрения этого закона, посмотрим на нашу собственную деятельность в мире, — тогда естественно возникает в нас горькое раскаяние во всем, что в нас враждебно сущности человечества, покорное желание примириться с Божеством и страстная жажда повернуть назад и укрыться со всем нашим достоянием в той святой области, в которой одной лишь мы защищены от смерти и разрушения. И когда мы далее убеждаемся, что целое озаряется перед нами и что мы достигаем созерцания его и единства с ним лишь в общении с другими людьми, лишь под влиянием таких людей, которые уже давно освобождены от привязанности к собственному преходящему бытию и от стремления расширять и обособлять его и готовы сообщить свою высшую жизнь и другим, — можем ли мы тогда не поддаться чувству особого сродства с теми людьми, действия которых защитили наше существование и благополучно провели его мимо угрожавших ему опасностей? Можем ли мы не испытать чувства благодарности к ним, как к людям, которые уже раньше соединились с целым, а теперь и через нас снова сознают свою жизнь в нем? Лишь пройдя через такие и им подобные чувства — из которых здесь приведены лишь немногие для примера — вы не только находите в себе самих задатки к высшей красоте и глубочайшей низости, к самому благородному и самому презренному, что вы доселе воспринимали в других, как отдельные стороны человечности; вы не только находите в себе в различное время все многообразные ступени человеческих сил; но и все бесчисленные смешения различных задатков, которые вы созерцали в характерах других людей, представляются вам — когда вы вполне растворите ваше самосознание в сознании солидарности с другими — лишь задержанными моментами в вашей собственной жизни. Были мгновения, когда вы так мыслили, так чувствовали, когда вы действительно были тем или этим человеком, несмотря на все различия породы, образования и внешних условий. Вы действительно прошли через все эти формы своим собственным порядком; вы сами — сжатое изложение человечества, ваше индивидуальное бытие в известном смысле объемлет всю человеческую природу, и эта природа, во всех ее проявлениях, есть не что иное, как ваше собственное я, лишь умноженное, более отчетливо выраженное и как бы увековеченное во всех его мельчайших и преходящих изменениях. Лишь тогда вы можете любить себя самих чистой и безупречной любовью, вы можете противопоставить никогда не покидающему вас смирению сознание, что и в вас живет и действует единство человечества, и всю горечь раскаяния вы можете заглушить радостной самоудовлетворенностью. У кого религия таким путем снова проникла внутрь и открыла и там бесконечное, в том она совершенна с этой стороны, и он уже не нуждается в посреднике для созерцания человечества, а, напротив, будет сам таким посредником для многих.

Но не только в настоящем чувство, таким образом, витает в своих проявлениях между миром и единичным лицом, которому оно присуще, срастаясь теснее то с тем, то с другим. Нет, все, что движется, есть становящееся, и мы сами движемся и воспринимаем лишь в процессе развития; поэтому и в нашем чувстве мы всегда влечемся к прошлому; и можно сказать: как вообще наше благочестие питается больше на стороне духа, так и история непосредственно и прежде всего есть богатейший источник для религии, но, конечно, не в том смысле, что религия может управлять движением человечества в его развитии или ускорять его, а в том, что она может наблюдать в истории самое общее и великое откровение глубочайшего и святейшего начала. Но в этом смысле религия бесспорно начинается с истории и кончается ею — ибо и прорицание по своему смыслу есть история и неотделимо от нее, — и можно сказать, что всякая истинная история всюду имела первоначально религиозную цель и исходила из религиозных идей; ведь и вообще тончайшее и нежнейшее в ней не может быть научно передано, а может быть лишь воспринято через чувство религиозной души. Такая душа узнает в блуждании умов и душ, которое в ином отношении кажется лишь нежной поэмой, во многих смыслах чудесный прием вселенной, имеющей целью сравнивать по верному масштабу различные периоды человечества. То, после долгого промежутка, в течение которого природа не могла создать ничего сходного, снова возникает выдающаяся личность, почти совершенно тождественная какой-либо прежней; но лишь тайновидцы узнают это, и лишь они могут из действий, которые она производит, толковать знаки прошедших времен. То отдельный момент человечества возвращается снова таким же, каким оставило нам его образ далекое прошлое, и из различных причин, которые его ныне создали, вы должны постигать ход развития и формулу его закона. То как бы из дремоты пробуждается гений какой-либо особой человеческой способности, который в иных местах, поднимаясь и опускаясь, уже завершил свой путь, и появляется в новой жизни в ином месте и при иных условиях; и его более быстрое процветание, более глубокое действие, более прекрасная и сильная форма должны свидетельствовать, насколько улучшился климат человечества и насколько почва стала более благоприятной для взращивания благородных растений. — Здесь вам являются народы и поколения смертных, все одинаково необходимые для полноты истории; но как отдельные лица самой различной ценности могут существовать одно наряду с другим, так и эти народы различаются между собой по значительности и ценности. Одни, полные достоинства, духа и силы, простирают свое действие до бесконечности, преодолевая всякое пространство и не покоряясь никакому времени. Другие, обыденные и незначительные, предназначены лишь для того, чтобы своеобразно оттенить определенную единичную форму жизни или общения, действительно жизненны и достопримечательны лишь на одно мгновение, лишь чтобы выразить мысль или создать понятие, — и затем спешат навстречу разрушению, чтобы то, что было создано их свежим произрастанием, могло быть привито другим. Подобно тому, как

растительная природа лишь через гибель целых родов, лишь из остатков целых поколений растений создает и питает новые поколения, так и здесь вы видите, как духовная природа на развалинах величественного и прекрасного человеческого мира создает новый мир, который впитывает свою первоначальную жизненную силу из разложившихся и чудесно преобразенных элементов старого. — Когда, охваченный всеобщей связью, ваш взор так часто непосредственно переносится от самого малого к самому великому и от последнего опять к первому, то, потеряв устойчивость, он уже не может различать ни малого от великого, ни причины от действия, ни сохранения от разрушения; и когда вас объемлет эта изменчивость, то вам является знакомый образ вечной судьбы, черты которого носят всецело печать этого состояния, — удивительная смесь непреклонного упрямства и глубокой мудрости, грубой, бесчувственной силы и нежной любви; и на вас попеременно действует то та, то другая черта, вызывая в вас то бессильное противодействие, то детскую преданность. Когда вы, проникая глубже, сравните обособленное, выросшее из этих противоположных воззрений стремление отдельного лица со спокойным и однообразным ходом целого, то вы видите, как великий мировой дух с улыбкой переступает через все, что шумно сопротивляется ему; вы видите, как величавая Немезида вслед за ним неустанно шествует по земле, укрощая и наказывая строптивых, восстающих против богов, и как она железной рукой скашивает даже крепчайшего и лучшего человека, который, быть может, с похвальной и изумительной стойкостью отказался покориться тонкому дуновению великого духа. И если вы наконец захотите овладеть истинным характером всех изменений и всего прогресса человечества, то ваше чувство, покоящееся в истории, вернее, чем все остальное, показывает вам, как властвуют живые божества, которые ненавидят одну лишь смерть, и как ничто не должно быть преследуемо и разрушаемо, кроме смерти — этого первого и последнего врага духа. Грубое, варварское, бесформенное должно быть поглощено и преобразовано в органические формы. Ничто не должно быть мертвой массой, которая движется лишь через внешний толчок и противодействует лишь через бессознательное трение; все должно быть самобытной, сложной, многообразно переплетенной и усиленной жизнью. Слепой инстинкт, бессмысленная привычка, мертвое послушание, все косное и пассивное, — все эти печальные симптомы смертной дремоты свободы и человечности должны быть уничтожены. На это указывает дело дня и дело веков, и это есть великое, всегда продолжающееся дело вечной любви.

Лишь в легких очертаниях я наметил перед вами некоторые наиболее выдающиеся движения религиозного сознания в области природы и истории, и все же я вместе с тем довел вас до последней границы вашего духовного горизонта. Здесь — конец и вершина религии для всех, для кого тождественны человечество и вселенная; отсюда я мог бы лишь свести вас назад к частностям и деталям. Вспомните, однако, что в вашем чувстве есть нечто, пренебрегающее этой границей, в силу чего оно, собственно, не может

здесь остановиться, а именно с этой точки, обернувшись в другую сторону, должно узреть подлинную бесконечность. Я не хочу говорить о чаяниях, которые могут отпечатлеться в мысли и, при желании умничать, поддаются обоснованию, — именно, что если человечество есть само нечто подвижное и формирующееся, если оно не только проявляется различно в отдельных существах, но иногда действительно становится иным, то оно никоим образом не может быть единственным и высшим выражением единства духа и материи. Напротив, подобно тому, как отдельные люди относятся к нему, так и оно само может выражать лишь отдельную форму этого единства, наряду с которой должны существовать еще иные, сходные формы; эта форма по меньшей мере внутренне ограничена иными формами и, следовательно, противостоит им. Но и в нашем чувстве — и только на это я хочу указать — все мы находим нечто подобное. Ибо нашей жизни прирождена — и в мире, а следовательно, и в высшем единстве, которое его создало, запечатлена — зависимость от иных миров. Отсюда — всегда присущее нам, но редко понимаемое чаяние чего-то иного, тоже являющегося и конечного, но стоящего вне и над человечеством, какого-то высшего и более тесного сочетания духа с материей, создающего более прекрасные образы. Но, конечно, всякое очертание, которое здесь кто-либо захотел бы наметить, было бы уже слишком определенным; всякое отражение чувства может быть лишь беглым и шатким и потому не защищено от недоразумений и так часто принимается за глупость и суеверие. Я ограничиваюсь этим намеком на то, что так бесконечно далеко от вас; всякое дальнейшее слово об этом было бы для вас непонятным, и вы не знали бы, откуда оно берется и на что направлено. О если бы вы имели хотя бы ту религию, которую вы могли бы иметь, или если бы сознавали ту, которую уже имеете! Ведь, в самом деле, если вы рассмотрите даже те немногие религиозные восприятия и чувства, которые я здесь наметил в кратких чертах, то вы найдете, что далеко не все они чужды вам. Скорее нечто подобное уже имело доступ в ваше сознание, но я не знаю, что более печально — совсем не иметь этих чувств или не понимать их; ибо и в последнем случае они теряют все свое действие, и вы обманули сами себя. В двояком я хотел бы особенно упрекнуть вас в связи с изложенным. Вы отбираете кое-что и налагаете исключительно на него штемпель религии, остальное же вы хотите отнять от религии, как принадлежащее непосредственно к области нравственной деятельности — то и другое, вероятно, на одинаковом основании. Возмездие, выпадающее на долю всего, что хочет противодействовать духу целого, общераспространенная ненависть против всего высокомерного и наглого, постоянное движение вперед всех человеческих дел к одной цели, — движение, которое столь достоверно, что мы видим, как даже каждый единичный замысел или план, приближающий нас к этой цели, после многих неудачных попыток все же когда-либо, наконец, удастся, — все это вы сознаете, и чувство, указующее на это, вы хотели бы сохранить и распространить очищенным от всех злоупотреблений; но вы желаете, чтобы исключительно это было религией; и этим вы хотите



вытеснить все остальное, что вытекает из того же действия духа, и совершенно тем же способом. Как же вы пришли к этим обособленным отрывкам? Я скажу вам это: вы считаете это совсем не религией, а лишь отражением нравственной деятельности, и хотите только фиктивно назвать это религией, чтобы нанести последний удар религии — именно тому, что мы теперь сообща зовем этим именем. Ибо это начало, познанное нами, как религия, совсем не возникает исключительно в области нравственности в узком смысле, где вы его берете. Чувство ничего не знает о таком ограниченном пристрастии; и если я сам указал вам преимущественно на область духа и на историю, то не выводите из этого, что моральный мир есть вселенная религии; напротив, лишь весьма мало религиозных чувств развилось бы из того, что применимо к этому миру в вашем ограниченном смысле. Во всем, что принадлежит к человеческим делам, в шуточном и в серьезном, в малейшем и в величайшем, религиозный человек умеет открывать действия мирового духа и получает впечатление от них; что ему для этого нужно, то он должен воспринимать повсюду, ибо лишь так он может его усвоить; и потому он находит божественную Немезиду также и в том, что люди, которые, в силу преобладания в их собственной душе лишь нравственного или скорее правового начала, делают из религии придавок морали и хотят брать из нее лишь подходящее к этой роли, именно этим непоправимо портят само нравственное учение, как бы очищено оно уже ни было, и засевают его семенами новых заблуждений. Мысль, что наша гибель в нравственном подвиге была определена волей вечного Существа, и что несовершенное нами будет некогда осуществлено другими, — эта мысль звучит прекрасно; но и это возвышенное утешение не принадлежит к нравственному поведению, иначе последнее зависело бы от степени, в какой каждый в каждое мгновение восприимчив к этому утешению. Действование не может непосредственно воспринять в себя решительно ничего из чувства, иначе его исконная сила и чистота будет тотчас же затемнена.

Совсем иначе вы относитесь ко всем тем чувствам любви, смирения, радости и т. п., которые я описал вам и в которых вообще мир и ваше собственное я в какой-либо форме образуют два пункта, между которыми витает чувство. Древние знали правду: благочестием, благоговением они называли все эти чувства, и причисляли их непосредственно к религии, благороднейшую часть которой они составляли. Вы также знаете их, но когда вам встречается что-либо подобное, то вы хотите уговорить себя, что это есть непосредственная составная часть чувства нравственного поведения, и вы хотели бы оправдать эти ощущения нравственными принципами и найти им место в вашей моральной системе; но тщетно — ибо если вы хотите остаться верными себе, то вы должны признать, что в морали они не могут быть ни желательны, ни допустимы. Ведь действие не должно непосредственно вытекать из побуждений любви и симпатии, иначе оно стало бы непрочным и нерассудительным, и оно не должно быть производимо мгновенным впечатлением внешнего предмета, — что, очевидно, имеет место в

отношении указанных чувств. И потому ваше нравственное учение, если оно строго и чисто, не признает иного благоговения, кроме благоговения перед законом; оно осуждает, как что-то нечистое и почти своекорыстное, все, что может совершаться из сострадания и благодарности; оно принижает и даже презирает смирение, и когда вы говорите ему о раскаянии, то оно говорит о бесполезной потере времени. И ваше глубочайшее чувство должно согласиться с ним в том, что все эти ощущения не имеют своим назначением непосредственного действия; они приходят и кончаются сами собой, как свободные функции вашей глубочайшей и высшей жизни.<sup>1</sup> Зачем же вы изворачиваетесь и обращаетесь с мольбой о милости для них туда, куда они совсем не принадлежат? Согласитесь же видеть в них религию, и тогда вам ничего не нужно будет требовать для них, кроме их собственного строгого права, и вы сами не будете обманывать себя необоснованными притязаниями, которые вы склонны предъявлять от их имени. Во всех других областях, где вы хотите отвести место этим чувствам, они не смогут удержаться; возвратите их религии, ей одной принадлежит это сокровище, и в качестве его владелицы она не слуга нравственности и всех иных целей человеческой деятельности, а их необходимая подруга и полномочная защитница и посредница перед человечеством. Такова ступень, на которой стоит религия, поскольку она есть совокупность всех высших чувств. Что она одна освобождает человека от односторонности и ограниченности, это я уже однажды отметил; теперь я могу точнее объяснить это. Во всяком действовании и творчестве, будь оно нравственным или художественным, человек должен стремиться к мастерству; всякое же мастерство, когда человек всецело пленен его задачей, ограничивает и охлаждает, делает односторонним и жестким. Оно направляет прежде всего человеческую душу на одну точку, и эта одна точка не может удовлетворить душу. Может ли человек, переходя от одного ограниченного дела к другому, действительно использовать всю свою силу? Не останется ли, напротив, большая часть ее неупотребленной, и разве она тогда не обратится против самого человека и не станет пожирать его? Сколько из вас погибают только потому, что они слишком велики для самих себя; избыток силы и влечения, который не дает им даже приняться ни за какое дело, ибо всякое дело слишком мало для него, беспокойно гонит их во все стороны и ведет к гибели. Или вы видите спасение и от этого зла в том, что человек, для которого и один предмет слишком велик, должен охватить все предметы человеческих стремлений — науку, искусство и жизнь, и все остальное, если вы еще что-либо знаете? Это есть, правда, ваше давнишнее влечение иметь всюду целостную и во всем однородную человечность, ваша вечно возвращающаяся жажда равенства — но если бы только это было возможно! Если бы только указанные предметы, когда они воспринимаются каждый в отдельности, не возбуждали души одинаково сильно и не стремились овладеть ею! Каждое из этих стремлений направлено на творения, которые должны быть завершены, каждое должно отобразить свой собственный идеал и охватить его бесконечность; и потому соперничество нескольких таких объектов не может кончиться иначе, чем

вытеснением одного из них другим. И даже в пределах каждой такой сферы каждый человек должен тем более ограничиваться частным, чем большего мастерства он хочет достигнуть. И если это мастерство всецело занимает его, и он живет лишь данным своим творчеством, как может он достигнуть полного участия в мире, как может его жизнь стать целостной? Отсюда односторонность и духовная нищета большинства виртуозов или низкий уровень, на котором они стоят вне своей специальной области. И против этого зла нет иного целебного средства, кроме того, чтобы каждый, действуя определенным образом в ограниченной области, вместе с тем, без определенной деятельности, открывал себя влияниям бесконечности и всеми видами религиозных чувств воспринимал все, что лежит за пределами непосредственно возделываемого им поля. Каждому доступно это; ибо, какой бы предмет вашей свободной и художнической деятельности вы ни избрали, немного нужно, чтобы, исходя из каждого, найти вселенную, а во вселенной вы находите и остальные предметы, как ее веления или внушения или откровения. Так воспринимать и наслаждаться ими в целом, — это есть единственный способ, которым, избрав определенное духовное направление, вы можете усваивать и то, что лежит вне его — уже не из произвола, как искусство, а из инстинкта ко вселенной, как религию; и так как эти направления снова соперничают и в религиозной форме, то и религия — и в этом, конечно, уже сказывается человеческое несовершенство — чаще является в обособленной форме своеобразной восприимчивости к искусству, философии или нравственности, и именно потому часто не понимается; и лишь реже мы находим ее свободной от всякой односторонности, вполне законченной и связующей все единичное. Высшей, однако, остается эта последняя форма, и лишь через нее человек с полным и удовлетворяющим успехом противопоставляет конечному, для которого он преимущественно предназначен, бесконечное, сужающему стремлению к определенному и законченному — расширяющее витание в целом и неисчерпаемое; так он восстанавливает равновесие и гармонию своего существа, которые безвозвратно теряются, когда он, не имея религии, отдается единичному направлению, даже если оно само по себе прекрасно и великолепно. Определенное призвание человека есть как бы лишь мелодия его жизни, которая остается простым и бедным рядом тонов, если религия не вторит ей бесконечным разнообразием гармонирующих с нею звуков и не превращает простое пение в многоголосную и величественную гармонию.

Итак, если то, что я наметил, надеюсь, достаточно понятно для вас всех, действительно образует сущность религии, то не трудно ответить на вопрос, куда же принадлежат те догматы и верования, которые многие считают внутренней сущностью религии, и как они относятся к этому подлинно существенному ее началу; вернее сказать, я уже выше ответил на этот вопрос. Ведь все эти учения суть не что иное, как результат того наблюдения чувства, той сравнительной рефлексии о нем, о которых мы уже говорили. Понятия же, лежащие в основе этих учений, подобно вашим опытным

понятиям, суть не что иное, как общее обозначение для определенного чувства — обозначение, в котором религия сама по себе не нуждается, как в нем почти не нуждается и передача религиозных чувств, но в котором нуждается и которое создает рефлексия. Чудеса, внушения свыше, откровения, сверхестественные ощущения, — можно иметь много благочестия, не нуждаясь ни в одном из этих понятий, — но кто обобщающе размышляет о своей религии, тот неизбежно находит их на своем пути и не может их миновать. В этом смысле, разумеется, все эти понятия принадлежат к области религии, и притом безусловно, так что отнюдь нельзя определить границ их применения. Споры о том, какое происшествие подлинно есть чудо, и в чем собственно состоит характер такового, сколько откровения существует, и поскольку и почему собственно можно в него верить, и явственное стремление в пределах приличия и безобидности отвергнуть и устранить как можно больше из всего этого — стремление, исходящее из нелепой мысли, что этим оказывается услуга философии и разуму, — все это — ребяческие приемы метафизиков и моралистов в религии. Они перемешивают все **точки** зрения и возбуждают жалобы, будто религия угрожает общезначимости научных и физических суждений. Я прошу вас, не поддавайтесь, к ущербу для религии, их софистическим прениям или — ведь и это подчас здесь встречается — их лицемерному умалчиванию того, что они весьма хотели бы открыто провозгласить. Религия же, как ни громко она требует для себя всех этих оклеветанных понятий, оставляет неприкосновенной вашу физику и, с Божьей помощью, вашу психологию. Что, собственно, есть чудо? Разве вы не знаете, что то, что мы так называем в религиозном смысле, в иных случаях повсюду равносильно знамени, указанию, и что наше название, которое затрагивает исключительно душевное состояние созерцателя, лишь постольку уместно, поскольку то, что должно быть знаменем, особенно если оно само есть одновременно и что-либо иное, должно конечно, иметь такой характер, чтобы можно было подметить его обозначающую силу. Но всякое конечное есть в этом смысле знамение бесконечного; и, таким образом, все эти выражения высказывают не что иное, как непосредственную связь явления с бесконечным и целым; но разве это исключает, что каждое такое явление имеет столь же непосредственную связь с конечным и с природой? Чудо есть лишь религиозное название для события; всякое, даже самое естественное и привычное событие, если только оно пригодно к тому, чтобы религиозное его понимание стало господствующим, есть чудо. Для меня все есть чудо; в вашем же смысле для меня есть чудо, т.е. нечто необъяснимое и чуждое, лишь то, что не есть чудо в моем смысле. Чем религиознее вы были бы, тем более чудес вы видели бы повсюду, и всякий спор об отдельных событиях, заслуживают ли они это название или нет, производит на меня болезненное впечатление: я чувствую, как беден и убог религиозный дух спорящих. Они доказывают эту убогость тем, что всюду протестуют против чудес, и эти протесты свидетельствуют лишь, что они не хотят видеть непосредственной связи явлений с бесконечным и Божеством; другие доказывают ту же

убогость тем, что им особенно важно та или иная частная черта, и что явление должно непременно иметь чудесную форму, чтобы быть для них чудом, — чем они только доказывают, что они плохо умеют подмечать.<sup>16</sup> — Что есть откровение? Всякое первичное и новое самораскрытие перед человеком вселенной и ее внутренней жизни есть откровение, и потому всякое такое мгновение, которое я выше наметил, если бы вы только осознали его, было бы для вас откровением; но каждое созерцание и каждое чувство, где они первоначально возникают из такого мгновения, произошли из откровения; мы, правда, не можем явственно показать его, так как оно лежит по ту сторону сознания, но мы не только должны в общем предполагать его, но и в частности каждый должен, ведь лучше всего знать, что есть в нем повторного и уже прежде испытанного, и что первоначально и ново; если что-либо из последнего еще не создано в вас таким образом, то его откровение будет и для вас откровением, и я советую вам поразмыслить над ним. — Что есть вдохновение? Это есть лишь общее выражение для чувства истинной нравственности и свободы; поймите меня: дело идет здесь не о той странной и хваленой нравственности, которая умеет лишь сопровождать и разукрашивать поведение разными соображениями, а о чувстве, что действие, вопреки всяким внешним поводам и независимо от них, вытекает из глубины человеческой души. Ибо в меру того, как действие отрывается от мирского развития, оно ощущается как божественное и выводится из Бога. — Что есть пророчество? Всякое религиозное предвосхищение другой половины религиозного события, когда одна половина его была уже дана, есть пророчество; и древние евреи поступали весьма религиозно, когда измеряли божественность пророка не тем, насколько трудно было прорицание, или насколько велик его предмет, а попросту исходом пророчества; и об отдельном лице нельзя знать, насколько совершенно в нем развилось чувство, пока не убедишься, правильно ли он воспринял религиозную картину именно данного отношения, которое действовало на него. — Что есть действие благодати?<sup>17</sup> Очевидно, не что иное, как общее выражение для откровения и вдохновения, для взаимодействия между вхождением мира в чело века через созерцание и чувство и выступлением человека в мире через действие и творчество, причем то и другое берется в своем первичном и божественном характере, так что вся жизнь религиозного человека образует лишь ряд действий благодати. Вы видите, все эти понятия, поскольку религия нуждается в понятиях и может воспринять их, суть первые и самые существенные; они своеобразно обозначают сознание человека о его религии — потому что они обозначают именно то, что должно быть необходимым и всеобщим в ней. Более того, кто не видит своих особых чудес с точки зрения своего мирозерцания, в ком не всплывают изнутри собственные откровения, когда его душа стремится впитать в себя красоту мира и проникнуться ее духом; кто в самые значительные мгновения не чувствует живым убеждением, что им движет божественный дух и что он говорит и действует по священному вдохновению свыше; кто по крайней мере — ибо еще меньшее было бы тут

действительно ничем—не сознает своих чувств как непосредственных воздействий на себя вселенной, вместе с тем ощущая в них какое-то личное достояние, которое не может быть подражанием, а говорит о своем чистом происхождении из нутра души, — тот не имеет религии. Но сознавать это свое достояние значит иметь истинную веру; напротив, верить в обычном смысле слова, допускать то, что сказал или сделал кто-либо' другой, стремиться подражать в мыслях и чувствах тому, что мыслил и чувствовал другой, — есть тяжкое и недостойное бремя, и оно не только не есть высшее в религии, как это мнят иные, но необходимо даже прямо отказаться от него, если хочешь проникнуть в святилище религии. Иметь и желать сохранить такую веру, основанную на подражании, значит быть неспособным к религии; требовать ее от других значит не понимать религии. Вы хотите всюду стоять на своих собственных ногах и идти своим собственным путем; но это ваше достойное желание не должно внушать вам страха перед религией. Она не есть рабство и плен, и менее всего порабощает она ваш разум; напротив, и здесь вы должны принадлежать самим себе, и это есть даже необходимое условие, чтобы приобщиться религии. Правда, каждый человек, за исключением немногих избранных, нуждается в руководстве и воздействии воспитателя, который пробуждал бы его религиозное чувство из первоначальной дремоты и давал бы ему его первое направление; но ведь это относится ко всем силам и функциям человеческой души, и почему же этому не иметь места и здесь? И я скажу к вашему успокоению: здесь более, чем где-либо, эта опека должна быть преходящим состоянием; позднее каждый должен смотреть собственными глазами и сам вносить лепту в сокровища религии, иначе он не заслуживает места в царстве религии и не получает его. Вы правы, когда мало цените убогих подражателей, которые заимствуют всю свою религию от кого-либо другого, или ставят в зависимость от мертвой книги, клянутся ею и строят на ней доказательства. Всякое священное писание само по себе есть дивное создание, живой памятник героической эпохи религии; но через рабское почитание оно становится мавзолеем — памятником, что был великий дух, которого больше нет; ибо если бы он еще жил и действовал, он смотрел бы скорее с любовью и с чувством равенства на свое прежнее создание, которое все же ведь может быть лишь слабым отпечатком его самого. Не всякий имеет религию, кто верит в какое-либо священное писание, а лишь тот, кто понимает его живо и непосредственно и кто, следовательно, сам по себе легче всего мог бы обойтись без него.

Именно это ваше презрение к убогим и бессильным почитателям религии, в которых она еще до рождения умерла от недостатка питания, — именно оно доказывает мне, что в вас самих есть задаток к религии; и точно так же почитание, которое вы всегда оказываете всем ее истинным героям как личностям, — ведь тех, кто относятся и к ним лишь с плоской насмешкой и не признают в них ничего великого и сильного, я не решаюсь причислить к вам, — это почитание личностей укрепляет меня в мысли, что ваше презрение к делу основано на недоразумении и имеет своим предметом лишь

ту жалкую форму, которую религия принимает у бездарной массы, и то злоупотребление ею, в котором повинны заносчивые воспитатели. — И потому я по мере сил показал вам, что собственно, есть религия; нашли ли вы в ней что-либо, что было бы недостойно вас и высшей человеческой культуры? Разве, напротив, вы не должны тем более стремиться к такому общему единению с миром, которое возможно лишь через чувство, чем более вы в силу определенного воспитания и индивидуальности обособлены и изолированы от него? Заклинаю вас, услышьте же в себе голос вашей внутренней природы и последуйте за ним! Вернитесь к тому, что так естественно для вас, именно для вас; ведь насильственный разрыв с этим началом неизбежно должен разрушать лучшую часть вашего бытия.

Но мне чудится, будто многие из вас не верят, что я могу закончить на этом настоящую мою беседу и признать основательным свое обсуждение сущности религии, так как я ведь еще ничего не говорил о бессмертии, и лишь мало и мимоходом говорил о Боге; вы, вероятно, полагаете, что я обязан в особенности говорить о том и другом и разъяснить вам, как вы несчастны, если не верите и в это; ведь для большинства религиозных людей именно эти два верования должны быть основами и главными частями религии. Но я не разделяю вашего мнения о том и другом; а именно, прежде всего я отнюдь не думаю, что я совсем не говорил о бессмертии и мало говорил о Боге; я полагаю, что то и другое содержалось уже во всем, что я признал элементами религии, и что я ничего не мог бы говорить из того, что сказал, если бы я уже заранее не предполагал везде Бога и бессмертия, как и вообще лишь божественное и бессмертное может иметь место там, где идет речь о религии. И столь же мало, во-вторых, кажутся мне правыми те, кто считают представления и учения о Боге и бессмертии в обычной форме главным содержанием религии. Ибо к религии может принадлежат из того и другого лишь то, что есть чувство и непосредственное сознание; но Бог и бессмертие, как они встречаются в таких учениях, суть понятия; ведь многие, если не большинство из вас, считают себя убежденными в том и другом, или по крайней мере в одном из этих понятий, не будучи в силу этого благочестивыми и не имея религии; но как понятия, они не могут иметь большей цены в религии, чем та, которая, как я показал, присуща в ней понятиям вообще. Но чтобы вы не думали, что я боюсь сказать настоящее слово об этом предмете, потому что опасно говорить о нем, пока не выставлено правомерное определение Бога и бытия, достоинство и пригодность которого получили бы общее признание в немецком государстве; или чтобы, с другой стороны, вы не подумали, быть может, что я лицемерю перед вами и хочу, для угождения всем, с мнимым равнодушием обойти то, что в действительности должно иметь для меня гораздо большее значение, чем я признаю, — я готов и об этом держать ответ перед вами, и постараюсь уяснить вам, что, согласно моему убеждению, дело действительно обстоит так, как я только что утверждал.

Прежде всего я напомним вам, что мы признали каждое чувство лишь постольку религиозным, поскольку в нем нас затрагивает не что-либо единичное, как таковое, а через единичное — целое как откровение Бога, — поскольку, следовательно, в нашу жизнь входит не что либо частное и конечное, а именно Бог, в котором одном ведь слито воедино все частное; и с другой стороны, мы признали чувство религиозным, поскольку в нас самих им возбуждается и проявляется не та или иная отдельная функция, а все наше существо, которое в нас противостоит миру и вместе с тем находится в нем, т.е. непосредственно божественное в нас.<sup>18</sup> Итак, может ли кто-либо сказать, что я изобразил вам религию без Бога, когда я именно и излагал непосредственное и первичное бытие Бога в нас в силу нашего чувства? Разве Бог не есть единственное и высшее единство? Разве не в Нем одном исчезает все частное? И если вы видите мир как целое и всеединое, можете ли вы его так видеть, не созерцая его в Боге? А если это не так, то назовите мне что-либо иное, чем отличалось бы высшее существо, первичное и вечное бытие, от всего единичного, временного и производного! Но мы не притязаем иметь Бога в чувстве иначе, чем через впечатления, возбуждаемые в нас миром, и только в этой форме я мог говорить о Нем. Итак, если вы не хотите видеть в этом сознания Бога, обладания Богом, то я не могу дать вам никаких дальнейших наставлений и объяснений, а скажу лишь, что тот, кто это отрицает — каково бы ни было его познание, о чем мне здесь неуместно судить, — с точки зрения своего чувства и переживания будет в моих глазах безбожником. Ибо и наука, правда, славится тем, что в ней имеется непосредственное знание Бога, которое есть источник всего остального; но только теперь мы говорили не о науке, а о религии. Однако, тот род знания Бога, которым гордится большинство и восхваление которого требуется от меня, не есть ни идея Бога, которую вы ставите во главе всего знания как нераздельное единство, из коего вытекает и выводится все бытие, ни чувство Бога, которое мы находим в нашей душе; и если такого рода знание несомненно далеко отстает от уровня научных требований, то и для благочестия оно является чем-то совершенно подчиненным, ибо оно есть только понятие. Понятие это составлено из признаков, которые они называют свойствами Бога и которые в совокупности суть не что иное, как восприятие и различение разных форм, которыми в чувстве выражается единство частного и общего. Ведь что отдельные свойства Бога именно и соответствуют отдельным чувствам, часть из которых я выше изложил, а часть обошел молчанием, — этого никто не будет отрицать. Поэтому мне только остается применить к этому понятию то, что я сказал вообще об отношении понятий к религии, именно что много благочестия может существовать без них, и что они образуются, лишь когда само благочестие в свою очередь становится предметом наблюдения. Но только с понятием Бога, как оно обычно мыслится, дело обстоит не так, как с другими вышеприведенными понятиями; ведь Бог должен быть чем-то наивысшим и стоять над всем, и все же, когда Он мыслится слишком сходным с нами, как личность, одаренная мышлением и волей, Он низводится в область



противоположностей. Поэтому и кажется естественным, что, чем более человекоподобным Бог представляется в понятии, тем легче этому пониманию противопоставляется иного рода представление о Боге — понятие высшего существа не как мыслящей и хотящей личности, а как безличной всеобщей необходимости, производящей и связующей все бытие и мышление. И менее всего подобает приверженцам первой точки зрения обвинять в безбожии тех, кто, убоявшись человекоподобности, ищут прибежища в противоположной точке зрения, — как и приверженцам последней не подобает обвинять в идолопоклонстве и отрицать благочестие тех, кто имеет человеческое понятие о Боге. Нет, благочестивым может быть каждый, какого бы понятия он ни держался; но его благочестие, божественное в его чувстве, должно быть лучше его понятия, и чем больше он ждет от последнего и считает его сущностью благочестия, тем менее он понимает самого себя. Посмотрите, сколь ограниченным представляет себе Бога один, и сколь мертвым и косным — другой, если держаться буквы их понимания; и признайте, что оба понятия недостаточны; и если ни одно из них не соответствует своему предмету, то ни одно из них и не может быть доказательством благочестия, разве только его основу образует нечто, лежащее в самом чувстве и по своему смыслу далеко превосходящее его; и, при правильном понимании, каждое из них выражает определенный элемент чувства, и оба ничего не стоят, если в них нельзя этого найти. Разве не очевидно, что весьма многие, признающие такого Бога и верящие в него, отнюдь не религиозны, и что это понятие никогда не может быть зерном, из которого выросло бы благочестие, ибо оно не имеет жизни само по себе, а получает ее лишь через чувство? <sup>19</sup> Поэтому не может быть и речи о том, чтобы обладание тем или другим из этих понятий было само по себе признаком более или менее совершенной религии. Напротив, оба одинаково изменяют свое значение, поскольку мы действительно сможем их рассматривать как различные ступени в развитии религиозного сознания. И это выслушайте еще от меня; ведь помимо этого мне уже нечего сказать об обсуждаемом предмете, что вело бы к взаимному пониманию между ними.

Где чувство человека есть еще темный инстинкт, где его общее отношение к миру еще не созрело до полной ясности, там мир для него может быть лишь смутным единством, в котором нельзя определенно различить никакого многообразия, — однообразно спутанным хаосом, без разделения, порядка и закона, из которого, — за исключением того, что непосредственно относится к существованию самого человека — все частное не может быть выделено иначе, как произвольным обособлением его в пространстве и времени. И здесь, разумеется, будет довольно безразлично, склоняется ли понятие, поскольку и здесь уже замечаются его следы, скорее в одну или в другую сторону. Представляется ли характер целого как слепая судьба, которая может быть обозначена лишь магическими действиями, или как существо, которое хотя и должно быть живым, но не имеет определенных качеств, — как идол, фетиш, все равно, один или несколько, ибо они могут ведь

различаться лишь произвольно установленными границами своей области, — этому вы наверно не придадите никакого существенного значения; напротив, вы признаете, что и то и другое есть одинаково несовершенное благочестие, — но вместе с тем, что то и другое все же есть благочестие. Прогрессируя далее, чувство становится сознательнее, и яснее выделяется многообразие и определенность отношений; но вместе с тем в мирознании человека выступает определенное множество разнородных элементов и сил, неустанный и вечный спор которых обуславливает его проявления. Соответственно этому изменяется тогда и результат рассмотрения чувства, противоположные формы понятия более отчетливо разделяются, слепая судьба превращается в высшую необходимость, в которой недостижимо и непостижимо для нас покоится основа и связь вещей. Точно так же возвышается и понятие личного Бога, одновременно разделяясь и умножаясь; ведь поскольку эти силы и элементы порознь мыслятся одушевленными, возникает бесконечное множество богов, различаемых по различным предметам их деятельности, как и по различным склонностям и характерам. Вы должны признать, что это выражает уже более сильную и прекрасную жизнь вселенной в чувстве, чем прежнее состояние — и прекраснее всего там, где в чувстве теснее всего связаны приобретенное многообразие и изначально присущее высшее единство, и где также — как это вы встречаете у справедливо почитаемых вами эллинов — обе формы соединены в рефлексии, причем одна, выражающая единство, развивается более в мышлении, другая же, отражающая многообразие, развивается более в искусстве. Но даже когда такой гармонии и нет, вы все же признаете, что тот, кто возвысился до этой ступени, имеет более совершенную религию, чем тот, кто остался на предыдущей. Следовательно, тот, кто на высшей ступени преклоняется перед вечной и недостижимой необходимостью и вкладывает представление о высшем существе скорее в нее, чем в отдельных богов, также совершеннее грубого почитателя фетиша? Но поднимемся еще выше, туда, где все борющиеся начала снова объединяются, где бытие выражается, как целостность, как единство во множестве, как система, и впервые заслуживает свое имя; и кто так воспринимает его, как всеединое, и таким образом полнее всего противостоит целому и снова соединяется с ним в чувстве, — разве тот не достиг большего в своей религии, как бы последняя ни отражалась в понятии, чем всякий иной, стоящий на более низком уровне? Итак, всюду, а следовательно и здесь, ценность человеческой религии определяется тем, как человек сознает Божество в чувстве, а не тем, как он всегда несовершенно отображает религию в понятии, о котором мы здесь говорим. И если, как это часто случается, стоящий на этой ступени, но отвергающий понятие личного Бога, обычно называется пантеистом или получает обозначение в связи с именем Спинозы, — то я не хочу спорить о правомерности этого, а отмечу лишь, что такой отказ мыслить Бога в личной форме ничего не говорит против присутствия Божества в его чувстве; напротив, это может корениться лишь в смиренном ощущении ограниченности личного бытия вообще и, в частности, связанного с

личностью сознания. Но тогда несомненно, что такой человек может стоять столь же высоко над почитателем двенадцати великих богов, сколь высоко религиозный человек на этой ступени, обозначение которой вы с таким же правом можете связать с именем Лукреция, стоит над идолопоклонником. Но в том и состоит давнее недоразумение, в том и обнаруживается явный признак невоспитанности, что люди более всего отвергают тех, кто стоит на одной ступени с ними, но лишь на ином месте этой ступени. До какой из этих ступеней возвысился человек, это свидетельствует о его чутье к Божеству, это есть подлинное мерило его религиозности. Но какое из этих понятий он усвоит себе — поскольку он вообще для себя нуждается в понятии, — это зависит всецело от того, для каких целей ему нужно понятие, и в какую сторону преимущественно тяготеет его воображение — в сторону ли бытия и природы, или в сторону сознания и мышления. Вы, я надеюсь, не признаете кощунством и не усмотрите противоречия в утверждении, что склонность к этому понятию личного Бога или отрицание последнего и склонность к понятию безличной всемогущей силы зависит от направления фантазии; вы поймете, что под фантазией я разумею не что-либо подчиненное и смутное, а высшее и самое первичное в человеке, и что вне ее может быть лишь размышление о ней, которое, следовательно, также зависит от нее; вы знаете, что в этом смысле ваша фантазия, ваше свободное созидание мыслей есть то, в силу чего вы приходите к представлению мира, которое не может быть дано вам извне и вместе с тем не есть позднейший результат умозаключения; и в этом представлении вас тогда объемлет чувство всемогущей силы. Способ же, каким каждый переводит это чувство на язык мыслей, зависит от того, что один, сознавая свое бессилие, охотно отдается таинственной теме, другой же, чей взор преимущественно устремлен на определенность мысли, может мыслить и расширять себя лишь под единственной данной нам формой сознания и самосознания. Но боязнь темноты неопределенно мыслимого есть одно направление фантазии, и боязнь видимости противоречия, когда бесконечному мы приписываем формы конечного, есть другое ее направление; и разве одна и та же глубина религиозного чувства не может быть связана одинаково и с тем и с другим? И более подробное рассмотрение религии — которому, впрочем, здесь не место, так как мы говорим лишь о внутренней сущности религии, — показало бы, что оба рода представления совсем не так далеки друг от друга, как это кажется большинству; только в один из них не нужно вкладывать идею смерти, в отношении же другого нужно честно употребить все усилия, чтобы осмыслить в нем ограниченность. Это я считал необходимым сказать, чтобы вы поняли меня и мое отношение к обеим этим формам представления; и главным образом, чтобы вы и другие не впадали в самообман относительно нашей области и не думали, что все, кто не хотят примириться с идеей личного высшего существа, как она обыкновенно изображается, принадлежат к противникам религии. И я твердо убежден, что сказанное не сделает менее достоверным понятие личного Бога ни для кого, кто уже носит его в себе; а также, что никто не освободится от почти непреодолимой необходимости

усваивать это понятие только потому, что будет знать, откуда проистекает для него эта необходимость. Вместе с тем истинно религиозные люди никогда не были ревностными энтузиастами или мечтателями в отношении этого понятия; и поскольку — как это часто случается — под атеизмом понимают не что иное, как нерешительность и сомнения в отношении этого понятия, истинно благочестивые люди весьма спокойно смотрят на его соседство, и всегда есть нечто, что кажется им более нечестивым, — именно отсутствие у человека непосредственного сознания Божества через чувство. Только они всегда будут более всего колебаться поверить, что человек действительно совершенно лишен религии, а не обманывает себя в этом отношении; ведь такой человек должен был бы также совершенно не иметь чувства и всем своим существом быть погруженным в живую стихию; они полагают, что лишь тот, кто так низко пал, может совсем не воспринимать Бога в нас и в мире, божественной жизни и действительности, в силу которой все существует. Но кто, отвергая примеры многих и достойных людей, настаивает, что сущность благочестия состоит в исповедании, что Бог есть лично мыслящее и внемирно хотящее существо, тот, по-видимому, не обладает особенно широким кругозором в области благочестия, и ему остались чуждыми самые глубокомысленные слова ревностнейших защитников его собственной веры. Но слишком велико число тех, кто от своего Бога, мыслимого в этой форме, хотят того, что чуждо благочестия: а именно, Он должен извне обеспечивать им блаженство и манить их к нравственности. Они должны подумать, возможно ли это; ведь свободное существо не может хотеть иначе действовать на свободное существо, как лишь давая ему познать себя—все равно, через скорбь или через радость, ибо это определяется же не свободой, а необходимостью. Точно так же Божество не может манить нас к нравственности; ибо всякая внешняя приманка, будь то надежда или какой бы то ни было страх, есть нечто чуждое, следуя чему в области нравственности, мы не свободны, т.е. безнравственны; высшее же Существо, особенно поскольку оно само мыслится свободным, не может хотеть сделать саму свободу несвободной и нравственность — безнравственной.<sup>20</sup>

Это приводит меня ко второму, именно к вопросу о бессмертии, и я не могу скрыть, что в обычной форме отношения к нему я вижу еще более элементов, не связанных с сущностью благочестия или не вытекающих из нее. Я надеюсь, что я уже изложил вам ту форму, в которой каждый религиозный человек носит в себе неизменное и вечное бытие. Ведь если наше чувство нигде не прикрепляется к единичному, а его содержанием является, наоборот, наше отношение к Богу, в котором исчезает все отдельное и преходящее, — то в нем и нет ничего преходящего, а есть одно лишь вечное; и можно по праву сказать: религиозная жизнь — это есть жизнь, в которой мы уже принесли в жертву и отчуждали все смертное, и подлинно наслаждаемся бессмертием. Но представление большинства людей о бессмертии и их влечение к нему кажутся мне не религиозными; более того,

их желание быть бессмертными не имеет иного основания, кроме отвращения к тому, что есть цель религии. Вспомните, что религия всецело стремится к тому, чтобы резко отграниченные очертания нашей личности расширились и постепенно слились с бесконечным, — чтобы мы, сознавая вселенную, как можно теснее объединялись с ней; они же противятся этому; они не хотят выйти из своей обычной ограниченности, они хотят быть только проявлением этой ограниченности и боязливо озабочены своей личностью; далекие от желания воспользоваться единственным случаем, который им предоставляет смерть, чтобы выйти за пределы своей личности, они, напротив, обеспокоены, удастся ли им взять ее с собой в иную жизнь, и стремятся разве только к более зорким глазам и лучшему сложению в том мире. Но Господь говорит им, как написано: кто теряет свою жизнь во имя Мое, тот сохранит ее, а кто хочет сохранить ее, — потеряет. Жизнь, которую они хотят сохранить, не есть жизнь сохраняющая; ведь если им нужна вечность их единичной личности, почему они не заботятся столь же боязливо о том, что они были, как о том, что они будут? И чем помогает им стремление вперед, если они все же не могут обратиться назад? Чем более они жаждут бессмертия, которое не есть бессмертие, и которое они даже не властны помыслить -- ибо кто может одолеть задачу представить себе бесконечным бытие, пребывающее во времени? — тем более они теряют то бессмертие, которое они всегда могут иметь, и к тому же теряют и смертную жизнь, растрчивая ее на мысли, которые тщетно тревожат и мучат их. Пусть они попытаются из любви к Богу отдать свою жизнь! Пусть они стремятся уже здесь уничтожить свою личность и жить во всеедином! Кто научился быть более, чем самим собой, тот знает, что он мало теряет, теряя самого себя; кто, отрекшись от самого себя, слился, насколько это для него доступно, со всей вселенной, и в чьей душе возникло более могущественное и святое влечение, — лишь тот имеет право на бессмертие, и лишь с тем можно далее говорить о надеждах, подаваемых смертью, и о бесконечности, к которой мы через нее возносимся.<sup>21</sup>

Таков мой образ мыслей в этих вопросах. Обычное представление о Боге как об отдельном существе вне мира и позади мира, не исчерпает всеобщего предмета религии и есть редко чистая и всегда недостаточная форма выражения религиозного сознания. Кто образует такое понятие по нечистым мотивам, именно полагая, что должно иметься непременно такое существо, которым можно воспользоваться для утешения и помощи, тот может верить в такого Бога, не будучи благочестивым, по крайней мере в моем смысле, и я полагаю, что и в подлинном и истинном смысле он не будет признан благочестивым. Кто, напротив, образует такое понятие не произвольно, а как-либо вынуждаемый к тому своим образом мышления и способный лишь в связи с ним укреплять свое благочестие, тому не нанесут вреда и не загрязнят религиозного чувства несовершенства, всегда присущие его понятию. Истинную же сущность религии образует не это, и не какое-либо иное понятие, а лишь непосредственное сознание Божества, как мы находим

Божество одинаково и в нас самих, и в мире. И точно так же цель и характер религиозной жизни есть не бессмертие в той форме, в какой многие хотят его и верят в него, или по крайней мере говорят о своей вере в него, — ибо их желание побольше узнать о нем дает основание усомниться в их вере; это есть не то бессмертие вне времени и позади времени, или, вернее, лишь после этого времени, но все же во времени, — а бессмертие, которое мы можем непосредственно иметь уже в этой временной жизни и которое есть задача, постоянно требующая нашего разрешения. Среди конечного сливаться с бесконечным и быть вечным в каждое мгновение — в этом бессмертие религии.

### **ТРЕТЬЯ РЕЧЬ О религиозном воспитании**

Если я сам признал, что в характере религии глубоко заложено стремление делать прозелитов из неверующих, то все же не это стремление влечет меня теперь говорить вам также о развитии в человеке этой возвышенной способности и об условиях такого развития.

Мы, верующие, не знаем иного средства к этой конечной цели, кроме того, чтобы религия свободно проявлялась и сообщалась. Когда она живет в человеке со всей присущей ей силой, когда она властно увлекает за собой в поток своей жизни все способности его духа, то мы ожидаем, что она проникнет до последних глубин каждого отдельного человека, который живет и дышит в таком кругу, что все однородное ей будет в каждом затронуто и, охваченное сочувственным трепетом, достигая сознания своего бытия, порадуется ответным родственным звуком слух призывающего. Лишь так, через естественные проявления собственной жизни, благочестивый человек хочет пробуждать близкие ему чувства, и где это ему не удастся, там он гордо пренебрегает всякой чуждой приманкой, всяким насильственным приемом, успокаиваясь на мысли, что еще не настал час, когда здесь может пробудиться что-либо родственное ему. Нам всем не нов этот неудачный исход. Как часто и я налаживал песнь моей религии, чтобы тронуть ею присутствующих; я начинал с отдельных слабых тонов и вскоре, увлекаемый юношеским пылом, доходил до полнейшей гармонии религиозных чувств! Но ничто не пробуждалось и не откликалось мне в слушателях. И эти слова, которые я теперь доверяю более многочисленному и изменчивому кругу, печально вернутся ко мне от многих из вас, не принеся добра, которое они могли бы дать, останутся непонятными и не пробудят даже малейшей догадки о своем назначении! И как часто все провозвестники религии — и я вместе с ними — еще вновь испытают эту предопределенную нам участь! И все же это никогда не будет мучить нас, ибо мы знаем, что иначе и не могло быть, не выведет нас из спокойного равновесия и никогда не заставит нас навязать наше умонастроение каким-либо иным путем, — ни этому, ни

грядущему поколению. Если каждый из нас сознает в себе отсутствие немало из того, что принадлежит к цельной человечности, если многим недостает столь многого, — то не удивительно, что велико и число тех, кому не суждено было развить в себе религию! И оно необходимо должно быть велико: ибо иначе как могли бы мы прийти к представлению о ней самой в ее — я готов сказать — воплощенном историческом бытии и о границах, которые она со всех сторон ставит другим человеческим способностям, в свою очередь многообразно ограничиваемая ими? Откуда бы мы знали, что человек способен совершить в разных областях без нее, и в чем она препятствует и содействует ему? Как могли бы мы чужь ее действие в нем даже там, где он сам его не сознает? Особенно соответствует природе вещей, что в наше время всеобщего смятения и переворота тлеющая искра религии не разгорается во многих, и как бы любовно и терпеливо мы ни взращивали религию, нам не удастся оживить ее даже в тех, в ком при более счастливых обстоятельствах она преодолела бы все препятствия. Где ничто из всех человеческих дел не остается непоколебленным; где каждый видит, что все, определяющее его место в мире и связующее его с земным порядком вещей, ежесекундно может не только быть утрачено им и попасть в руки другого, но и совсем потонуть во всеобщем водовороте; где одни употребляют все усилия и призывают со всех сторон помощь, чтобы удержать то, что они считают устоями мира и общества, искусства и науки, и что теперь, в силу какого-то неопишуемого рока, как бы само собой внезапно отрешается от своих глубочайших основ и опрокидывает то, что на нем покоилось; где другие со столь же неутомимым усердием трудятся над очищением пути от обломков рухнувших веков, чтобы первыми заселить плодотворную почву, которая на их глазах образуется из быстро остывающей лавы ужасного вулкана; где каждый, даже не покидая своего места, так сильно испытывает бурные потрясения, что среди всеобщего шатания он рад, если ему удастся остановить свой взор хотя бы на отдельном предмете, держаться за него и постепенно убедиться, что хоть что-нибудь стоит на месте, — в таком состоянии было бы безумно ожидать, что многие окажутся в силах развить и сохранить в себе религиозные чувства, которые лучше всего созревают в спокойствии. Правда, среди этого брожения облик нравственного мира более, чем когда-либо величествен и возвышен, и теперь в одно мгновение можно уловить более значительные черты чем прежде, быть может, за целые века; но кто может спастись от всеобщей суеты и тесноты? Кто может избегнуть власти более ограниченных интересов? У кого достаточно спокойствия, чтобы стоять на месте, и устойчивости, чтобы непредвзято созерцать? Но даже предполагая самые счастливые времена и лучшее желание не только пробуждать склонность к религии там, где она уже имеется, но и прививать и вселять ее всевозможными путями, — где же есть такой путь? Деятельность и искусство человека может осуществить в другом человеке лишь одно: сообщить ему свои представления, приобщить их к составу его мыслей и настолько сплести их с его собственными представлениями, чтобы он, всегда мог в надлежащее время вспомнить о них; это может быть в силах человека,

но никогда он не может заставить других из себя создавать желанные ему мысли. — Вы видите это противоречие, которое нельзя даже устранить из слов. Даже к тому человек не может быть приучен, чтобы на определенное впечатление, всякий раз, когда оно испытывается, в нем следовала определенная реакция; еще менее можно достигнуть того, чтобы, помимо этого слияния, свободно созидать желаемую внутреннюю деятельность. Словом, всякий может до некоторой степени воздействовать на механизм духа, но никто не может по произволу проникнуть в его органическую жизнь, в эту священную мастерскую вселенной; здесь никто не может изменить или переместить что-либо, отрезать или дополнить, и разве только удастся искусственно задержать, именно через механизм, развитие духа. Итак, можно, правда, насильственно изучить часть растения, но не взрастить его; ибо именно из этого, недостижимого для чуждой силы нутра его организации должно произойти все, что может принадлежать к подлинной жизни человека и быть в нем вечно действенным и живым побуждением. И такова именно религия; в душе, в которой она обитает, она непрерывно действенна и жива; все она делает своим объектом, и всякая мысль и всякое действие становятся темой ее небесной фантазии. Именно поэтому она, как и все, что, подобно ей, должно быть всегда присущим человеческой душе и живым в ней, лежит далеко за пределами того, чему можно обучить или что можно привить. Поэтому для всякого, кто так смотрит на религию, преподавание религии, в том смысле, как будто можно обучить самому благочестию, есть пошлое и бессмысленное слово. Наши мнения и учения мы можем, конечно, сообщить другим — для этого нам нужны только слова, а для слов нужна только воспринимающая и воспроизводящая сила рассудка; но мы хорошо знаем, что это — лишь тени наших религиозных чувств; и когда наши ученики не разделяют с нами последних, то, если они даже действительно понимают сообщаемое как мысли, они не приобрели этим ничего подлинно ценного. Ведь нельзя научить сознавать саму эту внутреннюю возбужденность и внутреннее слияние с мыслями; и даже человек, всецело проникнутый религиозным пылом, человек, который умеет из всех окружающих его предметов впитывать в себя первичный свет вселенной, — все же не может словами поучения перенести из себя в других эту силу и способность. Существует, правда, способность подражания, которую мы можем в некоторых людях пробудить настолько, что когда перед ними в сильных тонах изображаются священные чувства, им легко вызвать в себе душевные движения, отдаленно сходные с теми, которыми полна наша душа: но разве это проникает их внутреннее существо? Разве это есть религия в истинном смысле слова? Если вы хотите сравнить вселенское чувство -с художественным, то вы не должны сопоставлять этих обладателей подходящей религиозности, как их можно было бы назвать, с теми, кто, не создавая сами произведений искусства, все же умиляются и восторгаются тем, что им удастся увидеть. Ибо художественные произведения религии выставлены всюду и всегда; весь мир есть галерея религиозных картин, и каждый человек находится среди них. Нет, вы должны их уподобить тем,



которым нельзя внушить чувства иначе, как снабдив их комментариями и вымыслами о произведениях искусства, как лечебным возбуждательным средством против их отупевшего жизненного чувства, и которые и тогда могут лишь пробормотать на плохо понятом искусственном языке мало подходящие и по существу чуждые им слова. Только этого, а не большего, вы можете достигнуть одним обучением; это есть цель намеренного преподавания и упражнения в этих вещах. Покажите мне кого-либо, кому вы привили или внушили силу суждения, дух наблюдательности, художественное чувство или нравственность; и тогда я возьмусь обучать и религии. Правда, в ней существует учительство и ученичество, существуют отдельные люди, к которым примыкают тысячи других, но эта связь не есть слепое подражание, и не потому они ученики, что их сделал таковыми учитель, а потому он учитель, что его избрали себе ученики.<sup>1</sup> Но кто проявлениями своей собственной религии возбудил ее в других, тот уже не имеет власти удержать их при себе: и если их религия живет, то она свободна и идет своим собственным путем. Как только священная искра разгорается в душе, она превращается в свободное и живое пламя, которое питается своею собственной атмосферой. Это пламя освещает душе более или менее весь мир, и душа может поселиться по собственному побуждению и далеко от того места, где она впервые была возложена к новой жизни. Лишь из чувства своего бессилия и своей ограниченности, побуждаемая своей первичной внутренней природой осесть в определенной местности, она, не теряя благодарности к своему первому путеводителю, выбирает климат, который ей более всего подходит; и здесь она ищет себе средоточия, направляемая свободным самоограничением по новому пути, называет своим учителем того, кто впервые воспринял эту ее излюбленную местность и изобразил ее великолепия, и следует за ним по собственному избранию и свободной любви.<sup>2</sup> Итак, я не хочу прививать религию вам или другим, или поучать вас, как вы сами можете намеренно и искусственно взрастить ее в себе; нет, я не хочу покидать религии, что ведь было бы неизбежно при этом, я хочу, напротив, подольше остаться в ней вместе с вами. Вселенная сама создает себе своих созерцателей и поклонников, и мы попытаемся теперь посмотреть, как это совершается, поскольку это может быть усмотрено.

Вы знаете, что форма, в какой каждый отдельный элемент человечности присущ индивиду, выражается в том, как его ограничивают другие элементы или насколько они предоставляют ему простора; лишь через эту всеобщую борьбу каждый элемент приобретает в каждой личности определенную форму и величину, а эта борьба в свою очередь поддерживается лишь связью всех элементов и жизнью целого. Каждый человек и каждое начало в человеке есть, таким образом, продукт целого, и лишь так религиозное чувство может смотреть на человека. Я хотел бы подвести вас к этому основанию неоспоримой религиозной ограниченности наших современников, которую вы восхваляете, я же оплакиваю; я хотел бы уяснить вам, почему мы устроены именно так, а не иначе, и что должно совершиться, чтобы

наступило то, чему, на мой взгляд, давно пора наступить, — чтобы наши границы с этой стороны снова расширились. И я хотел бы лишь, чтобы вы могли осознать, что и вы в вашем бытии и действовании вместе с тем являетесь орудиями вселенной, и что ваша деятельность, направленная на совсем иные вещи, имеет влияние на религию и ее ближайшее состояние.

Человек рождается с религиозными задатками, как со всеми иными задатками, и если только его восприятие последней глубины своего собственного существа не подавлено насильственно, если не преграждено и не заграждено общение между ним и Первосуществом, — ведь таковы, как мы уже признали, оба элемента религии, — то эти задатки неизбежно должны были бы своеобразно развиваться в каждом; но именно эти преграды, к сожалению, в огромной мере ставятся теперь развитию религиозного чувства с раннего детства. С болью я ежедневно вижу, как бешеная страсть к счислению и объяснению не дает даже пробудиться чувству, и как все соединяется для того, чтобы укрепить человека в конечном и в весьма малой части последнего и как можно более удалить от его взора бесконечное. Кто препятствует процветанию религии? Не вы, и не скептики и насмешники, даже если бы вы, подобно последним, были склонны сообщать другим свое желание не иметь религии; но так как ваши воздействия находят благоприятную почву лишь позднее, то вы не стесняете природы, когда она стремится взрастить благочестие, заложенное в глубочайшей основе души. И не безнравственные люди более всего препятствуют процветанию религии, как это обыкновенно думают; их стремления и действия противоположны не этой, а совсем иной силе. Но рассудительные и практичные люди нашего времени — вот кто при современном состоянии мира суть враги религии, и их большой перевес есть причина, почему она играет столь скудную и незначительную роль. Они эксплуатируют человека с раннего детства и подавляют его стремление к высшему. С великим благоговением я могу смотреть на тоску юных душ по чудесному и сверхъестественному. Как ни радостно они воспринимают в себя пеструю внешность вещей, они все же вместе с тем ищут чего-то иного, что можно было бы ей противопоставить; они озираются во все стороны, надеясь найти что-либо, что выходило бы за пределы обычных явлений и легкой игры жизни; и как бы много земных предметов ни предлагалось их восприятию, они все же, кроме этих чувств, как бы имеют еще иные органы восприятия, которые погибают от недостатка питания. Это есть первое пробуждение религии. Тайное, непонятное чаяние гонит их от всех богатств этого мира; поэтому они услаждаются поэтическими вымыслами о сверхземных существах, и все, невозможность чего в этом мире им ясна, они сильнее всего объемлют той ревнивой любовью, которой мы любим то, на что мы имеем глубоко осознанные, но внешне неосуществимые права. Конечно, это есть заблуждение — искать бесконечное непременно за пределами конечного, духовное и высшее — за пределами земного и чувственного; но разве это не вполне естественно у тех, кто знают само

земное и чувственное лишь совершенно поверхностно? И разве это не есть заблуждение целых народов и целых философских школ? Если бы были хранители религии среди тех, кто посвящают себя молодому поколению, как легко можно было бы позднее исправить эту ошибку, предначертанную самой природой, и как жадно в более светлые времена молодая душа предавалась бы впечатлениям бесконечного в его вездесущности! Некогда спокойно предоставляли жизни властвовать в этой области; полагали, что вкус к причудливым образам присущ юной фантазии в религии, как и в искусстве; его удовлетворяли в полной мере, и эти воздушные игры детства даже заботливо сливали с серьезной и священной мифологией, с тем, в чем усматривали глубочайшую сущность религии: небесный Отец, Спаситель и ангелы были лишь иной формой фей и сильфов. И если кое-что в этих детских представлениях полагало основание для более легкого господства неудовлетворительной и мертвой буквы, когда ранние картины бледнели, и оставалось одно лишь слово, как пустая рама, в которой они прежде были укреплены, — все же при этом отношении человек был более предоставлен самому себе, и прямодушное, неиспорченное сознание, которое умело оставаться свободным от соблазна мудрствования и умничания, легче находило в свое время естественный исход из этого лабиринта. Теперь же эта склонность с самого начала насильственно подавляется, все таинственное и чудесное презирается, и фантазия не должна заполняться воздушными образами: теперь указывают, что ведь в это время можно так же легко наполнить память истинными предметами и подготовиться к жизни. Так бедные юношеские души, которые алчут совсем иной пищи, принуждены скучать над моральными историями и должны учиться, как хорошо и полезно быть благоразумными и рассудительными; об отдельных вещах, с которыми они сами вскоре встретились бы, им внушают как можно раньше общераспространенные представления, как будто это было к спеху; и, пренебрегая тем, чего им недостает, им все больше дают то, чего у них скоро и так будет слишком достаточно. По мере того, как человек должен ограничивать себя и заниматься единичным, в нем — для того, чтобы не погибла общность чувства — пробуждается влечение оставить господствующую и всякую подобную ей деятельность и только раскрыть все органы, чтобы проникнуться впечатлениями; и в силу тайной, высоко благодетельной симпатии, это влечение сильнее всего именно тогда, когда более всего явственно открывается всеобщая жизнь в собственной груди и в окружающем мире; но им не дают в мирном, бездеятельном покое следовать этому влечению! Ведь с точки зрения обыденной жизни это было бы ленью и бездельем. Цель и намерение должны быть во всем, дети должны всегда что-нибудь делать, и если их дух уже не может служить, пусть они упражняют тело. — Главное же, они должны все анализировать и объяснять, и в силу этого объяснения они совершенно утрачивают понимание своего чувства; ибо деятельность последнего прямо противоположна деятельности первого. Чувство самодеятельно отыскивает свои предметы, оно идет навстречу им и отдается их объятиям; оно сообщает им нечто, что делает их

его достоянием, его созданием, оно хочет находить предметы и открывать им себя; объяснение же ничего не знает об этом живом усвоении, об этой озаряющей правде и подлинно угадывающей интуиции в детском созерцании. Нет, с самого начала люди должны лишь точно копировать в мыслях все предметы как нечто данное, так как они, слава Богу, действительно существуют, всегда для всех одинаковые, — законное наследственное достояние каждого, инвентарь которого давным-давно составлен и точно определяет его размер и качества. Итак, берите предметы в том виде, как их дает жизнь; то, что она делает, вы должны понимать, но самим искать и стремиться как бы завести живую беседу с вещами — это эксцентрично и высокомерно, это есть тщетное занятие, не приносящее плодов для человеческой жизни, где на все нужно смотреть и ко всему относиться так, как того требует сама видимая природа вещей. О, конечно, здесь чувство не приносит плодов; но только без него нельзя найти интенсивной жизни, основанной на подлинном внутреннем развитии. Чувство стремится воспринять нераздельное впечатление чего-то целого; оно хочет созерцать, какова каждая вещь сама по себе, и познать каждую в ее самобытной природе; им же для их понимания этого не нужно; *что* и *как* слишком далеки для них, **им** нужно лишь *почему* и *зачем*, и притом не по существу, а только в определенных отношениях; и потому они хотят познавать не целостно, а лишь по частям. Ведь спрашивать и основательно исследовать, в каком смысле то, что они хотят понять, есть целое, — это завело бы их слишком далеко; и если бы они стремились к этому, то они вряд ли обошлись бы совсем без религии; нет, им нужно лишь использовать вещи для каких-нибудь, всегда весьма почтенных целей, а для использования они должны раздроблять и анатомировать их. И так они обходятся даже с тем, что преимущественно существует для того, чтобы удовлетворять чувство на его высшей ступени, — что, как бы вопреки им, всегда есть нечто целое в себе самом, — я разумею все, что есть искусство в природе и в человеческих созданиях: они уничтожают его прежде, чем оно может оказать свое действие, потому что объясняют его по частям: они сначала уничтожают его художественность, а потом сообщают и хотят внушить людям его разрозненные части. Вы должны будете признать, что такова действительно практика наших рассудительных людей; вы согласитесь, что нужен богатый и сильный избыток чувства, чтобы хоть что-либо из него спаслось от этого враждебного обращения, и что уже поэтому не могут быть многочисленны люди, способные возвыситься до такого созерцания какого-либо предмета, которое пробуждало бы в них религиозное чувство. Но еще более это развитие стесняется тем, что, кроме того, делается все возможное, чтобы еще сохранившееся чувство не обращалось на вселенную. Юношество, со всем, что в нем есть, должно быть сдерживаемо в границах обыденной жизни. Всякое действие должно ведь направляться на эту жизнь, и потому, как они полагают, и хваленая внутренняя гармония человека состоит только в том, что все в нем должно быть, в свою очередь, направлено на деятельность. Они только упускают из виду, что бытие каждого человека в государстве,

чтобы быть подлинной и свободной жизнью, должно возникать жизненно и из целого, как возникло и само государство. Погруженные в слепое обоготворение данной общественной жизни, они убеждены, что каждый найдет в ней достаточно материала для своего чувства и картин для созерцания, и что поэтому они имеют право заботиться о том, чтобы человек не искал чего-либо иного и удовлетворялся этой точкой зрения, которая вместе с тем есть его точка опоры и средоточие его жизни. Поэтому всякие возбуждения и попытки, не имеющие ничего общего с этой жизнью, кажутся им лишь бесполезными тратами, которые только истощают душу и от которых ее нужно удерживать посредством целесообразной деятельности. Поэтому чистая любовь к поэзии и к искусству и даже к природе есть для них распушенность, которая только терпима, потому что она не так вредна, как другие ее виды, и потому что иные люди находят в ней утешение и возмещение всяких бед. Так и знанию они предаются с мудрой и трезвой умеренностью и без всякой связи с жизнью, чтобы оно не переступало указанных границ; и в то время, как даже мельчайшее, что имеет здесь значение, не упускается из виду, они хулят величайшее именно потому, что оно заходит слишком далеко, и объявляют его ненужным и превратным. Что, тем не менее, существуют вещи, которые должны быть исчерпаны до известной глубины, — это есть для них необходимое зло; и благодаря богов за то, что всегда находятся люди, которые предаются этому занятию из непреодолимой склонности, они со святым состраданием смотрят на таковых, как на добровольные жертвы. Что существуют чувства, которых нельзя обуздать их внешними формулами и предписаниями, и что так много людей становятся в общественной жизни несчастными или безнравственными на этом пути, — ведь к этим наставникам я причисляю и тех, кто не ограничиваются профессиональным трудом и для кого нравственная сторона общественной жизни есть все, — это вызывает в них сердечное сожаление, и они считают это величайшим ущербом для человечества, от которого они хотели бы как можно скорее его избавить. Великая беда в том, что эти люди полагают, что их деятельность есть все и исчерпывает задачу человечества, и когда делаешь то, что они делают, то не нужно понимать ничего, кроме своего дела. Поэтому они изувечивают все своими ножницами, и хотели бы не допустить ни одного своеобразного явления, которое могло бы возбудить религиозный интерес; и все, что можно увидеть и обнять с их точки зрения, т.е. что они хотят допустить, есть лишь малая и бесплодная область без науки, без нравственности, без искусства, без любви, без духа, — я почти готов сказать: поистине даже без буквы,<sup>3</sup> — словом, без всего, что дает возможность открыть мир, но со множеством высокомерных притязаний на все это. Они, правда, думают, что обладают подлинным и действительным миром и что именно они усваивают и оценивают все в надлежащей связи. Пусть они поймут когда-нибудь, что созерцать вещь как элемент целого, необходимо значит рассматривать ее в ее своеобразной природе и в ее высшем завершении! Ибо во вселенной она может быть чем-либо лишь в силу совокупности своих действий и связей; от

последних зависит все, а чтобы осознать их, нужно рассмотреть каждую вещь не с какой-либо точки вне ее, а с ее собственного средоточия и со всех сторон в отношении к этому средоточию, т.е. в ее обособленном бытии, в ее самобытной сущности. Знать лишь одну точку зрения для всего есть прямая противоположность тому, чтобы пользоваться всеми точками зрения для объяснения каждого явления; это есть путь, чтобы по прямой линии удалиться от вселенной, впасть в самую жалкую ограниченность и стать слугою и крепостным того клочка земли, на котором случайно стоишь. — В отношении человека к этому миру имеются некоторые переходы в бесконечное, просеки, открывающие горизонты; мимо них должен пройти всякий, чтобы его сознание нашло путь к целому, и созерцание их порождает если не прямо чувства определенного содержания, то все же общую возбудимость для всех религиозных чувств. Эти горизонты они также мудро затыкают и ставят в отверстие какую-нибудь философскую карикатуру, подобно тому, как вообще принято закрывать неприглядное место плохой картиной; и если и для них открывается всемогущество вселенной, если какой-нибудь луч мимоходом попадет им в глаза и душа их не может оградиться от слабого проблеска этих чувств, то бесконечное не есть цель, к которой они стремятся, чтобы на ней успокоиться, а подобно отметке в конце ипподрома, лишь точка, которую они с величайшей быстротой огибают, не прикасаясь к ней, чтобы как можно скорее вернуться на свое старое место. — Рождение и смерть суть такие точки, при восприятии которых мы не можем не замечать, что наше собственное я со всех сторон окружено бесконечным, и которые, несмотря на свою повседневность, при ближайшем соприкосновении всегда возбуждают в нас тихую мечту и священное благоговение; и неизмеримость чувственного созерцания есть тоже по крайней мере намек на иную и высшую бесконечность; им же было бы приятнее всего, если бы величайшую ось мировой системы можно было так же использовать для меры и веса в обыденной жизни, как теперь использован величайший круг земли; и когда образы жизни и смерти встречаются на их пути, то верьте мне: сколько бы они при этом ни говорили о религии, им важнее всего в таких случаях склонить нескольких молодых людей к осмотрительности и бережливости в употреблении сил и к благородному искусству удлинения жизни. Правда, они достаточно наказаны за это; ведь так как их точка зрения слишком узка, чтобы давать им возможность самостоятельно творить даже эту жизненную мудрость, которой они придерживаются, то они рабски и покорно живут в старых формах или удовлетворяются мелочными улучшениями. Таков крайний предел полезного, к которому быстрыми шагами двинулась наша эпоха от бесплодной схоластической словесной мудрости, — новое варварство, достойное своей старой противоположности; таков прекрасный плод отеческой эвдемонистической политики, которая заступила на место грубого деспотизма и проникла во все разветвления жизни. Все мы выросли под ее влиянием, наша способность к религии страдала в своем зародыше, и ее развитие не может поспеть за развитием других наших способностей.

Вас, к кому я обращаюсь, я не могу причислить к этим людям, да и вы сами не захотите приравнять себя им: ибо они не презирают религии, хотя по мере своих сил уничтожают ее, и их также нельзя назвать образованными, хотя они дают образование нашей эпохи и просвещают людей и хотели бы просветить все до нестерпимой прозрачности. Эти люди, хрупкие опоры шатающейся эпохи, все еще суть господствующая часть, вы же и мы — лишь малая кучка. Целые города и страны воспитываются по их принципам: и когда воспитание закончено, их снова находишь в обществе, в науках, в философии; да, они имеются и в философии, и не только древняя философия—вы ведь знаете, что теперь с большим историческим смыслом философию делят только на древнюю, новую и новейшую — есть **их** собственное местопребывание, но они овладели даже и новой. Своим могущественным влиянием на всякий мирской интерес и ложной видимостью филантропии, которая ослепляет также социальные чувства, это умонастроение все еще подавляет религию и всеми силами противодействует всякому движению, в котором хотела бы проявиться ее жизнь. Таким образом, лишь с помощью сильнейшего духа оппозиции против этой всеобщей тенденции может выбиться религия; и вначале она нигде не может являться в иной форме, кроме той, в которой она более всего ненавистна этой тенденции. Ведь все следует закону сродства, и потому определенная способность может возобладать, лишь овладевая предметом, к которому слабо прикрепляется враждебное умонастроение, и который она потому может присвоить себе легче всего и с избытком свободной силы. Предмет же этот есть внутренний мир, а не внешний. Объясняющая психология, это образцовое создание указанного рода рассудка, первая истощила себя неумеренностью и почти потеряла доброе имя, и потому именно в этой области счисляющий рассудок прежде всего снова уступил место чистому восприятию. Итак, кто религиозен, тот несомненно сосредоточен на себе самом, направляет свой дух на рассмотрение самого себя, и притом своего глубочайшего нутра, предоставляя пока рассудительным людям для **их** целей исследование всего внешнего, как интеллектуального, так и физического. И точно так же по тому же закону чувство к бесконечному развивается легче всего в тех, кто по своей природе далее всего стоят от центральной сферы, принадлежащей указанным противникам общей полноты жизни. Поэтому-то издавна все истинно религиозные люди отличались мистическим оттенком, и все фантастические натуры, которые слишком воздушны, чтобы предаваться грубым и косным мирским делам, имеют по крайней мере зачатки религиозности. Таков характер всех религиозных явлений нашего времени, таковы две краски, из которых они всегда состояются, хотя и в самых различных смешениях. Я говорю: явления—ибо большего трудно ждать при этом положении вещей. Фантастическим натурам не достает силы проникновения вовнутрь, способности овладеть существенным. Легкая переменчивая игра красивых, часто восхищающих, но всегда лишь случайных и совершенно субъективных комбинаций удовлетворяет их и есть для них высшее; более глубокой и внутренней связи не может уловить их

взор. Они ищут собственно лишь бесконечности и всеобщности прекрасных призраков, которая, в зависимости от точки зрения на нее, есть и нечто гораздо меньшее и гораздо большее того, что действительно чувственно воспринимается; но они привыкли останавливаться на призрачном, и потому вместо здоровой и сильной жизни имеют лишь рассеянные и беглые душевные движения. Их душа легко возгорается, но всегда беспокойным, как бы ветренным пламенем; они имеют лишь зачатки религии, как имеют зачатки искусства, философии и всего великого и прекрасного, поверхность чего **их** привлекает. Напротив, тем, кто по своей внутренней природе преимущественно способен иметь религию, но дух которых всегда остается обращенным вовнутрь, потому что при современном положении мира он не в силах овладеть чем-либо большим, — таким людям часто недостает материала, чтобы их чувство могло развиваться в самостоятельную религиозность. Существует великая, могучая мистика, которую даже самый фривольный человек не может созерцать без почитания и преклонения и которая в самом мудром человеке вызывает благоговение своей героической простотой и своим гордым презрением к миру. Нельзя сказать, чтобы душа, живущая такой мистикой, была насыщена и переполнена влияниями вселенной; но, таинственно гонимая назад к себе самой всяким отдельным таким влиянием и находя в себе основу и ключ для целого, — убежденная широкой аналогией и смелой верой, что не нужно покидать себя и что дух достаточно богат, чтобы внутри себя сознавать все, что могло бы быть ему дано извне, — такая душа в силу свободного решения навеки замыкается от всего, что не есть она сама; но это презрение не есть неведение, эта замкнутость духа не есть бессилие. Но именно такое неведение и бессилие, к сожалению, присуще в настоящее время людям нашего типа: они не научились открывать себя природе, живое отношение к ней испорчено им тем дурным способом, каким всегда **им** показывали, или скорее наперед рисовали лишь единичные вещи, и **их** самосозерцание не оставляет им достаточно чувства и света, чтобы преодолеть эту старую тьму; гневаясь на свою эпоху и осыпая ее упреками, они не хотят иметь ничего общего с тем, что есть в них самих ее создание. Поэтому высшее чувство в них неразвито и скудно, и их истинное внутреннее общение с миром болезненно и ограничено; и так как они одиноки в своем чувстве и вынуждены вечно вращаться в слишком узком кругу, то их религиозное сознание, после болезненной жизни, умирает от слабости, обусловленной недостатком раздражения. Те, чье чувство к высшему, смело обращаясь вовне, ищет и там расширить и возродить свою жизнь, знают иной исход, который слишком ясно обнаруживает ненормальное отношение между ними и их эпохой, — стеническую смерть; это, если угодно, есть эвтаназия, но страшная, это есть самоубийство духа; не умея охватить мир, внутренняя сущность и великий смысл которого остается ему чужд под внешним давлением мелких воззрений, обманутый запутанностью явлений, предавшись разнузданным фантазиям, ища вселенную и ее следы там, где **их** никогда нельзя найти, человек, наконец, в досаде совершенно порывает связь между внутренним и



внешним, изгоняет бессильный рассудок и кончает священным безумием, источника которого почти никто не ведает; это есть вопиющая к небу и все же непонятая жертва всеобщего презрения и пренебрежения к внутреннему существу человека. Но именно только жертва, а не герой; кто погибает, хотя бы и в последнем испытании, не может быть причислен к людям, посвященным в глубочайшие мистерии.

Эта жалоба, что среди нас не существует явственных и признанных всем миром представителей религиозности, все же не противоречит тому, что я выше утверждал с полным сознанием значения своих слов, именно что и наша эпоха не менее благоприятна религии, чем всякая иная. Конечно, общая масса религиозности в мире не уменьшилась; но раздробленная и слишком далеко рассеянная насильственным давлением, она обнаруживается лишь в мелких и легких, хотя и частых явлениях, которые скорее увеличивают многообразие целого и услаждают взор наблюдателя, чем способны сами по себе произвести сильное и возвышенное впечатление. Убеждение, что существует много людей, которые отдают самое свежее благоухание своей юной жизни священной жажде и любви к вечному и непреходящему, и лишь позднее подчиняются миру, а быть может, и никогда не подчиняются ему вполне; что нет никого, кому бы хоть раз не явился мировой дух, кто не покраснел бы и не устыдился себя самого и своей недостойной ограниченности перед тем всепроникающим взором мирового духа, который, не видя, ощущают опущенные ниц глаза, — это убеждение я здесь вновь повторяю, и пусть судит его сознание каждого из вас. Лишь героев религии, святых душ, как они некогда бывали, которым религия есть все и которые всецело проникнуты ею, недостает и неизбежно должно недоставать нашему поколению. И когда я размышляю о том, что должно случиться и какое направление должна принять наша культура, чтобы снова могли явиться религиозные люди более высокого стиля, как редкие, правда, но все же естественные продукты своего времени, — то я нахожу, что все ваши стремления — сознательно или нет, решайте это сами — немало способствуют палингенезии религии; я нахожу, что отчасти деятельность, общая вам всем, отчасти стремления более узкого круга, отчасти, наконец, возвышенные идеи некоторых исключительных умов могут быть использованы в ходе человечества для этой конечной цели.<sup>4</sup>

Сила и объем, как и чистота и ясность каждого восприятия зависят от остроты и годности соответствующего чувства; и мудрейший человек, чувства которого были бы закрыты, если только таковой может существовать (впрочем, мы всегда мыслили и таких отрешенных и замкнутых в себе мудрецов), был бы не ближе к религии, чем самый глупый и легкомысленный человек, который только имел бы верные и открытые чувства. Итак, все должно начаться с прекращения того рабского состояния, в котором держали человеческие чувства в угоду тех упражнений рассудка, которые ничего не упражняют, тех объяснений, которые ничего не уясняют,

тех анализов, которые ничего не разрешают; и это есть цель, к которой вы все скоро будете стремиться соединенными усилиями. Ведь с реформами воспитания случилось то же, что и со всеми революциями, которые предпринимались не из высших принципов: они постепенно спускаются назад к старому ходу вещей, и лишь некоторые внешние изменения сохраняют память о событии, которое вначале считалось изумительно великим. Так и наше нынешнее рассудительное и практическое воспитание лишь мало отличается от старого механического воспитания, и это малое не касается его духа и действия. От вас не ускользнуло, что оно начинает становиться столь же ненавистным всем истинно образованным людям, сколь оно ненавистно мне; и распространяется все более и более чистая идея о святости детского возраста и о вечности ненарушимой свободы, проявления которой надо подмечать и улавливать уже в самом начале человеческого развития. Скоро эти границы будут разрушены, созерцательная сила овладеет всем своим царством, каждый орган раскроется, и предметы смогут на все лады вступать в соприкосновение с человеком. С этой вновь приобретенной свободой чувства может, однако, хорошо согласоваться ограниченность и твердое направление деятельности. Это есть великое требование, с которым лучшие из вас обращаются теперь к своим современникам и к потомству. Вы утомились созерцанием бесплодных энциклопедических странствий, вы сами лишь этим путем самоограничения стали тем, что вы есть, и вы знаете, что нет иного пути для саморазвития; и потому вы настаиваете, чтобы каждый стремился стать чем-либо определенным и предавался чему-либо с постоянством и вкладывая всю свою душу. Никто не может лучше усмотреть правильность этого совета, чем тот, кто уже созрел до некоторой универсальности чувства; ибо он должен знать, что и для восприятия не было бы никаких предметов, если бы все не обособлялось и не ограничивалось. И потому и я радуюсь этим стараниям и хотел бы, чтобы они уже достигли большего результата. Делу религии они превосходно пригодятся. Ибо именно это ограничение силы пролагает чувству, если только оно само не ограничивается, вернейший путь к бесконечному и вновь открывает ему столь давно неприступное общение с последним. Кто многое созерцал и знает и затем может решиться посвятить все свои силы осуществлению чего-либо единичного ради него самого, тот ведь неизбежно должен признать, что и все остальное единичное должно осуществляться и быть ради себя самого, — иначе он противоречил бы самому себе; и если он затем довел избранное им до последней высоты, то именно на этой высшей вершине от него менее всего ускользнет, что оно есть ничто без всего остального. Это всюду навязывающееся мыслящему человеку признание чужого и уничтожение своего, эта в разное время попеременно необходимая любовь и ненависть ко всему конечному и ограниченному невозможны без смутного чаяния мира и Бога и необходимо должны навести на более чистое и определенное стремление к всеединому.

Каждому из собственного сознания известны три различные области восприятия, на которые разделяются отдельные проявления последнего. Одна из них есть само внутреннее я; к другой относится все внешнее, поскольку оно есть нечто само по себе неопределенное и незавершенное, все равно, называть, ли его массой, материалом, элементом или как-либо иначе; третья, наконец, по-видимому соединяет обе первые, когда восприятие, колеблясь между направлениями вовнутрь и вовне, успокаивается лишь на допущении их безусловного глубочайшего соединения; это есть область индивидуального, внутренне завершенного, и всего, что есть искусство в природе и в человеческих созданиях. Не каждый человек одинаково близок всем этим областям, но от каждой из них есть путь к религиозному подъему духа, который лишь принимает различные формы в зависимости от пути, на котором он был найден. — Созерцайте самих себя с пристальным напряжением, отделите все, что не есть ваше я, продолжайте все упорнее фиксировать ваше чисто внутреннее содержание, — и чем более, по мере удаления всего чуждого, ваша личность и ваше обособленное бытие сужается и даже почти совсем исчезает, тем яснее предстанет перед вами вселенная, тем прекраснее вы будете вознаграждены за ужас самоуничтожения преходящего чувством вечного в вас. Смотрите вовне, на какой-либо из самых распространенных элементов мира, воспримите его в его подлинной сущности, но отыщите его повсюду, где он имеется, не только сам по себе, но и как составная часть вас самих и всего другого; повторяйте ваш путь от окружности к средоточию все чаще, захватывая все большую сферу; и тогда, находя этот элемент повсюду и не познавая его иначе, как в отношении к его противоположности, вы скоро потеряете все единичное и обособленное и найдете вселенную. Что касается художественного чувства, то его непосредственный объект есть не вселенная, а нечто единичное, но только завершенное и замкнутое в себе, так что оно само по себе удовлетворяет чувство, и последнее, спокойно погружаясь в отдельное наслаждение, не вынуждает душу к такому движению, в котором как бы исчезает все единичное и на его место выдвигается целое. И потому вопрос о пути, который ведет к религии от этой третьей области, и есть ли вообще такой путь, или, может быть, эта область остается замкнутой, и поэтому художники обречены быть нерелигиозными, — или между искусством и религией существует совсем иное отношение—все это я хотел бы скорее выставить как задачу, требующую от вас разрешения, чем изложить столь же определенно, как предыдущее. Ведь мне это исследование было бы слишком трудным и чуждым; вы же придаете немало значения вашему пониманию искусства и любви к нему, так что я охотно готов предоставить вам свободу на родной вам почве. Одну лишь мысль мою по этому предмету я хотел бы считать не простым желанием и чаянием, но знанием и прорицанием; предоставляю вам оценить ее. А именно, если верно, что существуют внезапные обращения, поводы, под влиянием которых человеку, менее всего думавшему о возвышении над конечным, в дно мгновение через непосредственное внутреннее просветление открывается понимание бесконечного и покоряет

его во всем своем величии, — то я думаю, что более, чем что-либо иное, способно совершить это чудо созерцание великих и возвышенных произведений искусства; и что, следовательно, и вы, без предшествующей постепенной подготовки, быть может, некогда внезапно пораженные лучом вашего солнца, обратитесь к религии.

Находить вселенную на первом пути, на пути отрешенного созерцания, было делом древнего восточного мистицизма, который с изумительной смелостью, сильно приближаясь к нашему новейшему идеализму, непосредственно связывал бесконечно великое с бесконечно малым и находил всякое бытие тесно граничащим с небытием. Из созерцания же масс и их противоположностей очевидно исходила всякая религия, схемой которой было небо или стихийная природа, и политеистический Египет был долго совершеннейшим хранителем этого умонастроения, в котором — как, по крайней мере, можно предполагать — чистейшее созерцание первичного и живого в смиренном терпении тесно соприкасалось с самым мрачным суеверием и самой бессмысленной мифологией.<sup>5</sup> И если ничего нельзя сказать о религии, которая, исходя первоначально из искусства, покорила бы народы и эпохи, то тем яснее то, что художественное чувство никогда не приближалось к указанным обоим видам религии, не обливая их новой красотой и святостью и не смягчая любовно их первоначальной ограниченности. Так древние мудрецы и поэты, и преимущественно творцы пластического искусства в Греции придали религии природы более прекрасную и радостную форму: так и в мифических изображениях божественного Платона и его школы, которые и вы признаете скорее религиозными, чем научными, мы видим прекрасный подъем упомянутого мистического самосозерцания до высшей вершины божественности и человечности; мы видим в них также живое стремление, обусловленное лишь привычной жизнью в области искусства и присущей ему, и в особенности поэзии, силой, — стремление проникнуть от этой формы религии к противоположной, связав воедино обе. Поэтому можно лишь преклоняться перед самозабвением, с которым он, как справедливый властитель, не щадящий даже мягкосердечной матери, со священной ревностью порицает искусство; ибо что в нем не есть упадок или порождаемое им заблуждение, то касается лишь добровольной услуги, которую оно оказало несовершенной религии природы. Теперь оно не служит никакой религии, и все теперь иначе и хуже. Религия и искусство стоят теперь рядом, как два дружественных существа, внутреннее родство которых, хотя взаимно непризнанное и едва чуемое, все же многообразно прорывается наружу.<sup>6</sup> Как разнородные полюсы двух магнитов, они сильно влекутся друг к другу, но не могут преодолеть своей тяжести и дойти до полного соприкосновения и объединения. Дружеские слова и сердечные излияния всегда просятся на их уста, но всегда возвращаются назад, не в силах найти подлинный характер и последний смысл своей мечты и тоски. Они жаждут большего самораскрытия, и вздыхая под одним и тем же гнетом, они смотрят на свои общие страдания, быть

может с внутренней симпатией и глубоким чувством, но без подлинно объединяющей любви. Осуществится ли счастливый миг их соединения под действием этого общего гнета? Или, быть может, из чистой любви и радости скоро взойдет новый день для одного из них, столь ценимого вами? Но что бы ни ждало их впереди, — тот из них, кто будет первым освобожден, наверное поспешит, по крайней мере, из братской верности позаботиться о другом. — Теперь же не только обе формы религии лишены помощи искусства, но и само по себе их состояние хуже, чем когда-либо. Оба источника восприятия и чувства величественно и обильно притекали от бесконечного, пока научное умничание, лишенное истинных принципов, еще не нарушало своею пошлостью чистоты сознания, хотя каждый из источников сам по себе не был достаточно богат, чтобы производить высшее; теперь же они сверх того загрязнены потерей наивности и губительным влиянием воображаемого и ложного знания. Как очистить их? Как придать им достаточно силы и полноты, чтобы, оплодотворяя почву, они порождали на ней не одни лишь эфемерные продукты? Свести их и соединить в одно русло — вот единственное, что может осуществить религия на пути, которым мы идем; это было бы событием, из лона которого она вскоре вышла бы в новой и более прекрасной форме навстречу лучшему будущему.

Смотрите же: хотите ли вы того или нет, но цель ваших высших сегодняшних усилий есть вместе с тем возрождение религии. Именно ваши старания должны осуществить это событие, и я приветствую в вас спасителей и пестунов религии, хотя и непроизвольных. Не покидайте вашего поста и вашего дела, пока вы не вскрыете последней глубины познания, не раскроете с жреческим смирением святилища истинной науки, где все вступающие, и в том числе и дети религии, найдут возмещение всему, чего нас лишало полузнание и высокомерное самодовольство. Философия, возвышая человека до сознания его взаимодействия с миром, научая его видеть в себе не только нечто обособленное и единичное, но и живого соучастника целого, не потерпит далее, чтобы перед ее глазами погибал в нищете и убожестве, не достигнув своей цели, тот, кто упорно направляет свой духовный взор на самого себя, ища в себе вселенную. Рухнула боязливая преграда, все вне человека есть лишь иное в нем, все есть отражение его духа, как и его дух есть отпечаток всего; он смеет искать себя в этом отражении, не теряя себя и не выходя из себя, он никогда не может исчерпать созерцания самого себя, ибо все лежит в нем. Нравственное учение в своей обуздывающей небесной красоте, далекое от ревности и деспотического самомнения, само подаст ему при входе небесную лиру и магическое зеркало, чтобы он мог узреть строгое и тихое развитие духа в бесчисленных формах, всегда одинаковое во всей бесконечной области человечества, и сопровождать его божественными звуками. Кто озирается вокруг себя, ища вселенную, того естествознание смело ставит в средоточие природы и не допускает, чтобы он бесплодно рассеивался и останавливался на мелких чертах. Он может тогда проследить игру ее сил до самой таинственной ее области, начиная с

неприступных хранилищ подвижной материи и кончая художественной мастерской органической жизни; он измеряет ее могущество от границ рождающего мира пространства до средоточия своего собственного я, и всюду находит себя в вечной борьбе с нею и в неразрывном соединении, всюду видит в себе ее внутренний центр и ее внешнюю границу. Видимость рассеялась, и сущность достигнута: его взор прочен, и его горизонты ясны; всюду узнает он одно и то же под всеми одежаниями и успокаивается только в бесконечном. Я уже вижу, как некоторые исключительные личности, посвященные в эти таинства, возвращаются из святилища, и уже очищаются и украшаются, чтобы выступить в жреческих одеждах. И пусть одна из богинь еще медлит своим благотворным явлением; время дает нам великое и обильное возмещение и этого. Ибо величайшее художественное произведение есть то, материалом которого служит само человечество, и которое непосредственно творит Божество; и это произведение многие уже скоро начнут понимать. Ведь Божество творит и теперь со смелым и могучим мастерством, и вы будете неокорами, когда новые творения будут установлены в храме времени. Вложите силу и дух в истолкование художника, объясняйте из прежних его созданий позднейшие, и из последних первые. Мы должны объять прошедшее, настоящее и будущее, созерцать бесконечную галерею возвышенных произведений искусства, умноженных тысячью блестящих зеркал. История, которой подвластны миры, должна с благодарностью обильно вознаградить религию, как свою первую воспитательницу, пробудить истинное и святое поклонение вечной силе и мудрости. Смотрите, как божественный росток созревает среди ваших насаждений без вашего содействия, свидетельствуя о благосклонности богов и непреходящем значении вашей заслуги. Не стесняйте его роста и не выпалывайте его: он есть ваше украшение и спасительный талисман.

## **ЧЕТВЕРТАЯ РЕЧЬ**

### **Об общественном начале в религии или о церкви и священстве**

Те из вас, которые привыкли рассматривать религию лишь как душевную болезнь, обыкновенно полагают также, что она есть зло, если и не устранимое, то все же легче терпимое, пока она встречается там и сям, у отдельных людей; но что общая опасность чрезвычайно повышается, и мы рискуем всем, когда среди многих, страждущих той же болезнью, устанавливается слишком тесное общение. В первом случае можно целесообразным лечением, как бы посредством гигиенических мер, противодействующих воспалению, и с помощью здоровой духовной атмосферы ослабить пароксизмы и если не сполна победить, то сделать безвредным своеобразное болезнетворное вещество; во втором же случае нельзя надеяться на иное спасение, кроме того, которое может произойти из благодетельного внутреннего движения природы. Ибо болезнь сопровождается самыми опасными симптомами и становится гораздо более

опустошительной, когда слишком тесная близость многих зараженных возбуждает и обостряет ее у каждого отдельного человека; тогда даже немногие вскоре отравят общую жизненную атмосферу и заразят и самые здоровые тела; когда все каналы, по которым должен протекать процесс жизни, разрушаются, когда все соки разлагаются и отравляются одним и тем же лихорадочным безумием, то безвозвратно погибает здоровая духовная жизнь и деятельность целых поколений и народов. Поэтому ваше отвращение к церкви, ко всякому учреждению, направленному на сообщение религии, выступает всегда еще сильнее, чем отвращение к самой религии; поэтому священники, как опоры и подлинно деятельные члены таких учреждений, для вас ненавистны более всех людей. Но даже те из вас, которые имеют более смягченное мнение о религии и считают ее скорее странностью, чем душевным расстройством, скорее ничтожным, чем опасным явлением, судят совершенно так же дурно о всех ее общественных организациях. Рабское пожертвование всем своеобразным и свободным, бездушный механизм и пустые обряды, — таковы, по их мнению, неизбежные последствия всякой такой организации, таково искусное дело людей, которые с непостижимым успехом усматривают великую заслугу в том, что либо вообще не имеет значения, либо же по меньшей мере могло бы столь же хорошо быть выполнено всяким другим. Я бы весьма несовершенно открыл вам свою душу в отношении нашей темы, которая мне так важна, если бы я не постарался поставить вас на более правильную точку зрения и в этом вопросе. Сколько ложных стремлений и печальных судеб человечества вы вменяете в вину религиозным союзам, — это мне не нужно повторять, это ясно из тысячи суждений самых авторитетных лиц среди вас; и я не хочу также в отдельности опровергать эти обвинения. Напротив, мы должны подвергнуть новому рассмотрению все понятие церкви, воссоздать это понятие церкви, исходя из центрального пункта нашей темы, не заботясь о том, в какой мере оно доселе было осуществлено, и что о нем свидетельствует опыт.

Раз религия дана, она необходимо должна быть общительной; это вытекает не только из природы человека, но и преимущественно из ее собственной природы. Вы должны признать, что когда человек хочет замкнуть в себе то, что он в себе создал и выработал, в этом есть что-то болезненное и в высшей степени противоестественное. Находясь в неизбежном общении и взаимозависимости не только в области действия, но и в своем духовном бытии с остальными существами своего рода, он должен проявлять и сообщать все, что есть в нем; и чем сильнее что-либо его возбуждает, чем глубже проникает его существо, тем могущественнее действует и этот инстинкт общения, — даже если рассматривать его лишь с той точки зрения, что каждый человек стремится созерцать вне себя, в других людях, то, что его влечет, чтобы подтвердить самому себе, что все, встречающееся ему, имеет общечеловеческий характер. Вы видите, здесь нет и речи о стремлении сделать других подобными себе, или о вере в неизбежность для всех того, что

есть в одном; здесь речь идет лишь о том, чтобы осознать и выразить истинное отношение нашей индивидуальной жизни к общей природе человека. Но настоящим предметом этого стремления к общению является бесспорно то, в чем человек первоначально чувствует себя страдательным, — его восприятия и чувства; его влечет узнать, не созданы ли они в нем какой-либо чуждой и недостойной силой. Поэтому мы видим, что человек с детства занят сообщением именно своих восприятий и чувств; он охотнее оставляет в покое свои понятия, происхождение которых и без того не может возбуждать в нем сомнения, и еще легче он решается воздержаться от высказывания своих суждений; но что он воспринимает в ощущении, что возбуждает его чувства, этому он ищет свидетелей, в этом он хочет иметь соучастников. Как может он сохранить для себя именно самые широкие и универсальные воздействия вселенной, которые представляются ему чем-то величайшим и могущественнейшим? Как может он хотеть замкнуть в себе именно то, что сильнее всего влечет его выйти за пределы его личности, и на чем он яснее всего сознает невозможность познать себя только из себя самого? Напротив, когда ему уяснилось какое-либо религиозное воззрение или его душу проникает благочестивое чувство, в нем прежде всего возникает стремление указать тот же предмет и другим и по возможности перенести на них звучание струн своей души.

Если, таким образом, благочестивый человек необходимо говорит, вынуждаемый к тому своей природой, то та же природа доставляет ему слушателей. Ни с каким элементом жизни у человека не связано такое живое чувство полнейшей неспособности когда-либо всецело исчерпать его своими одиночными силами, как с религией. Как только в нем открывается восприимчивость к религии, так он тотчас же чувствует бесконечность своего объекта и свою собственную ограниченность; он сознает, что объемлет лишь малую часть религии; и чего он не может непосредственно достигнуть, то он хочет по возможности осознать и усвоить по крайней мере через других людей, которые сами овладели этим. Поэтому он стремится ко всякому проявлению религии и, ища себе дополнения, прислушивается ко всякому звуку, в котором он узнает ее выражение. Так организуется взаимное общение: говорить и внимать чужим речам одинаково необходимо каждому. Но религиозного общения нельзя искать в книгах, наподобие общения, касающегося понятий и познаний.<sup>1</sup> Слишком много теряется из чистого впечатления первичного творчества в этой среде, которая, наподобие темных веществ, впитывающих в себя большую часть световых лучей, поглощает из религиозного возбуждения души все, что не вмещается в несовершенные знаки, из которых оно снова должно произойти. В религиозном общении через письменность все требовало бы двойного и тройного отображения, так как первоначальное высказывание должно было бы в свою очередь быть передано; и все же непосредственное действие религии в ее великом единстве на целого человека могло бы быть лишь несовершенно отображено в силу многократной рефлексии; лишь когда религия изгнана из общества



живых, она должна скрыть свою многообразную жизнь в мертвой букве. Это общение с глубочайшим внутренним существом человека не может также осуществляться в обычном разговоре. Многие, полные благих намерений в отношении религии, упрекали наше время и наш уклад в том, что в товарищеской беседе и в дружеском общении теперь так часто говорят о всех других важных предметах, только не о Боге и божественных вещах. Я хотел бы защитить нас в этом отношении и отметить, что, по крайней мере, в этом выражается не презрение и не равнодушие, а счастливый и вполне правильный инстинкт. Где живут радость и смех, где сама серьезность должна податливо сочетаться с шуткой и остротой, там нет места для того, что всегда должно быть окружено священным трепетом и благоговением. Религиозными воззрениями, благочестивыми чувствами и серьезными размышлениями — о них нельзя обмениваться в случайных мелких замечаниях, которые уместны в темах легкой беседы; и где речь идет о священных предметах, там было бы скорее кощунством, чем ловкостью, иметь на каждый вопрос быстрый готовый ответ, а на каждое обращение — готовый отклик.<sup>2</sup> Поэтому религиозный человек отходит от этих, еще слишком широких для него кругов к более интимным беседам дружбы и диалогам любви, где взор и выражение лица говорят яснее слов, и где понятно и святое молчание. В обычной же для товарищеских бесед манере легко и быстро обмениваться меткими суждениями нельзя обсуждать божественных вещей: религиозная беседа должна вестись в более высоком стиле, и иной род общества, ей специально посвященный, должен отсюда возникнуть.

На высшее, чего может коснуться язык, надлежит употребить всю полноту и роскошь человеческой речи, не потому, чтобы существовало украшение, без которого не могла бы обойтись религия, а потому, что со стороны ее глашатаев было бы нечестиво и легкомысленно, если бы они не старались посвятить ей и собрать для нее все прекрасное, чем они владеют, чтобы таким образом, быть может, с надлежащей силой и достоинством выразить религию. Поэтому вне поэзии невозможно выразить и сообщить религию иначе как риторически, со всей силой и искусством языка,<sup>3</sup> и охотно пользуясь услугами всех искусств, которые могут содействовать беглой и подвижной речи. Поэтому уста того, чье сердце полно религии, открываются лишь перед собранием, где может многообразно действовать слово, выступающее в таком обильном вооружении. Я хотел бы нарисовать вам картину богатой и роскошной жизни в этом граде Божиим, когда сходятся его обитатели, где каждый полон собственной силой, которая хочет излиться наружу, и вместе с тем каждый исполнен священной жажды все воспринять и усвоить, что могли бы дать ему другие. Когда один из них выступает перед остальными, то не должность и не уговор управомочивает его на это, и не гордость или самомнение внушает ему это дерзновение, а лишь свободное движение духа, чувство сердечного единения каждого со всеми и совершенного равенства, совместное уничтожение всего земного порядка,

всякого различия между первым и последним/ Он выступает, чтобы выставить перед другими свою движимую Богом душу, как предмет участливого созерцания, чтобы подвести **их** к той области религии, которая ему родна, и привить **им** свои священные чувства; он высказывает божественное, и в святом молчании община внимает его вдохновенной речи. Открывает ли он тайное чудо или с пророческой уверенностью связывает будущее с настоящим, укрепляет ли он новыми примерами старые восприятия, или его пламенная фантазия открывает ему в возвышенных видениях новые части мира и иной порядок вещей, — испытанный дух общины всюду сопровождает его дух; и когда он возвращается к себе из этих странствий по царству Божию, сердце его и сердце каждого есть лишь общее вместилище одного и того же чувства. И если тоща ему громко или тихо возвещается согласие его воззрения с тем, что есть в них, то открываются и справляются священные мистерии, которые суть не только многозначительные эмблемы, но — если правильно всматриваться в них — и вполне естественные указания определенного сознания и определенных ощущений; это есть как бы высший хор, который на своем собственном возвышенном языке отвечает взывающему голосу. И это не только сравнение; нет, если такая речь есть музыка без пения и тона, то среди святых существует и музыка, которая становится речью без слов, определенной и понятнейшей выражением самого глубокого сознания. Муза гармонии, интимное отношение которой к религии, хотя и давно уже высказанное и изображенное, лишь немногими признано, издавна посвящала религии на своих алтарях прекраснейшие и совершеннейшие создания самых вдохновенных своих учеников. В священных гимнах и хорах, к которым лишь слабо и легко прикреплены слова поэтов, выявляется то, чего уже не может охватить определенная речь; и так поддерживают друг друга и сменяются звуки мыслей и чувств, пока все не насытится и не наполнится святостью и бесконечностью. Таково воздействие религиозных людей друг на друга, таково **их** естественное и вечное соединение. Не осуждайте **их** за то, что эта небесная связь — совершеннейшее создание общительной природы человека, — связь, которой 'они могут достигнуть, лишь познав ее высшее значение, — более дорога им, чем выше всего ценимый вами гражданский союз; последний ведь нигде еще не созрел до мужественной красоты и, по сравнению с первой, кажется скорее вынужденным, чем свободным, скорее преходящим, чем вечным.

Но где же во всем, что я высказал об общине благочестивых, та противоположность между священниками и мирянами, которую мы привыкли обозначать как источник столь многих зол? Вас ослепил ложный призрак: это есть совсем не различие между людьми, а лишь различие состояний и отправления. Всякий · есть священник, поскольку он привлекает других к полю, которым он особенно овладел и на котором он может показать свое мастерство; всякий есть мирянин, поскольку он следует указаниям и искусству другого в области религии, с которой он сам еще

недостаточно освоился. Не существует той тиранической аристократии, которую вы так злобно описываете; напротив, это общество есть народ священников,<sup>5</sup> совершенная республика, где каждый поочередно есть вождь и народ, каждый следует в другом той же силе, которую он ощущает и в себе, и с помощью которой он управляет другими. — Как же может укорениться здесь дух раздора и раскола, который вы считаете неизбежным следствием всех религиозных союзов? Я, вижу только, что все едино, и что все различия, которые действительно существуют в самой религии, мягко сливаются между собой именно в силу товарищеского общения благочестивых. Я сам обратил ваше внимание на различные степени религиозности, я наметил два различных умонастроения, и различные направления, в которых душа отыскивает себе свой высший объект. Думаете ли вы, что отсюда необходимо должны возникнуть секты, и что это должно препятствовать свободной общительности в религии? С точки зрения теории, конечно, верно, что все, несопадающее между собой и расколотое на различные подразделения, тем самым стоит в отношении противоположности и противоречия: но вспомните, что жизнь строится совсем иначе, что в ней противоположности взаимно притягиваются, и что поэтому то, что мы разделяем в теории, сливается в жизни. Правда, те, кто более всего сходны в одном из этих пунктов, будут и сильнее всего притягивать друг друга, но в силу этого они не могут составить обособленного целого: ибо степени этого сродства незаметно убывают и прибывают, и при обилии таких переходов даже между отдаленнейшими элементами нет абсолютного отталкивания и совершенного обособления.<sup>6</sup> Возьмите какую угодно из таких масс, которые поодиночке органически развиваются под действием самобытной силы; если вы не изолируете их насильственно какой-либо механической операцией, то ни одна из них не будет представлять чего-либо всецело однородного и обособленного, а крайние части каждой будут вместе с тем связаны с частями, которые обнаруживают иные свойства и собственно принадлежат уже иной массе. Если ближе сойдутся верующие, которые стоят на одинаково низкой ступени, то все же в союз будут восприняты и некоторые иные лица, уже смутно сознающие высшее. Принадлежащие к более высокому обществу будут понимать последних лучше, чем они сами себя понимают, и между ними и этим обществом установится пункт единства, который лишь будет скрыт от них самих. Если соединяются люди, в которых преобладает одно умонастроение, то между ними все же всегда найдутся и такие, которые по крайней мере понимают оба умонастроения, и именно они как бы принадлежат к обоим, составят связующее звено между двумя отдельными в остальных отношениях сферами. Так, например, тот, кому более свойственно вступать в религиозное отношение к природе, по существу отнюдь не противоположен в религиозном смысле тому, кто находит следы Божества скорее в истории; и всегда найдутся люди, способные с одинаковой легкостью идти обоими путями; и как бы *-вы* ни пожелали делить великую область религии, вы всегда придете к тому же. Если неограниченная универсальность сознания есть первое и исконное

условие религии, а потому, естественно, и самый прекрасный и зрелый ее плод, — то вы видите, что иначе это не может быть, и что чем более человек прогрессирует в религии, чем более очищается его благочестие, тем более весь религиозный мир должен представляться ему неделимым целым. Влечение к обособлению, поскольку оно направлено на строжайшее разделение, есть свидетельство несовершенства; высшие и наиболее развитые всегда видят лишь единый всеобщий союз, и именно потому, что они его видят, они и основывают его. Каждый, соприкасаясь лишь с ближайшим, но окруженный такими ближайшими элементами со всех сторон и во всех направлениях, в действительности уже неразрывно связан с целым. Мистики и физики в религии, те, кому Божество является личным, и те, кому оно не является таковым, люди, возвысившиеся до систематического уяснения вселенной, и люди, созерцающие ее лишь в стихиях или в темном хаосе, — все они должны все же быть в единении; единая связь объемлет их всех, и лишь насильственно и произвольно они могут быть всецело разделены; каждое особое соединение есть текучая составная часть целого, которая лишена точных очертаний и расплывается в целом; и по крайней мере те, кто так чувствуют себя в целом, всегда будут лучшими. — Откуда же, как не из одного лишь непонимания, проистекает ославленное дикое стремление обращать людей в отдельные определенные формы религии, и ужасный лозунг: «вне нас нет спасения»? <sup>7</sup> Как я изобразил вам общество благочестивых, и как оно должно быть по своей природе, оно направлено лишь на общение, и существует лишь между теми, кто уже имеет религию, — какова бы она ни была; может ли быть его задачей переделывать тех, кто уже исповедует определенную религию, или привлекать и посвящать в нее тех, у кого еще нет ее? Религия этого общества, как такового, есть лишь совокупная религия всех верующих, как каждый созерцает ее в других, бесконечная религия, которую никто в отдельности не может всецело охватить, ибо она не существует как нечто отдельное, и до которой, следовательно, никого нельзя заставить дойти и возвыситься. И если кто, таким образом, избрал для себя какую-либо ее часть, — разве не было бы бессмысленно со стороны общества желать вырвать у него то, что соответствует его природе,, так как ведь целое должно заключать в себе и эту часть, и, значит, кто-либо должен обладать ею? И зачем общество могло бы хотеть развивать тех, кому вообще еще чужда религия? Ведь оно само не может сообщить им своего достояния — бесконечного целого, а сообщение чего-либо частного в нем может исходить не из целого, а лишь из единичного. Или оно должно сообщить общее, неопределенное, которое, быть может, получилось бы, если было бы найдено то, что имеется у всех членов общества? Но вы ведь знаете, что нигде ничто не дано действительно и не может быть сообщено в форме общего и неопределенного, и что все дано лишь как нечто единичное и в совершенно определенной форме; иначе оно не было бы чем-то, а было бы ничто. Итак, в таком начинании общество было бы лишено всякого мерил и всякого правила. Да и как вообще оно пришло бы к мысли выйти за пределы самого себя, когда потребность, из

которой оно возникло, совсем не намечает ничего подобного? Отдельные личности сближаются между собой и становятся целым; целое же, как нечто самодовлеющее, покоится в себе и не стремится вовне. Итак, если что-либо подобное совершается в религии, то это всегда есть частное дело отдельного лица самого по себе и, так сказать, скорее поскольку оно стоит вне церкви, чем поскольку оно находится в ней. Вынужденный перенестись в низшие области жизни и удалиться из круга религиозного единения, где общее бытие и жизнь в Боге доставляли ему самое возвышенное наслаждение и где дух его, проникнутый святыми чувствами, витал на высшей вершине жизни, человек находит себе утешение, связывая все, чем он должен теперь заниматься, с тем, что всегда остается высшим для его души. Когда он нисходит оттуда в среду, в которой люди ограничиваются каким-либо земным стремлением и делом, ему кажется—и. это вполне простительно, — что из общества богов и муз он перенесен в племя грубых варваров. Он чувствует себя уполномоченным религии среди неверующих, просветителем дикарей; он мечтает, как Орфей или Амфион, привлечь иных небесными звуками, ж выступает среди них в образе жреца, ясно и светло выражая всем своим поведением и существом свое высшее сознание. И если восприятие святого и божественного пробуждает в них что-либо сходное, как любовно взращивает он эти первые чаяния религии в новой душе, — прекрасный залог ее созревания даже в чужом и суровом климате! С каким торжеством он возносит с собой новообращенного к возвышенному собранию! Эта заботливость о распространении религии есть лишь тоска чужестранца по своей родине, потребность унести с собой свою родину и всюду находить ее законы и нравы, как свою высшую и лучшую жизнь; но сама отчизна, блаженная и довлеющая себе, не знает и этого стремления.

После всего этого вы, быть может, скажете, что я, по-видимому, вполне солидарен с вами; я показал, чем должна быть церковь по своей природе; и отрицая за ней все качества, которые ей теперь присущи, я осудил ее внешнюю форму столь же строго, как и вы сами. Но я уверяю вас, что я говорил не о том, что должно быть, а о том, что есть — если только вы не захотите отрицать, что действительно существует то, что лишь в силу пространственной ограниченности не может уясниться и более грубому взору. Истинная церковь действительно всегда была и еще есть такова; и если вы ее не видите, та вина за это собственно лежит на вас и сводится к довольно явственному недоразумению. Я прошу вас, примите во внимание, что — пользуясь старым, но весьма многозначительным выражением—я говорил не о воинствующей, а о торжествующей церкви, не о церкви, еще борющейся со всеми препятствиями, которые ставит на ее пути эпоха и состояние человечества, а о той церкви, которая уже преодолела все противостоявшее ей и которая уже достигла своего завершения. Я изобразил вам общество людей, которые уже осознали свое благочестие, и в которых религиозное понимание жизни возобладало над всеми иными; и так как я, надеюсь, убедил вас, что это должны быть люди с некоторым развитием и с

большой силой, и что их всегда может быть лишь немного, то вы, конечно, не должны искать их общества там, где многие сотни собраны в больших храмах, и где их пение уже издаликает потрясает ваш слух; вы должны знать, что люди этого рода не находятся в таком близком соседстве между собой. Быть может, нечто подобное можно найти слитым в определенном месте лишь в отдельных обособленных и как бы исключенных из большой церкви общинах; во всяком случае несомненно, что все истинно религиозные люди, сколько бы их ни было, не только имеют в себе веру в такое единение, или, вернее, в живое чувство этого единения, но собственно в нем и живут, и что все они умели надлежащим образом оценивать то, что обычно зовется церковью, т.е. ставили эту церковь не слишком высоко.

А именно, этот большой союз, к которому собственно относятся ваши обвинения, далеко не есть общество религиозных людей, а есть скорее союз людей, которые лишь ищут религии; а потому мне представляется вполне естественным, что он почти во всех отношениях противоположен описанному обществу.<sup>8</sup> К сожалению, чтобы сделать это вам столь же ясным, сколь это ясно мне, я должен погрузиться во множество мирских и земных дел, и пробираться сквозь лабиринт самых странных заблуждений; не без отвращения делаю я это, но я хочу добиться вашего согласия со мной. Быть может, уже совершенно различная форма религиозного общения в том и другом союзе, если я обращаю на нее ваше внимание, убедит вас по существу в моем мнении. Я надеюсь, что сказанное выше заставило вас согласиться со мной, что в истинном религиозном союзе всякое общение взаимно; что принцип, который влечет нас к выявлению присущего нам, внутренне родственен принципу, который склоняет нас воспринять чужое, и что, таким образом, действие и противодействие неразрывно связаны между собой. Здесь, напротив, вы тотчас же находите совершенно иное соотношение: все хотят получать, и есть лишь один, кто должен давать; вполне пассивно они лишь отдаются воздействию через все свои органы, и в лучшем случае внутренне помогают своему воспринимать, насколько они властны над собой, даже не помышляя об обратном действии на других.<sup>9</sup> Разве это не достаточно ясно показывает, что и принцип их общения должен быть совсем иным? У них не может быть и речи о том, что они хотят лишь восполнить свою религию через посредство других; ибо если бы действительно им была присуща какая-либо религия, то она, как это вытекает из ее природы, должна была бы засвидетельствовать себя некоторым действием на других. Они же не оказывают никакого обратного действия, потому что они неспособны на него, и они не могут быть способны на него, потому что им не присуща никакая религия. Если позволительно заимствовать образ из науки, терминами которой я охотнее всего пользуюсь в религиозных вопросах, то я сказал бы: они отрицательно религиозны, и потому густую толпу теснятся вокруг немногих точек, где они чувствуют положительный принцип религии, и хотят соединиться с последним. Но если они восприняли в себя этот положительный принцип, то им опять недостает способности удержать

воспринятое; возбуждение, которое как бы может лишь прикоснуться к их поверхности, вскоре исчезает, и они пребывают тогда в некотором чувстве пустоты, пока не пробудится тоска, и пока они постепенно не наполнятся снова отрицательным началом. Таковы, в немногих словах, история их религиозной жизни и характер их инстинкта общения, который вплетен в эту жизнь. Не религия, а лишь некоторое понимание ее, и мучительное, жалостно-тщетное стремление достигнуть ее самой — вот все, что можно признать даже за лучшими из них, за теми, кто вкладывает в это дело ум и усердие. В течение их частной и гражданской жизни, как и на более широкой арене, в отношении которой они являются зрителями, им, конечно, встречается многое, что должно возбуждать и того, в ком живет хоть малая частица религиозного чувства; но эти возбуждения остаются лишь темным чаянием, подобно слабому оттиску на слишком мягкой массе, очертания которого тотчас же расплываются и становятся неопределенными; вскоре все смывается волнами суетной жизни и отлагается в самом заброшенном уголке памяти, да и там скоро совсем заваливается мирскими делами. Однако из частого повторения таких мелких впечатлений под конец все же возникает потребность; темное явление в сознании, постоянно возвращаясь, требует наконец уяснения. Конечно, следовало бы думать, что лучшим средством к этому было бы удосужиться спокойно и пристально созерцать то, что действует на них; но это действующее начало не есть ведь что-либо отдельное, что отвлекало бы их от всего остального; оно есть человеческая вселенная, а в ней в числе других содержатся и все отдельные отношения, о которых они думают в остальное время своей жизни и с которыми они привыкли иметь дело. На них произвольно, по старой привычке, направилось бы их сознание, и возвышенное и бесконечное снова раздробилось бы перед их взором на единичные и ничтожные вещи. Это они чувствуют, и потому не доверяют самим себе, а ищут чужой помощи; в зеркале чужого выражения религии они хотят созерцать то, что быстро растеклось бы в их собственном восприятии. На этом пути они стремятся достигнуть более определенного и высокого сознания; но в конце концов они перестают понимать все это стремление. Отныне, если слова религиозного человека пробуждают в них все эти воспоминания, если они восприняли общее впечатление от них и уходят в более сильном возбуждении, — то они полагают, что их потребность удовлетворена, что они достаточно подчинились требованиям своей природы, и что теперь они уже имеют в себе силу и сущность всех этих чувств, так как эти чувства—как и прежде, хотя и с несколько большей силой — пришли к ним извне, как беглое явление. Навеки погруженные в этот обман, потому что они не имеют ни чутья, ни знания истинной и живой религии, они тысячекратно повторяют ту же попытку, в тщетной надежде выбраться наконец на правый путь, и все же остаются, чем были.<sup>10</sup> Если бы они пошли дальше, если бы на этом пути в них могла вселиться самодеятельная и живая религия, то они вскоре уже не захотели бы оставаться среди тех, чья односторонность и пассивность отныне уже не соответствовала бы их состоянию и была бы для них

невыносима; они, по крайней мере, наряду со своей средой искали бы иного круга, где религиозность может высказываться другим жизненно и живительно, и тогда они скоро пожелали бы жить только в нем и посвятили бы исключительно ему свою любовь. И действительно, церковь, как она существует у нас, вызывает во всех людях тем большее равнодушие, чем более они становятся религиозными, и самые религиозные люди гордо и холодно отделяются от нее. Ничего не может быть яснее этого: человек находится в этом союзе лишь потому, что хочет стать религиозным, и остается в нем, лишь поскольку еще не стал религиозным.<sup>11</sup> — И то же самое вытекает из характера отношения к религии самих членов церкви. Ведь, допуская даже, что среди истинно религиозных людей мыслимо одностороннее общение и состояние добровольной пассивности и самоотчуждения, все же в их совместном делании никоим образом не могло бы господствовать то сплошное извращение и неведение, которое встречается там. Ведь если бы члены церкви понимали религию, то им было бы важнее всего, чтобы тот, кого они избрали себе органом религии, сообщал им самые ясные и своеобразные свои воззрения и чувства; но именно этого они не любят, а, напротив, ставят со всех сторон границы проявлениям его своеобразия и требуют, чтобы он разъяснял им преимущественно понятия, мнения, догматы, словом, чтобы вместо своеобразных элементов религии он освещал общераспространенные размышления о ней. Если бы они понимали религию, то они из собственного чувства знали бы, что те символические действия, о которых я сказал, что они существенны для истинно религиозного общения, по своей природе могут быть лишь знаками тождества результата, получившегося во всех сознаниях, намеками возврата от личной жизненности к общему средоточию, — что в них выражается лишь полногласный заключительный хор, после всего, что чисто и искусно сообщили отдельные лица; но они ничего не знают об этом, и эти действия суть для них нечто самодовлеющее, обязательно совершаемое в определенные сроки.<sup>12</sup> Что следует из этого, как не то, что их общее делание совершенно лишено того характера высокого и свободного одушевления, который безусловно присущ религии, что оно есть нечто ученическое и механическое? А на что указывает в свою очередь последнее, как не на то, что они хотели бы извне овладеть религией? К этому они стремятся всеми способами. Поэтому они так прилепляются к мертвым понятиям, к результатам размышления о религии, и жадно впитывают их в надежде, что эти понятия пройдут в их душе процесс своего возникновения в обратном порядке и снова превратятся в живые возбуждения и чувства, из которых они первоначально произошли. Поэтому они употребляют символические действия, которые по своей природе суть последнее в религиозном общении, как возбуждающее средство к тому, что собственно должно было бы им предшествовать.

Если я говорил пренебрежительно, как о чем-то пошлом и низком, об этом более широком и распространенном союзе, по сравнению с тем лучшим



союзом, который, по моей идее, только и есть истинная церковь, — то к этому, конечно, меня вынуждает природа вещей, и я не мог скрывать своего мнения об этом; но я торжественно протестую против предположения, которое могло бы возникнуть в вас, будто я сочувствую приобретающим все большую популярность желанием совершенно разрушить это учреждение. Нет, если истинная церковь будет всегда открыта лишь для тех, кто уже внутренне созрел для религиозности, то ведь должно существовать какое-либо связующее звено между ними и теми, кто еще ищет религиозности; и именно эту роль и должно играть это учреждение, которое поэтому также должно неизбежно брать своих руководителей и священников из истинной церкви.<sup>13</sup> Или религия должна быть единственным человеческим делом, в котором не было бы учреждений, удовлетворяющих интересы учеников и новичков? Но, конечно, весь строй этого учреждения должен был бы быть иным, и его отношение к истинной церкви должно было бы иметь иной характер. Мне недозволительно обойти молчанием этот вопрос. Эти желания и надежды слишком тесно связаны с природой религиозного общения, и лучшее положение вещей, которое мне предносится, настолько содействовало бы ее возвеличению, что я не вправе скрыть моих чаяний. Резкое различие, которое мы установили между обоими этими видами религиозного общения, дает нам по крайней мере ту выгоду, что мы можем весьма спокойно и согласно обсуждать между собой все злоупотребления, господствующие в церковном обществе, а также их причины. Ведь вы должны признать, что, так как религия сама по себе не создала такой церкви и не воплощается в ней, то с нее предварительно должна быть снята всякая вина в том зле, к которому, по вашему мнению, привела эта церковь, и в том дурном состоянии, в котором, быть может, находится последняя; эта вина должна быть снята с нее совершенно, так что ее нельзя даже упрекнуть в том, что она может выродиться в нечто подобное — ведь не может же она вырождаться там, где ее еще совсем не было. Я признаю, что в этом обществе существует и неизбежно должен существовать губительный дух сектантства. Где религиозные мнения употребляются как бы в виде метода, чтобы достигнуть религии, там они, конечно, должны быть сведены в определенное целое, ибо метод должен быть безусловно определенным и законченным<sup>14</sup>; и где они принимаются, как нечто данное извне, в силу авторитета, там всякий, кто употребляет иные выражения, должен рассматриваться как нарушитель спокойного и верного развития, ибо самим своим бытием и связанными с ним притязаниями он ослабляет этот авторитет. Я признаю даже, что этот сектантский дух был гораздо мягче и мирнее в древнем многобожии, в котором религия, как целое, еще не была объединена, и потому легче поддавалась всякому разделению и обособлению, и что этот дух организовался и обнаружился во всей своей силе лишь в эпоху систематической религии — в других отношениях более высокую; ибо где каждый мнит обладать целой системой и ее средоточием, там он должен приписывать значительно большую ценность и каждой детали. Я признаю то и другое, но вы согласитесь со мной, что из первого вообще нельзя делать

упрека религии, и что последнее отнюдь не может доказать, что понимание вселенной, как системы, не есть высшая ступень религии. Я признаю, что в этом обществе более заботятся о понимании или веровании и о совершении обрядов, чем содействуют свободному развитию религиозных восприятий и чувств, и что поэтому, как бы просвещенно ни было его учение, оно всегда живет в соседстве с суеверием и придерживается какой-либо мифологии; но вы согласитесь, что именно поэтому вся его сущность далека от истинной религии. Я признаю, что этот союз почти не может существовать без резкого разграничения между священниками и мирянами как двумя различными религиозными сословиями; ведь если бы кто-либо из них мог стать священником, т. е. своеобразно и полно развить свое чувство и научиться легко выражать его в какой-либо области, тот уже отнюдь не мог бы оставаться мирянином и продолжать вести себя так, как будто ему недостает всего этого; напротив, он имел бы право и обязанность либо покинуть это общество и отыскать истинную церковь, либо же, по полномочию последней, вернуться в общество, но уже в качестве его главы и священника; но остается бесспорным, что это разделение на два сословия со всем, что в нем есть недостойного, и со всеми дурными последствиями, которые могут быть ему присущи, проистекает не из религии, а лишь из недостатка религиозности в массах.

Но именно здесь я слышу с вашей стороны новое возражение, которое, по-видимому, вновь обрушивает все эти упреки на религию. Вы напомните мне, что я сам сказал, что это большое церковное общество, это учреждение для учеников в религии, по природе вещей должно брать себе руководителей, священников, лишь из членов истинной церкви, так как оно само лишено истинного принципа религиозности. Если это так, — скажете вы — то как могут эти совершенные представители религии там, где они должны властвовать, где все внимает их голосу и где они сами должны были бы внимать лишь голосу религии, как могут они не только терпеть, но и сами создавать столь многое, что всецело чуждо духу религии? И кому же обязана церковь всем своим устройством, как не священникам? Или, если это не так, как должно было бы быть, если они, быть может, дали отнять у себя управление этим младшим, подчиненным обществом, то где же тогда высший дух, который мы по праву можем искать у них? Почему они так плохо управляли столь важной областью? Почему они дозволили низменным страстям сделать бичом человечества то, что в руках религии было бы его благословением? А ведь для каждого из них, как ты сам признаешь, руководство теми, кто нуждается в их помощи, должно быть и самым радостным, и самым святым делом! Конечно, дело, к сожалению, обстоит не так, как оно должно быть, по моему утверждению; кто решился бы сказать, что все, или большая часть, или — раз уже такая иерархия установилась — хотя бы лишь первые и самые славные из тех, кто издавна управляли великим церковным обществом, были совершенными представителями религии, или хотя бы членами истинной церкви? Но я прошу вас, не примите

того, что я должен сказать в их оправдание, за коварную отплату. А именно, когда вы возражаете против религии, вы обыкновенно делаете это во имя философии; когда вы делаете упреки церкви, вы говорите от имени государства; вы защищаете политических мастеров всех времен тем, что приписываете вмешательству церкви обилие несовершенного и неудачного в их созданиях. Если же я, говорящий от имени религиозных людей и за них, припишу теперь вину за плохую удачу их дела государству и мастерам политического искусства, — не заподозрите ли вы меня в упомянутом коварстве? Тем не менее, я надеюсь, вы не откажетесь признать мою правоту, если выслушаете мое объяснение подлинного источника всех этих зол.

Каждое новое учение и откровение, каждый новый образ вселенной, который действует на чувство с новой, доселе еще не затронутой стороны, привлекает к религии некоторые души, для которых именно это откровение есть единственный путь, способный ввести **их** в высший, еще неведомый мир. Естественно, что для большинства из них именно это отношение остается средоточием религии; они образуют вокруг своего учителя собственную школу, самодовлеющую особую часть истинной и всеобщей церкви, которая лишь медленно и тихо созревает до соединения в духе с великим целым. Но еще ранее, чем последует это соединение, участники школы, когда новые чувства проникли и насытили их душу, испытывают бурную потребность вылить наружу то, что есть в них, чтобы внутреннее пламя не пожрало их. Поэтому каждый, где и как он может, возвещает новое спасение, которое ему открылось; от каждого предмета они находят переход к новооткрытой бесконечности, каждая речь превращается в изображение их особого религиозного воззрения, каждый совет, каждое желание, каждое дружеское слово становятся вдохновенным восхвалением того, в чем они видят единственный путь к божеству. Кто знает, как действует религия, тот признает естественным, что все они говорят; иначе они могли бы бояться, что камни заговорят раньше их. И кто знает, как действует новый энтузиазм, тот признает естественным, что это живое пламя могущественно распространяется, пожирает иных, согревает многих, и тысячам сообщает лишь ложную, поверхностную видимость внутреннего жара. Юношеское пламя новых святых признает и последних истинными братьями; что мешает — поспешно думают они, — чтобы и эти люди восприняли святой дух? Да и сами эти люди смотрят на себя так же, и с радостным торжеством позволяют ввести себя в лоно религиозного общества. Но когда проходит хмель первого воодушевления, когда сгорает раскаленная поверхность, то обнаруживается, что они не могут выдержать состояния, в котором находятся другие; тогда последние сострадательно склоняются к ним, и отказываются от своего собственного высшего и глубочайшего наслаждения, чтобы снова помочь им; и таким путем все приобретает указанную выше несовершенную форму. Так без внешних, причин, в силу порчи, общей всему человеческому, и согласно вечному порядку, по которому эта порча быстрее всего проникает именно в самую пламенную и интенсивную жизнь, случается то, что вокруг

каждой отдельной части истинной церкви, которая возникает изолированно где-либо в мире, развивается—не обособленно от нее, а. в ней и вместе с ней—ложная и выродившаяся церковь. Такова была судьба всех отдельных религий во все времена и среди всех народов. Но если бы все было спокойно предоставлено самому себе, то такое состояние никоим образом не могло бы долго продолжаться. Влейте в сосуд вещества различной тяжести и плотности и имеющие мало сродства между собой, перемешайте их как можно сильнее, так, чтобы все, по внешности, слилось в одно целое, — и вы увидите, что, как только вы дадите смеси спокойно отстояться, все вновь постепенно обособится, и лишь равное соединится с равным. Так случилось бы и здесь, ибо таков естественный ход вещей. Истинная церковь вновь тихо выделилась бы, чтобы наслаждаться высшим и более интимным общением, к которому неспособны другие; связь последних между собой была бы тоща почти разорвана, и в силу их природной тупости нужен был бы новый толчок извне, который определил бы их дальнейшую судьбу. Но члены истинной церкви не покинули бы их; кто, кроме них, имел бы хоть малейшее влечение принять участие в судьбе этих людей? Чем могло бы их состояние привлечь интересы других людей? Какую выгоду, какую славу можно было бы приобрести через них? Итак, члены истинной церкви могли бы без помехи вновь вступить в отправление своей священнической должности среди этих людей, в новой, более подходящей форме. Каждый собрал бы вокруг себя тех, кто понимали бы лучше всего именно его, на кого именно его манера действовала бы сильнее всего; и вместо огромного союза, о существовании которого вы теперь скорбите, возникло бы множество мелких и неоформленных обществ, в которых попеременно испытывалась бы религиозность людей, и пребывание в них было бы лишь тогда преходящим состоянием, — подготовительным для тех, в ком раскрывалось бы религиозное сознание, и решающим для тех, кто оказывались бы неспособными к каким бы то ни было религиозным чувствам.<sup>15</sup> Благо тем, кто будут призваны лишь, когда переворот в земных делах осуществит более медленным и искусственным путем этот золотой век религии, который не был достигнут на более простом пути природы! Милостивы будут к ним боги, и обильную жатву принесут их усилия, призванные помочь начинающим и проложить малолетним путь к храму вечности, — те усилия, которые нам, нынешним людям, дают столь скудные плоды среди неблагоприятных условий.<sup>16</sup>

Внемлите желанию, которое на первый взгляд, быть может, покажется нечестивым, но умолчать о котором я почти не могу себя заставить! О, если бы все главы государства, все виртуозы и мастера политики навсегда остались чужды даже отдаленнейшему чаянию религии! О, если бы никого из них не коснулась сила этого заразительного воодушевления! Ведь они никогда не умели различать своего самобытного внутреннего содержания от своей профессии и своего официального характера. А именно это стало для нас источником всей порчи. Почему должны были они приносить в собрание

святых мелкое тщеславие и странное самомнение, будто преимущества, которые они могут дать, важны во всех без различия отношениях? Почему должны были они унести с собой почитание служителей святыни в свои дворцы и судилища? Вы, быть может, правы в своем желании, чтобы никогда край священнического одеяния не прикасался к полу царских палат; но разрешите и нам желать, чтобы никогда пурпур не лобызал праха на алтаре; ведь если бы не случилось последнее, за ним не произошло бы и первое. Нужно было бы никогда не впускать властителя в храм, пока он не снимет с себя перед его вратами всех своих царских украшений и не отложит в сторону рога изобилия своих щедрот и почестей. Но они пользовались этим рогом изобилия здесь, как и повсюду, они мнили, что могут украсить простое величие небесного здания обрывками своего земного великолепия; и вместо того, чтобы выполнять священные обеты, они приносили, в виде жертвы высшему, свои мирские дары. Всюду, где властитель объявлял церковь общиной с особыми правами, исключительной величиной в гражданском мире, — а это всегда бывало, когда уже наступало это злосчастное состояние, когда общество верующих и общество жаждущих веры смешивались между собой неправильным способом, неизбежно ко вреду первого, — ибо до этого смешения религиозное общество никогда не было достаточно велико, чтобы обратить на себя внимание властителей, — всюду, повторяю, где властитель прибегал к этому опаснейшему и гибельнейшему покровительству, гибель этой церкви была уже почти непоправимо предрешена и начата. Подобно ужасной голове медузы Горгоны действует такая государственная хартия политической гегемонии на религиозное общество: все каменеет, как только она появляется. Все разнородное, что лишь на мгновение сцепилось, отныне неразрывно связано между собой; все случайное, что легко могло бы быть отброшено, отныне навсегда закреплено; одеяние срослось с телом в одно целое, и каждая неуместная складка как бы создана навеки. Более широкое и неподлинное общество теперь уже неотделимо от высшего и более узкого, хотя и должно было бы быть отделено; его уже нельзя ни разделить, ни распустить; оно уже не может изменить ни своей формы, ни символов своей веры; его убеждения, его обычаи, — все это осуждено пребывать в том состоянии, в котором оно находилось именно в этот момент. Но это еще не все: члены истинной церкви, которые, наряду с другими, входят в состав этого общества, отныне, можно сказать, насильственно исключены из участия в управлении им и лишены возможности делать для него даже то малое, что еще могло бы быть сделано. Ибо теперь приходится управлять такими делами, которыми они не могут и не хотят управлять; теперь нужно руководить земными вещами и заботиться о них, и хотя они знакомы с такими заботами по своим домашним и гражданским делам, но все же они не могут считать такого рода вещи задачами своего священнического сана. Это есть противоречие, которое не укладывается в их сознании и с которым они никогда не могут примириться; оно не согласуется с их высоким и чистым понятием о религии и религиозном общении. Ни в отношении к истинной церкви, к которой они принадлежат, ни в отношении к более широкому

обществу, которым они должны руководить, они не могут понять, что им делать с домами, землями и богатствами, которыми они могут обладать,<sup>17</sup> и члены истинной церкви смущаются и теряются в этом противоестественном состоянии. А если еще, сверх того, то же самое событие приманивает тех, кто в ином случае навсегда остался бы вне общества; если теперь становится интересом всех гордых, честолюбивых, своекорыстных и сварливых проникнуть в церковь, общение с которой при иных условиях доставляло бы им только глубочайшую скуку если эти люди начинают теперь лицемерно обнаруживать участие в святых вещах и знакомство с ними, чтобы добыть себе мирскую плату за это, — то как могут избежать поражения члены истинной церкви? Итак, кто же несет вину за то, что недостойные люди занимают место истинных святых, и что под их присмотром может проскользнуть и укрепиться в церкви все, что более всего противно духу религии? Кто иной, как не государство с его плохо рассчитанным великодушием? Но оно еще более непосредственным образом есть причина того, что порвалась связь между истинной церковью и внешним религиозным союзом. Ибо, оказав последнему это злосчастное благодеяние, оно сочло себя вправе рассчитывать на его деятельную благодарность и возложило на него три в высшей степени важных поручения по своим делам.<sup>18</sup> На церковь оно более или менее перенесло заботу и наблюдение над воспитанием; оно желает, чтобы под покровительством церкви и в форме религиозного общения народ обучался обязанностям, которые не могут быть закреплены в законе, и чтобы церковь пробуждала в нем истинно гражданский образ мыслей; и от силы религии и поучений церкви государство требует, чтобы они делали его граждан правдивыми в их высказываниях. И в награду за эти требуемые им услуги, оно лишает церковь ее свободы — как это имеет место почти во всех странах культурного мира, где существует государство и церковь; оно относится к церкви как к учреждению, которое установлено и изобретено им, — и мы должны согласиться, что почти все ее пороки и злоупотребления суть его изобретение — и оно прописывает себе одному способность решать, кто пригоден выступать в этом обществе, как образец и служитель религии. И вы все-таки хотите упрекать религию за то, что не все эти люди суть святые души? Но я еще не исчерпал своих обвинений; даже в самые глубокие мистерии религиозного общения государство привносит свой интерес и тем загрязняет их. Когда церковь с пророческим благоговением посвящает новорожденных Божеству и стремлению к высшему, то при этом государство хочет вместе с тем получить из ее рук список своих подданных; когда церковь дает свой первый братский поцелуй подрастающим, как людям, взор которых впервые проник в святилища религии, то для государства это должно быть и свидетельством первой ступени их гражданской самостоятельности;<sup>19</sup> когда она общими благочестивыми желаниями освящает слияние двух лиц, которые, будучи символами и орудиями творческой природы, вместе с тем посвящаются в носители высшей жизни, — то это должно быть также санкцией их гражданского союза; и даже когда человек исчез с арены этого мира,

государство не хочет верить этому, пока церковь не подтвердит, что она вернула бесконечности душу усопшего и ввергла его прах в святое лоно земли. Что государство, таким образом, всегда преклоняется перед религией и ее почитателями, когда оно принимает что-либо из рук бесконечности и снова отдает ей, — это обнаруживает в нем почитание религии и стремление сохранить в себе сознание своих собственных границ; но совершенно ясно, что и все это действует лишь губительно на религиозное общество. Отныне нет ничего в отправлениях церкви, что относилось бы к одной только религии, или в чем религия, по крайней мере, была бы главным делом. В святых речах и наставлениях, как и в таинственных и символических действиях, все полно правовых гражданских отношений,<sup>20</sup> все уклонилось от своего первоначального характера и существа. Поэтому есть много вождей церкви, которые уже ничего не понимают в религии, и все же в состоянии приобрести большие должностные заслуги в качестве служителей религии; и много есть членов церкви, которым даже не приходит в голову искать религии, и которые все же достаточно заинтересованы в том, чтобы остаться в церкви и принимать участие в ней.

Что общество, с которым могут случаться такие вещи, которое с суетным смирением принимает бесполезные ему благодеяния и с угоднической готовностью соглашается нести бремя, ведущее его к гибели, которое дает себя эксплуатировать чуждой власти и уступает прирожденную ему свободу и независимость за пустую видимость, которое отказывается от своей великой и возвышенной цели и гонится за вещами, лежащими совсем не на его пути, — что такое общество не может быть обществом людей, имеющих определенное стремление и точно знающих, чего они хотят, — это, я полагаю, само собой очевидно; и это краткое указание на судьбы церковного общества есть, думается мне, лучшее доказательство того, что оно не есть подлинное общество религиозных людей, что, в лучшем случае, к нему примешаны лишь немногие частицы последнего, погребенные под чуждыми элементами; это доказывает также, что общество, как целое, чтобы воспринять в себя первый источник этой неизмеримой порчи, должно было уже находиться в состоянии болезненного брожения, при котором немногие здоровые части вскоре совершенно ускользают от него. Со священной гордостью истинная церковь отказалась бы от даров, которыми она не может воспользоваться; ибо она хорошо знает, что те, кто нашли Божество и сообща наслаждаются им, в своем чистом общении, в котором они только хотят выявить и передать друг другу свое глубочайшее бытие, не имеют собственно ничего, обладание чем могло бы охраняться мирскою властью; она знает, что **им** ничего не нужно и не может быть нужно на земле, кроме языка, чтобы понимать друг друга, и места, чтобы встречаться, — вещей, ради которых нет надобности ни в **каких** властителях и их милостях.

Но если все же необходимо посредствующее учреждение, чтобы « истинная церковь могла входить в некоторое соприкосновение с непосвященным

миром, до которого ей непосредственно нет никакого дела, как бы атмосфера, через которую она одновременно и очищается и привлекает к себе новый материал, — какую же форму должно принять это общество, и как оно может быть освобождено от порчи, которую оно впитало в себя? На последний вопрос пусть ответит само время: ко всему, что некогда должно свершиться, ведут тысячи различных путей, и для всех болезней человечества имеются многообразные способы исцеления; каждый будет испытан на своем месте и поведет к цели. Лишь саму эту цель да будет мне дозволено наметить, чтобы тем яснее показать вам, что ваше недовольство должно обрушиваться не на религию и ее стремления.

Подлинный и основной смысл такого вспомогательного учреждения состоит ведь в том, чтобы лицам, которым до известной степени доступна религия, но которые еще не способны примкнуть к истинной церкви, так как религия в них еще не проявилась и не дошла до их сознания, — чтобы таким лицам жизненно изъяснялась религия, как таковая, и тем необходимо развивались их религиозные задатки. Посмотрим, что собственно препятствует осуществлению этой задачи при современном положении вещей. — Я не хочу еще раз напоминать о том, что в настоящее время лиц, которые должны быть вождями и учителями этого общества — я пользуюсь выражением «учителя» неохотно и лишь по нужде, так как оно мало подходит к их делу — выбирает государство согласно своим желаниям, и что при этом государство имеет скорее в виду осуществление иных задач, которые оно возложило на это учреждение; что иной, с точки зрения государства, может быть в высшей степени рассудительным воспитателем и чистым, превосходным наставником народа, не испытывая сам религиозных переживаний в собственном смысле, так что многим из самых достойных служителей этого учреждения такие переживания могут быть совершенно чужды; допустим даже, что все, кого назначает государство, проникнуты и воодушевлены подлинной религиозностью. Все же вы согласитесь, что никакой мастер не может с успехом передать свое искусство ученикам, если между ними не имеется некоторого равенства в отношении предварительной подготовки; и однако такая подготовка менее необходима во всяком искусстве, где ученик совершенствуется с помощью упражнений и где учитель полезен преимущественно своей критикой, чем здесь, в нашем предмете, где учитель может только показывать и выявлять. Здесь вся его работа должна быть тщетной, если не всем одно и то же не только понятно, но и уместно и благотворно. Итак, священный оратор должен подбирать своих слушателей не в механическом порядке, как они приписаны к нему в силу давнишнего распределения, не в порядке расположения их домов или полицейских списков, а по некоторому сходству их способностей и умонастроений.<sup>21</sup> Но допустите даже, что вокруг учителя собираются лишь люди, одинаково близкие религии; все же они близки ей на разные лады, и в высшей степени нелепо заставлять ученика ограничиваться каким-либо одним учителем; ведь нигде нельзя найти человека, который обладал бы



таким всесторонним религиозным развитием и такой способностью всесторонне проявлять свою религию, чтобы быть в силах своими речами и выявленными осветить для каждого скрытую сущность религии. Ибо слишком многообъемлюща область религии. Вспомните о различных путях, которыми человек переходит от восприятия единичного и частного к восприятию целого и бесконечного, вспомните, что уже в силу этого его религия принимает своеобразный и определенный характер; подумайте о различных формах, в которых вселенная может действовать на чувства человека, о тысяче отдельных восприятий и о различных способах, как эти восприятия могут комбинироваться, чтобы взаимно освещать себя, сообразите, что каждый, кто ищет религии, должен найти ее в определенной форме, соответствующей его задаткам и точке зрения, чтобы его религиозное чувство было действительно затронуто; и вы найдете, что никакой учитель не может угодить всем во всем и дать каждому то, что ему нужно; ведь никто не может быть одновременно и мистиком, и физиком, и вообще мастером всех священных искусств, через которые выражается религия, никому не могут быть одновременно доступны и пророчества, и видения, и молитвы, и изображения истории и личных чувств, и еще многое другое, — все неисчислимы роскошные ветви, которые вырастают из небесного древа священнического искусства. Учителя и ученики должны иметь право с полной свободой отыскивать и выбирать друг друга, иначе они потеряны друг для друга; каждый должен иметь право искать, что ему полезно, и никто не должен быть принуждаем давать больше, чем он имеет и понимает. — Но если бы мы даже достигли того, что каждый мог бы учить лишь тому, что он понимает, то ведь это все же невозможно, поскольку он одновременно должен совершать что-либо иное, и притом тем же самым действием. Не может быть вопроса о том, что священническая натура способна выявлять свою религию, передавать ее с ревностью и искусством, как надлежит, и вместе с тем добросовестно и с большим совершенством выполнять какое-нибудь гражданское дело. Почему же в таком случае, если это столь же совместимо, человеку, который имеет призвание к священству, не быть учителем нравственности на службе государства? Против этого нельзя ничего возразить; только он должен быть тем и другим в раздельности, а не совместно и слитно, он не должен одновременно проявлять обе натуры и одним и тем же действием осуществлять два дела. Пусть государство, если это кажется ему полезным, удовлетворяется религиозной моралью; религия же не признает никакого пророка и священника, который намеренно и специально морализирует с этой точки зрения; кто хочет возвещать религию, должен делать это чисто. Если бы истинный священник соглашался на такие недостойные и невыполнимые условия в отношении государства, то это противоречило бы не только личному достоинству каждого мастера своего дела, но и религиозной чистоте вообще. Когда государство берет на службу других художников, для того ли, чтобы совершенствовать их дарования, или чтобы создавать учеников, то оно освобождает их от всех чуждых занятий и даже вменяет им в обязанность воздерживаться от последних; оно

рекомендует им отдаться преимущественно особому отделу их искусства, в котором они могут рассчитывать на наибольшую производительность, и в этой области предоставляет полную свободу их натуре. Лишь в отношении художников религии оно делает прямо противоположное. Они должны охватывать всю область своего предмета, и при этом государство еще предписывает им, к какой школе они должны принадлежать, и возлагает на них неуместное бремя. Если они должны одновременно заботиться об его делах, то пусть оно даст им надлежащий досуг, чтобы они могли развить в себе особую форму религиозного обнаружения, к которой они считают себя специально призванными, так как ведь это есть главное для них, и пусть освободит их от тягостных ограничений; или же, устроив для себя свое нравственно-гражданское воспитательное учреждение<sup>22</sup> — что государство должно, ведь, сделать и в первом случае, — пусть оно опять-таки предоставит им свободно проявлять их сущность и совсем не заботится о священническом деле, совершаемом в этом учреждении, так как оно не может принести ему ни украшения, ни пользы, подобно другим искусствам и наукам.

Долой же всякий подобный " союз между церковью и государством! — это останется моим катоновским возгласом до конца моей жизни, или пока мне не суждено будет действительно увидеть его разрушение. Долой все, что имеет хотя бы сходство с замкнутым союзом мирян и священников между собой!<sup>24</sup> Ученики вообще не должны составлять союзов; как мало это уместно—можно видеть в механических ремеслах; но и священники, как таковые, не должны составлять какого-либо братства, они должны отказаться от цехового деления между собой своих занятий и заказчиков; пусть каждый, не заботясь об остальных, и не связывая себя в этих делах теснее с одним, чем с другим, выполняет свое дело; и между учителями и общиной пусть тоже не будет никакой твердой внешней связи. По принципам истинной церкви миссия каждого священника в мире есть его частное дело; пусть будет личной обителью и храм, где раздается его религиозная речь; пусть будет перед ним собрание, а не община; пусть будет он проповедником для всех, кто хотят его слушать, но не пастырем определенного стада. Лишь при этих условиях истинно священнические души могут заботиться о тех, кто ищут религии; лишь таким путем это подготовительное единение может действительно вести к религии и по праву заслужить название придатка истинной церкви и преддверия к ней: ибо лишь при этих условиях исчезает все, что нечестиво и безрелигиозно в ее нынешней форме. Благодаря всеобщей свободе избрания, признания и суждения смягчается слишком суровое и резкое различие между священниками и мирянами, пока лучшие из последних не достигнут того, чтобы быть одновременно тем и другим. Все, что связывается нечестивыми цепями символов,<sup>25</sup> будет рассеяно и разделено. Когда всякий подобный способ соединения будет уничтожен, когда ищущему религии никто не будет предлагать религиозную систему, претендующую на исключительную истинность, а всякий даст ему свое

особое, своеобразное ее обнаружение, — тогда, по-видимому, будет применено единственное средство устранения описанного бесчинства. В прежние времена, когда либо слишком теснили устарелые формулы, либо слишком многообразные элементы не могли ужиться в одних оковах, церковь разрубали на части через деление символов; но это приносило мало помощи и лишь на мгновение могло смягчить зло. Церковь обладает натурой полипа; из каждого ее куска снова вырастает целое; и когда характер ее противоречит духу религии, то большее число отдельных церквей, носящих этот характер, ничем не лучше малого числа. Внешнее религиозное общество может быть приближено к всеобщей свободе и величественному единству истинной церкви лишь тем, что оно становится текучей массой, в которой нет определенных очертаний, в которой каждая часть находится то здесь, то там, и все мирно смешивается между собой. Озлобленный дух сектантства и прозелитизма, который уводит все далее от существенного в религии, будет уничтожен, лишь когда никто не будет иметь основания думать, что он сам принадлежит к определенному кругу, и что иначе верующий принадлежит к другому кругу.

Вы видите, что в отношении этого общества наши желания совершенно тождественны; что кажется вам зазорным, то преграждает путь и нам; но только—позвольте мне постоянно повторять это — этого вообще не существовало бы, если бы нам одним предоставили заботиться о том, что, собственно, есть наше дело. Чтобы все это было снова устранено, — это есть наш общий интерес; мы можем желать и надеяться на это, но вряд ли можем что-либо сделать для этого. Как совершится такое изменение у нас, немцев, — произойдет ли оно так же, как и у наших соседей, после великого потрясения и затем всюду сразу, или государство мирным соглашением уничтожит свой неудачный брачный союз с церковью, так что обоим не придется умирать, чтобы воскреснуть в новой форме, или же, наконец, государство будет хотя бы терпеть возникновение новой, девственной церкви,<sup>26</sup> рядом с той, которая некогда продалась ему, — этого я не знаю. Но пока что-либо подобное не совершится, жестокая судьба будет угнетать все святые души, которые, пылая жаром религии, хотят выявить свои святыни более широкому кругу непосвященного мира и чего-либо достигнуть этим. Я не хочу соблазнять тех, кто включены в привилегированный государством орден, придавать особенно большое значение, с точки зрения глубочайшего желания их сердца, тому, что они в этом отношении могут сделать своими речами. Если многие из них считают себя обязанными не говорить всегда или даже часто об одном лишь благочестии, и говорить о нем начистоту только в торжественных случаях, чтобы не изменить своему политическому призванию, для которого предназначена их должность, — то мне почти нечего возражать против этого. Но одно надо признать за ними: своей священнической жизнью они могут возвещать дух религии, и это да будет их утешением и лучшей наградой. В священной личности все значительно, в признанном слугителе религии все имеет канонический смысл. Пусть же они

выражают сущность религии во всех своих движениях; пусть даже в обыденных житейских отношениях они не упускают ничего, что может выражать религиозный дух! Святая глубина, с которой они относятся ко всему, пусть показывает, что и при мелких обстоятельствах, мимо которых легкомысленно проходит непосвященное сознание, в них звучит музыка возвышенных чувств; возвышенное спокойствие, с которым они уравнивают великое с малым, пусть свидетельствует, что они относят все к неизменному и во всем одинаково усматривают Божество; благодушная улыбка, с которой они проходят мимо всякого следа тленности, пусть открывает каждому, что они живут над временем и миром; готовное самоотречение пусть указывает, насколько они уже преодолели границы личности; и всегда живое и открытое сознание, от которого не ускользает ни самое редкое, ни самое обычное, пусть говорит о том, как неустанно отыскивают они следы Божества и прислушиваются к его проявлениям. Если, таким образом, вся их жизнь, и каждое движение их внутреннего и внешнего образа есть художественное воплощение священства, — то, быть может, этот немой язык откроет многим сознание того, что в них живет. Но недостаточно, чтобы они выражали сущность религии, — они должны также уничтожать ее ложную видимость; с детской непосредственностью и возвышенной простотой полного неведения, которое не знает опасности и не ищет мужества, они должны проходить мимо всего, что грубые предрассудки или тонкое суеверие окружило фальшивым ореолом святости; и пусть они беззаботно, подобно ребенку Геркулесу, внимают шипению змей клеветы, которых они столь же тихо и спокойно могут в каждое мгновение задушить. Этой святой службе пусть отдадутся они до лучших времен, и я думаю, вы сами будете благоговеть перед этим непритязательным величием, и предречете благие последствия от его действия на людей. Но что же сказать мне тем, которым вы отказываете в священническом одеянии, потому что они не прошли определенным порядком определенного круга наук? Куда направить мне общительное влечение их религии, поскольку оно устремлено не только к высшей церкви, но и к внешнему миру? Так как они лишены более широкой арены, на которой они могли бы особенно выделяться, то пусть они удовлетворятся священническим служением своим домашним богам.<sup>27</sup> Семья может быть самым завершенным элементом и самым верным отображением вселенной; ведь если здесь все сплетено между собой спокойно и верно, то здесь действуют все силы, одушевляющие бесконечность; если с радостным спокойствием все развивается, то здесь, как и всюду, дышит великий мировой дух; если звуки любви сопровождают все движения, то и в малейшем пространстве звучит музыка сфер, и оно вмещает в себя музыку сфер. Эту святыню пусть они развивают, совершенствуют и возвращают, пусть они устанавливают ее ясно и отчетливо с религиозной силой, пусть истолковывают ее с любовью и разумом; и тогда многие из них и вблизи них научатся созерцать вселенную в маленькой скрытой обители, она станет величайшей святыней, в которой многие посвящаются в служители религии.

Это священство было первым в святом и детском древнем мире, и оно будет последним, когда уже не будет нужды в ином.

Да, мы ждем, что в конце нашей искусственной культуры явится эпоха, когда уже не нужно будет никакого подготовительного общества для религии, кроме благочестивого домашнего очага. Теперь миллионы людей обоого пола и всех сословий томятся под игом механического и недостойного труда. Более старое поколение с ропотом падает под этим бременем, и с простительной косностью предает на волю случая молодое поколение почти во всем, с одним только исключением: оно должно тотчас же подражать ему и изведать то же унижение. Вот причина, почему юношество не имеет того свободного и открытого взора, которому одному лишь открывается объект религиозности. Нет большего препятствия для религии, как то, что мы должны быть нашими собственными рабами; ибо всякий есть раб, кто вынужден выполнять то, что должно было бы совершаться мертвыми силами. От завершения наук и искусств мы ожидаем, что оно подчинит нам эти мертвые силы, что весь телесный мир и все из духовного мира, что поддается управлению, оно превратит в волшебный замок, где земному богу достаточно будет произнести магическое слово, нажать пружину, чтобы совершились все его веления. Лишь тогда каждый человек будет свободнорожденным, тогда каждая жизнь будет одновременно и практической, и созерцательной; ни над кем не будет подниматься палка погонщика, и каждый будет иметь покой и досуг для сосредоточенного созерцания мира. Лишь для несчастных, не имевших покоя и досуга, для людей, чьи духовные органы были лишены питательных сил, ибо все их бытие неустанно затрачивалось на механическую работу, — лишь для них было необходимо, чтобы выступали отдельные счастливицы, которые собирали бы их вокруг себя, заменяли бы им зрение и в несколько беглых мгновений сообщали бы им высшее содержание целой жизни. Когда наступит счастливая пора, когда каждый сможет свободно упражнять свои чувства и пользоваться ими, — тогда каждый, кому вообще доступна религия, приобщится к ней тотчас же при первом пробуждении высших сил, в святое время юности, под защитой отеческой мудрости; тогда прекратится всякое одностороннее общение, и награжденный отец введет здорового сына не только в более радостный мир и в более легкую жизнь, но и непосредственно в святое, отныне более многочисленное и оживленное собрание поклонников вечного.

В благодарном сознании, что если некогда придет это время, как бы далеко оно еще ни было, его наступление будет отчасти обязано и тем усилиям, которым вы посвящаете вашу жизнь, — позвольте мне еще раз обратить ваше внимание на прекрасный плод вашего труда; позвольте еще раз свести вас к возвышенной общине истинно религиозных душ, которая, правда, теперь рассеяна и почти невидима, но дух которой все же властвует повсюду, где хоть немногие собраны во имя Божества. Есть ли в ней что-либо, что не

вызывало бы в вас восхищения и уважения, — в вас, друзьях и поклонниках всего прекрасного и благого! — Они между собой — академия священнослужителей. Обнаружение святой жизни, высшее для них, каждый из них рассматривает как искусство и предмет изучения; и Божество из своего бесконечного богатства оделяет при этом каждого особым призванием. С общим пониманием всего, что принадлежит к священной области религии, каждый сочетает, как надлежит художникам, стремление совершенствоваться в какой-либо ее отдельной части; благородное соперничество господствует здесь, и потребность представить что-либо достойное такого собрания заставляет каждого усердно и добросовестно усваивать все, что относится к его специальной области. С чистым сердцем оно удерживается в душе, сосредоточенно приводится в порядок и с небесным искусством развивается и совершенствуется, и потому на все лады и отовсюду звучит признание и хвала бесконечному; с радостным сердцем всякий несет сюда самые зрелые плоды своего размышления и созерцания, своего постижения и чувствования. — Они между собой — хор друзей. Каждый знает, что и он есть часть и орудие вселенной, что и в нем открывается ее божественное действие и божественная жизнь. Поэтому он видит в себе достойный предмет внимания для всех остальных. Все связи вселенной, которые он воспринимает в себе, все элементы человечества, которые в нем своеобразно формируются, все открывает он со священным трепетом, но и с радостной готовностью, чтобы каждый входил и созерцал это. Зачем им скрывать что-либо друг от друга? Все человеческое священо, ибо все оно божественно. — Они между собой — союз братьев, — или вы знаете более интимное выражение для полнейшего слияния их натур, не в целях бытия и действия, а в целях ощущения и понимания? Чем более каждый из них приближается к вселенной, чем более каждый выявляет себя другому, тем более они сливаются в единство; ни у кого нет обособленного сознания, каждый одновременно обладает и сознанием другого; они уже не только люди, но и человечество, и выходя за пределы самих себя, торжествуя над **самими** собой, они на пути к истинному бессмертию и вечности.

Если вы нашли что-либо более возвышенное в какой-либо иной области человеческой жизни, или в какой-либо иной школе мудрости, то сообщите мне; ведомое мне я передал вам.

## ПЯТАЯ РЕЧЬ

### О религиях

Что человек, объятый непосредственным общением с высшим, должен быть для вас всех предметом почитания и даже благоговения,—что никто, способный хоть сколько-нибудь понимать это состояние, не в силах

удержаться при его созерцании от этих чувств, — это стоит выше всяких сомнений. Вы можете презирать всякого, чья душа легко и целиком заполняется мелочными вещами; но тщетно будете вы пытаться низко оценивать того, кто вбирает в себя величайшее и питается им. Вы можете любить или ненавидеть всякого, смотря по тому, идет ли он с вами или против вас на ограниченном пути деятельности и образования; но даже лучшее из чувств, порождаемых равенством, не сможет укрепиться в вас в отношении к тому, кто так превосходит вас, как человек, ищущий в мире высшее существо и стоящий высоко над каждым, кто не находится в том же состоянии. Вы должны, как говорят мудрейшие среди вас, даже против воли почитать добродетельного, который по законам нравственной природы стремится подчинить конечное бесконечным требованиям; но если бы даже было возможно найти в самой добродетели нечто смешное, в силу противоположности между ограниченными силами и безграничным начинанием, — вы все же не сможете отказать в почитании и благоговении тому, чьи органы открыты вселенной и кто, чуждый всякой борьбы и противоположности, возвышаясь над всяким незавершенным стремлением, проникнутый воздействиями вселенной и сливаясь с ней воедино, отбрасывает на вас неискаженный небесный луч, когда вы созерцаете его в этот драгоценнейший миг человеческого бытия. Вынудит ли в вас изложенная мною идея сущности и жизни религии то почитание, в котором вы так часто отказывали ей в силу ложных представлений и обращая внимание на случайные вещи; побудят ли вас к более глубокому созерцанию нашего бытия и развития мои мысли о связи этой, всем нам присущей склонности со всеми остальными прекрасными и божественными задатками нашей природы; как будете вы судить с указанной мною высшей точки зрения о том непонятном возвышенном общении душ, где каждый, пренебрегая славой своего произвола и исключительным обладанием своей духовной самобытностью и тайной, добровольно отдается другим и открывается их созерцанию, как создание вечного и всеобrazующего мирового духа; будете ли вы восхищаться ею как святейшей формой общения, более высокой, чем всякое земное соединение, более святой, чем самый нежный союз дружбы отдельных нравственных сознаний; увлечет ли вас, следовательно, к молитвенному поклонению религия как целое, с ее бесконечностью и божественной силой, — обо всем этом я не спрашиваю вас; ибо я уверен в силе самого предмета, который нужно было только освободить от всех искажающих облачений, чтобы он стал действовать на вас. Но теперь, в завершение, мне предстоит выполнить новое дело и одолеть новое препятствие. Я как бы хочу повести вас к Богу, ставшему плотью; я хочу показать вам религию, поскольку она отказалась от своей бесконечности и выступает среди людей часто в убогом образе; вы должны открыть религию в религиях; в том, что стоит перед вами лишь в земном и нечистом виде, вы должны отыскать отдельные черты той же небесной красоты, образ которой я пытался обрисовать.

Если вы обратите ваш взор на современное положение вещей, где дробления церкви и различия религии почти всюду совпадают, и религия и церковь кажутся неразрывно связанными в своем обособлении, — где существует столько же вероучений и исповеданий, сколько церквей и религиозных общин, — то вы легко склонитесь к мысли, что в моем суждении о множественности церквей вместе с тем уже высказано суждение о множественности религий; но этим вы совершенно превратно истолковали бы мое мнение. Я осудил множественность церкви; но, показав из существа дела, что здесь теряются все строго и резко обособляющее очертания, исчезают все определенные подразделения, и что не только все должно по духу и взаимному участию быть одним неразрывным целым, но и что действительная связь должна развиваться все шире и все более приближаться к указанному высшему всеобщему единству, я тем самым уже допустил, как нечто необходимое и неизбежное, множественность религий и определенные различия между ними. Ведь для чего же истинная внутренняя церковь должна быть единой? Не для того ли, чтобы каждый мог созерцать и узнавать религию другого, которую он не может созерцать как свою собственную, так как во всех своих отдельных проявлениях она представляется отличной от его религии? А для чего должно быть единым и внешнее общение, в переносном смысле называемое церковью? Для того, чтобы каждый мог отыскивать в ней религию в той форме, которая более всего соответствует заложенному в его душе смутному задатку; и это зерно должно же иметь определенный характер, если оно может быть оплодотворено и пробуждено лишь воздействием того же определенного характера. И именно потому под этими различными явлениями религии не могли разумеаться просто отдельные куски, которые различны лишь по числу и величине и, сведенные воедино, составили бы однообразное, впервые лишь подлинно завершенное целое; ибо тогда каждый в своем естественном развитии сам собой доходил бы до того, что принадлежит другому; религия, которую открывает ему другой, превратилась бы в его собственную и слилась бы с ней воедино, и церковь, которая и с развитой мною точки зрения есть неизбежное для каждого религиозного человека общение со всеми верующими, была бы лишь преходящим учреждением, своим собственным действием устраняющим само себя, — тоща как я отнюдь не хотел мыслить или изобразить ее таковою. Таким образом, я исходил из множественности религий, и вместе с тем я нахожу ее обоснованной в существе религии.

Всякий легко усмотрит, по крайней мере, то, что никто не может в совершенстве обладать всей религией; ибо человек определен на известный лад, религия же определима на бесконечно многие лады; но столь же мало может быть вам чуждо и то, что религия не просто раздробляется между людьми, случайно и в меру восприимчивости каждого, а организуется в явления, которые более отличаются друг от друга, и вместе с тем более сходны между собой. Вспомните лишь о многих ступенях религии, на которые я обратил ваше внимание, вспомните, что религия того, кому мир



уже открывается как живое целое, не может быть простым продолжением воззрения того, кто созерцает мир лишь в его видимо противоположных элементах, и что до этой последней точки зрения в свою очередь не может прийти на своем пути тот, для кого вселенная есть еще хаотическое и недифференцированное представление. Будете ли вы называть эти различия степенями или видами религии, вы во всяком случае должны признать, что всюду вообще, где имеются такие различия, т.е. где бесконечная сила делится и дифференцируется в своих обнаружениях, она обычно проявляется в своеобразных и различных формах. Итак, множественность религий есть нечто совсем иное, чем множественность церквей. Ибо сущность церкви состоит ведь в том, что она должна быть общением. Следовательно, ее границей не может быть однородность религиозного начала, так как ведь общение должно быть установлено именно между различными началами.<sup>1</sup> Если же вы полагаете — в чем вы, очевидно, совершенно правы, — что и церковь в действительности не может стать абсолютным и однородным единством, то это может быть основано лишь на том, что каждое реальное общение, существующее во времени и пространстве, по своей природе должно быть ограниченным и само собою распадается на части, так как его интимность слишком ослабла бы при несоразмерно большом объеме. Напротив, религия именно в своей множественности предполагает возможно большее единство церкви, так как и для общения, и для самой личности она должна достигать в каждом человеке совершенно определенной формы. Ей же самой необходима эта множественность, ибо лишь через нее она может проявляться сполна. Она должна содержать принцип индивидуализации в себе самой, так как иначе она совсем не могла бы существовать и восприниматься. Поэтому мы должны постулировать и отыскивать бесконечное множество определенных форм, в которых проявляется религия; и где мы находим что-либо, претендующее быть такою формой — а ведь каждая отдельная религия выдает себя за таковую, — там мы должны рассмотреть, соответствует ли она этому принципу, и затем уяснить сущность и формы ее своеобразия, как бы она ни была скрыта под чуждыми оболочками, и как бы ни была искажена не только неизбежным действием преходящего, до которого спустилось непреходящее, но и нечестивой рукой кощунствующих людей.

Итак, если вы хотите иметь не только понятие о религии вообще, — а ведь было бы недостойно вас, если бы вы удовлетворились столь несовершенным знанием — если вы хотите подлинно постигнуть ее в ее реальности и конкретных проявлениях, религиозно воспринять сами эти проявления как бесконечно прогрессирующее творение духа, который открывается во всей человеческой истории, — то вы должны расстаться с суетным и тщетным желанием, чтобы существовала только одна религия; вы должны преодолеть ваше отвращение к ее множественности и по возможности непредвзято подойти ко всем религиям, которые уже развились из вечно обильного лона

духовной природы в изменчивых формах человечества и в течении прогрессирующего движения последнего.

Вы называете эти наличные определенные религиозные явления положительными религиями, и под этим названием они уже давно были предметом совершенно исключительной ненависти; тоща как при всем вашем отвращении против религии вообще вы всегда легче терпели и даже говорили с некоторым почтением о чем-то, что в отличие от этих положительных религий вы называете естественной религией. Я не колеблюсь открыть вам в категорической форме мой образ мыслей по этому вопросу; а именно, что касается меня, то я решительно отрицаю это преимущество и объявляю, что для всех, кто хочет обладать религией и любить ее, было бы грубейшей непоследовательностью допускать такое преимущество, и что этим они впадали бы в очевиднейшее противоречие с самими собой. Более того, я считал бы все свои усилия потерянными, если бы я достиг ими только привлечения вас к этой естественной религии. Что же касается вас, которым религия вообще была противна, то я находил всегда вполне естественным ваше желание проводить это различие. Так называемая естественная религия обыкновенно так отполирована и имеет такие метафизические и моральные манеры, что в ней лишь мало просвечивает своеобразный характер религии; она умеет жить так скромно, так ограничивать себя и приспособляться, что ее всюду терпят; тогда как всякая положительная религия имеет некоторые сильные черты и весьма характерно очерченную физиономию, и потому во всяком своем движении, при самом беглом взгляде, брошенном на нее, безошибочно напоминает каждому, что она собственно есть. Это есть единственное объективное различие между ними; и если именно это есть истинное и внутреннее основание вашего отвращения к положительной религии, то теперь вы должны освободиться от него, и мне собственно даже не нужно было бы спорить против него. Ведь если вы теперь, как я надеюсь, имеете более благоприятное суждение о религии вообще, если вы понимаете, что ее основой служит особый и благородный задаток в человеке, который, следовательно, должен развиваться всюду, где он имеется, то вы уже не можете испытывать отвращения к созерцанию определенных форм, в которых он уже реально проявился, и вы, напротив, должны признать эти формы тем более достойным объектом вашего рассмотрения, чем более в них развиты своеобразные и отличительные признаки религии.

Но вы, быть может, не признаетесь в этом основании вашего отвращения к положительной религии; быть может, все старые упреки, которые вы обыкновенно делали религии вообще, вы теперь направите против отдельных религий и будете утверждать, что именно в том, что вы называете положительным в религии, должны содержаться черты, которые постоянно возбуждают эти упреки и оправдывают их, и что именно поэтому они не могут быть естественными проявлениями истинной религии, как я старался

их вам изобразить. Вы укажете мне, что все они без различия полны тем, что, по моему собственному признанию, не есть сущность религии, и что, следовательно, начало порчи должно быть глубоко заложено **в их** организме; вы напомните мне, что каждая из них объявляет себя единственно истинной религией, и свои характерные черты — безусловно высшим; что они отличаются между собой, как чем-то существенным, именно тем, что каждая из них должна была бы изгнать из себя; что они, совершенно вопреки природе истинной религии, доказывают, опровергают и спорят, будь то оружием искусства и рассудка, или еще более чуждыми и уже низменными средствами; и вы присоедините, что именно поскольку вы почитаете религию и признаете ее чем-то важным, вы должны быть горячо заинтересованы в том, чтобы она всюду пользовалась величайшей свободой многообразного и всестороннего развития и что, таким образом, вы тем сильнее должны ненавидеть определенные религиозные формы, которые прикрепляют всех, кто их исповедует, к одному и тому же образцу и слову, лишают **их** свободы следовать их собственной природе и замыкают **их в** противоестественные границы; и во всех этих отношениях вы будете настойчиво восхвалять мне преимущества естественной религии перед положительными.

Я еще раз свидетельствую, что не отрицаю недоразумений и искажений во всех религиях, и что я ничего не возражаю против отвращения, которое они вам внушают. Я признаю во всех них описанное мною печальное вырождение и уклонение в чуждую область; и чем божественнее сама религия, тем менее я хочу разукрашивать ее порчу и с восторгом возвращать ее плевелы. Но забудьте на время это, тоже ведь одностороннее воззрение, и выслушайте иное. Вспомните, как велика в этой порче вина тех, кто увлек религию из глубины сердца в гражданский мир; признайте, что многое неизбежно всюду, где бесконечное принимает несовершенную и ограниченную оболочку, спускается в область времени и подчиняется всеобщему воздействию конечных вещей. Но как бы глубоко в них ни укоренилась эта порча и как бы они ни страдали от нее, примите во внимание по крайней мере одно: если подлинно религиозный взгляд на все вещи состоит в том, чтобы отыскивать и почитать всякий, и даже отдаленнейший след божественного, истинного и вечного во всем, что кажется нам обыденным и низменным, то менее всего может обойтись без преимущества такого рассмотрения то, что имеет самые законные притязания на религиозную оценку. И однако вы найдете больше, чем только отдаленные следы божественности. Я приглашаю вас рассмотреть каждую веру, которую исповедовали люди, каждую религию, которую вы обозначаете определенным именем и характером, и которая, быть может, ныне уже давно выродилась в бессмысленную совокупность пустых обрядов, в систему абстрактных понятий и теорий; не найдете ли вы все же, когда вы исследуете ее источник и первичные составные части, что все мертвые шлаки были некогда пылающими излияниями внутреннего пламени, что во всех религиях более или менее содержится нечто от той истинной сущности **религии**,

которую я изобразил вам? Не найдете ли вы, что каждая религия была одной из форм, которую человечество необходимо должно было в этом отношении принимать в разных местностях земли и на различных ступенях развития. Я должен отказаться от задачи планомерно и всесторонне ознакомить вас с этим многообразием религий; ведь это есть предмет изучения, которому должна быть посвящена целая жизнь, а не тема для отдельной беседы. Но для того, чтобы вы не блуждали наугад в этом бесконечном хаосе, для того, чтобы вы, не путаясь в господствующих неправильных понятиях, могли верным масштабом измерять истинное содержание и подлинную сущность отдельных религий и определенным и твердым способом различать внутреннее от внешнего, самобытное от заимствованного и чужого, священное от мирского, — для этого вы должны на время забыть о всякой отдельной религии и о том, что считается ее характерным признаком, и сперва постараться изнутри достигнуть общего воззрения на то, как собственно надлежит понимать и определять сущность какой-либо положительной религии. Тогда вы найдете, что именно положительные религии суть определенные формы, в которых должна выражаться религия, и что ваша так называемая естественная религия вообще не может претендовать на что-либо подобное, так как она есть лишь неопределенный, скудный и убогий замысел, которому, собственно, ничто вообще не может соответствовать в действительности; вы найдете, что только в положительных религиях возможно истинное индивидуальное развитие религиозного задатка, и что они по своей сущности нисколько не умаляют свободы тех, кто их исповедует.

Почему я допустил, что религия не может быть дана полностью иначе, как в великом многообразии возможно более определенных форм? Лишь по основаниям, которые сами собой вытекают из того, что было сказано о сущности религии. А именно, религия в целом есть, конечно, не что иное, как совокупность всех отношений человека к Божеству во всех возможных формах жизнепонимания, которые каждый сознает как свою непосредственную жизнь; и в этом смысле, конечно, существует одна всеобщая религия, ибо жизнь была бы действительно убогой и искалеченной, "если бы не всюду, где должна быть религия, встречались и все эти отношения. Но все будут воспринимать их отнюдь не одинаково, а, напротив, совершенно различно; и так как только эта различность непосредственно чувствуется и может быть выражена, указанное же объединение всех различий может лишь мыслиться, вы неправы в вашем требовании всеобщей религии, которая должна быть естественной для всех; наоборот, никто не будет иметь своей собственной, истинной и надлежащей религии, если она должна быть одинаковой для всех. Ибо уже потому, что мы существуем «где-то», в этих отношениях человека к целому есть ближнее и дальнее, и в силу этой координации со всем остальным каждое чувство будет иметь для каждого иное определение. Но далее и потому, что мы — «кто-то», в каждом из нас есть большая восприимчивость к некоторым религиозным

представлениям и чувствам по сравнению с другими и, следовательно, и в этом отношении каждый элемент религии есть всюду иной. Но ведь, очевидно, значение каждого чувства может быть учтено не через отдельное такое отношение, а лишь через всю их совокупность, и именно поэтому религия, как целое, не может быть дана иначе, чем если действительно даны все эти, возникающие описанным путем, различные воззрения на каждое отношение; а это, в свою очередь, невозможно иначе, как в бесконечном множестве различных форм, каждая из которых достаточно определена в себе различным принципом координации и в каждой из которых тот же самый религиозный элемент своеобразно видоизменен, т.е. которые все суть истинные индивиды. Чем определяются и различаются между собой эти индивиды, и что, с другой стороны, служит связующим и общим началом для их составных частей, или принципом тяготения, которому повинуются эти части и на основании которого, следовательно, относительно каждой религиозной частности можно определить, к какого рода религии она принадлежит, — это уже ясно из сказанного. Однако об исторически данных нам религиях, на которых только и может проверять себя рассматриваемое воззрение, утверждают, что все в них обстоит совсем иначе, и что они стоят в иных отношениях между собой; и это мы еще должны исследовать. Прежде всего, определенная форма религии отнюдь не может быть таковою просто, поскольку она содержит в себе определенное количество религиозного материала. В таком мнении именно и выражается полнейшее непонимание сущности отдельных религий, которое часто распространяется среди самих верующих и неоднократно обуславливает взаимные ложные оценки. А именно, сами верующие часто полагали, что, так как столь много людей разделяют одну и ту же религию, то они должны иметь одну и ту же меру религиозных воззрений и чувств, т.е. мысли и веры, и что именно это, общее всем, должно быть сущностью их религии. Правда, не всюду легко можно с уверенностью найти подлинно характерное и индивидуальное в данной религии, если руководиться при этом ее частными чертами; но как бы элементарно ни было ее понятие, оно менее всего может предполагать такую общность меры религии, и если и вы полагаете, что положительные религии стесняют отдельного человека в развитии его религии потому, что они требуют определенной суммы религиозных воззрений и чувств и исключают другие, то вы заблуждаетесь. Отдельные восприятия и чувства суть, как вы знаете, элементы религии, и рассматривать последнюю как простую грудку таких элементов, определяемую лишь их количеством и качеством, — это отнюдь не может привести к познанию индивидуального характера религии. Если, как я уже старался вам показать, религия потому должна принимать многообразные различные формы, что о каждом отношении возможны различные воззрения, смотря по тому, как оно координируется с остальными, то такое простое сложение нескольких отношений, которое ведь не определяло бы ни одного из возможных воззрений, было бы для нас бесполезно; и если бы положительные религии отличались бы между собой лишь таким исключением отдельных элементов, то они, конечно, не могли

бы быть теми индивидуальными явлениями, которые мы ищем. А что действительно не это есть их характер, явствует из того, что невозможно, исходя из этой точки зрения, дойти до определенного понятия о них; а такое понятие ведь должно быть возможно, потому что они являются устойчиво отделенными одна от другой. Ибо лишь то, что сливается между собой, не может быть разделено и в понятии. Ясно ведь, что различные религиозные восприятия и чувства зависят друг от друга и возбуждаются друг другом не одним определенным способом; как каждое из них существует само по себе, так и каждое может привести к другому через самые различные комбинации. Поэтому различные религии совсем не могли бы долгое время существовать обособленно, если бы они отличались между собой лишь этими элементами; напротив, каждая скоро дополнилась бы до равенства со всеми остальными. Поэтому уже и в религии каждого отдельного человека, как она образуется в течение его жизни, нет ничего более случайного, чем дошедшая до его сознания сумма его религиозного материала. Отдельные воззрения могут в нем затемняться, другие могут выступать наружу и проясняться, и с этой стороны его религия всегда подвижна и текуча. Таким образом, ограничение, которое в каждом отдельном человеке столь изменчиво, тем не менее может быть неизменным и существенным в религии, общей многим; ведь только совершенно случайно и очень редко многие люди могут даже лишь в течение некоторого времени оставаться в одном определенном круге восприятий и идти по одному пути чувств.<sup>2</sup> Поэтому-то между людьми, которые так определяют свою религию, царит постоянный спор о том, что принадлежит к ее существу и что — нет; они не знают, что **им** признать характерным и необходимым в ней, и что — отделить от нее как произвольное и случайное; они не находят точки, с которой могли бы обозреть целое, и не понимают религиозного явления, в котором они сами мнят жить, за которое они борются и вырождению которого они содействуют именно тем, что, хотя целое владеет ими, они сами сознательно владеют лишь единичным. К счастью, инстинкт, которого они не понимают, руководит **ими** правильнее, чем их рассудок, и природа сдерживает то, что уничтожили бы ложные размышления и основанное на них поведение. Кто полагает характер отдельной религии в определенном количестве восприятий и чувств, тот необходимо должен допускать какую-либо внутреннюю и объективную связь, соединяющую между собой именно данные элементы и исключаящую все остальные. И это ложное представление, впрочем, оно весьма тесно связано с обычным, но совершенно не соответствующим духу религии способом сопоставлять и сравнивать религиозные представления. Целое, которое было бы действительно так составлено, было бы, конечно, не тем, которое мы ищем и в силу которого религия во всем своем объеме приобретает определенную форму; оно было бы не целым, а произвольным отрезком целого, и не религией, а сектой; ибо едва ли оно может возникнуть иначе, как в силу того, что религиозный опыт отдельного лица, и притом относящийся лишь к краткому периоду его жизни, признается нормой для общины. — Но формы, которые создала история и которые действительно

существуют, имеют совсем иное единство. Всякое сектантство, умозрительное, стремящееся свести в философское единство отдельные воззрения, как и аскетическое, настаивающее на систематичности и определенной последовательности чувств, старается установить по возможности совершенное однообразие между всеми, кто хотят приобщиться к определенной части религии. Но если тем, кто заражены этим исступлением, и кого, конечно, нельзя упрекнуть в недостаточной действенности, еще никогда не удавалось низвести положительную религию до уровня секты,<sup>3</sup> то вы должны признать, что эти положительные религии, которые тоже ведь возникли, и величайшие из которых созданы отдельными людьми, составлены по иному принципу и имеют иной характер, если они существуют вопреки всем таким нападениям. И если вы вспомните о времени, когда они возникли, то вы еще яснее поймете это: ибо вы тогда вспомните, что каждая положительная религия, во время своего развития и расцвета, т.е. в эпоху, когда ее жизненная сила всего моложе и свежее, а потому и вернее всего может быть постигнута, движется в совершенно ином направлении; а именно, она не концентрируется и не исключает из себя многого, а напротив — расширяется вовне, выпускает из себя все новые ветви, и впитывает в себя все более религиозного материала, чтобы развивать его согласно своей особой природе. Итак, они формируются не на основании ложного принципа, и последний не тождественен с их природой; он есть порча, проникшая в них извне, и так как он столь же чужд им, как и духу религии вообще, то их отношение к нему, которое сводится к неустанной борьбе, может скорее доказать, чем опровергнуть, что они сформированы именно так, как должны быть сформированы подлинно индивидуальные явления религии.

Столь же мало могут те различия в религии вообще, на которые я доселе мимоходом обращал ваше внимание, или какие-либо иные, сами по себе создать всецело и индивидуально определенную форму религии. Три часто упоминаемые мною рода опознания бытия и его всеобщности, именно, как хаоса, как системы, и в его стихийной множественности, отнюдь не могут составить столько же отдельных и определенных религий. Вы знаете, конечно, что деление понятия, как бы далеко оно ни заходило, никогда не может довести нас до индивидов, а всегда проводит лишь к менее общим понятиям, подчиненных более общему, к видам и подвидам, которые в свою очередь могут охватывать множество весьма различных частных; но чтобы найти характер самой единичной вещи, нужно исходить из общего понятия и его признаков. Приведенные три разновидности религии суть действительно не что иное, как такое обычное и всюду встречающееся деление на основании привычной для всех схемы единства, множества и целостности. Они суть, следовательно, виды религии, но не религиозные индивиды, и потребность, во имя которой мы ищем последние, было бы совершенно не удовлетворена наличностью религии в этой тройной форме. Ведь вполне очевидно, что, хотя каждая определенная форма религии

необходимо должна примыкать к одному из этих видов, она в силу одного этого еще отнюдь не становится отдельной и вполне определенной религией. Ибо в каждой из этих областей вы видите множество таких явлений, различие между которыми вы никоим образом не можете считать лишь кажущимися. Следовательно, и это отношение также не могло сформировать отдельные религии. И столь же мало, очевидно, персонализм и противоположный ему пантеистический способ представления в религии суть такие индивидуальные формы.<sup>4</sup> Ведь и они проходят через все три вида религии, и уже поэтому не могут быть индивидами. Напротив, они суть лишь иной род подразделения, так что все, что принадлежит к указанным трем видам, может быть выражено обоими этими способами. Здесь мы, конечно, не должны забыть того, в чем мы недавно сошлись, именно что эта противоположность касается лишь способа, каким рассматривается само религиозное чувство и полагается общий объект для его проявлений. И потому, если даже из отдельных религий одна более склоняется к одному такому способу выражения и обнаружения, а другая — к другому, то этим все же не может быть непосредственно определено ни своеобразие религии, ни ее достоинство и ступень ее развития. Допустим ли мы тот или иной способ, — все отдельные элементы религии останутся по-прежнему неопределенными в отношении их взаимной связи, и ни одно из многих воззрений на нее не реализуется тем, что ее сопровождает та или иная мысль; вы можете убедиться в этом на всех религиозных формулировках, которые выражают чистый деизм, и все же мнят себя вполне определенными. Ибо здесь вы всюду найдете, что все религиозные чувства, и в особенности — и это есть пункт, вокруг которого здесь все обычно вращается — все воззрения на отдельные функции человечества и на его высшее единство в том, что стоит вне его воли, остаются совершенно неопределенными и многозначными в их отношении между собой. Поэтому и эти два вида, даже как способы выражения религии, суть лишь общие формы, которые на разные лады могут быть точнее определены и индивидуализированы; и если вы хотите достигнуть более точного их определения тем, что сочетаете их в отдельности с одним из трех определенных видов созерцания, то и эти формы, составленные на основании различных подразделений целого, будут лишь более узкими подвидами, но отнюдь не определенными и самостоятельными целыми. Следовательно, ни натурализм<sup>5</sup> — я разумею под ним опознание мира, которое ограничивается стихийной множественностью, без представления о личном сознании и воле отдельных элементов, — ни пантеизм, ни многобожие, ни деизм, не суть отдельные и определенные религии, которые мы ищем, а суть лишь виды, в сфере которых уже развились многие подлинные индивиды, и еще большему числу их предстоит развиваться.<sup>6</sup>

И все же, коротко говоря, не остается иного пути для осуществления истинно индивидуальной религии, как сделать средоточием всей религии одно из великих отношений человечества к миру и к высшему существу, связав с ним



все остальные отношения, и притом определенным способом, который, с точки зрения самой идеи религии, представляется чистым произволом, но который всецело необходим, если взглянуть в своеобразие верующих. Это сразу придает целому общий дух и определенный характер; все, что прежде было неопределенным и многозначным, приобретает точный вид; из бесконечно многих различных воззрений и соотношений отдельных элементов, которые были все возможны и все должны были получить выражение, каждое такое формирование всецело реализует лишь одно; все отдельные элементы выявляются с одноименной стороны, — с той, которая обращена к средоточию, и все чувства приобретают в силу этого общий тон и становятся более живыми и связными. Лишь в совокупности всех возможных в таком смысле форм может быть действительно дана вся религия; она выражается, таким образом, лишь в бесконечном ряде воплощений, развивающихся постепенно в различных местах пространства и времени, и лишь то, что содержится в одной из этих форм, содействует ее совершенному проявлению. Всякое такое формирование религии, когда все созерцается и чувствуется в связи с одним отношением к Божеству, которое как бы воспринимает в себя и обуславливает все остальные отношения, — в чем бы ни состояло это избранное отношение и где бы и как бы оно ни развилось — есть самостоятельная положительная религия; в отношении совокупности религиозных элементов оно есть — употребляя слово, которому нужно вернуть его славное значение — ересь,<sup>7</sup> ибо среди многих равных начал одно как бы избирается главою для всех остальных; в отношении же к общению всех участников и их связи с тем, кто основал их религию, впервые ясно осознав это средоточие, это есть отдельная школа или община учеников. Но если только в таких определенных формах и через них может быть выражена религия, — а я надеюсь, мы теперь согласны в этом между собой, — то только человек, который со своей религией приобретет оседлость в одной из этих форм, будет иметь подлинно прочное местожительство и, так сказать, благоприобретенное право гражданства в религиозном мире; лишь он может гордиться своим соучастием в бытии и развитии целого; лишь он есть полная религиозная личность, которая, с одной стороны, своим общим характером принадлежит к определенному роду, и, с другой стороны, выделяется, как нечто своеобразное, прочными и определенными чертами.

Но, быть может, тут иной, уже интересующийся делами религии, спросит с изумлением, а противник религии — с коварством, должен ли в таком случае каждый религиозный человек примкнуть к одной из наличных, своеобразно определенных форм религии. Такому человеку я предварительно ответил бы: нет; необходимо только, чтобы его религия также была своеобразно определенной и внутренне развитой; но нет надобности, чтобы его религия определялась наподобие какой-либо формы, уже существующей в крупных размерах и богатой последователями. И я напомнил бы ему, что я нигде не говорил, что две или три определенные формы религии должны остаться единственными. Напротив, пусть развиваются со всех точек бесчисленные

формы, и тот, кто не подходит к одной из уже наличных форм, — я готов сказать: кто не был бы в состоянии сам ее создать,<sup>8</sup> если бы не нашел ее готовой, — тот уже поэтому не мог бы принадлежать ни к одной из них, а должен был бы создать из себя новую форму. Если он при этом остается один и без последователей, то это не беда. Всюду и всегда существует достаточно зародышей, которые не могут достигнуть более широкого бытия; и точно так же существует и религия такого одинокого человека, и она имеет столь же определенную форму и организацию и в такой же мере есть самостоятельная положительная религия как если бы он основал величайшую школу. И отсюда вопрошающий усмотрел бы, что, по моему мнению, эти наличные формы религии своим прошлым бытием не должны стеснять ни одного человека развить себе религию согласно своей собственной природе и умонастроению. Будет ли кто-либо пребывать в одной из них, или построит самостоятельную форму, — это зависит исключительно от того, разовьется ли в нем то же самое или иное отношение, в качестве основного чувства и средоточия всей религии. Так ответил бы я ему предварительно; но если бы он захотел услышать от меня более точный ответ, то я прибавил бы, что довольно трудно человеку попасть в такое положение, если это не случается по недоразумению. Ибо зарождение нового откровения не есть что-либо незначительное и чисто личное, а в основе его лежит всегда нечто большее и более общее. Поэтому никогда еще у человека, который был призван действительно установить новую религию, не было недостатка в приверженцах и единомышленниках. Таким образом, большинство всегда находится в таком положении, что может принадлежать к одной из существующих религий, и лишь немногих не удовлетворяет ни одна из них; но что я преимущественно хотел показать, это то, что в силу равного правомочия всех, указанное большинство не менее свободно, чем это меньшинство, и точно так же образует себе самобытную религию. Ведь если мы проследим в каждой истории его религиозности, то мы найдем сперва темные чаяния, которые, не проникая всецело души, исчезают неопознанными, и часто витают над каждым человеком; они, быть может, возникли как-нибудь понаслышке, не достигают определенной формы и не рождают ничего своеобразного. Лишь позднее вселенское чувство навсегда раскрывается в ясном сознании, для одного в одном, для другого — в другом определенном отношении, с которым он потом все связывает, вокруг которого все для него формируется, так что такой момент собственно определяет религию каждого; и я надеюсь, вы не подумаете, что религия человека менее самобытна и менее принадлежит ему самому только потому, что она находится в области, где уже собраны многие, и что вы усмотрите в этом равенстве не механическое влияние привычного и унаследованного, а, как и в других случаях, общую обусловленность высшими основаниями. Но сколь несомненно, что именно в этой общности, — все равно, является ли в ней кто первым или позднейшим, — лежит гарантия естественности и истинности, столь же достоверно и то, что из нее не вытекает никакого ущерба для самобытности. Ведь если даже тысячи людей до него, вместе с

ним и после него ориентируют свою религиозную жизнь на одном отношении, разве оно поэтому будет тождественным во всех, и разве религия разовьется во всех одинаково? Вспомните лишь об одном, именно что каждая определенная форма религии неисчерпаема для отдельного человека; не только потому, что она на свой определенный лад должна охватить целое, которое слишком велико для отдельного человека, но и потому, что в ней самой содержится бесконечное многообразие развития, имеющее, правда, подчиненное значение, но все же сходное с тем, в отношении которого она сама есть особая форма религии вообще. Разве уже в силу одного этого каждому не уделено достаточно работы и простора? Мне неведома ни одна религия, которой удалось бы настолько овладеть всей своей областью и настолько определить и выразить в ней все согласно своему духу, что исповедующему ее человеку с выдающимся богатством и своеобразием духа не оставалось бы возможности трудиться над ее завершением; лишь немногим из наших исторических религий было дано в пору свободы и лучшей жизни надлежащим образом использовать и завершить хотя бы ближайšie от центра части их сферы, и лишь в немногих различных формах своеобразно отпечатлеть свой общий характер. Жатвы много, а делателей мало. В каждой из этих религий открывается бесконечное поле, по которому тысячи могут рассеяться; достаточно невозделанных местностей откроется взору каждого, кто способен сотворить и взрастить что-либо самостоятельное.<sup>9</sup>

Таким образом, упрек, будто каждый, кто примыкает к какой-либо положительной религии, становится лишь представителем тех людей, которые придали силу этой религии, сам же уже не может своеобразно развиваться, — этот упрек совершенно необоснован; напротив, и здесь мы не можем судить иначе, чем в области государства и общественности. Ведь в этой последней области нам кажется болезненным и фантастическим, когда человек утверждает, что ему нет места в существующем устройстве, а что он должен выделиться из общества, чтобы сохранить свою самостоятельность. Напротив, мы убеждены, что всякий здоровый человек будет разделять со многими великий национальный характер, и именно оставаясь в нем и подчиняясь ему, всего точнее и прекраснее разовьет свою самобытность. Так и в области религии может быть лишь болезненным отклонением, когда человек отделяется от общей жизни со всеми, с кем его связала природа, и не принадлежит ни к какому более крупному целому; напротив, каждый сам собой найдет где-либо выраженным в широкой форме, или сам так выразит то, что для него есть средоточие религии. Но каждой такой общей сфере мы приписываем также неизмеримо глубокую пластичность, в силу которой из ее недр проистекают своеобразия всех людей; и в этом смысле церковь справедливо зовется общей матерью всех. Чтобы уяснить себе это на ближайшем примере, вспомните о христианстве, как об одной из таких определенных форм высшего порядка; вы найдете в нем в наше время сперва, конечно, знакомые, внешним образом бросающиеся в глаза

противоположности; но затем каждая из этих подчиненных областей делится на множество различных воззрений и направлений, каждое из которых выражает своеобразную формацию; последняя берет начало от отдельных лиц и собирает вокруг себя многих, причем, очевидно, еще остается открытым для каждого последнее и совершенно личное развитие религиозности, которое так сливается со всем его бытием, что целиком не может быть доступно никому, кроме него самого. И этой ступени развития религия должна тем более достигать в человеке, чем более он, на основании всей своей жизни, может притязать на принадлежность к вам, образованным людям. Ибо если его высшее чувство развилось, то оно должно было стать самобытным вместе с его остальными способностями—допуская, что они уже достигли развития. Или, если оно развилось, по-видимому, внезапно, после, быть может, незаметного зачатия и кратких родовых мук духа, — то и тогда его религиозной жизни прирождена самостоятельная личная форма, присуща определенной связи с прошлым, настоящим и будущим; здесь сохраняется единство сознания, так как вся позднейшая религиозная жизнь примыкает к этому мгновению и к состоянию, в котором она неожиданно явилась душе, опирается на связь с прошлым, более скудным бытием, и как бы генетически развивается из него. Но и этого мало: это первое начальное сознание **уже** должно иметь своеобразный характер, так как оно ведь может столь внезапно вступить в уже развитую жизнь лишь в совершенно определенной форме и при определенных условиях; и этот определенный характер присущ тогда и каждому следующему мгновению, так что он есть чистейшее выражение целостного существа. Когда живой дух земли, как бы отрываясь от самого себя, в определенный момент вступает в ряд органических эволюции, то возникает новый человек, самостоятельное существо, обособленное бытие которого, будучи независимо от множества его событий и действий, как и от их характера, покоится на своеобразном единстве непрерывного сознания, примыкающего к этому первому моменту бытия, и выражается в самобытной связи всех позднейших моментов с этим первым моментом; и точно так же, когда в каком-либо человеке как бы первично зачинается определенное сознание в его отношении к высшему существу, то в это мгновение возникает особая религиозная жизнь. Это есть особая жизнь не потому, что она неизбежно ограничена особым выбором воззрений и чувств, и не потому, что наличный в ней религиозный материал имеет особые качества; этот материал, напротив, одинаков у всех, кто духовно родились в одно и то же время и в одной и той же области религии; она есть особая жизнь в силу того, что у человека не может быть общим ни с кем, — в силу своеобразия того состояния, в котором душа человека впервые узнала благословение и объятие вселенной; она есть особая жизнь в силу своеобразного способа, каким человек перерабатывает созерцание вселенной и свои размышления над ним, — в силу характера и тона, с которым гармонизирует весь позднейший ряд его религиозных воззрений и чувств, и который никогда не теряется, как бы далеко человек ни ушел позднее, в общении с вечным первоисточником, от начального, детского состояния

своей религии. Всякое интеллектуальное конечное существо удостоверяет свою духовную природу и свою индивидуальность тем, что указывает на происшедшее в нем некогда — если можно так выразиться — бракосочетание бесконечного с конечным, причем ваша фантазия не способна объяснить это событие из чего-либо единичного или более раннего, ^будь то произвол или природа; и точно так же о каждом, кто может таким образом указать вам день рождения своей духовной жизни и рассказать вам чудесную историю возникновения своей религии, которая является как непосредственное воздействие на него Божества и как движение его духа, — о каждом таком человеке вы должны полагать, что он есть нечто самостоятельное, и что через него должно быть сказано нечто особое; ибо такого рода вещи не случаются в царстве религии, только чтобы произвести пустое повторение прошлого.<sup>1</sup> И как каждое органически возникшее существо объяснимо лишь из самого себя, и не может быть всецело понято, если не познавать его своеобразия из его возникновения, и последнего — из первого, как нечто по существу тождественное, — так и религиозного человека вы можете понять, лишь если вы сумеете открыть целое в том замечательном мгновении, которое он признает первым началом своей высшей жизни, или если вы сумеете, когда он изображает вам уже развитое состояние своей религии, проследить характер последней до самых темных зачатков ее жизни.

Приняв во внимание все это, я думаю, что вы уже не можете серьезно относиться ко всей этой жалобе на положительные религии, и что если вы настаиваете на ней, то это есть лишь предвзятое суждение; ведь вы относитесь слишком беспечно к нашему предмету, чтобы ваша жалоба могла быть основана на вашем личном наблюдении. Вы, конечно, никогда не испытывали потребности прильнуть к немногим религиозным людям, которых вы, быть может, встречали, хотя они всегда достойны любви и достаточно привлекательны, чтобы точнее исследовать через микроскоп дружбы или участия, по крайней мере походящего на дружбу, как они устроены для вселенной и через нее. Я же старательно изучал их, я столь же усердно отыскивал их и рассматривал 'с той же святою ревностью, какую вы посвящаете редкостям природы; и мне часто думалось, не придете ли вы к религии, если только обратите внимание на то, с каким всемогуществом Божество созидает, как свою собственную величайшую святыню, ту часть души, в которой оно преимущественно обитает, в которой проявляет себя в своих действиях и созерцает само себя, — как оно обособляет ее от всего иного, что созидается и развивается в человеке, и как оно возвеличивает себя в ней со всем своим богатством через неисчерпаемое многообразие форм. Я, по крайней мере, постоянно изумляюсь множеству замечательных формаций в столь мало заселенной области религии, изумляюсь тому, как они различаются между собой многочисленными степенями восприимчивости к одному и тому же предмету, и величайшим разнообразием их реакции на данное возбуждение, многообразием тона, вызываемого решительным

преобладанием того или иного рода чувств, и всякими идиосинкразиями возбудимости и своеобразиями настроения, в силу которых религиозное воззрение на вещи выступает почти у каждого при иных условиях. Далее я изумляюсь тому, что религиозный характер часто есть нечто совершенно особое в человеке, строго отделенное для обычного взора от всего, что открывается в его остальных задатках; что самое спокойное и трезвое в иных отношениях сознание способно здесь к сильнейшему аффекту, подобному страсти; что самая тупая к земным и обыденным вещам восприимчивость ощущает здесь до скорби глубоко, и созерцает так ясно, что доходит до экстаза и прорицания; что самая робкая во всех мирских делах душа громогласно, часто не отступая перед мученичеством, говорит миру и времени о святых вещах и в защиту их. И как удивительно составлен и сформирован часто сам этот религиозный характер! Воспитанность и грубость, способность и ограниченность, нежность и твердость перемешаны и сплетены между собой в каждом на особый лад. Где я видел все эти образы? В собственной области религии, в ее индивидуальных формах, в положительных религиях, которые вы объявляете прямой противоположностью этого; среди героев и мучеников определенной веры, той веры, которая друзьям естественной религии кажется слишком оцепенелой, — среди поклонников живого чувства, которых друзья естественной религии также считают уже слишком опасными, среди почитателей какого-либо новоявленного света и индивидуальных откровений — там я готов показать их вам во все времена и среди всех народов. Да это и не может быть иначе, и лишь там их можно найти. Подобно тому, как ни один человек не может достигнуть реального бытия, в качестве индивида, иначе, как будучи одновременно и тем же самым актом помещен в мир, в определенный порядок вещей и в среду отдельных предметов, — так и религиозный человек не может достигнуть индивидуальной жизни, если он тем же самым актом не вживется в какую-либо общую жизнь, т.е. в какую-либо определенную форму религии. То и другое есть лишь единое божественное деяние, и, следовательно, не может быть отделено друг от друга. Ибо если первичный задаток человека к этой высшей ступени сознания не имеет достаточно силы, чтобы сформироваться на определенный лад, то и действие этого задатка недостаточно сильно, чтобы начать процесс самостоятельной и бодрой религиозной жизни.

Теперь же, когда я отдал вам отчет в этом, скажите и вы мне, как обстоит дело в вашей хваленой естественной религии с развитием и индивидуализацией? Покажите мне среди исповедующих ее такое же большое многообразие сильно очерченных характеров! Ибо я должен признаться: я сам не мог найти среди них ничего подобного; и если вы хвалитесь, что этот род религии оставляет ее приверженцам больше свободы для самобытного развития, то мне кажется это одним из частых случаев злоупотребления словом «свобода», и под свободой я не могу здесь разумеать ничего, кроме свободы оставаться неразвитым, свободы даже от всякого

искушения быть чем-либо определенным, видеть и воспринимать что-либо определенное. Ведь в их душе религия играет слишком бедную роль. У них как будто совсем нет собственного пульса, собственной системы сосудов и кровообращения, т.е. нет и собственной температуры и ассимилирующей силы, и именно потому нет и собственного характера и способа выражения религии; напротив, их религия оказывается всегда зависимой от всякого особого рода нравственности и естественной чувствительности; в соединении с ними, или, вернее, покорно следуя по их стопам, она движется лениво и робко, и ее можно воспринять, лишь если случайно отдельные капли ее выделяются из этой смеси. Правда, мне иногда встречался недюжинный и сильный религиозный характер, которого приверженцы положительных религий, не без изумления перед таким редкостным явлением, выдавали за представителя естественной религии; но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что приверженцы естественной религии не признавали его подобным себе; оказывалось, что он уже всегда несколько уклонился от исконной чистоты религии разума, и воспринял в свою веру кое-что произвольное, как они это называют, и положительное, чего только не знали сторонники положительной религии, потому что оно слишком отличалось от содержания их веры. Но почему же почитатели естественной религии не доверяют каждому, кто вносит в свою религию что-либо самобытное? Дело в том, что они тоже стремятся к единообразию, только, в противоположность иной крайности, именно сектантству, к абсолютному единообразию в неопределенном. Своеобразие личного развития в естественной религии совершенно немыслимо; ведь подлинные почитатели последней не терпят даже, чтобы религия человека имела собственную историю и начиналась с какого-либо достопримечательного события. Это для них уже слишком много: ведь умеренность есть для них главное в религии; и кто может сказать о себе, что в нем внезапно из глубины души поднялись религиозные чувства, того уже заподозривают в склонности к несносному мечтательству. Человек должен делаться религиозным постепенно, так же, как он становится разумным и рассудительным, и всем другим, чем он должен быть; все должно прийти к нему через обучение и воспитание; при этом не должно иметь места ничего, что можно было бы признать сверхъестественным или хотя бы необычайным. Я не хочу сказать, что вера в универсальное значение воспитания и обучения внушает мне подозрение, что естественная религия в особенной мере страдает пороком смешения религии с метафизикой и моралью или даже превращения первой в последние; но, по меньшей мере, ясно, что ее почитатели не исходят ни из какого живого самосозерцания, и что такое самосозерцание не образует их твердого средоточия, ибо они не устанавливают ничего, что было бы признаком их общего умонастроения, и что каждый человек должен был бы пережить на собственный лад. Вера в личного Бога, мыслимого более или менее человекоподобно, и в личное бессмертие, более или менее утонченное и лишенное чувственных черт, — оба эти положения, к которым у них сводится все, заведомо для них не зависят от какого-либо особого воззрения

или способа восприятия; поэтому они и не спрашивают никого из тех, кто к ним примыкает, как он пришел к своей вере; напротив, так как они мнят себя способными доказать свою веру, то они полагают, что каждому человеку вера прививается через доказательства. Вряд ли вы могли показать у них иное и более определенное средоточие. То малое, что содержит их тощая и тонкая религия, отмечено само по себе неопределенной многозначностью; у них есть провидение вообще, справедливость вообще, божественное воспитание вообще, и все это в своих взаимных отношениях является у них то в той, то в иной перспективе, и имеет в разных случаях различное значение. Или, если здесь можно найти некоторое общее отношение к одному пункту, то этот пункт лежит вне области религии, и это есть отношение к чему-то чуждому, например, требование, чтобы нравственность не терпела ущерба, или чтобы влечение к счастью получало некоторое удовлетворение, или что-либо иное, о чем никогда и не спрашивали истинно религиозные люди при упорядочении элементов своей религии; такого рода отношения еще более рассеивают и разбрасывают во все стороны их убогое религиозное достояние. Итак, эта естественная религия не имеет для своих религиозных элементов никакого единства определенного воззрения; она, следовательно, не есть определенная форма, самобытное индивидуальное выражение религии, и исповедующие ее одну не имеют определенного местопребывания в сфере религии, а суть чужестранцы, родина которых — если они вообще имеют таковую, в чем я сомневаюсь, — должна находиться где-либо в ином месте. Эта естественная религия напоминает мне ту массу, которая, как говорят, в тонком и рассеянном виде витает между мировыми системами, слегка притягиваемая то той, то другой из них, но настолько слабо, что она не может быть вовлечена в их вихрь. Для чего она существует, — о том ведают боги; быть может, для того, чтобы показать, что и неопределенное может некоторым образом существовать. Но это есть все же, собственно, лишь ожидание бытия, и к бытию они могут прийти, лишь если их захватит новая сила, более могущественная, чем все прежние, и на новый лад. Ибо я не могу признать за ними ничего иного, кроме темных чаяний, предшествующих тому живому сознанию, в котором человеку раскрывается его религиозная жизнь. Существуют некоторые темные эмоции и представления, которые совсем не связаны со своеобразием человека, а как бы заполняют промежуточные пространства в его натуре; так как они проистекают лишь из общей жизни и суть во всех людях одно и то же, то и религия людей, которые обладают только ими, есть лишь невнятный отзвук окружающей их религиозности. В лучшем случае это есть естественная религия в том смысле, в каком говорят, например, об естественной философии, или естественной поэзии, прилагая это название к таким созданиям, в которых даже нет ничего первичного и которые суть если не сознательные неумелые подражания, то все же лишь грубые проявления поверхностных задатков; и этим обозначением их отличают от жизненно творческой науки и искусства и от их творений. Но эти люди не жаждут с тоской того лучшего, что можно найти лишь в религиозном общении и в его



продуктах, и не ценят его особенно высоко из сознания его недостижимости для них; наоборот, они изо всех сил борются против него. Подлинная сущность естественной религии состоит именно в отрицании всего положительного и характерного в религии и в страстной полемике против него. Поэтому она и есть достойный продукт той эпохи, коньком которой была та же жалкая всеобщность и пустая трезвость, которые более, чем что-либо иное, во всех областях противодействуют истинной культуре. Две вещи они особенно ненавидят: они нигде не хотят начинать с исключительного и непостижимого, и во всей их жизни и деятельности не должно быть заметно следа какой-либо школы. Это гибельное направление вы встречаете во всех науках и искусствах, оно проникло и в религию, и его продуктом является описанная бессодержательная и бесформенная «естественная религия». Они хотели бы быть самородками и самоучками в религии, но они взяли от нее лишь то, что грубо и неразвито; для создания чего-либо самобытного в них нет ни силы, ни воли. Они восстают против всякой определенной религии, которая уже существует, так как ведь она вместе с тем есть и школа; но если бы им могло встретиться что-либо, из чего в них развилась бы собственная религия, то они столь же горячо восстали бы и против этого, так как ведь и из этого могла бы возникнуть школа. И, таким образом, их борьба против всего положительного и произвольного есть вместе с тем борьба против всего определенного и реального. Если определенная религия не должна начаться с какого-либо первичного факта, то она вообще не может начаться; ибо должно же быть общее основание, почему какому-либо религиозному элементу отдается особое предпочтение и почему он выдвигается в центр; и этим основанием может быть лишь некоторый факт. И если религия не должна быть определенной, то ее вообще не существует; ибо бессвязные и шаткие чувства не заслуживают этого имени. Вспомните, что говорят поэты о состоянии душ до рождения; подумайте, что получилось бы, если бы такая душа пожелала насильственно сопротивляться своему вступлению в мир, потому что она не хотела бы быть тем или другим человеком, а лишь человеком вообще: эта полемика против жизни есть полемика естественной религии против положительных, и эта нерожденность есть вечное состояние исповедующих ее.

Итак, если вам действительно важно рассмотреть религию в ее определенных формах, вернемся же назад от этой просвещенной естественной религии к презренным положительным религиям, где все сильно, действенно и прочно, где каждое отдельное созерцание имеет свое определенное содержание и самостоятельное отношение к остальным, каждое чувство—свою собственную сферу и особую связь; где вы можете встретить каждое видоизменение религиозности и каждое душевное состояние, которое может возбуждать в человеке религия; где вы находите каждую ее часть в ком-либо развитой, и каждое из ее действий в ком-либо завершенным; где все общественные организации и все отдельные проявления свидетельствуют о высокой ценности, которая придается религии, почти вплоть до забвения

всего остального; где святая ревность, с которой она рассматривается, сообщается и переживается, и детская тоска, с которой люди ждут новых откровений небесных сил,<sup>11</sup> гарантирует нам, что ни один из ее элементов, который может вообще быть воспринят с этого пункта, не был упущен, и ни один из ее моментов не исчез, не оставив по себе памятника. Рассмотрите все многообразные формы, в которых уже проявился всякий отдельный способ общения со вселенной; пусть вас не пугает ни таинственный мрак, ни странные и поражающие на первый взгляд черты, и не допускайте ложной мысли, что все это — одно лишь воображение и вымысел: ройте все глубже там, где остановился ваш волшебный жезл, и вы обязательно обнаружите небесное. Но смотрите и на человеческие формы, которые должна была принимать божественная религия! Не упускайте из виду, что она всюду носит на себе следы культуры каждой эпохи, истории каждой человеческой расы, что она часто должна являться в рабском виде, обнаруживая своими украшениями и внешними придатками убогость своих учеников и своего местопребывания, — иначе вы не сумеете надлежащим образом разделять и различать. Не упускайте из виду, как часто ее рост задерживался тем, что ей не давали простора развивать ее силы, как часто она жалостно погибала в раннем детстве от дурного обращения и неудачного питания! И если вы хотите охватить целое, не останавливайтесь среди различных форм религии только на том, что блистало тысячелетиями, владело великими народами и прославлялось поэтами и певцами; вспомните, напротив, что то, что было исторически и религиозно наиболее замечательным, было часто достоянием лишь немногих и оставалось скрытым от обыденного взора.<sup>12</sup>

Но если вы, таким образом, обратите внимание на надлежащие предметы и будете их сполна обзрывать, то все же останется еще трудным делом открыть дух религий и всецело их постигнуть. Еще раз предупреждаю вас: не пытайтесь добыть его в общей форме, посредством отвлечения того, что обще всем, исповедующим определенную религию; вы заблудитесь в тысячах изысканий на этом пути, и в конце концов найдете не дух религии, а лишь определенное количество религиозного материала. Вы должны вспомнить, что ни одна из религий не реализовалась сполна, и что вы не ранее узнаете ее, чем — оставив попытки найти ее в определенном месте — будете в состоянии сами дополнить ее и определить, как должно было бы в ней развиваться то или иное начало, если бы ее точка зрения была проведена до конца; и если это применимо к каждой положительной религии вообще, то это применимо и к каждому ее отдельному периоду и к каждой подчиненной ее формации. Вы не можете достаточно твердо запечатлеть в себе мысль, что все сводится к тому, чтобы найти основное отношение каждой религии; пока вы его не имеете, вам не поможет никакое знание единичного, и вы не будете иметь его, пока вам не уяснится теснейшая связь всего частного с единым центром. И даже если вы будете руководиться этим правилом исследования, которое есть ведь только пробный камень, вам еще будут угрожать тысячи заблуждений; многое будет вставать на вашем пути и отклонять ваш взор в

ложную сторону. Прежде всего, я прошу вас не упускать из виду различие между тем, что образует сущность отдельной религии, поскольку она есть определенная форма и выражение религии вообще, и тем, что определяет ее единство как школы и объединяет ее как таковую. Религиозные люди, безусловно, историчны; это есть немалое их достоинство но в этом и источник больших недоразумений. Мгновение, когда они сами были охвачены сознанием, которое сделалось средоточием их религии, им всегда свято; оно представляется им непосредственным воздействием Божества, и, говоря о том, что своеобразно в их религии, и о форме, которую она приобрела в них, они всегда указывают на него. Вы можете себе представить поэтому, насколько более еще им должно быть свято мгновение, в котором это бесконечное созерцание было вообще впервые установлено в мире как основа и средоточие самостоятельной религии; ведь к этому мгновению исторически примыкает все развитие этой религии во всех поколениях и личностях, а этот общий объем религии и религиозная культура целой массы людей есть ведь нечто неизмеримо большее, чем их собственная религиозная жизнь и та малая часть отражения религии, представителем которой является каждый из них лично. Поэтому они возвеличивают этот факт всеми способами, украшают его всей роскошью религиозного искусства, поклоняются ему как самому обильному и благодетельному чудесному воздействию высшего существа, и никогда не говорят о своей религии, никогда не устанавливают какого-либо из ее элементов, не поставив его в связи с этим фактом и не изобразив его в такой связи. Если, таким образом, постоянное упоминание этого факта сопровождает все проявления религии и придает им особую окраску, то вполне естественно, что этот факт смешивается с самым основным воззрением религии; это соблазняло весьма многих и исказило понимание почти всех религий. Итак, не забывайте никогда, что основным воззрением религии может быть лишь некоторое созерцание бесконечного в конечном, некоторое общее религиозное отношение, которое может встречаться и во всех других религиях, и даже должно было бы встречаться в них, если бы они были законченными, вб только у них не ставится в центре. — Я прошу вас не причислять к религии всего, что вы найдете у ее героев и в священных памятниках, и не видеть в этом отличительный дух их религии. Я понимаю под этим не мелочи, как вы легко могли бы подумать, и не такие вещи, которые по суждению всех совершенно чужды религии, а именно то, что часто смешивается с ней. Вспомните, как непреднамеренно составлялись эти памятники, и что при их составлении невозможно было заботиться об удалении из них всего, что не есть религия; примите во внимание, что эти люди вступали в многообразные отношения с миром и никоим образом не могли при каждом слове, которое они записывали, говорить: «Но это не относится к вере»; и потому, когда они проповедают житейскую мудрость или мораль, или выражают метафизику и поэзию, то не думайте, что все это тоже нужно втиснуть в религию и что в этом также нужно искать ее характер. Мораль, по крайней мере, должна ведь всюду быть единой, и если различия в ней суть всегда нечто, подлежащее

устранению,<sup>1</sup> то они не могут определять различия между религиями, которые не должны быть всюду тождественными. — Но более всего я прошу вас не поддаваться действию двух враждебных принципов, которые всюду и почти с самого начала пытались исказить и затуманить дух каждой религии. всюду скоро возникали частью люди, которые хотели ограничить дух религии отдельными догматами и исключить из него все, что еще не развилось до согласия с последними, частью же люди, которые, будь то из ненависти к полемике, или чтобы сделать религию приятнее для неверующих, или же по неразумию, неведению и отсутствию чутья, объявляли все своеобразное мертвой буквой, чтобы утвердить неопределенное. Берегитесь тех и других! У неподвижных систематиков и у плоских индифферентистов вы не найдете духа какой-либо религии; вы найдете его лишь у тех, кто живут в ней, как в своей стихии, и подвигаются в ней все дальше, не питая безумной мечты охватить ее целиком.

Удастся ли вам с помощью таких предосторожностей открыть дух религий — этого я не знаю; но я боюсь, что и религия может быть понимаема лишь через самое себя, и что ее особое строение и характерные отличия уяснятся вам не ранее, чем когда вы сами будете принадлежать к какой-либо религии. Насколько вам посчастливится разгадать грубые и примитивные религии отдаленных народов, или выделить многообразные религиозные явления, которые развиты в прекрасной мифологии греков и римлян, — это меня не заботит; пусть руководят вами их боги! Но когда вы приближаетесь к святейшему, к той области, где вселенная воспринимается в своем высшем единстве и целостности — коща вы хотите рассматривать различные формы высшей ступени религии, не чужестранные и далекие, а те, которые более или менее существуют среди нас, то мне не может быть безразличным, найдете ли вы правильную точку зрения, с которой вы должны смотреть на них.

Правда, я должен был бы говорить вам лишь об одной религии; ибо иудейство уже давно есть мертвая религия, и те, кто теперь еще носят его окраску, в сущности, только рыдают над нетленной мумией и оплакивают его смерть и печальное наследие. Но мне хочется сказать вам несколько слов и об этой форме религии, не потому, что она была предшественницей христианства — я ненавижу в религии такого рода исторические оценки; каждая религия имеет собственную и вечную необходимость, и каждая имеет первичное начало. Нет, меня привлекает прекрасный детский характер иудейства, и этот характер настолько загроможден, и иудейство, как целое, есть такой разительный пример порчи и полнейшего исчезновения религии из масс, в которых она некоща находилась, что именно поэтому стоит поговорить о ней. Отнимите все политическое и, с Божьей помощью, все моральное, чем обычно характеризуется это религиозное направление; забудьте о всякой попытке связать государство с религией — чтобы не сказать: с церковью; забудьте, что иудейство было вместе с тем в некотором

смысле орденом, основанным на старой истории рода и поддерживаемым жрецами; взгляните лишь на подлинно религиозное в нем, к чему все это не относится, и скажите мне, каково просвечивающее здесь повсюду сознание человека о его положении вообще и об его отношении к вечному? Это есть сознание всеобщего непосредственного возмездия, самобытной реакции бесконечного против всего отдельного конечного, что считается возникшим по произволу. Так все здесь рассматривается, — возникновение и уничтожение, счастье и несчастье, и даже в самой человеческой душе постоянно чередуется проявление свободы и произвола и непосредственное воздействие Божества. Все иные свойства Бога, которые также воспринимаются, подчинены этому правилу и рассматриваются всегда в связи с ним; награждающим, карающим, укрощающим единичное с помощью единичного, — таким всегда здесь представляется Божество. Когда ученики спросили однажды Христа: «Кто согрешил, они ли или их отцы?», и Он им ответил: «Думаете ли вы, что эти грешили более, чем другие?», то в этом вопросе в самой резкой форме был выражен религиозный дух иудейства, а в ответе Христа — полемика против него. Отсюда — проходящий всюду параллелизм, который не есть случайная форма, и диалогический характер, который встречается во всей сфере религиозности. Вся история, будучи постоянным чередованием между действием человека и ответным действием Божества, изображается как беседа между Богом и человеком в слове и действии, и все, что включено в историю, объединено лишь этой точкой зрения. Отсюда святость традиции, которой поддерживалась последовательность этой великой беседы, и невозможность достичь религии иначе, чем через посвящение в эту беседу; отсюда еще в позднейшие времена спор между сектами о том, владеют ли они этой продолжающейся беседой. Из этого же воззрения проистекает то, что в иудейской религии дар прорицания развит более совершенно, чем в какой бы то ни было иной; ведь в прорицании даже христиане — лишь ученики иудейской религии. Дело в том, что вся эта идея носит в высшей степени детский характер и рассчитана лишь на небольшую арену, где ничто не запутывается и, при простоте целого, естественные последствия действий ничем не нарушаются и не задерживаются; но чем более народ, исповедующий эту религию, выдвигался на мировую арену и вступал в связь со многими народами, тем труднее становилось выражение этой идеи, и фантазия должна была предвосхищать слово, которое еще предстояло произнести Всевышнему, и как бы издали магически раскрывать взору вторую часть того же момента, преодолевая пространство и время. Такова сущность прорицания; и стремление к нему неизбежно должно было сохранять значение главного явления иудейства, пока было возможно удержать указанную основную идею иудейства и вместе с ней — первоначальную форму иудейской религии. Вера в Мессию была ее высшим созданием; она была прекраснейшим плодом, но и последним усилием ее существа. Новый владыка должен был явиться, чтобы восстановить в прежнем величии Сион, в котором умолк голос Господа; и подчинение

народов старому закону должно было распространить на мировые события тот простой ход патриархального времени, который был нарушен распрями народов, взаимным столкновением их сил и различием нравов. Эта вера сохранилась надолго; так отдельный плод остается висеть до суровой зимы и засыхает на ветви дерева, ствол которого давно уже потерял жизненную силу. Ограниченность точки зрения предоставила этой религии, как религии, лишь краткий срок жизни. Она умерла; когда были завершены ее священные книги, то беседа Иеговы с его народом была признана законченной. Политический союз, который примыкал к ней, еще долго влачил дряхлое существование, а внешние ее черты сохранились еще до более позднего времени — неприятное явление механического движения, после того, как дух и жизнь уже давно исчезли.

Более прекрасно и возвышенно, более достойно взрослого человечества, глубже проникает в дух систематической религии и шире распространяется над вселенной первичное воззрение христианства. Оно есть не что иное, как созерцание противоборства всего конечного единству целого, и вместе с тем отношения к этому противоборству Божества, которое смиряет вражду против себя и ограничивает растущее отдаление, рассеиваясь по отдельным пунктам, которые суть одновременно конечное и бесконечное, человеческое и божеское. Гибель и искупление, вражда и примирение, — таковы два неразрывно связанные между собой основные отношения этого жизнеощущения, и ими определяется характер всего религиозного материала в христианстве и вся его форма. Духовный мир удалился от своего совершенства и своей непреходящей красоты, и удаляется все быстрее; но всякое зло, даже и то, что конечное должно погибнуть, не завершив круга своего бытия, есть следствие воли, своекорыстного стремления обособленного существа, которое всюду отрывается от связи с целым, чтобы быть самодовлеющим; и даже смерть явилась вследствие греха. Духовный мир, переступая от худого к еще более худшему, бессилён создать что-либо, в чем действительно жил бы божественный дух; рассудок затемнен и уклонился от истины, сердце испорчено и лишено славы перед лицом Бога, и образ бесконечного погас в каждой части конечной природы. И соответственно этому изображается и божественное провидение во всех его проявлениях. Оно направляется в своем действии не на непосредственные следствия в чувстве; оно не имеет в виду счастье и страдания, которые оно создает; оно уже не стесняет и не поощряет отдельных действий; оно мыслит лишь о том, чтобы предупредить великую гибель, оно хочет разрушать беспощадно все, что не может быть спасено, и с новыми силами оплодотворять из себя новые творения. Оно творит чудеса и знамения, которые прерывают и нарушают ход вещей; оно шлет посланников, в которых в большей или меньшей степени обитает божественный дух, чтобы они изливали среди людей божественные силы. Таким же представляется и религиозный мир. Даже когда человек стремится через свое самосознание вступить в общение с единством целого, конечное в нем противодействует

ему, ищет и не находит, и теряет то, что нашло; будучи всегда односторонним и шатким, всегда останавливаясь на единичном и случайном, и всегда затемняя свое созерцание желаниями, оно теряет из взора свою цель. Все поглощается земным духом, все увлекается присущим ему нерелигиозным началом; Божество принимает все новые меры, все более великие откровения выступают из недр прежних откровений силою одного только Божества, все более возвышенные посредствующие звенья устанавливает оно между собой и человеком, и в каждом новом своем посланнике оно все теснее сближает божественное с человеческим, чтобы научить людей познавать вечное существо; и все же никогда не прекращается старая жалоба, что человек не внемлет голосу духа Божия. Именно на этот лад христианство чаще и охотнее всего воспринимает Бога и божественный миропорядок в религии и в ее истории; и то, что оно, таким образом, пользуется самой религией как материалом для религии и, следовательно, есть как бы высшая степень последней, — это есть отличительный признак его характера, и это определяет всю его форму. Именно потому, что оно предполагает всюду наличность безбожного начала, и это допущение образует существенный элемент чувства, с которым связывается все остальное, — христианство имеет всецело полемический характер. — Оно полемично в своем внешнем самообнаружении; ибо, чтобы уяснить свою внутреннюю сущность, оно должно вскрыть всякую порчу, лежит ли она в нравах или в образе мыслей, и прежде всего вражду против сознания высшего существа, — само безбожное начало. Поэтому оно беспощадно обличает всякую ложную мораль, всякую дурную религию, и всякое несчастное смешение той и другой, которым должны быть скрыты их обоюдные изъяны; оно проникает в глубочайшие тайники испорченного сердца и освещает святым факелом собственного опыта всякое зло, которое крадется в темноте. Так оно разрушило последнее ожидание своих благочестивых современников — и это было почти первым его действием, когда оно появилось — и признало нечестивым и безбожным желать и ждать иного возрождения, кроме того, цель которого есть лишь более чистая вера, более высокое понимание вещей и вечная жизнь в Боге. Смело возносит оно язычников над разрывом, который они установили между жизнью и миром богов и людей. Кто не живет и не есть в вечном, тому оно совершенно неведомо; кто утратил это естественное чувство, это внутреннее сознание под действием множества чувственных впечатлений и вожделений, тот в своем ограниченном духе еще не владеет религией. Так его глашатаи вскрывали всюду повапленные гробы, и выносили на свет кости мертвецов; и если бы они были философами, эти первые герои христианства, они так же боролись бы против порчи философии. Конечно, они всюду узнавали и основные черты божественного подобия; они, конечно, видели, что за всеми искажениями и вырождениями таится небесное зерно религии; но, как христианам, им была важнее всего удаленность всего единичного от Божества, требующая посредничества, и поскольку они выражали христианство, они устремлялись лишь на это. — Но христианство также

полемично, и притом столь же остро и резко, даже внутри самого себя, в теснейшем общении своих святых. Нигде религия не идеализирована так абсолютно, как в христианстве, в силу его первичной предпосылки; и именно этим одновременно утверждена постоянная борьба против всего реального в религии, как задача, которая никогда не может быть выполнена до конца. Именно потому, что всюду есть и действует безбожное, и что все существующее представляется вместе с тем нечестивым, — бесконечная святость есть цель христианства. Никогда не удовлетворенное достигнутым, оно даже в самых чистых созданиях, в самых святых своих чувствах все же ищет следов безбожного, следов противоположной единству целого и уклоняющейся от него тенденции всего конечного. В тоне высочайшей вдохновенности один из древнейших писателей критикует религиозное состояние общин; с наивной откровенностью великие апостолы говорят о самих себе; и именно так должен каждый вступать в священный круг, не только неся свое вдохновение и наставничество, но и смиренно отдавая на общий суд свою душу; и ничто не должно быть пощажено, даже самое любимое и ценное; ничто не должно быть лениво отложено в сторону, даже то, что пользуется всеобщим признанием. То самое, что эзотерически восславляется как святое и признается сущностью религии, экзотерически все еще должно подвергаться строгому и неоднократному суду, чтобы от него все более отделялось нечистое, и чтобы блеск божественных красок все ярче сиял в каждом благочестивом движении души. В природе вы часто видите, как сложная масса, когда вы направили ее химические силы на какой-либо внешний ей объект, преодолев этот объект или восстановив равновесие, начинает сама бродить и выделяет нечто из себя; и точно так же обстоит дело с отдельными элементами и с целыми массами христианства; оно направляет в конце концов свою полемическую силу против самого себя; вечно озабоченное тем, чтобы не впитать в себя через борьбу с внешним безбожием что-либо чуждое, и не нести еще и в себе самом начало порчи, оно не страшится самых сильных внутренних потрясений, чтобы изгнать из себя чуждые начала. Такова история христианства, основанная на его сущности. Я не мир несу, но меч, — говорит его Основатель; и Его кроткая душа не могла при этом мыслить, что Он пришел положить начало тем кровавым движениям, которые всецело противны духу религии, или жалким словесным спорам, относящимся к мертвому материалу, которого не воспринимает живая религия; Он предвидел только эти священные битвы, которые часто, как Он описывал, жестоко отрывают друг от друга сердца и почти запрещают самые тесные жизненные связи; и предвидя их. Он их предписал. — Но не только состав отдельных элементов христианства подвергается этому постоянному просеванию; и на его непрерывное бытие и жизнь в душе направлено ненасытное желание все большего очищения и обогащения. В каждое мгновение, когда в душе не может быть воспринято религиозное начало, мыслится господствующим начало противорелигиозное; ибо нет иной противоположности, кроме той, которая состоит в уничтожении чего-либо сущего и в сведении его на ничто в его проявлении. Каждый



перерыв религии есть неверие; душа не может ни на мгновение сознавать себя лишенной восприятия и чувства бесконечного, не сознавая себя вместе с тем враждебной ему и удаленной от него. Так христианство впервые и по существу поставило требование, чтобы благочестие было неизменным состоянием в человеке, и отказывается удовлетвориться даже сильнейшими его проявлениями, если оно принадлежит лишь некоторым частям жизни и владеет лишь ими. Никогда благочестие не должно замирать в покое, и ничто не должно быть настолько противоположным ему, чтобы оно не могло существовать совместно с ним; со всех точек конечного мы должны глядеть на бесконечное; со всеми ощущениями души, откуда бы они ни возникли, со всеми действиями, на что бы они ни направлялись, мы должны быть в состоянии сочетать религиозные чувства и воззрения. Такова подлинная высочайшая цель виртуозности в христианстве.

Каким образом первичное воззрение христианства, с которым связаны в нем все иные отношения, определяет, в частности, характер его чувств, — это вам не трудно будет найти. Как назовете вы чувство неудовлетворенной жажды, которая направлена на великий предмет, и бесконечность которой вы сами сознаете? Что охватывает вас, когда вы встречаете теснейшее смешение святого с мирским, возвышенного с ничтожным? И как назовете вы настроение, которое иногда вынуждает вас всюду предполагать это смешение и всюду искать его? Не изредка овладевает оно христианином; нет, господствующий тон всех его религиозных чувств есть эта святая скорбь — ибо таково единственное имя, которое дает мне для его обозначения язык; оно сопровождает всякую радость и печаль, всякую любовь и боязнь; и даже в его гордости, как и в его смирении, она есть основной тон, на который все настраивается. Если вы умеете на основании отдельных черт воспроизводить внутреннее содержание души, не давая себя смущать тем чужеродным началам, которые, Бог ведает откуда, к ним примешаны, то вы увидите, что в Основателе христианства безусловно господствует это настроение. Если писатель, который оставил нам лишь несколько страниц, написанных на простом языке, не слишком ничтожен для вас, чтобы обратить на него внимание, то в каждом слове, сохранившемся от этого любимого друга Христа, вы почувствуете этот тон.<sup>14</sup> И если когда-либо какой-либо христианин дал вам прислушаться к высшей святине своей души, то вы, наверное, восприняли в ней тот же самый тон.

Таково христианство. Я не хочу приукрашивать и его искажений и многообразных извращений; ведь в состав его первичного мировоззрения именно и входит мысль, что все святое портится, становясь человеческим. Я не хочу также вводить вас далее в его частности; борьба мнений в нем открыта для вас, и я надеюсь, что я дал вам нить, с помощью которой вы можете пробраться сквозь все аномалии и, не заботясь о выходе из лабиринта, точнейшим образом обозреть его. Держитесь только крепко за нее и с самого начала смотрите только на ясность, многообразие и богатство

развития этой первой основной идеи. Когда я созерцаю в изуродованных жизнеописаниях священный образ Того, Кто был возвышенным создателем самого дивного из всего, что существует в религии, то я изумляюсь не чистоте Его нравственного учения, в котором ведь высказано лишь то, что обще всем людям, дошедшим до сознания своей нравственной природы, и ценность которого не увеличивается ни тем, что оно было вообще высказано, ни тем, что оно было высказано впервые; я изумляюсь не своеобразию Его характера, теснейшему сочетанию высокой силы с трогательной кроткостью, так как всякая возвышенно простая душа в особом состоянии должна выразить в определенных чертах и великий характер; все это лишь чисто человеческие черты; но истинно божественна — та ясность, с которой в Его душе развилась великая идея, для выражения которой Он явился, — идея, что все конечное нуждается в высшем посредничестве, чтобы соединиться с Божеством, и что человек, который охвачен конечным и обособленным, и которому даже само божественное слишком легко представляется в этой форме, может найти спасение лишь в искуплении. Тщетна была бы дерзость стремиться сорвать завесу, которая скрывает и должна скрывать возникновение в Нем этой идеи; ведь и в религии всякое начало таинственно. Наглое кощунство, которое дерзнуло на это, могло только исказить божественное своим утверждением, что Он исходил из старой идеи своего народа, тогда как Он именно хотел высказать уничтожение этой идеи, и действительно высказал это в самой дивной форме, утверждая, что Он — тот, кого они ждали. Будем рассматривать наполнявшее всю Его душу живое сочувствие к духовному миру лишь так, как мы его находим в Нем, именно развитым до совершенства. Если все конечное нуждается в посредничестве высшего, чтобы не удаляться все более от вечного и не быть развеянным в пустоту и небытие, чтобы поддерживать и осознавать свою связь с целым, — то само посредствующее начало, которое ведь не должно в свою очередь нуждаться в посредничестве, отнюдь не может быть только конечным; оно должно принадлежать и тому и другому, оно должно соучаствовать в божественной сущности именно так же и в том же самом смысле, в каком оно соучаствует в конечной природе. Но что Он видел вокруг себя, кроме конечного и нуждающегося в посредничестве и где было что-либо посредническое, кроме Него? Никто не знает Отца, кроме Сына, и того, кому Он хочет открыться. Это сознание единственности своего знания Бога и бытия в Нем, непосредственности этого знания и его способности выразить себя и пробудить религию было в Нем вместе с тем сознанием Его посреднического призвания и Его божественности. Я не хочу говорить о том, что Он был выдан грубой силе своих врагов, без надежды на сохранение жизни, — ибо это невыразимо ничтожно; но Он был покинут и готовился навеки умолкнуть, не видя вокруг себя какого-либо действительно прочного устройства общения своих учеников; Он стоял перед лицом торжественного великолепия старого, испорченного строя, который противопоставлял ему свою силу и могущество; Он был окружен всем, что способно вызывать почитание и требовать подчинения, — всем, чему Его самого учили с детства

поклоняться; и когда Он в одиночестве, не поддерживаемый ничем, кроме своего чувства, сказал свое «да», — величайшее слово, которое когда-либо сказал смертный, — то это было прекраснейшей апофеозой, и нет Божества более достоверного, чем то, которое так возвещает само себя.<sup>15</sup> Не удивительно, что, имея такую веру в самого себя, Он был уверен не только в своей посреднической миссии для многих, но и в том, что оставит после себя великую школу, которая построит свою общую религию на его религии; Он был так уверен в этом, что установил символы для нее, когда ее еще не существовало, в убеждении, что уже этого достаточно для укрепления общины Его последователей; и еще ранее с пророческим энтузиазмом Он говорил об увековечении памятников своей личной жизни среди своих учеников. Но никогда Он не утверждал, что Он — единственный посредник, единственный человек, в котором осуществилась Его идея; нет, все, кто примыкали к Нему и составляли Его церковь, должны были быть такими посредниками вместе с Ним и через Него. И никогда Он не смешивал своей школы со своей религией, никогда не требовал, чтобы Его идею признавали во имя Его личности; Он требовал, наоборот, признания последней во имя первой; и Он готов был даже терпеть, чтобы сомневались в Его достоинстве как посредника, лишь бы не изрекалась хула на дух, на начало, из которого развилась в Нем и в других Его религия; и Его ученикам также было чуждо это смещение. Апостолы без колебаний признавали христианами и относились, как к христианам, к ученикам Крестителя, которые ведь были посвящены в сущность христианства лишь весьма несовершенно, и принимали их в число действительных членов общины. И даже теперь следовало бы так относиться; кто исходит из той же общей точки зрения в своей религии, есть христианин, без отношения к школе, все равно, выводит ли он исторически свою религию из себя самого или из кого-либо иного; ведь если ему потом показать Христа со всем Его влиянием, то само собой случится, что он неизбежно признает Христа лицом, которое исторически стало средоточием всего посредничества—существом, которое действительно принесло искупление и примирение.<sup>16</sup> Никогда также Христос не выдавал религиозных воззрений и чувств, которые Он сам мог сообщить, за весь объем религии, которая должна был исходить из Его основного чувства; Он всегда указывал на живую истину, которая придет после Него, хотя и будет опираться на Него. Так же мыслили и Его ученики. Они никогда не ставили границ святому Духу; они всегда признавали его безграничную свободу и непрерывное единство его откровений, и если позднее, — когда прошла первая пора его расцвета, и он, казалось, покоился от своих трудов — эти труды, поскольку они содержались в священных писаниях, были незаконно объявлены замкнутым кодексом религии, — то это было совершено лишь теми, кто считали дремоту духа за его смерть, — теми, для кого умерла сама религия; напротив, все, кто еще чувствовали в себе ее жизнь или воспринимали ее в других, всегда высказывались против этого нехристианского деяния. Священные писания стали Библией по собственной силе; но они не воспрещают никакой иной книге также стать Библией, и то,

что написано с такой же силой, они охотно позволили бы присоединить к себе; скорее все, что появляется и позднее, как выражение совокупной церкви и, следовательно, божественного духа, должно уверенно примыкать к священным писаниям, хотя на них, как первенцах духа, и лежит несмываемая печать особой святости и достоинства. В силу этой безграничной свободы и существенной бесконечности, основная идея христианства о божественных силах-посредниках развилась на различные лады, и все воззрения и чувства, выражающие пребывание божественной сущности в конечной природе, были в совершенстве развиты в пределах христианства. Так, священное писание, в котором также особым образом пребывает божественная сущность и небесная сила, было вскоре признано логическим посредником, который раскрывает для познания Божества конечную и испорченную природу разума; и святой Дух, в позднейшем значении этого слова, был признан этическим посредником, который помогает действительно приближаться к Божеству; более того, многочисленная часть христиан еще и теперь охотно признает посредническим и божественным существом каждого, кто может засвидетельствовать, что своей божественной жизнью или каким-либо впечатлением божественности он впервые пробудил высшее сознание хотя бы в небольшом кругу. Для других Христос остался единственным, и еще другие объявили посредниками себя самих, или что-либо иное. Как бы часто здесь ни грешили по форме и содержанию, самый принцип остается истинно христианским, пока он свободен. Так, иные отношения человека в их связи со средоточием христианства выразились в иных чувствах и воплотились в иные образы, которые не упоминаются в речах Христа и вообще в священных книгах, и многие иные найдут себе выражение еще позднее, так как ведь далеко не все бытие человека вылилось в своеобразную форму христианства; христианству суждена еще долгая история, несмотря на все речи о его скорой или уже наступившей гибели.

И как оно может погибнуть? Правда, его живой дух часто и подолгу дремлет, и в состоянии оцепенения укрывается в мертвую оболочку буквы, но он всегда снова просыпается, как только погода в духовном мире благоприятствует его оживлению и приводит в движение его соки; и потому он еще часто будет возвращаться и принимать все новые формы. Основная идея всякой положительной религии сама по себе вечна и всеобща, ибо она есть составная часть бесконечного целого, в котором все должно быть вечным; но все ее развитие и бытие во времени не может быть в том же смысле всеобщим и вечным; ведь, чтобы именно в этой идее видеть центр всей религии, — для этого необходимо не только определенное направление сознания, но и определенное состояние человечества. Если это состояние погибло в свободной игре вселенской жизни, и если развитие идет далее так, что оно уже не может вернуться, то и данное отношение не может более удержать того значения в сознании, в силу которого оно ставило в зависимость от себя все остальные, и тогда эта форма религии уже не может далее существовать. Это уже давно случилось со всеми ребяческими

религиями, относящихся к тому времени, когда у человечества еще не было сознания его органических сил: их приходится теперь собирать как памятники прошлого и складывать в архив истории; их жизнь прошла и никогда не вернется. Христианство, которое возвышается над всеми религиями, более исторично и более смиренно в своем величии: оно открыто признало бренность своего временного бытия. Настанет время, — говорит оно, — когда уже не будет речи ни о каком посреднике, и когда Отец будет властвовать во всем. Но когда же придет это время? Я, по крайней мере, могу лишь думать, что оно лежит вне всякого времени. Сознание, что все великое и божественное в человеческих вещах подвержено порче, есть одна половина первичного созерцания христианства; наступит ли действительно время, когда она — я не хочу сказать: не будет совсем восприниматься — но не будет бросаться в глаза? Когда человечество будет двигаться вперед столь равномерно и спокойно, что почти нельзя будет заметить, как случайный противный ветер отгоняет его несколько назад в великом океане, который оно пересекает, и только знаток, высчитывающий его движение по звездам, будет знать это, остальные же, смотрящие невооруженным глазом на сами события, не будут непосредственно замечать регресс в человеческих отношениях? Я хотел бы, чтобы это было так, и при этом условии я охотно стоял бы над развалинами той религии, которую я почитаю. Что некоторые блестящие и божественные точки суть первичные носители всякого исправления этой порчи и всякого нового и более тесного сближения конечного с Божеством, — это есть вторая половина исконной христианской веры; и наступит ли когда-либо время, когда сила, влекущая нас к высшему существу, будет столь равномерно распределена между всей массой человечества, что те, которых она движет сильнее, перестанут иметь значение посредников для других? Я хотел бы этого, и охотно готов был бы сравнять всякую возвышающуюся здесь вершину; но это равенство, конечно, возможно еще менее, чем какое-либо иное. Время упадка предстоит всему земному, будь оно даже божественного происхождения; новые посланцы Божий будут нужны, чтобы с большей силой привлечь к себе отступившее назад и небесным огнем очистить испорченное; и каждая такая эпоха будет палингенезией христианства, будет пробуждать его дух в новой и более прекрасной форме.

Но если всегда будут существовать христиане, должно ли в силу этого христианство быть безграничным в своем распространении и господствовать над человечеством как единственная форма религии? Оно отвергает это узкое единовластие; оно настолько почитает каждый из своих собственных элементов, что охотно склонно созерцать в нем средоточие особого целого; оно не только хочет до бесконечности созидать в себе многообразие, но готово созерцать и вне себя все то, чего оно не может развить в себе. Никогда не забывая, что лучшее доказательство своей вечности оно имеет в собственной подверженности гибели, в своей собственной, часто грустной истории, и всегда ожидая спасения от несовершенства, которое в данное

время теснит его, пусть оно радостно взирает на возникновение, вне места этой порчи, новых, более юных и, если возможно, более сильных и прекрасных форм религии, — на их возникновение в тесном соседстве с ним, во всех пунктах, и даже в тех областях, которые кажутся ему крайними и сомнительными границами религии вообще. Религия религий не может собрать достаточно материала для своего чистого влечения ко всему человеческому; и как нет ничего более нечестивого, чем требование единообразия в человечестве вообще, так нет ничего более нехристианского, чем искание единообразия в религии.

Пусть люди созерцают Божество и поклоняются ему всеми способами. Многие формы религии могут переплетаться между собой или существовать во взаимном соседстве; и если необходимо, чтобы каждая в определенное время получала реальность, то было бы по крайней мере желательно, чтобы во всякое время люди могли чувствовать многие из них. Крайне редко могут быть те великие мгновения, когда все соединяется, чтобы обеспечить одной из них широко распространенную и длительную жизнь, когда одно и то же воззрение одновременно и с непреодолимой силой развивается в большой массе людей, и многие проникаются единым впечатлением от Божества. Но что можно ждать от времени, которое столь явственно есть граница между двумя различными порядками вещей? Когда минует огромный кризис, быть может, окажется, что он принес с собой и такое мгновение; и чающая душа, которую носят в себе пламенные умы нашего времени,<sup>18</sup> созерцая творческий гений, быть может, уже теперь могла бы указать пункт, который должен для будущих поколений стать средоточием их общения с Божеством. Но как бы то ни было, и как бы долго ни пришлось еще ждать такого мгновения, — новые формы религии, будут ли они подчинены христианству, или станут рядом с ним, должны возникнуть, и притом скоро, — даже если еще долго их можно будет воспринимать лишь в отдельных и беглых проявлениях. Из ничего всегда исходит новое творение, и ничто есть религия почти во всех участниках нынешнего мира, в которых зачинается сильная и богатая духовная жизнь. Во многих началом ее развития будет какой-либо из бесчисленных поводов и, возникши на новой почве, она приобретет новую форму. Только бы прошло время сдержанности и робости! Религия ненавидит одиночество, и особенно в пору своей юности, которая ведь для всего живущего есть время любви, она погибает от иссушающей тоски. Если она разовьется в вас, если вы осознаете в себе первые следы ее жизни, — то вступите тотчас же в единую и неделимую общину святых, которая включает в себя все религии, и в которой только и может созреть каждая из них. Вы думаете, что так как она рассеяна и далека, то и вам придется тогда говорить нечестивым ушам? Вы спрашиваете, какая форма языка достаточно потаенна, речь ли, или письмо, действие, или тихая мимика духа? Все отвечаю я, и вы видите: я не страшился пользоваться самым громким языком. В каждом средстве выражения святое остается тайным и скрытым от непосвященных.

Пусть они грызут шелуху, как могут; но не препятствуйте нам поклоняться Божеству, которое будет в вас.

## Послесловие

Позвольте мне прежде, чем совсем расстаться с вами, сказать еще несколько слов в заключении моей речи. Быть может, вы полагаете, что теперь, по истечении нескольких лет, было бы лучше устранить это заключение; ведь достаточно ясно обнаружилось, что я был не прав, доказывая силу религиозного умонастроения тем, что оно именно теперь стоит перед созданием новых форм, и что я неправоммерно мнил ведать то, что ему предстоит создать, ибо ничего подобного нигде не свершилось. Если вы так думаете, то вы, очевидно, забыли, что пророчество есть первая предтеча будущего, и лишь в качестве такого действительного достойно именоваться пророчеством; оно есть такое уяснение будущего, в котором последнее само уже содержится, но только так, что оно заметно лишь для сознания, родственного прорицающему. Чем обширнее, следовательно, и величественнее прорицаемое, и чем более само прорицание обладает подлинным высоким стилем, тем менее близко оно к осуществлению; подобно тому, как заходящее солнце создает из теней больших предметов великие магические образы лишь вдалеке, на сером востоке, так и прорицание устанавливает лишь вдали свои образы грядущего, почерпнутые из настоящего и прошедшего. И потому то, что я в этом смысле сказал, отнюдь не должно было служить вам мерилom для проверки истинности моей речи; напротив, эта истинность должна была бы уясниться вам из самой себя; и я совсем не хотел пророчествовать в моих речах к вам — допуская даже, что у меня имеется дар к тому, — потому что для меня было бы бесплодно отсылать вас к далекому будущему. Я хотел передать этими словами только нечто близкое и непосредственно достоверное; отчасти я призывал этими словами не вас, а некоторых других — полунасмешливо, если они это поняли, — осуществить то, на что они, по-видимому дерзают; отчасти же я надеялся этим побудить вас самих наметить ход осуществления этого предсказания; и тогда я был уверен, что вы самостоятельно найдете то, что и я готов был бы указать вам: именно что вы со всем вашим знанием, поведением и бытием всецело коренитесь в той форме религии, которую вы столь часто презираете — в христианстве, что вы совсем не можете вырваться из нее, и что вы тщетно пытаетесь представить себе ее разрушение, если вы не решитесь уничтожить вместе с ней то, что для вас есть самое ценное и святое в мире, — вашу культуру и характер вашего бытия, ваше искусство и вашу науку. Отсюда для вас уяснилось бы, что пока длится наша эпоха, из нее и из сферы христианства не может проистечь что-

либо, наносящее ущерб христианству, и что последнее всегда должно выходить из всякой борьбы и полемики лишь возрожденным и возвеличенным. Это я преимущественно имел в виду в отношении вас, и вы, следовательно, видите, что я был далек от намерения примкнуть к суждениям некоторых выдающихся и прекрасных людей, которые, как вы их поняли, хотят вернуть язычество древнего времени или даже произвольно создать новую мифологию, а через нее — и новую религию. Я хотел бы, напротив, чтобы вы уяснили себе, как ничтожно и бесплодно все, что связано с подобным стремлением, и тем еще раз убедились в могуществе христианства.

Но более всего необходимо понять друг друга в том, что я говорил о судьбах самого христианства. Правда, здесь не место для обоснования и доказательства моего воззрения, или хотя бы для более полного уяснения того, на чем оно покоится; если такое уяснение будет еще оставаться необходимым, то для него должно найтись иное место. Здесь же и теперь я хочу совершенно просто сказать, что я понимаю, чтобы вы не отнесли меня, согласно обычной манере делить все на школы и партии, к числу тех, с которыми я, по крайней мере в этом вопросе, не имею ничего общего.

С тех пор как существует христианство, в нем всегда существовала резко проступающая противоположность. Эта противоположность, как и надлежит, имела свое начало, середину и конец; а именно, противоположное сначала постепенно отделялось друг от друга, затем это разделение достигало своего апогея, и потом опять постепенно уменьшалось, пока вся противоположность не исчезала совершенно в иной противоположности, которая развивалась параллельно с упадком первой. Если в такой форме протекает вся история христианства, то теперь на христианском Западе господствует противоположность между протестантизмом и католицизмом, причем в каждом из них своеобразно выражена идея христианства, так что теперь лишь через совместное бытие обоих историческое проявление христианства может соответствовать идее христианства. Эта противоположность, повторяю, теперь стоит на очереди и существует; и если бы мне надлежало истолковывать вам знамения времени, то я сказал бы, что теперь наступает момент именно ее спокойного закрепления, и что еще отнюдь незаметны признаки ее ослабления и исчезновения.<sup>1</sup> Однако, из-за этого никто не должен оставаться беззаботным; напротив, пусть каждый обдумает и сообразит, к какой стороне он принадлежит со своим христианством, и в какой церкви он может вести религиозную и назидательную жизнь; кто обладает здоровой и сильной натурой и следует ей,<sup>2</sup> тот наверно не ошибется. Я не говорю о людях, которые сами суть ничто, которые, как дети, ослепляются внешним блеском или поддаются уговорам монахов; но есть люди, которые несомненно суть нечто, выдающиеся и достойные почтения поэты и художники, — и кто знает, какая толпа приверженцев, как это ныне водится, следует за ними — которые думают спастись переходом из



протестантской церкви в католическую, ибо лишь в одной последней, по их мнению, есть религия, тогда как протестантизм есть иррелигиозность, безбожие, как бы вырастающее из самого христианства. Я буду почитать человека, который, решаясь на этот переход, поступает согласно своей природе, которая может чувствовать себя на месте только в этой, а не иной форме христианства; но такой человек сможет показать следы этого естественного строя души во всей своей жизни, сможет убедить нас, что своим поступком он лишь внешне завершил то, что внутренне и произвольно уже всегда было в нем и, строго говоря, возникло одновременно с ним. Я буду также если не почитать, то сожалеть и извинять того, кто — следуя часто изумительно счастливому, но часто и опасному инстинкту больного, — делает тот же шаг в явственном состоянии беспокойства и слабости, кто откровенно делает его потому, что его заблудшее чувство нуждается во внешней опоре, или в некоторых заклинаниях, чтобы успокоить тоскливую робость или жестокую душевную боль; или же потому, что он ищет атмосферы, более подходящей для слабых органов, т. е. менее живительной и, следовательно, менее возбуждающей; так иные больные вместо свежего горного воздуха предпочитают дышать животными испарениями. Но я не могу так относиться к тем, кого я теперь имею в виду; напротив, они кажутся мне лишь преступными; ибо они не знают, ни чего хотят, ни что делают. Или можно назвать разумной речь, которую они ведут? Узрит ли какое-либо неиспорченное сознание свет безбожия в героях реформации, и не сияют ли в них, напротив, для каждого лучи истинно христианского благочестия? Действительно ли Лев X более религиозен, чем Лютер, и энтузиазм Лойолы святее энтузиазма Цинцендорфа? И куда отнесем мы величайшие явления во всех областях науки, если протестантизм есть безбожие и ад? Эти же люди, с одной стороны, видят в протестантизме только иррелигиозность и, с другой стороны, и в католической церкви любят отнюдь не ее самобытную сущность, а лишь ее порчу, — явное доказательство, что они не знают, чего хотят. Ведь даже чисто исторически нужно принять во внимание, что папство отнюдь не есть сущность католической церкви, а есть лишь ее порча.<sup>3</sup> А именно его они собственно ищут и любят; они ищут, собственно, за Альпами идолопоклонство, с которым, к сожалению, приходится бороться и протестантской церкви, хотя в ней оно существует в менее роскошных и, следовательно, менее соблазнительных формах, а потому и кажется им недостаточно резким и колоссальным. В самом деле, что такое есть идол или "кумир"? Это есть нечто, сделанное руками, что может быть ошупано и разрушено руками, и вместе с тем именно в этой своей бренности и хрупкости бессмысленным образом устанавливается в смысле чего-то вечного; и оно не только должно частично и в меру присущей ему красоты и силы жизненно выражать вечное; нет, в качестве временного и часто исполненного величайшего бессмыслия и извращенности, оно именно должно быть вечным, так чтобы его поклонники могли ошупывать само вечное и произвольно магически взвешивать и распределять его между

собой. Это суеверие в церкви и священстве, таинствах, отпущении грехов и блаженстве есть то лучшее, чего они ищут. Но они ничего не достигнут этим, ибо это есть ложное дело, которое будет и в них все более обнаруживать свою ложность: из общей сферы культуры они низвергнутся в пустоту и ничтожество, растратив на суету и ту долю искусства, которую им даровал Господь. Это, если угодно, есть пророчество, выполнение которого настолько близко, что вы можете ждать его со дня на день.

А теперь — еще пророчество иного рода, осуществление которого, как я надеюсь, вы также увидите. Оно касается второго, о чем я говорил, именно того, что противоположность между этими двумя партиями еще существует и должна сохраниться. Может случиться, что римская церковь, если не всюду и во всех отношениях, то все же в значительной мере откинёт от себя порчу и внешним образом, подобно тому, как в ней бесспорно имеются многие, внутренне отрешившиеся от этой порчи. Тогда могут прийти соблазнители, которые, угрожая сильным и лстя слабым или благожелательно настроенным, будут уговаривать протестантство снова вернуться в единую неделимую исконную церковь, так как ведь многие считают эту порчу единственным основанием разделения. Но и это есть безумный и ложный призыв! Быть может, он многих соблазнит или утешит, но он не будет осуществлен, ибо устранение этой противоположности было бы ныне равносильно гибели христианства, так как час его еще не пришел. Я хотел бы даже бросить вызов самому могущественному человеку на земле, для которого все есть легкая игра, и предложить ему осуществить это, признав за ним всю нужную для этого силу и хитрость; но я предсказываю, что это не удастся ему, и что он уйдет с позором. Ибо Германия все еще существует, и ее незримая сила не ослабла; во имя своего призвания она снова восстанет с непредвиденным могуществом, достойная своих древних героев и своей прославленной племенной силы; ведь она была предназначена преимущественно развить это явление, и она вновь поднимется с богатырской силой, чтобы утвердить его.<sup>4</sup>

Вот вам знамение, если вы в нем нуждаетесь, и когда это чудо свершится, вы, быть может, поверите в живую силу религии и христианства. Но блаженны те, кто свершат его, — кто не видят и все же верят.

## **ПОЯСНЕНИЯ К «РЕЧАМ О РЕЛИГИИ»**

### **Пояснения к первой речи**

<sup>1</sup> Стр. 49. Мое знакомство с людьми моего сословия было, когда я впервые писал это, еще весьма невелико; хотя я уже несколько лет занимал должность, но я был очень одинок среди своих товарищей по службе. То, что здесь скорее намечено, чем высказано, было, следовательно, тогда только

догадкой издали, а не наглядным познанием. Однако, и более продолжительный опыт, и более дружеские отношения лишь укрепили во мне суждение, что среди членов нашего духовного сословия слишком редко как глубокое проникновение в духе религии вообще, так и чисто историческое и объективное понимание определенных эпох религиозности — а именно эти два пункта здесь главным образом имеются в виду. Мы не встречали бы столько жалоб на рост сектантского духа и партийных религиозных союзов, если бы не было столько духовных лиц, которые не понимают религиозных потребностей и переживаний, потому что точка зрения, на которой они стоят, вообще слишком низка; отсюда — на что здесь намекается — и те убогие взгляды, которые так часто высказываются, когда речь идет о мерах против так называемого упадка религии. В интересах правильного понимания этого места я не могу скрыть своего мнения, которое, быть может, встретит мало одобрения, именно что этому злу лучше всего могло бы противодействовать более глубокое умозрительное образование; но необходимость последнего не признается большинством духовных лиц и тех, кто руководит их образованием, из ложного мнения, будто это только сделает их еще более практичными.

<sup>2</sup> Стр. 54. Первое, всегда весьма чувственное понимание обоих представлений в пору, когда душа еще всецело живет образами, исчезает далеко не у всех; у большинства оно очищается и возвышается постепенно, но притом так, что аналогия с человеческим в представлении высшего существа и аналогия с земным все еще внешне определяет скрытое более глубокое содержание. Но для тех, кто своевременно углубляется в чисто умозрительное стремление, существует иной путь. Ибо, говоря самим себе, что в Боге не может быть ничего противоположного, разделенного, обособленного, и что, следовательно, ничто человеческое не может быть о нем высказано; признаваясь себе, что они не имеют права выносить что либо земное за пределы земного мира, которым оно было порождено в нашей душе, они чувствуют несостоятельность обоих представлений в той форме, в какой они их первоначально восприняли, они уже не в состоянии живо воссоздавать их, и потому эти представления исчезают из них. Но этим не высказывается ни положительное неверие, ни даже положительное сомнение; когда эта детская форма, образующая как бы известный чувственный коэффициент, исчезает, то в душе остается неизвестная величина, как нечто, коэффициентом чего была эта форма, и значение ее обнаруживается в стремлении соединить ее с каким-либо иным представлением и тем поднять ее до более высокого и реального сознания. Но я этом стремлении уже по существу дана вера, даже если бы никогда не осуществилось решение, удовлетворяющее строгому размышлению. Ибо эта неизвестная величина, хотя и не проявляясь сама по себе в определенном значении, соучаствует во всех действиях духа. Таким образом, автор был весьма далек от желания намекнуть в этих словах, что было по крайней мере время, когда он был неверующим или атеистом; его могли ложно истолковать в этом смысле

лишь те, кто никогда не испытывал умозрительного стремления уничтожить антропоморфизм в представлении высшего существа, — стремления, которое самым определенным образом высказывают наиболее глубокомысленные учителя христианской церкви.

<sup>3</sup> Стр. 55. Не следует забывать, что это строгое суждение об английском народе, с одной стороны, относится к эпохе, когда могло казаться уместным выступить с решительной строгостью, допускаемой риторической формой изложения, против распространяющейся англomanии, и что, с другой стороны, в то время большой народный интерес к миссионерству и к распространению Библии еще не обнаружился в Англии настолько, как теперь. Но я не мог бы из-за указанных явлений взять назад многое из своего прежнего суждения. Ибо, во-первых, там так велика привычка основывать крупные начинания на органическом соединении сил частных лиц, и достигаемые на этом пути результаты настолько велики, что и лица, которые серьезно интересуются только прогрессом культуры и приобретаемой от нее выгодой, все же не уклоняются от участия в этих предприятиях, исходивших первоначально от небольшого числа истинно благочестивых людей, уже для того, чтобы не ослаблять принципа. Кроме того, нельзя также отрицать, что весьма многие смотрят сами на эти предприятия скорее с политической или меркантильной точки зрения. Что здесь не преобладает чистый интерес христианского благочестия, это ясно уже из того, что лишь гораздо позже и, по-видимому, с меньшим успехом, англичане начали удовлетворять у себя дома назревшие потребности религиозного интереса. Но этим я хочу лишь наметить основания своей веры, что более точное исследование состояния религиозности в Англии скорее подтвердило бы, чем опровергло развитое выше суждение. И то же применимо к тому, что было сказано о научном духе. — Так как Франция и Англия были тогда странами, которые почти исключительно нас интересовали, и которые одни лишь оказывали большое влияние на Германию, то казалось излишним соответственным образом обозреть и иные области. Теперь было бы, пожалуй, уместно сказать несколько слов и о восприимчивости к подобным исследованиям в области греческой церкви, именно что там — какой бы нежный покров ни набрасывали на это неудачные, ослепляющие восхваления Стурдзы — все более глубокое вымерло в механизме устарелых обрядов и литургических формул, и что эта церковь во всем, что важнее всего для души, расположенной к размышлению, стоит еще далеко позади католической.

<sup>4</sup> Стр. 62. Если благочестивой душой, о которой бесспорно здесь идет речь, повсюду называется душа, отдающаяся Богу, здесь же вместо Бога поставлена вселенная, — то в этом месте совершенно очевиден пантеизм автора. Такого нередко — не толкование — а перетолковывание поверхностных и притом подозрительных читателей, которые не приняли во внимание, что здесь речь идет о созидании света и тепла в подобной душе, т. е. о всяком возникновении таких ' благочестивых душевных движений,

которые непосредственно переходят в религиозные представления и воззрения (свет) и в душевное состояние слияния с Богом (тепло), — и что поэтому было целесообразно указать на способ возникновения таких душевных движений. Но они возникают тогда, когда человек отдается вселенной, и, следовательно, привычны лишь в сознании, в котором привычно это саморастворение. Ибо не только вообще, но и в каждом отдельном случае мы воспринимаем Бога и Его вечную силу и божественность в плодах творения, и не только в том или ином отдельном явлении, взятом обособленно, но и поскольку оно включается во всеединство, в котором одном лишь непосредственно открывается Божество. Дальнейшее развитие этой моей мысли можно прочитать в моей «Христианской вере», § 8, 2 и § 36, 1. 21.

Стр. 63. Когда утверждается, что государство не было бы правовым состоянием, если бы оно покоилось на религии, то этим отнюдь не говорится, что государство, пока оно еще до некоторой степени шатко и несовершенно, может обойтись без благочестия, которое есть всеобщее восполнение всего недостаточного и несовершенного. Но ведь это допущение означает только, что религиозность подданных государства политически необходима в той мере, в какой они еще не все равномерно и достаточно проникнуты особым правовым началом государства. Если бы это когда-либо случилось — что, правда, немислимо по человеческим условиям, — то государство, поскольку оно имеет в виду лишь свою определенную сферу деятельности, должно было бы действительно уметь обходиться без религиозности своих членов. Что дело обстоит именно так, это видно также из того, что те государства, в которых правовое состояние еще не вполне одержало верх над произволом, отчасти более всего подчеркивают отношение благоговения между правящими и управляемыми, отчасти же принимают вообще наибольшее участие в религиозных учреждениях; но чем более укрепляется правовое состояние, тем более отступают оба эти явления, если только последнее не имеет специальных исторических оснований. — Если же далее говорится, что государственные люди должны уметь возбуждать в людях правосознание, то это, конечно, должно показаться смешным всякому, кто при этом думает о служителях государства. Но слово «государственный человек» здесь берется в смысле античного *πολιτικός*, и при этом разумеется не столько то, что кто-либо выполняет в государстве определенную службу — что совершенно случайно, — сколько то, что кто-либо преимущественно живет идеей государства. И темные эпохи, к которым нас вернуло бы обсуждаемое допущение, суть теократические эпохи. Я в то время намекнул на это главным образом потому, что Новалис, в остальных отношениях, впрочем, внутренне близкий мне, хотел снова возвеличить теократию. Но теперь я всецело проникнут убеждением, что одна из существенных тенденций христианства состоит в совершенном отделении церкви от государства; и столь же мало, как к указанному прославлению теократии, я

могу примкнуть к противоположному мнению, что церковь должна постепенно все более раствориться в государстве.

<sup>6</sup> Стр. 64. Я не хотел использовать преимущества ораторской речи так, чтобы с самого начала сказать презирующим религию, что благочестие стоит выше нравственности и права. Кроме Того, в этом месте для меня было несущественно подчеркнуть примат, который, по моему убеждению, разделяют между собой благочестие и научное умозрение, и который присущ обоим тем более, чем теснее они связаны между собой. Развитие этой мысли почитатели религии найдут в моем «Вероучении». Здесь же я должен защитить сказанное о равном значении, присущем нравственности и праву в человеческой природе наряду с благочестием. Правда, в первых двух не содержится непосредственное соединение человека с высшим существом, и постольку последнее возвышается над ними. Но и первые два начала столь же существенно обуславливают выдающееся и своеобразное в человеческой природе, и притом в качестве таких функций последней, которые не могут быть в свою очередь подведены под иные, более высокие функции; и постольку они занимают равное место с благочестием. Ибо человек столь же мало мыслим без нравственных задатков или без стремления к правовому состоянию, сколь и без задатка к благочестию.

<sup>1</sup> Точное заглавие цитируемого здесь и ниже позднейшего сочинения Шлейермахера таково: «*Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt*», 2 т. 1821—22, второе изд. 1831—32 («Христианская вера по принципам евангелической церкви, в систематическом изложении»). Ниже это сочинение цитируется под сокращенным заглавием «Вероучение». *Прим. пер.*

### Пояснения ко второй речи

<sup>1</sup> Стр. 72. При риторическом характере этой книги, и так как ведь этот вопрос нельзя было здесь развить подробнее, было бы позволительно сказать это с еле заметным оттенком иронии, — и как легко читатель мог бы подметить ее в этих словах! — даже если бы мое мнение действительно сводилось к тому, что сама религия есть это восстановленное единство знания. Тогда эти слова означали бы лишь, что я не хотел навязывать этого убеждения моим противникам, так как я хотя и мог бы победоносно отстоять его в другом месте и под иной формой, но только именно не здесь. Поэтому мне кажется необходимым специально оградить себя от такого толкования, тем более, что многие богословы ставят теперь, по-видимому, дело так, как если бы религия — но, впрочем, не религия вообще, а только христианская религия — действительно была высшим знанием, и как будто она не только по достоинству, но и по форме была тождественна метафизическому умозрению, и притом так, что она есть самое удачное и превосходное умозрение и что всякое иное умозрение, не приходящее к тем же результатам

и неспособное, например, дедуцировать триединство, несостоятельно. С этим в известном смысле стоит в связи утверждение других, что несовершенные и в особенности политеистические религии даже по общему своему характеру не однородны с христианской. То и другое я должен специально отклонить от себя; что касается последнего, то я и в дальнейших частях этой книги, и в введении к моему «Вероучению» стараюсь показать, что и самые несовершенные формы религии все же имеют один и тот же родовой характер. Что же касается первого, то если философ, как таковой, готов попытаться доказать троичность высшего существа, то пусть он делает это на собственный риск; я же со своей стороны буду тогда утверждать, что эта троичность не есть наша, христианская, и, что, так как она есть умозрительная идея, её источник находится в ином месте души, чем наше христианское представление триединства. Но если бы религия была действительно высшим знанием, то и научный метод был бы единственным целесообразным приемом ее распространения, и самой религии можно было бы обучиться, чего никогда никто не утверждал, и был бы ряд ступеней между философией, не приводящей к этим результатам, и нашим христианским богословием; за этой философией следовала бы религия неученых христиан, которая в качестве *πίστις* была бы несовершенным родом обладания высшим знанием, и наконец богословие, которое в качестве *γνώσις* было бы совершенным родом этого знания и стояло бы наверху, и ни одно из трех не было бы совместимо с другим. Но этого я совершенно не могу допустить и именно потому не могу считать религию высшим знанием и вообще знанием; и потому я должен также верить, что то, что у профана-христианина менее совершенно, чем у богослова, и что очевидно есть знание, не тождественно с самой религией, а есть лишь нечто, примыкающее к ней.

Стр. 78. В риторическом изложении вообще не требуются строгие определения, и в нем позволительно заменять их описаниями; поэтому вся эта речь есть лишь подробное описание, перемешанное с полемикой против иных, ошибочных, по моему убеждению, представлений, т. е. описание, главные признаки которого разбросаны и отчасти неизбежно повторяются в различных местах под различными выражениями. Эту изменчивость словесного выражения, которою каждый раз освещается новая сторона дела и которую — если различные формы согласуются между собой и могут быть сведены одна к другой, — я нахожу целесообразной и в более научном изложении, чтобы избежать опасных действий слишком неподвижной терминологии — эта изменчивость казалась мне наиболее уместной в этой манере письма. Так, здесь быстро чередуются три различных выражения для одного понятия. В первом относящемся сюда месте о религии говорится, что через нее в нас непосредственно живет общее бытие всего конечного в бесконечном, а на странице 77 сказано, что религия есть чувство и вкус к бесконечному. Чувство же есть способность восприятия и ощущения и здесь означает последнее; поэтому в первых изданиях вместо «чувства и вкуса» стояло внешне не совсем точное выражение «ощущение и вкус». Но что я

воспринимаю или ощущаю, то отпечатлевается во мне, и именно это я называю жизнью предмета в нас. Бесконечное же, под чем я разумею не что-либо неопределенное, а бесконечность бытия вообще, мы не можем осознать непосредственно или через самих себя, а всегда лишь через посредство конечного, когда наше мирополагающее и ищущее устремление ведет нас от единичного и частного к всеобщему и целому. Таким образом, чувство бесконечного и непосредственная жизнь в нас конечного, поскольку оно содержится в бесконечном, есть одно и то же. Но если в первом выражении наряду с чувством упоминается «вкус», а в последнем подчеркивается всеобщее бытие всего конечного в бесконечном, то опять-таки оба дополнения по существу равнозначны. Ибо иметь вкус к чему-либо — это предполагает, кроме чувства как простой способности, еще охоту к тому, и именно эта охота или потребность осознавать через все конечное не только само конечное, но и бесконечное, и есть то, в силу чего религиозный человек находит всюду это бытие конечного в бесконечном. Нечто подобное этому сказано уже на странице 74, где только в общей связи выражение «размышление» должно браться в широком смысле, т. е. под ним должно разуметься не только собственно умозрение, но и всякое отрешенное от внешней деятельности духовное возбуждение. — Более всего здесь вероятно, поразит большинство читателей то, что бесконечное бытие есть здесь, по-видимому, не высшее существо как причина мира, а сам мир. Таких читателей я прошу сообразить, что в таком состоянии неизбежно ощущаешь вместе с тем и Бога, и я предполагаю им попытаться представить себе мир как всеединство, без Бога. Поэтому я остановился здесь на первом, ибо иначе вместе с самой идеей легко выступила бы определенная форма представления, и, следовательно, было бы вынесено решение или, по крайней мере, дана критика различных способов мыслить Бога и мир совместно или раздельно, — что совсем не относится сюда и привело бы к вредному ограничению кругозора.

<sup>3</sup> Стр. 79. Это место о покойном Новалисе присоединено лишь во втором издании, и многие, вероятно, удивились этому сопоставлению, так как им неясно ни непосредственное сходство обоих умов, ни то, что отношение одного из них к искусству имеет столь же образцовое значение, какое имеет отношение другого, по моему мнению, к науке. Однако это слишком индивидуально и потому может быть только намечено, и я не мог ради весьма проблематичного результата чрезмерно расширять позднейшую вставку и тем разрушить пропорциональность речи. По тому же основанию я не могу пускаться и здесь в более подробное обсуждение, уже в силу того, что за эти 15 лет, по-видимому, опять ослабело внимание к Спинозе, которое под влиянием сочинений Якоби и некоторых позднейших толчков было еще довольно живо при появлении этой книги, а также что Новалис многим стал снова чуждым. Но в то время упоминание это казалось мне значительным и важным. Ибо в то время многие в плоской поэзии заигрывали с религией и думали этим походить на глубокомысленного Новалиса, и было достаточно



любителей всеединства, о которых полагали, или которые сами полагали, что они идут путем Спинозы, от которого они были, пожалуй, еще более далеки, чем упомянутые стихотворцы — от Новалиса. И поклонники трезвости столь же усердно обзывали Новалиса туманным мистиком, как поклонники буквы обзывали Спинозу безбожным. Протестовать против последнего было моей обязанностью, так как я хотел измерить всю область благочестия. Ведь в изложении моего воззрения недоставало бы чего-то весьма существенного, если бы я не упомянул где-либо, что умонастроение и душевный склад этого великого человека кажутся мне также проникнутыми благочестием, хотя это и не есть христианское благочестие. И все же я не решаюсь утверждать, какую бы форму оно приняло, если бы в его время христианство не было столь неузнаваемо замаскировано сухими формулами и пустым хитроумием, что нельзя было и ожидать от постороннего, что он может полюбить в нем небесный образ. Это я и сказал в первом издании, хотя и несколько по-юношески, но все же так, что и теперь не нахожу нужным изменить что-либо, так как нет основания думать, что я хотел приписать Спинозе святой дух в своеобразно христианском смысле слова. Мог ли я ожидать того, что случилось, именно что мое признание Спинозы религиозным человеком привело к объявлению меня самого спинозистом, хотя я никоим образом не защищал его системы и хотя то, что есть философского в моей книге, совершенно не согласуется со своеобразием его воззрений, которые имеют ведь совсем иное средоточие, чем общее столь многим признание единства субстанции. И даже Якоби в своей критике менее всего коснулся самого своеобразного у Спинозы. Но когда я опомнился от этого оглушения и мне непосредственно уяснилась приведенная мною теперь параллель, то, имея в виду общеизвестное тяготение Новалиса в некоторых пунктах к католицизму, я почти с уверенностью ожидал, что моя похвала его искусству послужит основанием для обвинения меня и в его религиозном уклонении, — наряду с спинозизмом, которому я будто бы сочувствую, так как я прославлял благочестие Спинозы; и я не понимаю, почему это мое ожидание не оправдалось.

<sup>4</sup> Стр. 83. Вероятно, даже среди тех немногих, которые готовы допустить, что религия по своему источнику есть возбужденное в высшем направлении чувство, найдется достаточно лиц, которым покажется чрезмерным утверждение, что все здоровые чувства религиозны или, по крайней мере, должны быть таковыми, чтобы не быть болезненными; ведь если даже допустить это в отношении всех общительных чувств, то непонятно, как можно найти благочестие во всех чувствах, которые влекут людей к духовным, и тем паче к чувственным наслаждениям жизнью. И все же я не могу лишиться это утверждение его всеобщего характера, и отнюдь не хочу, чтобы в нем усмотрели риторическое преувеличение. Чтобы хоть в одном пункте уяснить прочное основание моего утверждения, укажу на следующее: протестантизм очевидно не может полно и последовательно утверждать семейственность духовенства против угрюмого учения о преимущественной

святости безбрачия, если он не признает и не докажет, что и брачная любовь, а следовательно и предшествующее ей естественное сближение полов по природе вещей не абсолютно чужды религиозному состоянию духа, а что это имеет место лишь по мере того, как к чувству примешивается нечто болезненное и — чтобы окончательно заострить вопрос — именно склонность к вакхическому исступлению и нарциссическому безумию. Согласно этой аналогии, я полагаю, можно будет то же самое показать и в отношении каждой области чувства, в которой мы привыкли не находить непосредственного противоречия нравственности. — Но если на основании этого места из него непосредственно выводится, что как все истинно человеческие чувства принадлежат к религиозной области, так, с другой стороны, все понятия и всякого рода принципы чужды ей, — то это сопоставление казалось мне удобным случаем показать, как я понимаю последнее, и как в этом отношении религия сама по себе должна быть строго отделена от того, что к ней примыкает. Ведь и те чувства, которые обычно отделяют от религиозной области, нуждаются в понятиях, чтобы быть выраженными и сообщаться другим, без чего ведь они не могут обойтись, и в принципах для выражения их правильной меры; но эти принципы и понятия не принадлежат к самим чувствам. Также обстоит дело с догматической и аскетической стороной религии, как это далее изъясняется.

<sup>5</sup> Стр. 86. Для понимания всего моего воззрения мне важнее всего, чтобы читатели могли по содержанию вполне согласовать два столь разнородных по форме и исходящих из столь различных точек зрения изложения, как эти речи и мое «Вероучение». Однако было невозможно снабдить с этой целью предлагаемые речи полным комментарием, и я должен ограничиться отдельными намеками в тех местах, где я сам могу предполагать, что кто-либо найдет кажущееся противоречие или, по крайней мере, недостаточную согласованность. Так, быть может, не каждый найдет представленное здесь описание, что в основе всех религиозных возбуждений лежит действие вещей на нас, согласующимся с проникающим все вероучение объяснением, что сущность религиозных возбуждений состоит в чувстве абсолютной зависимости; дело, однако, в следующем. И там допускается, что это чувство может действительно возникнуть в нас лишь в связи с действием на нас отдельных вещей; а о том, как и в каком смысле отдельные вещи пробуждают в нас это чувство, — об этом здесь и идет речь. Но если вещи в своем воздействии на нас воспринимаются нами только как отдельные, то возникает лишь определенность чувственного самосознания, которая и в вероучении была постулирована как субстрат религиозного возбуждения. Но ко всему единичному, будь оно мало или велико, наша отдельная жизнь становится в отношении противодействия, и потому не возникает чувство зависимости, или оно возникает лишь случайно, если противодействие не равносильно действию. Если же единичное действует на нас не как таковое, а как часть целого, — что основано исключительно на настроении и направлении нашего духа — и если оно, таким образом, в своем воздействии

на нас есть лишь как бы проходной пункт для целого, то нам представляется, что и наше противодействие определено тем же и на тот же лад, как и само действие, и наше состояние может тогда быть только чувством абсолютной зависимости в этой определенности. И здесь обнаруживается, что обе формы изложения одинаково не допускают деления между Богом и миром. Ибо мы чувствуем себя зависимыми от целого не поскольку оно составлено из взаимно обуславливающих частей, к числу которых ведь принадлежим и мы сами, а поскольку в основе этой связи лежит единство, обуславливающее все, и в том числе наше отношение ко всем остальным частям; и только при этом же условии единичное, как это здесь указывается, может восприниматься как выражение бесконечного, причем его противоположность всему остальному совершенно погашается.

<sup>6</sup> Стр. 87. Под мифологией я именно разумею изложение чисто идеального предмета в исторической форме; и потому мне кажется, что по аналогии с политеистической мифологией мы имеем и монотеистическую, и христианскую мифологию. И для этого совсем не нужны беседы между собой божественных личностей, как они встречаются в поэме Клопштока и еще кое-где; но и в более строгой форме учения, где что-либо изображается как происходящее в божественном существе, например, божественные решения, которые предпринимаются в связи с каким-либо событием в мире или с целью модифицировать иные решения, которые, следовательно, как бы имели место раньше; не говоря уже об отдельных божественных решениях, в которых реализуется понятие Бога, внедряющего молитве. И точно так же изображения многих свойств Божества имеют эту историческую форму и, следовательно, мифологичны. Божественное милосердие, например, в той форме, в которой обычно берется это понятие, имеет смысл, лишь если отделять божественную волю, которая смягчает страдание, от той, которая его причинила: ибо, если считать ту и другую единой, то одна не есть даже граница другой, а скорее божественная воля, осуждающая на страдания, назначает определенную меру последнего, и тогда совершенно устраняется понятие милосердия. Также и в понятии правдивости Бога разделяется обещание от выполнения; и оба вместе выражают исторический процесс. Ибо если считать деятельность обетования тождественной с той, через которую полагается действительное выполнение, то понятие божественной правдивости имеет смысл, лишь поскольку некоторые божественные деятельности связаны или не связаны с высказыванием, и в этом различии тоже выражена история. Но если вообще рассматривать творческую деятельность и ее выражение как нечто единое, то особое понятие божественной правдивости вряд ли найдет себе место. И то же можно было бы показать относительно многого иного. Я отнюдь не хочу порицать этим обозначением такое описание само по себе; напротив, я знаю его необходимость, ибо иначе нельзя говорить о предмете так, чтобы было передано различие между более правильным и менее правильным. И пользование им в научном изложении религии не связано с какими-либо

опасностями, потому что здесь твердо стоит задача отвлечься от исторической и вообще временной формы; и столь же необходимо оно в области религиозной поэзии и религиозного красноречия, где имеешь дело с единомышленниками, для которых высшая ценность такого описания состоит в том, что через него сообщаются и воспроизводятся их религиозные настроения, причем исправление недостаточных выражений дано уже само собой. Но я порицаю его, как пустую мифологию, когда оно само по себе признается подлинным познанием, и когда то, к чему мы прибегаем по нужде за отсутствием лучшего, выдается за сущность религии.

<sup>7</sup> Стр. 89. Если о системе обозначений, которая в своей совершеннейшей форме образует богословский догмат, говорится, что она скорее определяется внешними условиями, чем проистекает из самой религиозности, то этим отнюдь не возрождается столь часто повторяемое, противоречащее всему историческому пониманию утверждение, что религиозные движения, через посредство которых в христианстве было определено множество важнейших понятий, произошли лишь случайно и часто были обусловлены совершенно посторонними интересами. Нет, я хотел напомнить лишь о том, что развито и в моем введении в «Вероучение», именно что образование понятий и в этой области зависит от господствующего языка и от степени и характера его научного развития; и сюда естественно включается и характер философствования. Но и это для религии, как таковой, суть внешние условия, и следовательно, отвлекаясь от общей божественной связи всех вещей, можно сказать, что остается мыслимым, что и христианство, сохраняя неизменной свою сущность, было бы выражено в совсем иной догматической форме, если бы, например, оно ранее приобрело более широкое распространение преимущественно на востоке, и если бы, напротив, был оттеснен эллинский и западный элемент.

<sup>8</sup> Стр. 90. И это место легко может дать повод к различным недоразумениям. Что касается, прежде всего, противоположности между истинной и ложной религией, то я сошлюсь на то, что развито в моем «Вероучении» (2-ое изд. § 7 и 8), и здесь добавлю лишь, что в религиозной области не только заблуждение возможно также лишь на почве истины, но и что по-праву можно сказать, что религия каждого человека есть его высшая истина; иначе заблуждение в ней было бы не просто заблуждением, а лицемерием. Если это так, то можно по-праву сказать, что в религии непосредственно все истинно, так как в ее отдельных моментах высказывается не что иное, как собственное душевное состояние верующего. И с тем же правом о всех формах религиозного общения можно сказать, что они хороши, ибо в них отлагается все лучшее в каждом человеке. Но как мало ущерба это наносит превосходству одной формы веры над другой, так как именно одна из них может выразить лучшее душевное состояние, и в одной форме религиозного общения может содержаться больше духовной силы и любви, — это также отчасти непосредственно развито там, отчасти же легко может быть

выведено из сказанного. — Что здесь отвергается мысль о всеобщности какой-либо отдельной религии и утверждается, что лишь совокупность всех религий исчерпывает весь объем ее духовного содержания, — это также отнюдь не выражает сомнения, что христианство может распространиться среди всего человеческого рода, хотя у многих племен этому должны предшествовать существенные изменения этой величайшей из всех человеческих религий; и столь же мало это выражает желание, чтобы другие формы религии навсегда сохранились наряду с христианством. Ведь, например, влияние иудейства и эллинского язычества в течение долгого времени прорывалось в бурных и борющихся между собой движениях, так что то и другое еще проявлялось в христианстве и, следовательно, сохранилось в истории христианства, и то же самое случилось бы, если бы христианство некогда восприняло в себя сферу всех остальных великих форм религии; таким образом, объем всей религиозной области не был бы этим втиснут в более узкие границы, но все остальные религии можно было бы исторически усмотреть в составе христианства. Что же касается первого, то в связи изложения ясно, что лишь в отношении противоположности между истинным и ложным отрицается универсальность какой-либо религии, именно в том смысле, будто все, что существовало и существует вне ее, вообще нельзя называть религией. Так же следует понимать и дальнейшее, именно что каждый подлинно благочестивый человек охотно признает, что в других формах религии может содержаться нечто, недоступное его религиозному чувству. Ведь если бы даже христианство вытеснило все другие области религии, так что они лишь исторически отражались бы в нем самом, то не всякому было бы доступно все, что именно этим было бы вложено в само христианство; ибо, как и теперь, христианство всех христианских народов никогда не будет совершенно одинаковым. И если, следовательно, теперь никто не имеет одинакового понимания всего христианства, то он не имеет и понимания всего того в других религиях, что содержит в себе зародыш грядущего оттенка христианства.

<sup>9</sup> Стр. 91. Еще и теперь существуют христианские богословы — а когда я впервые писал это, они были гораздо многочисленнее, — которые отвергают все дело христианской догматики и полагают, что христианство развивалось бы здоровее и приобрело бы более свободную и прекрасную форму, если бы никогда не возникла мысль изложить христианские представления в законченной системе; поэтому они и стремятся всеми силами ослабить и разорвать эту систематическую связь и представить христианское вероучение лишь **как** собрание монографий, как случайно возникший агрегат отдельных положений весьма неравной ценности. Однако, я уже тогда был далек от согласия с этими людьми, в добрых намерениях которых я, впрочем, не хочу сомневаться. И потому было бы большим недоразумением, если бы кто-либо подумал, что приведенные в тексте нападки на страсть к системам не могут совмещаться со стремлением привести в возможно более точную связь изложение христианской веры. Ибо страсть к системам есть только

болезненное вырождение этого похвального и плодотворного стремления; и отсюда следует лишь, что наилучшая форма систематизации религиозных представлений есть та, которая, с одной стороны, не выдает представления и понятия за первичное и конституирующее в этой области и, с другой стороны, — чтобы буква не омертвела и не убила духа — обеспечивает жизненную подвижность понятия и не только готова терпеть своеобразие и различие в пределах общего единомыслия, но даже пытается обосновать его. Если всякий должен признать это главной чертой моего изложения христианской веры, то я смею думать, что нахожусь в полном согласии с самим собой.

<sup>10</sup> Стр. 91. Это место, как я хорошо вижу, может возбудить тяжкие недоумения в двояком отношении: во-первых, то, что я предпочитаю языческий Рим за его безграничный религиозный синкретизм христианскому, и называю последний, по сравнению с первым, безбожным; и во-вторых, что я осуждаю отлучение еретиков, тогда как я ведь сам признаю известные воззрения еретическими и даже пытаюсь систематизировать еретичество. Я начну с последнего, как более глубокого и для меня более существенного. Мне представляется невозможным найти здравый догматический прием, если не исходить из попытки установить для определения христианства такую формулу, применение которой позволяло бы из каждой точки абсциссы отрезать ординату и, таким образом, через приближение описать объем христианских представлений; и отсюда, конечно, следует, что все, лежащее за пределами этого объема, и однако притязующее на название христианства, должно быть именно тем, что издавна звалось в христианской церкви еретичеством. Я не мог, следовательно, обойтись без установления этого понятия в догматике, и желал бы, чтобы моя цель при этом была достигнута возможно полнее. Однако, это определение предмета не имеет ничего общего с практическим отношением к лицам. Ибо что в споре с чужим мнением и при защите собственного мнения человек легко может случайно употребить еретические выражения, не понимая при этом чего-либо еретического, — это ясно само собой, и я подробно высказался об этом в «Вероучении», § 22, 3 и приложение, и § 25 прилож. А с тех пор, как многими в евангелической церкви было высказано желание в разумной форме возродить старую церковную дисциплину, чтобы христианской общине была дана возможность ограничивать свое общение с теми, кто своей жизнью отрицает христианский образ мыслей, — с этих пор, говорю я, становится особенно необходимым предупредить недоразумение, будто этим высказано право подвергать отлучению тех, кого кто-либо склонен признать еретиками. Напротив, в отношении таких людей, если к ним неприменим также вышеуказанный упрек, евангелическая церковь может признать одну только обязанность — поддерживать общение с ними, чтобы через взаимное понимание они тем легче могли быть обращены на правильный путь; и если отдельные или небольшие общины применяют противоположный метод и по возможности стремятся лишить общения тех, кто не согласен с ними в букве учения, не

обращая внимания на их общее религиозное умонастроение, то это делается не в духе евангелической церкви, так как здесь содержится притязание на такой авторитет, который наша церковь не признает ни за кем. — Что же касается первого, именно моего предпочтения языческого Рима христианскому, и моих слов, что первый благодаря своей ассимилирующей терпимости наполнился богами, тогда как последний благодаря своей системе преследования стал безбожным, — то прежде всего, конечно, употребляемые мной выражения свидетельствуют, что это место особенно отражает на себе риторический характер книги; в строгом же смысле здесь должно быть понимаемо то, что догматизирующая страсть к системе, которая, пренебрегая обоснованием различия, напротив, исключает всякое различие, несомненно препятствует, насколько это от нее зависит, живому Богопознанию и превращает учение в мертвую букву. Ибо столь твердо установленное правило, исключаящее все, что гласит иначе, вытесняет творчество, в котором только и сохраняется живое познание, и, следовательно, становится само мертвой буквой. Можно сказать, к этому сводится история развития римско-католического вероучения в его противоположности протестантскому, и возникновение евангелической церкви, рассматриваемое с этой точки зрения, есть не что иное, как освобождение самостоятельного творчества от общения с таким правилом. Столь же серьезно должно быть понимаемо мое восхваление старого Рима за его восприимчивость к чужим богослужениям. Ибо она была обусловлена тем, что ограниченность и односторонность всякого индивидуализированного политеизма стала осознанной, и что религиозная потребность стремилась освободиться от границ политических форм; то и другое не только похвально само по себе, но и принесло делу распространения христианства гораздо большую пользу, чем когда-либо оказала делу упрочения и защиты христианства проникнутая благими намерениями система отлучения еретиков.

<sup>11</sup> Стр. 100. И в «Вероучении» (§ 8, прилож. 1), как и здесь, я высказался против мнения тех, кто выводят идолопоклонство, под которым, согласно несколько расширительному словоупотреблению Свящ. Писания, они понимают все виды политеизма, из страха. Но только там я исходил из иной точки зрения, ибо там мне было существенно уравнивать низшие ступени благочестия по их сущности с высшими, что было бы невозможно, если бы первые происходили из страха, последние же — нет. Здесь я имею дело главным образом с представлением, которое всякую вообще религиозность выводит из страха, и, таким образом, оба изложения дополняют друг друга. Доказательство, которое здесь ведется в общей форме, было бы применимо и там к частному случаю, несмотря на довольно шаткое употребление слова *δεισιδαιμονία* («суеверие»). Ведь и о греческих и римских политеистах нельзя сказать, что они потеряли бы веру в богов, если бы в мужественном использовании жизни освободились от всякого страха. И точно так же сказанное там применимо здесь в общей форме. Ведь если страх никоим

образом не может быть видоизменением любви, то он должен полагать свой объект лишь зложелательным; и где высшим существам не поклоняются — или, вернее не покоряются, — как злым, там и чистый страх, отрешенный от любви, не может быть мотивом религии. Таким образом, остается а силе, что во всякой религии уже с самого начала действует любовь, и что все восхождение к совершенству в религии есть лишь постепенное очищение любви.

<sup>12</sup> Стр. 100. Вряд ли необходимо оправдывать выражение «мировой дух»; здесь дело шло о таком обозначении общего всем людям объекта религиозного почитания, которое было бы приемлемо для всех различных ступеней и форм религии. И в особенности я не считал бы справедливым возражение, что при выборе этого обозначения я пожертвовал интересом более совершенной формы религии интересу низшей формы; я думаю, что не только и мы, христиане, можем свободно воспользоваться этим выражением для обозначения высшего существа, но что и само выражение могло возникнуть лишь на почве монотеизма, и что оно одновременно свободно и от иудейского партикуляризма, и от того, что я пытался в «Вероучении» (§ 8, 4) определить как источник несовершенств магометанской религии. Так как это выражение отнюдь не высказывает какого-либо взаимодействия между миром и высшим существом — ведь никто не спутает мировой дух с мировой душой — и вообще не содержит в себе указания на какую-либо независимость мира от высшего существа, — то я полагаю, что можно оправдать всех христианских писателей, которые пользовались им, хотя оно и не произошло из своеобразного воззрения христианства.

<sup>13</sup> Стр. 105. В моем «Вероучении», — введение которого, посвященное уяснению того, что, по моему мнению, должно разуместься под религиозной философией, во многих отношениях соприкасается с этой книгой — я установил основное различие между тем, что я назвал эстетической и телеологической формой. Здесь, по-видимому, если не открыто выставлено, то молчаливо признано другое основание деления, и будет бесполезно уяснить, в каком отношении друг к другу стоят оба деления. А именно, здесь приведено, по-видимому, лишь нечто единичное, т.е. стоящее рядом со многими иными возможностями, как основание, что для нас, на нашем месте и на нашей ступени культуры, душа есть истинный мир религии; и намеченная иная возможность состоит в том, что, с другой стороны, и внешняя природа может быть этим миром. Те же два начала, между которыми там усмотрено величайшее различие, по-видимому оба лежат на стороне религии души; ибо связываем ли мы действенные состояния со страдательными, или страдательные — с действенными, те и другие суть все же душевные состояния, на которые направлены религиозные чувства; таким образом, намеченное здесь различие представляется высшим, и оно, по-видимому, было там совсем обойдено. Однако и здесь мнение, что возможна религия природы, совсем не означает, что религиозные переживания могут



возникать в человеке через наблюдение внешнего мира. Нет, чем выше поднимается это наблюдение, тем более оно становится умозрительным естествознанием, и оно есть всегда наука; религиозные же возбуждения возникают отсюда, лишь когда душа сознает самое себя в этом наблюдении, т. е. опять-таки из душевного состояния, и совершенно так же они возникают из непосредственных отношений природы к нашей жизни и нашему бытию лишь в меру ее действия на наше настроение, следовательно, и здесь из душевного состояния. Таким образом, указанное в «Вероучении» разделение остается высшим, и религиозные переживания, опосредствованные природой, как и переживания, опосредствованные исторической жизнью, могут принимать указанную двоякую форму: они будут носить телеологический и этический характер, когда влияние наблюдения природы на душу мы будем относить к душевной деятельности и ее законам, и эстетический характер — в обратном случае. Намеченное же здесь различие таково, что там не было надобности его рассматривать, так как отношение к нему христианства могло быть надлежащим образом освещено лишь при исследовании самого христианского учения.

<sup>14</sup> Стр. 106. Сказанное пусть читатель понимает как вывод из приведенной легенды; я отнюдь не хотел здесь сказать, будто сам автор легенды делал этот вывод или предполагал его всеобщее признание. Тем не менее можно, я полагаю, вполне доказать, что он в ней необходимо содержится, и что ни сознание Бога, ни образование общих понятий не могло развиваться в человеке, пока он не приобрел сознание рода и не сознал непосредственно себя в своей подчиненности роду и в своем отличии от него. И столь же несомненно, что ни сознание высшего существа, ни потребность упорядочить мир не может совершенно исчезнуть из души, пока не утрачено сознание рода.

Я хочу здесь пояснить еще несколько мест, не отмеченных особо в тексте. — На стр. 113—115 говорится о смирении, которое ранее было обозначено **как** естественная форма религиозного чувства, что ему как бы должно противостоять гордое чувство собственного бытия, и о раскаянии, которое также было признано естественным и существенным для благочестия, что оно как бы не только может без ущерба для благочестия быть обращено в радостную самоудовлетворенность, но и должно испытать это превращение. Но то и другое, по моему убеждению, совсем не есть противоречие, и, наоборот, все религиозные чувства прямо могут быть разделены на возвышающие и принижающие. Каждый из этих двух видов нуждается в другом для своего дополнения, и каждый из них истинно благочестив, лишь поскольку в нем соучаствует и другой. И в христианстве, которое само распространяется лишь через распространение принижающих чувств, раскаяние все же должно погашаться в сознании божественного прощения. Указанное же противоположное смирению чувство, что в каждом человеке живет и действует человечество, как целое, есть не что иное, как особенно необходимое для христианина сознание, что верующие сообща образуют

живое органическое целое, в котором не только — на что преимущественно указывает Павел — каждый член необходим для всех других, но и каждый содержит в себе своеобразную деятельность всех других. — И если там же далее говорится о человеке, в котором слились обе формы религиозного чувства, что он не нуждается уже ни в каком посреднике, а может сам быть посредником для многих, — то эти слова должны разуместься здесь лишь в том, разъясненном выше, подчиненном значении, что именно не каждый носит в себе правильный ключ к пониманию всего человеческого, а почти всем многое столь чуждо, что они признают его, лишь когда встретят в иной, родственной **им** форме, или в связи с чем-либо иным, что имеет для них особую цену. В этом смысле, следовательно, посредниками в понимании являются те, кто соединяют в себе наиболее признанное с наиболее чуждым. Преимущественно в указанном, противостоящем смирению чувстве самосознание достигает такой прозрачности и точности, что даже самое далекое перестает казаться чуждым и отталкивать. Но это чувство будет чище всего, когда вся человеческая односторонность будет уяснена через Того, в ком исключена всякая односторонность; и, таким образом, здесь не наносится ущерба высшему посредническому достоинству Спасителя.

<sup>1</sup> Стр. 117. Не желая брать назад ничего из того, что образует главное содержание всей этой речи, именно что все высшие чувства принадлежат религии, и что отдельные действия не должны непосредственно проистекать из отдельных движений чувства, я все же хотел бы пояснить, что все сказанное здесь применимо главным образом лишь к нравственному учению того времени, именно к кантовскому и фихтевскому, и преимущественно к первому. Ибо пока нравственное учение сохраняет императивный метод, который строже всего проведен в указанных системах, до тех пор чувства не могут иметь никакого места в морали, так как ведь не может существовать веления: *обладай тем или иным чувством!* И для такой системы было бы последовательнее всего применить к ним то, что в ее духе было сказано о дружбе, — именно, что нужно вообще не иметь времени завязывать и поддерживать ее. Но одной этой узкой формой, конечно, не должно было бы ограничиваться нравственное учение, а во всякой иной форме ему несомненно надлежит, именно в связи с уяснением места этих чувств в человеческой душе, признать и нравственную ценность последних; конечно, оно не может считать эти чувства чем то, что человек может и должен создавать в себе с какой-либо целью или чему он может научиться в морали, а должно рассматривать их как свободную естественную функцию высшей жизни, связь которой, однако, с высшими формами и правилами поведения может быть определенно показана. Постольку тогда и нравственное учение могло бы воспринять в себя религию, как и изложение религии должно воспринять в себя нравственность в указанном более узком смысле, причем, конечно, все же сохраняется различие между тем и другим.

<sup>16</sup> Стр. 120. Высказанное здесь суждение, что чудо есть лишь религиозное название для события вообще, и что, следовательно, чудо есть все, что случается, легко может быть заподозрено в том, что оно собственно направлено на порицание чудесного; ибо, конечно, если все есть чудо, то тем самым и ничто не есть чудо. Но это суждение стоит в точнейшей связи с объяснениями, данными в «Вероучении», § 14, пригож., § 34, 2, 3 и § 47. Ведь если отнесение события к действию божественного всемогущества и его рассмотрение в его зависимости от естественных отношений не исключают друг друга, а могут совместно расти и отпадать, то лишь от направления внимания зависит, на каком воззрении мы сперва остановимся; ведь всюду, где нас более всего интересует отношение события к нашим целям и где исследование естественных связей оказалось бы слишком детальным, мы преимущественно замечаем божественное предопределение, в обратном же случае — естественный ход вещей. А какое из этих двух воззрений доставляет нам наибольшее удовлетворение, это зависит, с одной стороны, от того, насколько мы уверены, что постигли событие в его глубочайшем содержании, так что можем с некоторой достоверностью увидеть в нем выражение воли Бога, и с другой стороны — от того, насколько глубоко мы можем проникнуть в естественную связь вещей. Но все это суть лишь субъективные различия, даже если бы все люди в отношении каждого случая такого рода совпадали по своим воззрениям. Поэтому, конечно, остается истинным, что все события, которые более всего возбуждают религиозное внимание, и в которых вместе с тем естественная связь более всего скрыта, скорее всего рассматриваются как чудеса; но столь же истинно и то, что, рассматриваемые сами по себе и как бы с точки зрения божественной причинности, все события суть в одинаковой мере чудеса. И подобно тому, как в аргументах «Вероучения», несмотря на отрицание абсолютного чуда, учитывается и удовлетворяется религиозный интерес к чудесному, так и здесь моим намерением является изобразить этот интерес в его чистом виде, и устранить из него все чужеродные примеси, которые скорее родственны тупоумному удивлению, чем свидетельствуют о радостном чаянии высшего смысла.

Стр. 121. О таком понятии, как действие благодати, которое привычно нам почти лишь в его своеобразной христианской форме, трудно говорить столь общим образом, чтобы объяснение охватывало и то, что ему аналогично в других формах религии. Но сюда принадлежит все, в силу чего какой-либо человек представлялся избранным любимцем божества. В понятии откровения более подчеркнута пассивность, в понятии вдохновения — творчество. Но то и другое совместно принадлежит к понятию благодати, причем первое более намечает благодать, последнее — ее действие, и всюду исключительно религиозные люди характеризуются обоими признаками. Если в дальнейшем выражение «откровение» обозначает вхождение мира в человека, а выражение «вдохновение» — первичное выступление человека в мир, то последнее возбудит, вероятно, менее сомнений, так как всякое

вдохновение стремится выступить наружу и совершить что-либо в мире, и все первичное, менее всего определенное извне, всегда преимущественно признается вдохновением. Первое же, хотя и соответствует упомянутому объяснению откровения, которое также ввиду необходимой здесь общности мысли не могло быть сформулировано иначе, но все же легко могло бы вызвать упрек, что оно в интересах менее совершенных форм религии оттесняет христианское воззрение, или что оно менее подходит к нему. Однако не следует упускать из виду, что идея Божества вступает в наше сознание не иначе, как в связи с идеей мира; а что здесь не может разуместься какое-либо иное воспринимание его, которое было бы не религиозным, а, например, умозрительным, это, кажется, достаточно ясно высказано в приложениях.

<sup>18</sup> Стр. 124. Тем, что сказано в моем «Вероучении» § 3—5, я надеюсь, более ярко освещается сказанное здесь, и преимущественно то, что все религиозные переживания выражают непосредственное бытие Бога в нас через чувство. Ведь вряд ли еще нужно напоминать, что бытие Бога вообще не может быть иным как только действенным, и только о действенном бытии, именно возбуждающем, и идет речь, и что также, наоборот, божественное воздействие на предмет равносильно всему бытию Бога в отношении этого предмета, ибо не может быть страдательного бытия Бога. В объяснении нуждается разве лишь то, что я здесь представляю единство нашего существа, в противоположность множественности функций, как божественное в нас, и говорю об этом единстве, что оно выступает в религиозных переживаниях, так как ведь из иных его проявлений можно было бы умозаключить, что и самосознание есть тоже лишь отдельная функция. Что касается первого, то могут возникнуть сомнения относительно того, что единство нашего существа есть божественное в нас, и можно сказать, что это название заслуживает лишь то, что является основой нашей способности сознавать Бога. Даже если бы эти возражения были основательны, то все же оставалось бы верным, что в религиозных переживаниях возбуждается именно божественное в нас, а это есть здесь главное. Что же касается остального, то, конечно, единство нашего существа, так как оно есть нечто безусловно внутреннее, никогда не может само по себе и в чистом виде выступать наружу, но наиболее непосредственно оно все же проявляется в самосознании, поскольку в последнем оттесняются отдельные отношения; как и с другой стороны, самосознание, там, где в нем проступают отдельные отношения, более всего является в виде единичной функции.

<sup>19</sup> Стр. 126. Все это рассуждение, надеюсь, также уясняется тем, что сказано в «Вероучении», преимущественно § 8, прилож. 2, как и с другой стороны здесь дополняется сказанное там. И так как каждый может сопоставить оба места, то вряд ли нужно еще держать защитительную речь против подозрения — я не хотел бы употреблять слово: обвинение, — которое почерпнули из этой речи даже некоторые весьма почитаемые мною, ныне

частью уже отошедшие люди, именно что для себя я предпочитаю мыслить безличную форму высшего существа; и это называли то моим атеизмом, то моим Спинозизмом. Я же полагал, что отыскивать благочестие всюду и признавать его, в какой бы форме оно ни встречалось, есть истинно христианское дело; по крайней мере, я нахожу, что сам Христос повелел это своим ученикам, и что Павел действовал именно так не только среди иудеев и иудейских единомышленников, но и в Афинах среди язычников. Я ведь совершенно открыто сказал, что далеко не одно и то же, лишен ли человек способности представить себе определенную форму высшего существа, или совсем его отрицает и вообще не дает возникнуть в себе религиозному чувству; и я не думал о необходимости специально протестовать против всех возможных выводов, и упустил из виду, как часто тому, кто идет прямо вперед, идущие вправо приписывают направление влево. Но кто, по крайней мере, воспримет немногие слова, высказанные в указанном месте о пантеизме, тот не припишет мне материалистического пантеизма и при некотором добром желании найдет, что человек может, с одной стороны, испытывать почти непреодолимую необходимость признать высшей ступенью благочестия представление личного Бога, именно всюду, где дело идет об истолковании себе и другим непосредственных религиозных переживаний, или где сердце охвачено непосредственным общением с высшим существом, — и что тот же человек, с другой стороны, может признать существенные несовершенства в представлении высшего существа как личности, и даже наметить опасности такого представления, если оно не очищено самым тщательным образом. Об этом очищении всегда заботились самые глубокомысленные из учителей церкви; и если бы свести воедино эти суждения, направленные на устранение всего человеческого и несовершенного из личной формы

Божества, то оказалось бы, что в конечном итоге можно одинаково сказать, что они отвергают личный характер Бога и что они его прилагают к Богу; оказалось бы, что ввиду трудности мыслить личность истинно бесконечной и недоступной страданию, необходимо строго различать между личным Богом и живым. Лишь этот последний признак имеет решающее значение и отделяет религиозное сознание от материалистического пантеизма и от атеистической слепой необходимости. А как кто в пределах этого канона колеблется в отношении личного характера Божества, — это надо представить его конкретизирующей фантазии и его диалектической совести; и если имеется благочестивое чувство, то обе эти силы сумеют взаимно оберечь себя. Если первая составит слишком человеческий образ, то вторая отпугнет его боязнью нежелательных выводов; если вторая захочет слишком стеснить конкретность своими отрицательными формулами, то первая уже сумеет настоять на удовлетворении своей потребности. Здесь мне было в этом отношении особенно важно обратить внимание на то, что если одна форма представления сама по себе не исключает всякого благочестия, то и другая форма сама по себе столь же мало его предполагает. Как много есть

людей, в жизни которых благочестие имеет мало значения и влияния, и которым все же необходимо это представление как общее дополнение прерывающихся с обеих сторон рядов причинности! И как много людей, наоборот, обнаруживают глубочайшее благочестие, тогда как в своих суждениях о высшем существе они никогда не могут в достаточной мере развить понятие личности!

<sup>20</sup> Стр. 129. Это место изменено по сравнению с предыдущим изданием. Суждение, что на нравственность нельзя вообще воздействовать, казалось мне хотя и верным в связи с предшествующим, но все же, во избежание недоразумений, нуждающимся в дальнейшем уяснении, которому здесь не место; отчасти же мне казалось, что все это рассуждение надлежащим образом завершается мыслью, что свобода и нравственность терпят ущерб от указаний на божественные награды. В споре по этому вопросу, как он велся преимущественно между кантианцами и эвдемонистами, нередко упускалась из виду, что есть большое различие между обещанием божественных наград как приманок, и теоретическим употреблением этого понятия для уразумения миропорядка. Первое есть безнравственный и прежде всего нехристианский прием, и он, конечно, никогда не применялся провозвестниками христианства, и для него нельзя найти основания в Писании. Последнее, напротив, естественно и необходимо, ибо лишь с его помощью можно усмотреть, что божественный закон распространяется на всю природу человека, и что он не только не полагает раздора в ней, но совершеннейшим образом сохраняет ее единство. Но это уразумение, правда, весьма различно, смотря по тому, свободны ли правдолюбие и любознательность от всех посторонних примесей, или еще подчинены им. И тут вряд ли можно отрицать, что требования своекорыстия ищут более всего произвола в божественных наградах, и что именно с этим связаны самые ограниченные представления о божественной личности, так как лишь в личности может иметь место произвол.

<sup>21</sup> Стр. 130. И это место, которое также направлено против ограниченных и в своей глубочайшей основе нечистых представлений, постигла судьба, сходная с судьбой сказанного о личности Божества, и оно возбудило такие же недоразумения. Ибо и здесь нашли возможным усмотреть, что я хочу умалить надежду на бессмертие и противодействовать ей, изображая ее как слабость. Но здесь было совсем не место давать объяснения по существу вопроса или излагать собственное мнение, которое я имею о нем в качестве христианина; последнее может быть найдено во второй части моего «Вероучения», и оба сочинения должны и здесь взаимно дополнять друг друга. Здесь же надо было лишь ответить на вопрос, связана ли эта надежда с религиозным направлением души столь тесно, что одно не может существовать без другого. Но как мог я ответить на это иначе, чем отрицательно, когда большинство исследователей в настоящее время признает, что древний избранный народ в более раннее время не знал этой

надежды, и когда легко показать, что в состоянии религиозного возбуждения душа скорее погружена в мгновение, чем обращена на будущее? Может, однако, показаться суровым, что эта речь явственно стремится вывести столь широко распространенную среди благороднейших людей надежду на возобновление и вечное сохранение индивидуальной жизни из низшей ступени своекорыстия, тогда как было бы легко вывести ее из любви к вещам, которые нам дороги. Однако, обозревая все формы, в которых надежда на бессмертие может являться как высшее самочувствие духа, мне все же казалось в отношении противников веры естественным и необходимым и здесь противодействовать тому, чтобы какая-либо определенная форма представления, и притом носящая явственные следы скрытого за ней подчиненного интереса, не смешивалась с самим существом дела; мне казалось необходимым подготовить такую постановку вопроса, которая была бы естественна не самосознанию, ограниченному личностью и связанному любовью к избранным объектам, а самосознанию, в котором личный интерес уже очищен облагораживающим подчинением себя сознанию человечества и природы. С другой стороны, чтобы избежать бесконечных прений, которые, чем далее бы шли, тем более уклонялись бы от главного предмета, необходимо было обратить внимание противников на то, что этот вопрос может подлинно религиозно обсуждаться лишь теми, кто уже приобрел высшую жизнь, которая одна лишь достойна победы над смертью и которую дает лишь истинное благочестие. Если здесь несколько сильно выражено отвращение к самообману низшего умонастроения, которое гордится тем, что оно может воспринимать бессмертие и руководиться вытекающими из него страхом и надеждой, то я могу оправдать это лишь тем, что здесь нет искусственной риторики, а что действительно это всегда было во мне сильным чувством; и более всего я желал бы, чтобы каждый человек, проверяя свое благочестие, видел самого себя не только так, как разумел Платон, говоря о душах, что они являются перед судьями подземного мира, лишены всех чуждых украшений, которыми они обязаны внешним условиям жизни, но чтобы он также откинул эти притязания на бесконечную продолжительность и, рассматривая самого себя как он есть, решил бы, суть ли эти притязания нечто большее, чем титулы, которыми часто украшают себя земные владыки, — обозначения стран, которыми они никогда не владели и не будут владеть. Кто, так обнажившись, все же находит в себе вечную жизнь, — на что намекает конец этой речи, — с тем будет легко столкнуться в этом вопросе так, как это пытается сделать мое изложение христианской веры. — Сверх того, не следует упускать из виду намеченной и здесь параллели между обеими идеями — идеями Бога и бессмертия — в отношении к различным формам их представления. Ведь если наиболее антропоморфическое представление личности Божества обыкновенно предполагает и нравственно загрязненное сознание, то то же применимо и к такому представлению о бессмертии, которое, наподобие Елисейских Полей, отображает лишь более прекрасную и расширенную землю. И как есть большая разница между неспособностью мыслить Бога в

такой личной форме и отсутствием вообще мысли о живом Боге, и только последнее означает атеизм, так и человек, который не дорожит таким чувственным представлением о бессмертии, еще весьма далек от отрицания вообще бессмертия. И если мы хотим называть благочестивым всякого, кто верит в живого Бога, то мы должны называть благочестивым и всякого, кто верит в вечную жизнь духа, в какой бы форме она ему ни представлялась.

### Пояснения к третьей речи

<sup>1</sup> Стр. 135. Это выражение, по-видимому, противоречит словам Христа, который сказал своим ученикам: «Не вы Меня избрали, но Я избрал вас». Однако, это противоречие все же лишь кажущееся. Ведь и Христос в другом случае спросил своих учеников, не хотят ли и они уйти от Него, как это сделали другие, и тем признает, что пребывание с Ним есть свободное деяние; а ведь только последнее я здесь и утверждаю. И можно даже сказать, что в их выражении непоколебимой верности Ему содержится мысль, что они как бы снова избирают Его своим учителем, с более ясным чувством и зрелым суждением, чем когда они впервые примкнули к Нему. Было бы также неправильно толковать вышеприведенные слова Христа так, что Ему были особенно важны те или иные отдельные лица; это имело бы партикулярный смысл, которого я не мог бы защищать. Здесь подразумевается не то, что в Нем и в них одинаково первичное божественное вдохновение основало царство Божие, причем они избрали Его, как сильнейшую и глубочайшую личность, своим представителем, подобно тому, как позднее они избрали Петра; такого рода отношение можно справедливо признать в применении к более подчиненным религиозным движениям, напр., реформам церкви; здесь разумеется, наоборот, что вдохновение было лишь у Него одного, у них же — лишь восприимчивость к этому вдохновению. Таким образом, сказанное здесь вполне гармонирует со словами Христа, и именно Его отношение к ученикам предносилось мне здесь как образец. Ибо, конечно, если бы Христос не исходил из этого воззрения, что всякое живое религиозное обнаружение, как бы индивидуально оно ни было, может пробуждать в другом сходное лишь в универсальной форме, и что, когда человек всецело примыкает к своеобразию другой личности, это есть всегда его свободное деяние, — Он никогда не относился бы с таким чувством равенства к своим ученикам и не называл бы их своими братьями и друзьями.

<sup>2</sup> Стр. 136. Сказанное здесь уже само собой следует из поясненного выше. И лучший пример этому мы найдем опять-таки в древнейшей христианской истории, вспомнив о тех единомышленниках иудеев из язычников, которые позднее покинули иудеев, впервые пробудивших в них чаяние единого высшего существа, и перешли в христианство. Мне кажется особенно необходимым в эпоху более интенсивной религиозной жизни, как она несомненно наступила у нас с тех пор, как я впервые писал это, чтобы до



этого более свободного воззрения возвысились и находили в нем успокоение все, кто в силу должности или по внутреннему призванию оказывают заметное религиозное влияние; тогда они не будут удивляться, если те, чье религиозное чувство впервые было пробуждено ими, позднее найдут полное удовлетворение в несколько иной форме воззрений и ощущений. Пусть каждый радуется, что пробуждает жизнь, ибо это свидетельствует, что он есть орудие божественного духа, но пусть никто не верит, что формирование этой жизни стоит в его власти.

Стр. 141. Лишь этой чертой завершается картина того умонастроения, которое я хотел здесь обрисовать. Ведь эти люди избегают и буквы. И если они допускают моральное, политическое или религиозное исповедание лишь постольку, поскольку каждый может при этом мыслить что угодно, то они признают и практические правила лишь под условием постоянных исключений, чтобы все, как это вытекает из принципа абсолютной полезности, стояло совершенно обособленным, чтобы оно было ничто, ни из чего и ни для чего. — Если бы, однако, кто-либо из читателей иного склада косо посмотрел на то, что употребленное здесь выражение приписывает цену букве, и притом не малую, ибо оно приравнивает ее по существу ко всему остальному, здесь упомянутому, и нашел, что этим я благоприятствую недоразумениям, которым в настоящее время нужно главным образом противодействовать, — то я все же хотел бы предупредить, что такое намеренное принижение непомерно почитаемого не полезно истине, а вызывает частью упорство, частью переход к противоположной крайности. Поэтому мы должны во всякое время открыто признавать высокую цену буквы во всех серьезных вещах, поскольку она не отделена от духа и не стала мертвой. Ведь если непосредственная жизнь содержится в великих единствах, которые слишком замкнуты, чтобы буква могла проникнуть в них, — какая буква выражала когда-либо бытие народа? — и в единичном, которое слишком текуче, чтобы буква могла удержать его — какая буква выявляла когда-либо сущность отдельного человека? — то буква есть все же повсюду необходимая, очищающая рассудительность, без которой мы можем лишь кружиться между тем и другим, теряя ясное сознание, и которой мы обязаны тем, что хаотическая, неопределенная масса превращается в определенное единство. Несомненно даже, что в высшем смысле эпохи разделяются буквой, и что правильная оценка того, когда человеческие дела нуждаются в новой букве, есть высшее деяние человеческой мудрости. Ибо если буква появляется слишком рано, то она отвергается живою еще любовью к той букве, которую она должна вытеснить; а если она образуется слишком поздно, то уже наступило указанное головокружение, которого она тогда уже не может преодолеть.

Стр. 145. Никто не должен думать, что явления пробужденной религиозной жизни, которые теперь так часты, в особенности в Германии, я рассматриваю как осуществление высказанной здесь надежды. Это достаточно ясно уже из

следующего. Возрождение благочестия, которое ожидается от раскрытия восприимчивости, должно было бы ведь принять иную форму, чем ту, которую мы теперь видим. Нетерпимое бессердечие наших новых верующих, которые не удовлетворяются избеганием того, что им чуждо, а пользуются всяким общественным отношением для клевет, которые могут вскоре стать опасными всякой свободной духовной жизни, их боязливое внимание к отдельным выражениям, которыми они одного человека обозначают белым, а другого — черным, равнодушие большинства из них ко всем великим мировым событиям, узкий аристократизм других, всеобщая боязнь всякой науки, — это не черты открытой восприимчивости, а скорее черты глубоко вкоренившегося болезненного состояния, на которое надо воздействовать с любовью, но и со строгой неуклонностью, чтобы общество, как целое, не потерпело от него ущерба, перевешивающего духовную выгоду отдельных лиц от пробуждения религиозной жизни. Ибо мы не хотим отрицать того, что лишь этот грубый род благочестия мог пробудить многих людей низшего рода от их тупоумия и многих более знатных — от их светскости, но мы желаем и хотим всеми силами содействовать, чтобы это состояние оказалось для большинства лишь переходом к более достойной свободе духовной жизни. Это могло бы удасться тем легче, что ведь очевидно и совершенно явственно, как легко овладевают этой формой люди, которым нужно нечто совсем иное, чем истинное благочестие, и как заметно скудеет дух, когда он некоторое время был скован этой формой.

<sup>5</sup> Стр. 148. Формы религии, особенно здесь подчеркнутые, по-видимому, не совпадают с главным делением, установленным в § 9 «Вероучения». Ведь что касается подчинения действительных состояний страдательным и обратно, то и наиболее отрешенное самосозерцание, и самое внешнее мирозозерцание могут одинаково легко идти обоими путями. Однако, эта речь и не ставит себе задачей различить главные формы религии; но, так как дело идет о религиозном воспитании через раскрытие восприимчивости, и притом о таком воспитании, которым отдельный человек не вводится сразу в определенную форму, а каждый сперва делается способным отличать более всего подходящую ему форму религии и согласно этому определяет себя, — то было гораздо важнее показать главные направления восприятия; а тем самым более всего отделяются те формы религии, которые точнее всего соответствуют этим главным направлениям. Впрочем, и здесь не разумеется полная односторонность. Ведь самосозерцание должно быть направлено и на то я, которое занято мирозозерцанием, и мирозозерцание должно также направляться и на мир, в котором создается и сохраняется религия. Поэтому было бы тщетно требовать, чтобы среди намеченных здесь двух форм было указано место христианству, как в Вероучении оно нашло себе место среди этических и теологических форм религии. Скорее сама речь уже намечает, что историческое сознание, которое есть самое полное слияние обоих направлений, есть и самый совершенный путь к благочестию. А что это историческое сознание преимущественно лежит в основе христианства, в

котором все сводится к тому, как человек относится к царству Божию, — это вряд ли нуждается в обосновании, а отсюда само собою следует, что христианство представляет **благочестие, которое одинаково питается и самосозерцанием, и мирозозерцанием;** и более всего, поскольку каждое из них связывает с указанным их взаимопроникновением. Что здесь опять-таки имеются подчиненные разновидности восприимчивости, это понятно само собой; но последние, конечно, вполне субъективны и не определяют различных церковных формаций христианства.

<sup>6</sup> Стр. 149. Это родство теперь вряд ли кто будет отрицать. Достаточно было обратить внимание на этот предмет, чтобы тотчас же заметить, что, с одной стороны, во всех искусствах все величайшие произведения суть религиозные изображения, и что, с другой стороны, вражда против искусства во всех религиях, не исключая христианства, приводит к особой сухости и охлаждению, хотя не всякой религии одинаково соответствуют все роды искусства. И если обратить внимание на общую всем искусствам двоякость стиля, именно на то, что все они различают более строгий и связанный стиль от более свободного и развязного, то нельзя отрицать, что религиозное искусство всюду более всего поддерживает строгий стиль; и если религиозные предметы трактуются в легком стиле, то упадок религии предопределен, но тогда вскоре следует и упадок искусства; более легкий стиль сохраняет истинно художественный характер, лишь если он находит себе меру и опору в более строгом, а чем более он отрешается от последнего и, следовательно, от связи с религией, тем вернее и неизбежнее он вырождается в искусственность и угодничество. Ведь все это в целом уже часто повторялось в истории искусства, и в частности еще постоянно повторяется.

### **Пояснения к четвертой речи**

<sup>1</sup> Стр. 154. Утверждению, что книга сама по себе менее всего способна содействовать возбуждению благочестия, по-видимому, противоречат данные опыта, начиная от священных писаний всех религий вплоть до наших, отчасти столь невероятно распространенных назидательных книг и мелких религиозных памфлетов, которыми теперь преимущественно стараются возбудить религиозное сознание народа. Вопрос заслуживает, поэтому, более подробного уяснения. Что касается, прежде всего, священных писаний, то в монотеистических религиях, о которых конечно, только и стоит здесь говорить. Коран есть единственная книга, возникшая именно как книга; а на него, бесспорно, надо смотреть скорее как на учебник или хрестоматию, из которой как бы должны браться темы для религиозных творений, — в полном соответствии с мало первичным характером этой религии. И потому непосредственное, в собственном смысле слова, религиозное действие, которое оказывает Коран, также не должно быть оцениваемо слишком высоко. Весьма многообразный иудейский кодекс до некоторой степени

отличается таким же характером, главным образом в своих гномических книгах; собственно историческая часть, строго говоря, сюда не относится, поэтическая же часть в значительной мере — как, напр., большая часть псалмов, создана для непосредственного выражения религиозных чувств в определенных случаях, а не наугад для неопределенного употребления, и следовательно, тоже не есть только Писание в строгом смысле. И кто мог бы отрицать, что их действие во всей этой связи должно было быть гораздо большим, так что влияние, которое они оказывают теперь, в качестве только Писания, есть лишь тень их прежнего действия. Поэзия пророков более раннего периода тоже по большей части была непосредственно обращена к жизни, и значительная часть ее дошла и до потомства в том соединении с историей, которое воссоздает перед нами данный индивидуальный момент, — в противоположность тем творениям, которые были непосредственно созданы как Писание. Чем более, однако, терялась эта живая традиционная сила, и Писание даже в пределах иудейского народа становилось предметом ученых занятий, тем более утрачивалось и его непосредственное действие, и оно стало лишь опорной точкой для примыкающей к нему живой беседы. Что же касается новозаветных писаний, то они менее всего суть писание в строгом смысле слова. Ведь в исторических книгах самое существенное есть переданная в них непосредственная речь, а исторические данные необходимы, главным образом, для сохранения жизненности момента речи. Только история апостолов как будто образует исключение и занимает свое место в каноне, преимущественно, как корень всей церковной истории. Но именно потому, что в противном случае значение ее всецело ограничивалось бы этой подчиненной задачей, наше чувство не мирится с допущением, что помещенные в ней речи сочинены задним числом, как это бывает в других исторических книгах. Наши дидактические книги, в качестве посланий, Суть менее всего просто писание, и никто не будет отрицать, что их действие на непосредственных адресатов, для которых момент их составления был настоящим, было гораздо большим. Теперь мы можем достигнуть лишь тени этого действия, да и то только с помощью ученых пояснений, пытающихся перенести нас в ту эпоху; и самое существенное действие этих писаний в наше время опирается все же на прием, заимствованный из синагоги, по которому они являются исходной точкой для нашей живой религиозной беседы. И только через эту беседу сохраняет устойчивость чтение священных книг самими мирянами, иначе его значение если бы и не совсем исчезло, то потеряло бы определенность. Так неизмеримо велика была первоначальная сила этих творений, что еще теперь, после того, как они стали всецело писанием, им присуща полнота возбуждающего духа, которая есть самое яркое свидетельство их божественной силы; но объективная сторона этого действия, подлинное понимание, скоро свелось бы на нет, в частном употреблении мирян, без связи с ученым пояснением. Поэтому естественно, что католическая церковь, приписывая меньшее значение проповеди, ограничивает пользование мирян Писанием, и что, наоборот, мы, не считая допустимым это ограничение, должны гораздо больше выдвигать публичное

объяснение Писания в проповеди; и поэтому-то всегда должно быть гибельным для всей религиозной жизни, если Писание употребляется лишь как эпитафия для проповеди. А насколько живо стремление спасти то, что содержится в священных книгах, из этого состояния, в котором оно есть только Писание, — об этом свидетельствует столь легко усваиваемый самыми религиозными христианами метод, в высшей степени неестественный в отношении всякого произведения, которое с самого начала создано именно как книга: метод употреблять всегда, когда есть потребность в религиозном возбуждении или просветлении, отдельные места Писания, вырванные из общей связи, и притом не по выбору или воспоминанию, а прямо наугад. Конечно, этот прием нельзя оправдывать, потому что он слишком легко вырождается в фривольную магическую игру, но в нем обнаруживается стремление вернуть религиозным изречениям святых людей живую действительность, которая была бы непосредственной и независимой от их действия, как книги. — Что же касается наших назидательных сочинений, которые, ведь, по большей части возникают именно как книги, то нельзя, правда, отрицать их большого влияния; многочисленные издания, в силу которых некоторые из них сохраняют свое значение для целого ряда поколений, слишком ясно доказывают это; кто мог бы отказать в уважении этим трудам, которые так засвидетельствовали свою годность и, кроме того, значительно содействовали ограждению большого числа людей от опасного вихря изменчивых учений. Но никто, ведь, не захочет отрицать, что живое слово и религиозное возбуждение имеет в общине гораздо большую силу, чем писанная буква. Более того, при ближайшем рассмотрении окажется, что действие аскетических сочинений основывается не столько на том, что они точно воспринимаются как целое, сколько, главным образом, на том, что они содержат множество сильных и великолепных формул, с помощью которых могут быть обобщены и сохранены в воспоминании многие религиозные моменты. Далее, оно основывается на том, что эти сочинения, примыкая к указанным моментам, обеспечивают прочность индивидуальным религиозным движениям, и что они наверно не удаляются от характера общей религиозной жизни. Поэтому-то индивидуально талантливое в этой области литературы редко пользуется большим успехом. Этот хороший отзыв применим, однако, лишь к самым дельным и многообъемлющим аскетическим сочинениям. Нынешнее же стремление многих благомыслящих обществ распространить в народе множество религиозных листков, которые совсем не имеют подлинно объективного характера, а хотят сообщить самые субъективные внутренние переживания в мертвой букве, притом не соответствующей ни евангельской, ни церковной литературе, основано на глубоком недоразумении; вряд ли оно будет иметь иное действие, кроме того, что приведет к еще большему упадку наш церковный строй, неудовлетворительность которого оно именно и предполагает, и создаст множество людей, которые либо будут лицемерно проявлять чувства, в действительности у них не имеющиеся, либо же впадут в печальное смущение, так как их подлинная религиозная жизнь не соответствует тому

образцу, который им предписывается. Если общественная церковная жизнь больна или слаба, то пусть каждый по своему содействует ее исцелению, но пусть никто не думает, что ее можно заменить мертвой буквой. Что религиозная жизнь должна проистечь из библиотек для чтения, — это, на мой взгляд, равносильно тому, чтобы заменить великие акты законодательства и управления брошюрами, которых всегда хотелось бы иметь как можно большее число, и исправленные, по крайней мере, в частностях, издания которых легко могут следовать одно за другим.

<sup>2</sup> Стр. 155. Быть может, многие из тех, кто питали благонамеренное желание вновь одухотворить пустое и формальное общение внесением в него религиозного элемента, уже испытали на себе, что мы позднее легко страдаем от избытка того, чего ранее слишком усердно желали. Ведь немало разложения и зла возникло из того, что религиозные предметы трактовались в блестящих кругах, в форме светской беседы, где легко начинают преобладать даже личные мотивы. Я писал тогда это на основании опыта моих юношеских лет, проведенных в братской общине. Там существуют особые сходки, предназначенные для ведения свободных религиозных бесед; но хотя там почти нельзя было говорить об отсутствующих инакомыслящих лицах, я все же не видел, чтобы из этих бесед возникало что-либо действительно жизненное и достойное, и мне думается, что в тексте я правильно указал общую причину этого. Поэтому вернее было бы желать не того, чтобы в нашем непринужденном общении обсуждались религиозные предметы, — пусть это лучше происходит лишь случайно и мимоходом, — а того, чтобы в этом общении господствовал религиозный дух; а в последнем, конечно, не будет недостатка, раз значительная часть общества будет состоять из религиозных людей.

<sup>3</sup> Стр. 155. Трудно себе представить большее различие, чем различие между этим описанием и тем, чего я сам достиг в области религиозной речи за почти тридцатилетний срок моей должностной деятельности, т.е. за промежуток времени, в течение которого каждый должен приблизиться к осуществлению своего идеала настолько, насколько это ему вообще доступно. Если бы теория и практика действительно так далеко разошлись, то для моего оправдания мне оставалось бы только сослаться на Сократа, которому было отказано в иной мудрости и было дано знать лишь то, что он ничего не знает; так и я мог бы сказать, что мне не было даровано это высшее красноречие, а только дано было предпочитать простую речь стремлению к фальшивым украшениям. Но это все же не совсем так: ибо характер моего осуществления определяется тем различием, которое развивается ниже в той же речи, и о котором приходится упомянуть и здесь, — именно различием между церковным обществом, как оно существует среди нас, и тем, что я в той же речи называю истинной церковью. В первом обществе речи, каково бы ни было их содержание, имеют всегда вместе с тем и дидактический характер, так как оратор должен доводить до сознания своих слушателей то,

что хотя он и предполагает в них, но что само по себе не могло бы развиваться в них в такой форме. Но чем более проступает дидактический характер, тем менее он совместим с украшением речи, и потому там благословение явственно лежит и на безыскусственной речи. И то же самое применимо и к области иного религиозного искусства. Ибо если представить себе религиозную поэзию во всей силе и красоте, которая уместна для возвеличения Бога в кругу всесторонне развитых в религиозном отношении людей, — как мы имеем много такой красоты в песнях нашего Клопштока и нашего Гарденберга, — то ведь никому не придет в голову применять то же мерило и к сборнику церковных песен.

<sup>4</sup> Стр. 156. Вряд ли мне еще нужно здесь особо ограждать себя против ложного толкования, будто я хочу изгнать всякий вообще порядок из собрания истинно религиозных людей, и уподобить его некоторым фанатическим сектам, которые ничего не намечают заранее для своих сходов, а все представляют случаю. Напротив, чем выше стиль религиозного общения, т.е. чем более оно представляет искусно расчлененное целое, тем более оно нуждается в строгом порядке. Речь идет здесь лишь о том, что все, принадлежащее к гражданскому порядку, должно быть совершенно исключено, и что все может здесь формироваться лишь на основе первичного всеобщего равенства; и это разумеется здесь в самом строгом смысле, ибо я считаю это необходимым условием всякого процветания такого общения, одинаково как реально существующего, так и того, которое здесь идеально изображено. Подобно тому, как беспорядок портит всякое общество, так и всякое общество разрушается порядком, который создан для другого общества, ибо для него он тоже есть беспорядок. И если уже противоположность между священниками и мирянами не должна быть проводима слишком резко, то еще менее позволительно подчеркивать в среде мирян различие, которое принадлежит к совсем иной области. Если член общины, хотя бы внешним образом стоящий в каком-либо сюзеренном отношении к ней, считает себя вправе вмешиваться в распорядок общины, в устройство ее собраний и действовать в качестве священника только потому, что он стоит высоко в гражданском обществе, — то и всякому иному ее члену, как бы низко он ни стоял в гражданском обществе, принадлежало бы то же право, и истинный и надлежащий порядок общины был бы совершенно уничтожен.

Стр. 157. Всякий сведующий в Писании читатель вспомнит здесь об апостоле Павле, который призывал всех христиан возвыситься до священства и свидетельствовал о принадлежности их всех к священству. Это есть, следовательно, чисто христианское выражение, а потому и изложенное здесь воззрение о равенстве всех истинных членов' религиозной общины, при котором никто не должен быть ограничен одним восприятием, и высказывание не есть исключительная привилегия некоторых членов, есть подлинно христианское воззрение; ведь христианство и усмотрело свою цель

в пророческом изречении, что все должны быть научены Богом. И если мы представим себе эту цель достигнутой, и общину завершенной на ней, так что уже не может быть речи о возбуждении религии в других, и если отвлечься в этом отношении от воздействия на подрастающее юношество, то между членами общины не остается иного различия, кроме чисто преходящего, касающегося выполняемой в данный момент функции. Поэтому, если мы видим, что во всех формах религии, начиная с самой глубокой древности, утверждается и сохраняется противоположность между священниками и мирянами, то нам остается допустить лишь одно из двух. Либо здесь первоначально имело место различие, и религиозно развитое племя соединилось с более грубым, причем ему не удалось возвысить последнее до полноты своей собственной религиозной жизни, которую в таком случае можно было бы найти среди самих священников, в их мистериях и их общественной жизни. Либо же религиозная жизнь столь неравномерно развилась в народе, что стало необходимо — чтобы предупредить ее совершенное рассеяние, — дать особую организацию тем, в которых она сильнее обнаружилась, и тем придать большую силу их воздействию на остальных; но ведь в таком случае, чем совершеннее эта организация, тем более она должна со временем стать излишней. Христианское священство в более узком смысле слова — в употреблении которого я не должен оправдываться, ибо мы в протестантской общине вполне согласны между собой, в-каком смысле это выражение вообще не может иметь силы в христианстве — очевидно принадлежит к последнему виду, и потребность в нем стала чувствительной лишь постепенно; это тем более ясно, что ведь вначале даже достоинство апостола не обосновывало никакого преимущества в общине. Но это более узкая секция общины получает еще особое значение, независимо от религиозного воодушевления остальных, в силу того, что история христианства и особенно более точное значение первохристианства необходимо должны были стать предметом науки, и к этому научному знанию необходимо должны были приобщаться все те, чьи религиозные высказывания должны были стоять в сознательном согласии с историей. Таким образом, это различие могло бы исчезнуть вполне, лишь если бы всем христианам была доступна эта наука; и если этого и нельзя ожидать, то значение этого различия должно все более ограничиваться именно этой областью, в которой оно в конечном счете только и может найти себе основание.

<sup>6</sup> Стр. 157. Выставленное здесь утверждение, на основании которого ниже и к внешнему религиозному обществу предъявляется требование, чтобы оно по возможности стало текучей массой, — утверждение, что в религиозном общении нет резких обособлений и определенных границ, кроме тех, которые установлены механическими приемами, т. е. приемами, в известном смысле произвольными и не вытекающими из природы самого предмета, по-видимому, стоит в противоречии с тем, что я подробно развил во введении «Вероучения», § 7—10. И при этом нельзя сказать, что там вопрос об общине



имеет второстепенное значение, и главная задача состоит в уяснении своеобразных черт различных форм веры по их содержанию, и прежде всего своеобразия христианства. Ведь именно для этой цели и нужно было уяснить христианскую церковь как определенно ограниченную общину.

Согласование состоит, напротив, в следующем. С одной стороны и здесь признается, что известные религиозно-общественные массы образуются органически, что совпадает с высказанным там утверждением, что в основе всякой ограниченной общины лежит особая историческая исходная точка, которая именно и определяет органическое развитие. Если бы этими исходными точками не полагалась вместе с тем внутренняя разнородность, то эти массы были бы только численно различными, или различались бы лишь величиной и такого рода достоинствами, которые зависят только от более или менее благоприятных внешних условий, — как плоды с одного дерева. И если бы они столкнулись своими границами, то в этом случае было бы естественно, чтобы они срослись между собой и тогда уже могли бы быть разделены лишь механически, как это иногда и случается с такими плодами. С другой стороны, там утверждается внутренняя разнородность форм веры, которую вместе с тем разделяют и общины, — но все же разнородность лишь в подчинении и взаимном соотношении частей, и таковая не исключает той малой степени общения, которая здесь предполагается между разными формами веры. Ведь если бы было невозможно, исходя из одной формы веры, понять другие, то вся представленная там попытка была бы тщетной. Если же эти формы веры понимаешь в их внутренней сущности, то должно быть возможно также понимать их формы проявления, т. е. их богослужения и притом не только в качестве зрителя, но и в известной мере внутренне усваивая их; и к этому неспособны лишь неразвитые члены каждой общины. И это есть то же самое, что утверждается здесь, именно что влечение к обособлению, когда оно направляется на полное разделение, есть свидетельство несовершенства. И так как неразвитые члены не могут ведь сами по себе составить общину, а составляют ее лишь совместно с развитыми, то с высказанными там утверждениями может быть соединена и мысль, что религиозная община хотя и внутренне разделена и расчленена, но все же в ином отношении есть нечто единое, если только она не рассечена механически, будь то мечом или буквой. Разве не кажется нам насильственным и нечестивым, когда членам одной религиозной общины воспрещается посещать богослужения другой общины в целях назидания? А ведь лишь таким приемом, т. е. чисто механически, общины могли бы быть совершенно отделены друг от друга.

<sup>7</sup> Стр. 158. Было бы, конечно, заслугой показать, что *дикий* прозелитизм, который именно в силу этого своего характера достоин порицания, нигде не основан на самой религии; но может показаться чрезмерным высказанное здесь отрицание даже *мягкого* прозелитизма, всякого стремления перетянуть других людей из чужой формы религии в свою собственную, всякого желания вселить религию в души, еще лишенные ее. Здесь, по-видимому,

вопреки свидетельству всей истории, даже вопреки ясным словам самого Основателя христианства, как и вопреки тому, что было сказано в «Вероучении» об отношении христианства к иным формам религии, утверждается, что распространение христианства в мире исходило не из самого христиански религиозного чувства. Но это явственное стремление стоит и в некоторой связи с представлением, которое здесь также всецело отвергается, именно, что либо спасение вообще, либо некоторая высшая его степень не может быть столь же легко найдено вне определенной религиозной общины, как внутри ее. Следовательно, и в этом отношении здесь, по-видимому, не дано надлежащее разграничение между истинным и ложным. И если, как это здесь предполагается, изложенное утверждение совершенной недопустимости прозелитизма есть правильный вывод из предшествующей теории религиозного общения, то, очевидно, ошибку надо искать в самой этой теории. Однако, более точное рассмотрение этой теории и правильное использование того, что признается в дальнейшем изложении, — именно, что распространение собственной формы религии есть все же естественное и допустимое частное дело отдельного лица, — позволяет разрешить трудности и здесь. Если, в строжайшем смысле слова, существует лишь единая вселенская религиозная община, в которой все различные формы религии взаимно признают и созерцают друг друга, так что тот, кто переводит приверженцев одной формы в другую, по-видимому, стремится к разрушению многообразия и к умалению целого, — то ведь очевидно, что и здесь многое, что может существовать лишь на низших ступенях развития, разрушается само собой, и воспринимается сведующим, лишь как этап развития; и потому нет ничего неправильного в желании ускорить этот процесс и управлять им. Таким образом, чем более лица, исповедующие определенную форму веры, вынуждены рассматривать другие формы лишь как такие этапы, тем сильнее в них разовьется миссионерство. И если спросят, в какой же религии и в отношении каких иных это чувство более всего правомерно, то прежде всего эта правомерность может быть вообще признана за монотеистическими религиями, а в самом широком смысле, с современной точки зрения — за христианством; и то же самое было изложено в «Вероучении», только более научным ходом мысли. Но, всегда миссионерство предполагает именно эту единую, внутренне разделенную общину, на которую здесь всегда необходимо опираться. Ибо как Павел поступал в Афинах, созерцая эллинские богослужения, чтобы применить оценку и приобрести исходную точку для выражения собственного благочестия, — так следует всегда поступать, и в этом уже содержится общение между двумя формами религии, которое, таким образом, возникает всюду, где развивается такое ассимилирующее стремление. И в связи с этим можно определить истинное различие между достохвальной миссионерской ревностью, которая стремится лишь к очищению и дальнейшему развитию уже возникшего благочестия, признаваемого даже в самых слабых его следах, и указанным диким, всегда нечестивым прозелитизмом, который столь же легко может вырождаться и в преследования: это различие состоит в

том, что первая начинает с непредвзятого и любовного созерцания даже самых несовершенных форм веры, последний же считает себя вправе игнорировать их. Если к этому еще присоединить, что утверждение, считающее миссионерство частным делом отдельных лиц, не должно быть понимаемо в узком и буквальном смысле, а лишь в смысле противопоставления отдельных лиц всеобъемлющей общине, то отсюда следует, что и союзы отдельных лиц, и даже целые формы религии могут здесь считаться отдельными лицами. — Что же касается лозунга *nulla salus*, то для великой общины верующих он имеет абсолютную истинность, так как вне религии они не могут признавать спасения; поскольку же одна религиозная партия провозглашает его в борьбе с другой, он имел разрушительное действие, т. е. поскольку отрицается вселенская община, и в этом смысле он действительно связан с диким прозелитизмом. Об особой истинности его в христианстве говорит «Вероучение» в согласии с развитыми здесь воззрениями.

<sup>8</sup> Стр. 161. Встречающееся во всех великих формах религии, во все времена и в самых разнообразных вариациях, хотя и не всегда с одинаковой интенсивностью, стремление в пределах большого общества основывать более мелкие и тесные союзы явственно исходит всюду из допущения, что большое общество пришло в глубокий упадок. Оно сказывается в сепаратизме, который хотя и примыкает в целом к определенному религиозному учению, но не желая иметь ничего общего с порядками религиозного общества, очевидно, должен утверждать, что порядки общества независимы от его учения, т. е. определены чуждыми началами, и что поэтому религиозно-общественное состояние есть болезненное состояние членов общины. После высказанного выше утверждения, что общительность лежит в самой природе благочестия, никто не подумает, что здесь защищается сепаратистская религиозность; здесь защищаются лишь попытки основания более тесных союзов, которые ближе подходят к идее истинной церкви. Но эту славу они заслуживают лишь в том случае, если они развивают богатое творчество в деле религиозного обнаружения; напротив, когда они опираются только на узкую, замкнутую букву, они прямо уничтожают идею всеобъемлющего общения. Если такой союз основан, и при этом религиозное творчество слабо или совсем отсутствует, то болезненное состояние совершенно явственно. Поэтому среди всех таких союзов все еще выделяется братская община, которая, по крайней мере, создала своеобразную форму религиозной поэзии. И религиозная речь нашла там более широкую и многообразную сферу приложения, так как, наряду с общим собранием, существуют многочисленные собрания отдельных частей общины; и в этом отношении, таким образом, нельзя не признать наличности прекрасного задатка, и если его развитие не вполне успешно, то виною этому, быть может, недостаточно заботливое отношение к дарованиям. И в других отношениях эта община обнаружила чистое и достохвальное направление тем, что она для себя отменила ту замкнутость буквы, которая

разделяет обе основные ветви протестантской церкви, а равно и тем, что она стоит в самых разнообразных отношениях к этой церкви как к целому, в зависимости от обстоятельств каждого данного момента. Точно также в своих миссионерских стремлениях, которым без колебаний надо присудить первое место среди таких попыток, она сохраняет чистый и верный такт и умеет легко и удачно действовать даже на самые несовершенные религиозные умонастроения и пробуждать в них восприимчивость к высокому духу христианства. Итак, где пробудилось стремление к таким более узким союзам, там, конечно, естественно пренебрежительное отношение к официальной церкви в ее данном состоянии; но так как это пренебрежительное отношение приписывается здесь всем в более высоком смысле религиозным людям, то столь же легко отсюда должно возникнуть стремление улучшить также состояние большой внешней общины и укрепить в ней ее естественную связь с истинной церковью.

<sup>9</sup> Стр. 161. Это описание, как мне кажется, вполне соответствует тому внешнему виду, который в то время имели наши богослужebные собрания, и во всяком случае оно опирается на непосредственное впечатление. Однако вывод, что поэтому в этих собраниях господствует совсем иной принцип общения, а не тот, который был развит выше, по-видимому, может быть признан не всецело, а лишь при следующих ограничениях. А именно ниже, на стр. 177, членам истинной церкви, которые в силу исторически сложившихся требований не могут обнаруживать самодеятельность и выступать в роли священников во внешнем религиозном обществе, указывается на домашнее богослужение, как на способ удовлетворения их потребности в религиозном обнаружении. Но если во внешней церковной общине имеются лица, способные последовать этому указанию, то они, несмотря на внешние преграды, отнюдь не могут быть только пассивными и воспринимающими и в церковных собраниях, так как ведь они тотчас же перерабатывают воспринятое в связи с указанной сферой обнаружения. И эта деятельность в таком случае совершается в самом собрании, и если мы представим себе последнее и ассимилированные с ним домашние богослужения как одно целое, то эта более широкая община явится нам в виде единого деятельного организма. И эта деятельность обнаружится и в самом собрании, когда несколько семей связаны между собой в своем религиозном чувстве, и когда тот, кто руководит собранием, знает эту внутреннюю производительность ее соучастников и имеет ее в виду. Следовательно, лишь там, где и в домашней жизни и в родственном общении не развивается религиозное обнаружение — а в то время действительно что-либо подобное было мало заметно в пределах нашего отечества, — справедлив вывод, касающийся этого пункта. Кроме того, следует еще принять во внимание, что, так как религиозное обнаружение по своей природе стремится стать искусством и, следовательно, обусловлено не одной только силой религиозного чувства, но вместе с тем и мастерством, то отсюда уже вытекает невозможность полного равенства во взаимном

общении. Если мы сравним с этим крупные формы изображения в какой-либо иной области искусства, и сообразим, что, например, в музыкальном искусстве для этого нужен не только композитор, но и художник-исполнитель, начиная с виртуоза, играющего на главном инструменте, вплоть до подчиненных аккомпаниаторов, и кроме того еще изготовитель музыкальных инструментов, и что и слушатели, если только они — знатоки, не только воспринимают, но и перерабатывают воспринятое каждый на свой лад, — то мы должны будем признать, что и в церковных собраниях огромное большинство может состоять лишь из художников аккомпаниаторов, и что тем не менее все до некоторой степени содействуют обнаружению целого. Следовательно, лишь там, где такое содействие совершенно отсутствует, и имеется либо только пассивно-религиозное настроение, либо же одно мирское художественное чувство, а не религиозный дух, стремится высказаться и соучаствовать в богослужении, — лишь там вполне осуществляется указанная односторонность.

<sup>10</sup> Стр. 162. Если понимать сказанное здесь в буквальном смысле, то, конечно, нужно было бы прийти к заключению, что внешняя церковь существует лишь в силу собственного ничтожества, именно в силу того, что она неспособна пробудить и усилить религиозное чувство до известной степени жизненности. Но что это не следует понимать в строгом смысле, — явствует уже из того, что иначе нужно было бы хвалить холодный и гордый уход из церкви, тогда как выше было признано, что это большое религиозное общество отнюдь не должно быть уничтожено. Но естественно, что здесь, как во всех подобных человеческих делах, существуют различия по степени, основанные на исконных свойствах каждого отдельного человека; и именно люди, стоящие на различных ступенях, в силу своей природы нуждаются друг в друге. Однако передается лишь внешняя видимость, а не внутренняя сущность, когда дело изображается так, как будто одни люди только воспринимают впечатления от других, и как будто возможно, если только процесс достигнет известного предела, чтобы один человек прямо внушал религию другому. Нет, религия исконно имеется у каждого, а также и пробуждается в каждом. Разница лишь в том, что в некоторых она как бы срастается со всем своеобразием их личности, так что во всяком обнаружении религиозного сознания вместе с тем обнаруживается и это своеобразие, в других же она лишена индивидуальной формы; и это не только встречается среди людей, которые вообще представляются менее своеобразными, но имеются и весьма оригинально развитые люди, у которых, однако, это своеобразие менее сказывается в их религиозных эмоциях. В таких людях, следовательно, религиозные чувства зависят от некоторых общих условий и находят удовлетворение в коллективных обнаружениях. Но если бы те, кто испытывают более своеобразные переживания, захотели уклониться от этих коллективных обнаружений, то это нанесло бы ущерб обеим сторонам. Что случается с коллективными обнаружениями, когда они не оплодотворяются самобытными чувствами, —

это мы видим в тех церковных обществах, в которых своеобразие вообще оттеснено назад и все опирается на твердо установленные формулы; так, армянская и греческая церковь, если последняя не испытает теперь нового подъема, представляются совершенно омертвевшими и живущими лишь механически. Но отдельный человек, как бы сильна и своеобразна ни была его жизнь, выделяясь из общины, теряет значительную часть своего духовного содержания, и если то, что я здесь назвал истинной церковью, не может выступить наружу в реальном явлении и его нигде нельзя конкретно показать, — то человеку ничего не остается, кроме изолированного обособленного бытия, которое, однако, благодаря отсутствию живого обмена все более скудеет.

<sup>11</sup> Стр. 163. Так как в этом месте воззрение, проникающее всю речь, выражено резче и яснее всего, то будет и лучше всего в связи с ним привести то, что осталось сказать в пояснение и исправление, кроме уже отмеченного выше. Именно все сводится к тому, чтобы правильно изобразить отношение между совершенным взаимным религиозным общением, которое я здесь описываю как истинную церковь, и реально существующей религиозной общиной. Если последняя и здесь признается доступной реформированию, как оно описано на стр. 167, то предполагая последнее осуществленным, поставим вопрос: «Кроме священнического дела, которое в этом развивающемся обществе должны выполнять люди, обладающие законченным религиозным развитием, образуют ли они между собой еще особое общество, которое соответствовало бы установленной идее, и в которое могли бы переходить по мере своих успехов и члены внешнего религиозного общества?» И когда мы, в поисках такого общества, будем исходить из допущения, что величайшие мастера должны и творить величайшее, и присоединим к этому высказанное выше, именно что для полного осуществления своего искусства каждый мастер нуждается и в подчиненных художниках, и в достойных, сведующих и самодеятельно наслаждающихся слушателях, и сообразим только при этом, что великие мастера слишком редки и рассеяны, чтобы иметь возможность только из своей среды составить этот двойной круг, — то нам остается только сказать, что в реальном и пространственном воплощении такого общества нигде нельзя встретить на земле; и лучшее в этом роде, что действительно может быть найдено, есть указанное выше исправленное состояние существующей церкви, — те общества, в которых законченный художник собирает вокруг себя толпу по возможности однородных с ним лиц, которые, однако, лишь через него должны пополнить и развить свою жизнь. Но чем более члены такого общества развиваются настолько, что образуют этот двойной круг, тем более такое общество в своем совокупном бытии осуществляет великое религиозное обнаружение. Итак, поскольку эти лица могут быть поставлены в связь между собой, постольку для людей, образующих душу подобного обнаружения, существует непосредственно и в полном смысле та высшая община, которая состоит во взаимном общении и созерцании; и тогда в этой

общине косвенно принимают участие и другие члены, поскольку им удается возвыситься до подобного наслаждения чужими формами. Таким образом, установленное здесь понятие истинной церкви может быть реализовано не в отдельном явлении, а лишь — как это уже намечено выше на стр. 158 — в мирном вселенском союзе всех существующих церковных общин, из которых каждая достигала бы по возможности совершенства в своей самобытности; это идея, относящаяся к совершенствованию человеческой природы, должна быть более подробно развита в этике. Два возражения следует здесь еще устранить, — что, впрочем, не трудно сделать. Прежде всего, кто-нибудь, быть может, поставит вопрос, как согласовать это с тем, что в «Вероучении» христианству приписывается призвание воспринять в себя все остальные формы религии? Ведь если все сольется воедино, то уже не может существовать указанный вселенский союз для общения и созерцания различного. Но уже было упомянуто, что все естественно существующие своеобразия не исчезают в христианстве, а развиваются в пределах последнего, несмотря на свое высшее единство, как подчиненные формы. Если и теперь христианство не представляет внешнего единства, а высшее, о чем мы можем мечтать, есть именно описанный мирный союз его различных форм, — то у нас нет основания думать, что оно когда-либо сольется в такое внешнее единство, и мы должны предполагать, что и тогда оно будет вселенским союзом. Во-вторых же, кто-нибудь мог бы сказать, что то, что здесь зовется истинной церковью, несомненно уже реально существовало в отдельном явлении. Ведь если апостолы Христа рассеялись, чтобы в домах и школах проповедовать Евангелие и преломлять хлеб, то они выполняли священническое призвание среди мирян во внешней церкви; а когда они были одни между собой, чтобы восхвалять Господа Бога, то они именно и составляли истинную церковь; и сама речь довольно внятно намекает (стр. 167), что такая жизнь никогда не должна всецело растворяться в указанном более широком общении, а всегда должна вновь восстанавливаться из него. И конечно, если когда-либо истинная церковь в нашем смысле существовала в отдельном явлении, то это было именно тогда. Но одного еще недоставало для этого, — именно того величия и мастерства обнаружения, которое эта речь также признает существенным для истинной церкви. И это сознание несовершенства служило, с человеческой точки зрения, одним из мотивов дальнейшего распространения христианства. Это явление, несмотря на краткость своего существования, конечно, все же свидетельствует, что несовершенная церковь произошла лишь из совершенной; но как только оно исчезло, оно, благодаря огромной силе распространения, присущей христианству, не могло уже вернуться, и истинная церковь отныне может быть обретаема только в указанном вселенском союзе.

Итак, высшая духовная община совершенных верующих обусловлена, как описано выше, иным общением — общением более совершенных с менее совершенными; но если последнее приняло лучшую форму, в которой оно только и может служить основой для первой, то заслуживает ли оно еще

упрека, что в него вступают лишь ищущие, и что в нем остаются лишь еще не нашедшие веры? Это, конечно, можно и тогда еще сказать о нем, но лишь поскольку в этом не содержится упрека. Ибо каждый вступающий ищет; не только более пассивный и несовершенный верующий ищет других, кто могли бы вдохновить и развить его, но и более совершенный ищет помощников для обнаружения, в котором можно было бы подметить дух истинной церкви, и через общее дело он ищет содействия себе как в своем внешнем мастерстве, так и во внутренней силе и истине. Поэтому-то все члены общины находятся в состоянии не завершения, а развития. Но если этому общению даже в его лучшей форме противопоставить общение совершенных верующих и определить последних как лиц, которые ничего уже не ищут, кроме радости созерцания, так как каждый уже стал тем, чем он может быть, — то это общение будет опять-таки не чем иным, как описанным вселенским союзом. Ведь в последнем каждый имеет значение лишь в силу того, что он есть и что он дает, а также не может ожидать от созерцания чужеродных начал непосредственного содействия своему самобытному развитию. Если же изображение истинной церкви должно относиться к непосредственному сожительству совершенных, то в буквальном смысле оно применимо к торжествующей церкви; ибо лишь в ней мыслится чисто взаимное общение без неравенства и без прогрессирувания. Здесь же эта истинная церковь может быть осуществлена лишь постольку, поскольку имеется истинная жизнь и творческое развитие в существующих церковных общинах.

<sup>12</sup> Стр. 163. Здесь указаны два недостатка в современном устройстве церкви; хотя первый из них в разное время причинял гораздо более замешательства, но непосредственно второй действовал всегда сильнее на мое чувство и внушал сознание несовершенства церковной общины. Я имею в виду порядок, по которому самое священное наше символическое деяние — причастие —, хотя оно образует, по крайней мере в большинстве более крупных общин, естественную вершину каждого богослужения, и следовательно при всяком таком случае может быть совершено, все же должно быть всегда заранее обдуманно и подготовлено участниками. Конечно, никто не будет отрицать, что было бы прекраснейшим действием всего богослужения, если бы оно во многих из присутствующих возбудило настроение, при котором они могли бы принять причастие; но именно этот прекраснейший плод благочестивого настроения пропадает. И с другой стороны, когда все заранее обдуманно и подготовлено, как часто могут наступить внешние и внутренние препятствия, которые уменьшают силу этого действия, а между тем, так как оно уже подготовлено, его уже трудно опустить из-за такой помехи. Разве такое отношение к предмету не есть ясное доказательство, как мало мы еще доверяем действию богослужения на души, и как мы во всех христианах без исключения видим только новичков, на которых нельзя положиться? Счастливая будет пора, когда мы сможем отбросить эту осторожность и когда мы будем с радостью встречать у стола Господа всякого, кого повлечет туда внезапный порыв! — Гораздо больше



замешательства возникает, впрочем, из второго, порицаемого здесь недоразумения, именно из того, что не только духовные лица оценивают сами себя по символическому мерилу, но и миряне решаются судить по этому мерилу духовных лиц, и даже общинам предоставляется право требовать, чтобы священник поучал их в согласии с буквой символов. Конечно, в других случаях, когда кто-либо изготавливает какой-нибудь предмет для моего употребления, то я должен иметь право, если хочу, сам определить, как он должен быть изготовлен, так как ведь только я один могу судить о моей потребности в связи с общей моей природой. Совсем иначе, однако, дело обстоит с учением; ведь если бы я был в состоянии судить, каково должно быть учение о каком-либо предмете, чтобы быть полезным мне, то я собственно уже не нуждаюсь в учении, а могу сам дать его себе, или нуждаюсь разве только в напоминании о нем. Это притязание, следовательно, тем более неправильно, чем резче в иных отношениях проводится различие между духовными лицами и мирянами; ведь где все равны, там было бы более естественно полагать, что возникнет соглашение придерживаться некоторого общего типа. Оно также тем более неправильно, чем более поучение духовных лиц есть свободное изливание сердца, как это, благодарение Богу, еще всюду имеет место в евангелической церкви, и чем меньше придается особое значение повторению установленных формул, как это встречается в римской и греческой церкви. И если миряне — все равно, будь то отдельные лица — покровители церкви или общины, или государственная власть как целое, или даже сами общины — хотят определить, что соответствует букве символов и как далеко простирается ее авторитет в области свободного поучения, то в этом содержится еще та извращенность, что ведь буква символов исходит от духовных лиц, которые, конечно, не хотели дать через нее мирянам власть над собой, и что миряне только через духовных лиц и с помощью их обучения оказались способными понимать букву символов. Эта извращенность достигает апогея, когда глава государства лично, как таковой, считает себя уполномоченным и способным обсуждать букву символов другой церковной общины и отношение ее духовных лиц к этой букве, а тем самым, следовательно, определять, какие религиозные речи лиц, религиозность которых ему совершенно чужда, могут или не могут содействовать развитию этой религиозности. Представим себе, например, что китайский император, хотя и терпел бы христианство, но через своих мандаринов заботился бы о том, чтобы ни одно христианское направление не уклонялось от своих символов. Здесь можно утешаться лишь тем, что дальше идти некуда, и что отсюда возможен лишь поворот назад.

<sup>13</sup> Стр. 164. Это отношение в некотором смысле выступает яснее всего в римской и греческой церкви, так как там, с одной стороны, резче всего выражена противоположность между священниками и мирянами, которые там представляются как бы двумя различными классами христиан, и, с другой стороны, духовные лица не ограничиваются управлением общинами; это есть главная задача лишь части духовенства, именно белого духовенства,

и только побочное дело для другой части, которая должна преимущественно жить в высшем религиозном созерцании. Поэтому там духовенство в смирительной совместной жизни составляло истинную церковь; миряне же признаются людьми, которые еще нуждаются в религиозном воспитании и потому подчинены постоянному и строгому духовному руководству; и высшим торжеством этого руководства является, когда некоторые из мирян становятся достойными включения в указанную более узкую сферу религиозной жизни. И действительно, мы должны были бы признать, что в католической церкви воплощены основные черты установленной здесь теории, если бы в других отношениях не было явственно, напротив, резкое противоречие между ними. И при этом я ссылаюсь не на несовершенство выполнения, не на плохой состав духовенства и не на нечестивую пустоту монастырской жизни; ведь в таком случае можно было бы сказать, что это есть лишь неудавшаяся попытка выразить истинную церковь вне связи с теми, кто должны еще получить религиозное воспитание. Нет, главное здесь то, что неудача начинания предопределена его основами, ибо по идее созерцательная жизнь должна быть совершенно отделена от деятельной, и высшая религиозная жизнь признается несовместимой с последней; я говорю «по идее», так как на практике духовенство и даже монашество часто более всего пропитано мирскими заботами. И если, на основании всего вышесказанного, подвести итог тому, что от этого далее зависит, то вряд ли можно будет сомневаться, что и в этом отношении протестантизм есть возврат к верному пути для воплощения истинной церкви и что он больше содержит в себе от последней, чем католицизм.

<sup>14</sup> Стр. 165. Здесь легко может возникнуть то недоразумение, будто я вывожу саму догматику из порчи религии, тогда как ведь в другом месте я достаточно определенно заявил, что как только какая-либо религия получает более широкое развитие, в связи с нею должно развиваться и богословие; догматика же, которая устанавливает замкнутую связь религиозных положений и верований, всегда была и останется естественным и существенным звеном богословия. Здесь же речь идет лишь о ложном интересе, который так часто вся церковь питает к системе учения, и этот интерес основан действительно на указанной порче; ибо догматика, как целиком, так и в отдельных своих частях, которые ведь никогда не могут быть сполна поняты вне связи с целым, должна оставаться исключительным достоянием людей, научно образованных в этой специальности. Им она служит, с одной стороны, топикой, чтобы обозревать всю сферу того, что может быть предметом религиозного обнаружения и общения, и находить надлежащее место для всего единичного; с другой стороны, она служит им критической нормой, чтобы проверять на точно отчеканенных выражениях все встречающееся в религиозном общении, и тем скорее отмечать все, что не укладывается в это выражение, — все равно, происходит ли это только от смутности, или же за этим скрывается что-либо противоречащее духу целого. Оба интереса лежат всецело за пределами кругозора всех остальных членов

церкви, которых поэтому совсем не должно было бы затрагивать все, что происходит в этой области. Ибо если в церковном или товарищеском общении встречается что-либо оскорбляющее их непосредственное религиозное сознание, то для констатирования этого они не нуждаются ни в каком дальнейшем догматическом свидетельстве. Если же они впечатлительны к тому, что относится только к научной терминологии, то в этом и заключается указанная порча, — все равно, впадают ли они сами собой в неуместное суемудрие, или их в слепом усердии призвали на помощь воинствующие богословы, чтобы совместными усилиями ученых и неученых укротить какого-нибудь опасного человека. Но было бы, конечно, хорошо, если бы сами богословы положили начало повороту в этом отношении, т. е. призвали бы мирян, кто бы они ни были, воздерживаться от всех догматических споров и внушили бы им добрую веру, что имеется достаточно благочестивых богословов, чтобы выполнить это дело.

<sup>15</sup> Стр. 168. Сказанное здесь легко может быть исправлено на основании предшествующих пояснений. Ведь если то, что здесь зовется истинной церковью, не существует в каком-либо отдельном явлении, то в буквальном смысле слова не может быть временного пребывания в той единственной церковной общине, которая существует как действительное конкретное явление. Преходящий характер имеет только исключительная принадлежность к этой общине, так что тот, в ком развилась совершенная религиозность, должен быть также в состоянии, кроме определенной общины, к которой он принадлежит, некоторым образом участвовать и во вселенском союзе всех общин. Точно так же и слово «решающее состояние» не должно пониматься буквально, как будто неспособный к участию в истинной церкви должен либо быть исключен из всякого религиозного общения, либо добровольно выступить из него. Ибо первого не могут и не должны делать религиозные люди, последнего же они не могут потерпеть. Ведь они не могут допустить, чтобы кто-либо выступил из религиозного общения, так как они должны стремиться доставить своим религиозным обнаружениям возможно большее распространение и внушительность; и еще менее могут они исключать кого-либо, ибо абсолютная неспособность человека никогда не может быть познана, а следует, напротив, всегда исходить из допущения, что настанет время, когда общее всем людям разовьется и в каждом отдельном человеке, и что имеются еще неведомые способы возбуждения, которые могут способствовать такому развитию. Впрочем, остается бесспорным, что тот, в ком религиозность может быть пробуждена столь трудно и медленно и именно в той форме, которая ему ближе и роднее всего, вряд ли сможет достигнуть указанного высшего развития и свободного наслаждения.

<sup>16</sup> Стр. 168. Здесь высказано большое пристрастие к мелким церковным общинам по сравнению с крупными церковными организациями; бесспорно, это пристрастие подчеркнуто здесь односторонне; трудно вообще избежать

односторонности, и труднее всего в риторической речи, когда надо направить внимание на предмет, который обычно совсем упускается из виду или по крайней мере в большинстве случаев недооценивается. Пристрастие же это основывалось на следующем. Во-первых, на большом многообразии, которое может обнаруживаться в пределах определенного пространства и времени, тогда как большие массы либо вообще не допускают многообразия, либо же скрывают его, так что лишь более зоркий наблюдатель может воспринять его. Сюда же относится преимущественно то, что в области религии более, чем в иных сферах, часто возникают притягательные точки, которые не могут надолго сохранить своего значения, но вокруг которых, хотя бы и временно, могут развиваться сильные и своеобразные явления; и все такие зародыши гибнут или по крайней мере не достигают ясной и полной организации, когда существуют лишь большие церковные общества. Второй же основной пункт состоит в том, что более мелкие церковные общины по своей природе, так как они возбуждают менее опасений, могут свободнее развиваться и менее опекаются гражданскими властями. В обоих отношениях в ту пору, когда я впервые это писал, Америка представлялась мне изумительно оживленной ареной, где все развивается именно в таких формах, и где поэтому, как мне казалось, более, чем в каком-либо ином месте, не исключая и возлюбленного отечества, обеспечена свобода религиозной жизни и религиозного общения. С того времени это еще более развилось, и мое чаяние подтвердилось. Там свободно образуются союзы, и легко распускаются, более мелкие части отделяются от крупного целого, и, наоборот, небольшие целые стремятся найти общее средоточие, чтобы слиться в более широкое единство. И свобода христианского развития столь велика, что может показаться — хотя, как мне думается, это было бы неверно — что некоторые общины, как, напр., общины так называемых унитариев, выходят за пределы христианства. При других условиях могло бы возникнуть опасение, что при таком распадении христианства постепенно потеряется его великая историческая форма и что в особенности может быть предано полному забвению научное фиксирование последнего. Но с тех пор, как там наука начинает подыматься на более высокий уровень, а также основаны учреждения для распространения христианской учености, перспектива становится еще более отрадней, и можно пожалеть лишь о том, что — как по крайней мере это представляется нам издали — британское влияние начинает все более преобладать, германское же влияние отступает назад; и потому следует пожелать этим республикам более сильную немецкую иммиграцию, на которой могло бы основываться длительное влияние немецкого духа. — Но теперь я отнюдь не хотел бы столь же исключительно высказаться в пользу более мелких общин и против крупных организаций, после того как я отвык от первых и более вжил в последние. На примере Англии яснее всего обнаруживается, что с христианством дело обстоит бы плохо в обоих случаях, т. е. и в том случае, если бы там епископальная церковь совершенно уничтожилась и растворилась в мелких общинах, и в том случае, если бы она поглотила последние и существовала

одна; так и вообще можно сказать, что для развития в пределах всего христианства религиозной жизни во всей ее полноте и многообразии должно одновременно существовать то и другое, большие организации и мелкие общины, как это и было почти всегда; при этом мелкие общины могли бы сливаться в крупные и опять воссоздаваться из них, а большие организации могли бы отдавать те элементы, которые вносят в них дезорганизацию, мелким общинам и снова обогащаться и усиливаться через последние. После такого решения дела никто не задаст вопроса, как это пристрастие к мелким религиозным общинам согласуемо с живым участием в соединении обеих протестантских церковных общин, соединении, которое, очевидно, не только создает из двух более мелких общин одну крупную, но и явственно уничтожает преимущественно меньшую из двух общин. Лишь следующее я хотел бы еще добавить к этому. В основе разделения обеих этих церковных общин лежит, несомненно, некоторое первоначальное различие, — различие не столько в учении, ибо здесь оно и теперь представляется мне совершенно незначительным, сколько в общем духе; вне этого различия такое разделение по столь незначительным в иных отношениях мотивам и не могло бы возникнуть. И нельзя сказать, что это различие уже совершенно исчезло, но теперь, как это бывает со всякой вообще односторонностью, по-видимому наступило время, когда эта односторонность может быть гораздо сильнее сглажена посредством полного слияния различных элементов, чем посредством их мирного соседства, и когда через соединения может быть создана более связанная в свободе и более свободная в связанности жизнь, чем та, которая существовала в обоих общинах в их обособленном состоянии. Кроме того, по-видимому, наступила последняя пора озаботиться, чтобы некогда вновь разгоревшееся соперничество между ними не воспрепятствовало неизбежному в будущем сильному противодействию некоторым опасным стремлениям римской церкви.

<sup>17</sup> Стр. 170. Кто столь настойчиво, как я это сделал в четвертом собрании моих проповедей, высказался в пользу того, чтобы все дело призрения бедных вновь перешло в руки церковных организаций, тот, по-видимому, хорошо знает, как надо справляться со всяким земельным и денежным имуществом. Однако и самое широкое призрение бедных нуждается только в верных ежегодных доходах. Таким образом, если только союз общины тверд, и господствующий в нем дух сохраняет живую и добрую волю в отношении этого дела, то и это дело может удовлетворительно выполняться без такого имущества; и при прочих равных условиях оно будет вестись так еще лучше, так как бесспорно, что, с одной стороны, всякий капитал может быть лучше использован частными лицами, и, с другой стороны, такое владение всегда придает что-то чуждое чистому характеру ^церковной общины и приводит к иной оценке членов общины, кроме чисто религиозной.

Стр. 170. В этой жалобе мое мнение отнюдь не сводилось к тому, что государство не должно во многих и весьма важных вещах главным образом

опираться на силу религиозного умонастроения и на совпадение его интересов с естественным действием этого умонастроения: но именно поскольку государство считает себя вынужденным опираться на него, оно должно делать это так, чтобы не наносить ущерба чистому действию религиозности, а последнее неизбежно происходит при всяком положительном вмешательстве. Ибо здесь, по-видимому, может быть верным лишь одно из двух: либо государство исходит из допущения религиозного настроения своих членов и доверчиво пользуется его действием, причем оно всегда сохраняет право взять назад это допущение в отношении отдельных лиц, в которых не обнаруживается действие религиозности, или же, если такой недостаток открывается в значительном большинстве религиозной общины, исследовать, в какой мере это вытекает из основ последней и в соответствии с этим модифицировать свое допущение. Но пока государство не имеет основания лишать общину своего доверия, оно должно знать также, что организация общества вытекает из того же умонастроения, от которого оно ожидает благих результатов, и что по природе вещей лишь те, в ком сильнее всего это умонастроение, будут иметь наибольшее влияние на жизнь общества и управление им; и поэтому оно должно допустить, чтобы организация общины проистекала из нее самой, без руководства с его стороны, и притом до тех пор, пока у него не возникнет основания для потери доверия к этой общине. Поэтому, если государство питает это доверие лишь к определенной форме религиозности, то оно идет этим путем в своих отношениях к этому обществу, и его отношение к остальным общинам определяется мерой его недоверия к ним, которое может дойти до полной нетерпимости. Но если, таким образом, государство предоставляет свободу какому-либо религиозному обществу и дарует ему высокую степень независимости, другое же опекает более строго и определяет само его организацию, то это не может иметь иного разумного основания, кроме того, что оно менее доверяет последнему; и нельзя себе представить более странного явления, чем если государство более всего опекает и ограничивает свободную деятельность именно того религиозного общества, к которому принадлежит сама глава государства. Этот случай доверия к религиозному умонастроению мы имеем прежде всего в виду в нашем теперешнем исследовании; второй же, противоположный, случай состоит в том, что государство не ожидает от религиозного умонастроения своих подданных благих последствий для чего-либо, что принадлежит к его сфере. Но и тогда единственным последовательным поведением, по-видимому, можно признать то, что государство терпит религию как безразличную для него склонность, и лишь, как и в отношении других частных союзов, заботится о том, чтобы из этого не возникло какого-либо ущерба для гражданского общества. Если мы теперь применим эти соображения к тому вопросу, о котором здесь идет речь, именно к воспитанию — ведь к нему здесь все сводится — то мы, невидимому, должны прийти к следующим выводам. Религиозное воспитание, как таковое, никогда не будет исчерпывать человеческое воспитание; всякое совершенствование, которое не может непосредственно

интересовать религиозное общество, как таковое, напр., гимнастическое развитие или высшее научное образование, будет лежать за пределами религиозного воспитания. Если же церковь, быть может, ранее позаботилась о воспитании, чем государство, и государство захочет ей сказать: «Я вижу, у вас есть учреждения для воспитания юношества, но хотя я их и одобряю, я нахожу их недостаточными для себя; поэтому я хочу внести в них то, чего им недостает, но зато и взять под свое управление всю организацию», — то церковь, если она смеет говорить и понимает свое собственное благо, ответит: «Нет, это неправильно; ты можешь создавать свои учреждения для всего, недостающего тебе, и мы, в качестве граждан, постараемся со своей стороны принести им посильную помощь; но позволь нам по-прежнему самим заботиться о наших учреждениях в пределах того, что нам нужно; и в своих собственных учреждениях ты можешь обойтись без того, что, по твоему мнению, целесообразно осуществляется в наших». Если государство, тем не менее, в силу своей власти поступает иначе, то для церкви это всегда будет в высшей степени нежелательным вмешательством, и она будет ощущать это, как ущерб для себя, хотя бы это и доставляло ей некоторые двусмысленные выгоды, некоторое влияние на такие стороны жизни, в которых по естественному ходу вещей она не могла бы иметь влияния. — Точно так же дело обстоит и с обучением человеческим обязанностям в гражданской жизни, обучением, которое ведь есть не что иное, как дальнейшее воспитание уже взрослых членов народа. Нет сомнения, что государство нуждается в таком обучении, и притом тем более, чем менее оно естественно приобретает из условий самой общественной жизни. И если государство находит, что в религиозных упражнениях и беседах церковной общины или многих церковных общин, которые имеются в его среде, имеет место такое обучение, и что разногласия между этими общинами, если их несколько, не вызывают сколько-нибудь существенного различия в этом отношении, то оно охотно решит обойтись без собственного учреждения для этой цели. Но если государство скажет: «Я хочу воспользоваться вашими поучениями; но чтобы быть уверенным, что моя цель будет вполне осуществлена, я должен все же потребовать от вас, чтобы вы не забыли говорить о том и том, и чтобы вы в определенное время напоминали о том-то из истории, и потому я должен принять меры, чтобы быть осведомленным, действительно ли это выполняется», — то церковь, если она смеет, конечно, ответит: «Это невозможно; ведь в таком случае мы должны были бы прибегать к поучениям, которые совсем не относятся к нашей области; что же касается упоминания исторических событий, то нам кажется несносным, что, напр., в определенные дни мы должны радостно поминать твою победу над другим государством, тогда как то же самое религиозное общество в другом государстве должно в эти дни благоразумно молчать и, напротив, радоваться в иные дни, в которые, быть может, то государство победило тебя, и которые мы должны обходить молчанием; напротив, для нас то и другое имеет одинаковое значение, и мы должны делать одинаковое употребление для наших целей из того, что было почетно и что было позорно

для тебя; этим употреблением ты также можешь быть доволен; но для указанной специальной цели прими иные меры, ибо в этом мы не можем тебе помочь». И если государство не внимает этим возражениям, то оно наносит ущерб личной свободе своих подданных в самой святой и неприкосновенной области их жизни. — Что же касается, наконец, третьего вопроса, о котором здесь идет речь, то он собственно уже входит во второй и особо выдвинут здесь лишь потому, что в деле присяги государство совершенно особым образом прибегает к помощи религиозного общества. Но и отсюда возник ущерб для религии. Правда, некоторым мелким обществам, отрицающим клятву, дозволено отказываться от присяги и заменять ее простым обещанием; но большим церквям, которые находятся под особым покровительством государства, приказано проповедовать о святости присяги, и их члены должны приносить присягу установленным образом или терять все преимущества, связанные с ее принесением; а между тем и среди них могут встречаться люди, которые боясь простого запрещения Христа, колеблются приносить присягу; и среди учителей религии также имеются иные, которые не могут отступать от буквального толкования этих слов Христа и потому считают нечестивым в этом отношении приходить на помощь государству. Ясно, что такое умаление религиозной свободы должно ощущаться чрезвычайно болезненно. Таким образом, эти разъяснения, я надеюсь, оправдывают выраженное в тексте пожелание, чтобы государство пользовалось тем, что ему может быть полезно в церковных учреждениях, лишь в той мере, в какой это совместимо с нестесненной свободой церкви.

Стр. 171. Из трех пунктов, в отношении которых здесь высказывается жалоба, два заслуживают таковой лишь потому, что свидетельствуют о зависимости церкви от государства и придают священным действиям крещения и брачного благословения такой вид, как будто они совершаются духовными лицами, главным образом, как слугами государства и от имени последнего. Бесспорно, это есть одна из причин того, почему способ их совершения часто так мало обнаруживает христианский и вообще религиозный характер. Если бы внесение в гражданские метрические книги было именно чисто гражданским делом, то никто не мог бы уже рассматривать крещение только как предписанную законом формальность, по поводу которой можно иногда выслушать прекрасную речь. И если бы брачный договор заключался чисто гражданским порядком и церковное благословение было только действием членов общины, то вскоре обнаружилось бы, что браки крепче всего там, где еще придается особая цена церковному освящению, которое с внешней точки зрения совершенно излишне. Но более всего ущерба наносит третий пункт. Ведь если евангелически христианское государство связывает с допущением к св. таинствам некоторые гражданские права и именно поэтому в некоторых случаях требует свидетельства об этом действии, то оно ведет себя, правда, весьма благожелательно в отношении юношества, охраняя его этим от религиозного пренебрежения со стороны родителей и опекунов; но как



сильно этим стесняется совесть благочестивых духовных лиц, которые часто прямо вопреки своему убеждению должны признать религиозное обучение и надзор законченными. А если бы из этого произошло то, что большое число крещеных христиан на всю жизнь осталось без участия в другом таинстве, то и это не есть несчастье; напротив, это давало бы то преимущество, что христианская церковь не казалась бы ответственной за образ жизни самых распутных людей и что она была бы избавлена от спора о праве исключать своих членов из общины и о том, желательна ли ей это или нет. Ведь в протестантской Европе это могло бы коснуться лишь самых распутных людей, для всех же остальных постоянное участие в богослужении раньше или позже заменило бы то, что им недоставало в момент, к которому обычно относится конфирмация. Но можно было бы заключать и далее, что при этом и у нас, как в североамериканских республиках, многие дети христианских родителей, не придающих особой цены церковному обществу, оставались бы некрещеными, т.е. не вступали бы ни в какое общение с церковью. И, конечно, это могло бы случаться, хотя такой антихристианский фанатизм у нас, несомненно, встречался бы крайне редко. Но чтобы предупредить подлинный ущерб, который мог бы отсюда возникнуть, совсем не нужно, чтобы государство как бы насильственно заставляло совершать крещение, а нужно только, чтобы оно своевременно защищало свободу совести детей даже против их родителей. Таким образом, приведенные здесь жалобы таковы, что, конечно, повод к ним может быть устранен, но это требует существенного изменения в организации всех тех дел, в отношении которых государство встречается с церковью. Но если бы кто-либо захотел здесь сосредоточиться только на примере указанных американских республик и признать все заслуживающее порицания в тамошнем положении церкви результатом того, что здесь предлагается, то это бесспорно было бы несправедливо. Ибо там встречаются несовершенства, неразрывно связанные с молодым, весьма неоднородным и — что еще важнее — весьма смешанным населением, и эти несовершенства могут сгладиться без существенного изменения церковной организации.

•° Стр. 171. Что преобладание во всех религиозных действиях юридических и гражданских отношений есть уклонение от их первоначальной природы и притом уклонение более сильное, чем то, которое возникает из соединения этих действий с денежными отношениями между духовными лицами и членами общины, — это, я полагаю, не нуждается в дальнейших пояснениях. Однако повод к этой жалобе, по-видимому, не может быть вполне устранен, пока государство либо признает себя, как таковое, принадлежащим к определенному церковному обществу, либо же, по крайней мере, находит нужным требовать, чтобы каждый из его подданных принадлежал к какому-нибудь церковному обществу. Что касается первого, то ведь это имеет месь лишь там, где закон открыто объявляет, что лишь в одной церкви имеется наибольшая полнота того умонастроения, которое, способно было бы поддержать это государство, и совершенная обеспеченность против

вторжения воззрений, которые могут быть ему вредны. Отсюда тогда следует, что лишь членам данного религиозного общества доверятся вся охрана государства; а это, при современном состоянии общественных условий, может быть провозглашено как закон лишь там, где значительная часть народа нераздельно принадлежит к данному религиозному обществу, члены же иных обществ встречаются лишь спорадически и живут в качестве подчиненных или чужих; но при пестроте распространения многих религиозных обществ такое отношение не может быть теперь длительным даже в католических странах нашей части света. И потому при современном положении вещей государству, по-видимому, уже не легко признать себя всецело и нераздельно принадлежащим к одному религиозному обществу; и наши южно-европейские государства, которые теперь снова законодательным путем объявили католическую религию государственной, не смогут без жестокости и несправедливости удержать эту систему в течение нескольких поколений после своего успокоения, хотя они и находятся в наиболее благоприятном положении, так как еще и теперь протестанты встречаются в их областях лишь спорадически. Совсем иначе обстоит дело там, где без закона, лишь в результате естественного действия общественного мнения, управление государством в значительной мере выпадает на долю лиц, исповедующих определенную религию, хотя большая часть граждан и принадлежит к другому религиозному обществу. Ибо такой образ действия отнюдь не содержит государственного исповедания, и, конечно, желательно, чтобы он еще надолго сохранился. Если, таким образом, первое допущение может теперь быть лишь преходящим состоянием, то спрашивается, как обстоит дело со вторым, т.е. правильно ли поступает государство, когда оно требует, чтобы каждый его гражданин принадлежал к какому-либо религиозному обществу, не определяя, к какому именно? Мы можем согласиться, что нерелигиозные люди не могут быть полезными государству и что государство не может им доверять. Но разве они станут религиозными в силу того, что будут вынуждены принадлежать к какому-нибудь религиозному обществу? Чтобы сделать нерелигиозных людей подлинно религиозными — для этого, очевидно, нет иного средства, кроме того, чтобы по возможности усилить влияние на них религиозных людей; а этому государство, в свою очередь, может лучше всего содействовать лишь тем, что предоставит полнейшую свободу всем религиозным обществам в пределах их сферы деятельности. А эту свободу они почувствуют, лишь когда прекратятся указанные вмешательства.

Стр. 173. С этим возражением, которое основано лишь на весьма недостаточном опыте, я уже не могу согласиться. Что касается, прежде всего, языка, то могло бы, правда, казаться, что народ и образованные люди испытывают далеко не равное наслаждение от религиозной беседы, в которой, согласно выставленному здесь требованию, должны быть использованы все средства красноречия. Однако всякое истинное красноречие должно быть всецело народным; когда оратор в выборе

выражений или же хода мыслей пользуется приемами, не соответствующими пониманию большинства, то такую речь всегда надо признать искусственной; и потому надо уметь говорить так, чтобы действовать и на образованных людей с помощью чисто народного языка. Таким образом, деление слушателей в отношении их способностей обусловлено не природой самого дела, а лишь сознанием несовершенства самого художника; и несовершенство иного рода можно усмотреть и в том, что один умеет лучше говорить для народа, а другой — для высших сословий. Что же касается, во-вторых, умонастроения, то, конечно, нельзя отрицать, что разногласия в этом отношении среди слушателей могут иметь место лишь в довольно узких пределах, чтобы религиозная речь имела значительный и благоприятный успех. Но нельзя признать правильной посылку, что в однородной в остальных отношениях толпе, живущей общей жизнью, могут развиваться весьма разнородные религиозные черты; эта разнородность была бы тем более странной, что, согласно допущению, своеобразие не настолько сильно, чтобы создать самостоятельно религиозную общину, а с другой стороны, должно быть слишком ярко выраженным, чтобы усвоить религиозную речь, исходящую из иного умонастроения. В крайнем случае лишь в больших городах могут сойтись в одном месте столь различные элементы, а в них каждый с величайшей легкостью может выбрать то богослужение, которым он может укрепить и оживить себя. Если же рассматривать народ в отношении различных форм благочестия, упомянутых на следующей странице, — или каких-либо иных подобных форм, — то всегда можно найти, что в целых областях и в течение многих поколений религиозная жизнь развивается в одном месте преимущественно мистически, в другом — более опирается на историю, в третьем — допускается преобладание разумного размышления. Итак, если только одностороннее пристрастие руководителей церкви не стесняет для смешанного населения больших городов упомянутой легкости выбора, и если, с другой стороны, все религиозные ораторы стремятся к истинной народности, то в отношении этого пункта наше современное состояние можно было бы признать вполне удовлетворительным.

<sup>22</sup> Стр. 174. Здесь рассматривается, **как** нечто безусловно необходимое, что государство, — сверх того, что само собой осуществляется в этом отношении каждой религиозной общиной — должно создавать свои собственные образовательные учреждения — будь то лишь для младшего поколения или также для более грубой части народа; и оно должно делать это во всяком случае, все равно, существует ли в государстве лишь одна религиозная община, к которой оно питает безграничное доверие, или же несколько общин, которым оно доверяет одинаково или неодинаково; и в этом утверждении уже содержится мое решение спорного вопроса об отношении государства и церкви к тому, что мы в самом широком смысле слова называем школой. А именно мое решение, если учесть также сказанное ранее, состоит в том, что государство, с одной стороны, конечно, должно

полагаться в этом отношении на религиозные общины, и поскольку оно полагается на них, должно предоставить им полную свободу и ограничиться отрицательным надзором за их учреждениями; но другую часть школы государство должно само учреждать и осуществлять. Здесь я хотел бы сказать несколько слов в развитие и защиту этого решения. Где существует какое-либо религиозное общение, там и в семьях существует одинаковая дисциплина для укрощения чувственности, которая могла бы стеснить пробуждение высшей духовной жизни; и эта дисциплина во всех отношениях полезна гражданской жизни. Но если государство нуждается еще в особой дисциплине, чтобы своевременно укрепить в гражданах некоторые привычки, то такая дисциплина не вытекает из религиозного общения. Если верное чутье необходимости такой дисциплины пользуется всеобщим распространением, то государство и в этом отношении может довериться тому, что делает семья, но не поскольку семья есть элемент религиозного общества, а поскольку она есть элемент гражданского общества. Если же такое чутье недостаточно распространено, то государство должно предпринять дополнительные общественные меры. Сюда относится вся гимнастическая сторона воспитания, которая никогда не может исходить из церкви, и даже не должна с виду исходить от нее, потому что она совершенно чужда ей. Далее, где существует система религиозного общения, там должно также существовать общее наставление юношества во всем, что принадлежит к пониманию религиозного языка и религиозной символики; и это, собственно, и есть дело церковной общинной школы, которая в христианстве всегда ставит себе целью передачу религиозных понятий, а у протестантов стремится сообщить хотя бы ограниченное понимание священного Писания. Напротив, все статистические, математические, технические и всякие иные знания, которые могут считаться нужными для юношества, чужды церковной школе; это суть гражданские знания, которые должны быть обеспечены гражданской общиной. Если церковная и гражданская общины фактически совершенно совпадают, то, при наличности существенных оснований к тому, церковная и гражданская школы, конечно, могут быть соединены в одно учреждение; но этим государство столь же мало приобретает право руководить церковной школой, сколь мало церковь имеет право руководить гражданской школой. Наконец, каждая религиозная община, которая имеет такую историю, что для понимания ее развития нужны высшие знания, принадлежащие к области науки и учености, нуждается в учреждении для поддержания и дальнейшего развития этих знаний, и это есть церковная высшая школа; все же остальные науки чужды церкви. Если в государстве существуют общенаучные высшие школы, либо учрежденные им, либо независимые от него как свободные корпорации, и если церковь верит, что господствующие там методы соответствуют ее потребности, то она может признать уместным соединить свою особую высшую школу с указанной общей высшей школой. Но решение об уместности или неуместности такого соединения может принадлежать только церкви, а не государству или упомянутым научным корпорациям; и если это соединение осуществится, то

церковь, с одной стороны, не может основываться на этом права руководства этими научными учреждениями в целом и, с другой стороны, не может отказаться от права надзора над своей специальной высшей школой. Итак, если государство и церковь соединяются или разграничиваются в отношении школы, то разумную основу этого могут составлять лишь изложенные принципы. Признать же эти принципы в отношении одной церкви и отрицать их в отношении другой — это есть величайшая непоследовательность, которая может быть совершена в этой области; церковь, в отношении которой совершена эта несправедливость, будет настолько страдать от нее, что в ее самых живых членах возникнет неисцелимое разногласие между *их* религиозным и политическим сознанием.

<sup>23</sup> Стр. 175. Обращаю внимание на слово: всякое *подобное* соединение. На этом убеждении я столь же твердо стою и теперь, и еще тверже, чем прежде, так как с тех пор я видал еще больше печальной смуты возникшей из этой принадлежности церкви к государству, — смуты, о которой в то время невозможно было и думать, ибо даже единственное искажение такого рода быстро разбилось о господствовавшее настроение времени. Но без всякой связи с государством религиозные общины отнюдь не могут оставаться; это обнаруживается даже там, где они свободнее всего. Минимум такой связи состоит, конечно, в том, что государство относится к религиозным обществам совершенно так же, как ко всяким частным обществам вообще, т. е. что оно, в качестве высшей общественной инстанции, принимает их к сведению и обеспечивает себе возможность вмешаться в случай, если в них обнаружится что-либо опасное для общей свободы и обеспеченности. Однако этим минимумом редко можно обойтись; это обнаруживается даже в Америке, где господствует наибольшая свобода. Ибо чем свободнее церкви, тем легче случается, что некоторые из них уничтожаются или сливаются воедино, и если даже у них нет никакого имущества, кроме самых необходимых средств для совместной деятельности, то и тогда все же возникают трудно разрешимые распри, в которых государство является естественным примирителем и третейским судьей. Если бы это отношение и только оно одно существовало между церковью и государством в эпоху церковной реформы, то не имело бы места то странное положение, что в преимущественно протестантских странах католическая церковь обеспечена значительным имуществом, евангелическая же церковь должна рассчитывать лишь на изменчивую и часто весьма двусмысленную добрую волю. Всякое выходящее за эти пределы соединение церкви с государством, способное возникнуть из описанных выше комбинаций, должно было бы рассматриваться как временное частное соглашение. Чем теснее будет такое соединение, тем более будет казаться, что церковная община в пределах одного государства образует более узкое целое в качестве национальной церкви, и тем более будет ослабляться ее связь с ее единоверцами в других государствах. Чем менее будет иметься таких соглашений, тем более церковная община может являться нераздельным целым, в скольких бы

государствах она ни была распространена, и тем яснее будет выступать независимость церкви от государства. Все отношения между церковью и государством в этих пределах допустимы, и, следовательно, многообразие жизни требует, чтобы все они были где-либо и когда-либо исторически осуществлены. Всякое же отношение, выходящее за эти пределы, есть зло.

<sup>24</sup> Стр. 175. Это отрицание всякой более тесной связи между общинами одной и той же веры и всех замкнутых религиозных союзов мотивировано только тем, что каждая существующая церковь рассматривается лишь как внешний придаток истинной церкви, а не как ее живая составная часть; оно, следовательно, и правильно, лишь поскольку правильна сама эта предпосылка. Поэтому, если с того времени, как я писал это, я проявил себя ревностным защитником синодального устройства, которое, очевидно, также следовало бы отрицать с этой точки зрения, то это определяется, с одной стороны, тем, что я отошел от самой предпосылки и путем жизненного опыта и наблюдений пришел к убеждению, что в наших общинах имеется достаточное число истинно верующих и благочестивых людей и что следует по возможности усиливать их влияние на остальных; а это влияние, очевидно, является естественным следствием хорошо организованных союзов. С другой стороны, жизнь в наше время легко приводит к убеждению, что всякое улучшение, чтобы быть успешным, должно быть осуществляемо одновременно со всех сторон, а для этого необходимо во многих отношениях рассматривать людей так, как будто они уже суть то, чем они еще только должны стать. Ибо в противном случае всегда находят необходимым еще ждать, и никогда не оказывается возможным начать. — Но так как, согласно моему воззрению, правомочие к таким более тесным соединениям основано лишь на том, что его участники суть члены истинной церкви, в которой противоположность между священниками и мирянами существует лишь для каждого данного мгновения и никогда не может быть длительной, то я всегда буду защищать лишь такую организацию, которая опирается на это равенство членов церкви, и иной и не может существовать в евангелической церкви. Где имеются синодальные союзы одних только духовных лиц, там и они либо являются совещательными органами по поручению государства, либо же носят скорее литературный и дружеский характер, чем церковный и учредительный. Лишь в католической церкви уместно господство священников, основанное на самом устройстве церкви; ибо фундаментом этой церкви служит высшее личное религиозное достоинство священников и принцип, что миряне лишь через посредство священников могут получать участие в благах церкви. Еще теснее связано с предпосылкой, что общины должны только готовить к религии, последнее высказанное здесь утверждение, что и между учителями и общиной не должно быть никакой внешне закрепленной связи. Ибо это общение может, конечно, удаваться лишь при условии полнейшей добровольности. Но кто же тогда должен устанавливать внешнюю связь? Ни государство, ни корпорация духовных лиц не могут делать этого, ибо тогда уже не будет добровольности; общины

же не могут делать этого потому, что они не могут иметь суждения о тех, кто еще должны сообщить им способность надлежащей оценки относящихся сюда благ. Поэтому такая связь может быть правильно установлена и укреплена лишь там, где в общинах можно уже предполагать господство духа благочестия и где люди, способные судить в этом отношении, могут уже считаться вышедшими из среды самой общины. Этим одновременно уже высказаны принципы, которые определяют, насколько твердой или, наоборот, свободной должна быть при различных условиях эта связь.

<sup>25</sup> Стр. 175. О границах связующей силы, которая присуща символам, я недавно высказался более подробно, хотя только в отношении евангелической церкви. Нечестивыми я называю здесь эти связи в их обычной роли; и этого мнения я еще продолжаю держаться. Ведь для религиозного человека нет ничего более нечестивого, чем неверие, а именно это неверие в огромной мере лежит в основе правила, что учителя религии и даже учителя богословия должны быть связаны буквой религиозных документов данного исповедания. Является неверием в силу общего духа церкви, когда нет убеждения в том, что чужеродное в отдельной личности вскоре будет ассимилировано или скрыто и обезврежено живою силой целого, а считается нужной внешняя власть, чтобы извергнуть этот чужеродный элемент. Является неверием в слово Христа и Св. Духа, когда нет веры в то, что каждая эпоха сумеет найти свое собственное и нужное ей объяснение и употребление этого слова, а считается необходимым держаться того, что выработала прежняя эпоха; ведь теперь уже не может случиться, чтобы умолк дух пророчества, и ведь само Священное Писание стало и остается таковым лишь силой свободной веры, а не благодаря внешней санкции.

<sup>26</sup> Стр. 176. Сознание, что вопросы церкви не могут остановиться на той точке, на которой они стояли в то время в большей части Германии, и в значительной мере стоят и теперь, стало, конечно, с того времени более распространенным и выразилось в более определенных формах; но как пойдет развитие, — этого и теперь нельзя предвидеть с большей точностью. Одно лишь можно сказать: если нашей евангелической церкви не будут предоставлены условия, при которых в ней может развиваться свежий дух, и если ограничительные тенденции в отношении нашей высшей школы и нашего публичного духовного общения будут еще продолжаться, то надежды, которым мы считали себя вправе предаваться в этой области, окажутся лишь пустоцветами, и прекрасная утренняя заря последнего времени знаменовала лишь непогоду. Тогда живое благочестие и свобода мысли будут все более исчезать в духовном сословии, и господство мертвой буквы наверху и узкое бездушное сектантство внизу будут все более сближаться между собой; из их столкновения возникнет вихрь, который загонит многие беспомощные души в раскрытые сети иезуитизма и доведет большую толпу до равнодушия — результата отупения и усталости.

Признаки, свидетельствующие об этом, достаточно ясны; но все же каждый при каждом случае должен был бы повторять, что видит их, обличая этим тех, которые не обращают внимания на них.

Стр. 177. Это ограничение покажется многим слишком узким. Весьма основательное и глубокое духовное развитие, богатый внутренний опыт легко могут встречаться там, где отсутствуют богословские знания, которые суть необходимое условие для замещения церковной кафедры. Неужели такие дарования должны всецело ограничиться узким кругом домашней жизни и религиозного влияния в ней? Разве такие люди, если они не могут стоять во главе публичных религиозных собраний, не могут и не должны все же действовать живым словом в более свободных и широких кругах? И разве нельзя им предоставить того неизмеримого влияния, которое дает писанное слово? На это я должен ответить двоякое. Во-первых, к семейной жизни само собою примыкает все, что в качестве свободного общения связано с семейным кругом; сообщать этому кругу свободную религиозную жизнь есть не малая задача, которая, однако, все еще недостаточно понимается и осуществляется. Если бы она надлежащим образом понималась и осуществлялась, то не могло бы случиться, чтобы в большей части Германии и в особенности в высших и утонченных кругах общества господствовало такое резкое противоречие между интересом к религиозным формулам и богословским спорам, и домашней и товарищескою жизнью, в которой нельзя найти ни следа явственно религиозного характера. Таким образом, здесь имеется еще большая область, на которой может находить применение религиозное сознание. Однако более широкие собрания, выходящие за пределы естественного товарищеского общения и вместе с тем не имеющие целью составить самостоятельную общину, словом, всякие тайные общества суть всегда неудачные межеумочные создания, которые издавна приносили мало пользы истинному развитию религии, но часто созидали или таили в себе болезненные явления. Во-вторых, что касается религиозной деятельности посредством писанного слова, то было бы, конечно, весьма худо, если бы она составляла монополию духовного сословия; и мне кажется даже несовместимым с духом евангелической церкви, чтобы духовенству принадлежала общая цензура над нею. Несомненно, здесь должна господствовать величайшая свобода; но совсем иное дело — вопрос, должен ли каждый иметь право сообщать таким путем свои религиозные воззрения и настроения и полезно ли, чтобы это часто случалось. Вред от потока посредственных романов и книжек для детей совершенно несравним с вредом от посредственных религиозных сочинений. Ибо последние, в противоположность первым, очевидно, являются кощунственными. И здесь даже выдающийся талант легче впадает в посредственность. Ибо то, что здесь должно привлекать и пролагать себе путь, есть субъективное понимание общеизвестных предметов и отношений, а это может удаваться лишь при высокой степени наивной оригинальности или при истинном вдохновении, все равно, вытекает ли оно из последней глубины замкнутого в



себе сознания, или из возбуждающей силы широкой и подвижной жизни. Вне этих средств может всегда получиться лишь нечто посредственное. Иначе обстоит дело с определенным родом религиозной песни. Этот род песни был у нас создан преимущественно мирянами всех сословий, и многое, что строгий судья признал бы посредственным, вошло в церковный обиход и тем приобрело себе в известном смысле бессмертие. Однако здесь этому содействуют два обстоятельства. С одной стороны, каждая церковная книга песен имеет лишь весьма ограниченную сферу применения, и здесь может оказаться пригодным то, что не имеет всех качеств, требуемых абсолютной публичностью. Многие из этих произведений наверно давно погибли бы и были бы забыты, если бы они должны были сохраняться в качестве чисто литературных трудов. С другой стороны, при общественном употреблении этого рода литературы действует еще многое иное, так что действие не должно принадлежать одному только поэту; его поддерживает композитор, через посредство которого более или менее привступает и действует то, что принадлежит к определенному ладу и всем знакомо; его поддерживает община, которая вкладывает в выполнение его произведения свое религиозное настроение, и литург, который указывает произведению поэта надлежащее место в общей связи богослужения.

### Пояснения к пятой речи

<sup>1</sup> Стр. 183. Так как здесь вопрос, уже и ранее обсуждавшийся, сведен к краткой формуле — именно к формуле: множественность религий и единство церкви или общины, — то это побуждает меня дать дополнительные пояснения к этому, по-видимому, парадоксальному положению. Здесь надо иметь в виду преимущественно двоякое. Во-первых, в каждой вере лишь более ограниченные ее участники столь тесно замыкаются в своем общении, что, с одной стороны, не хотят принимать никакого участия в религиозных отправлениях других вер и, следовательно, пребывают в полнейшем неведении их природы и духа, и, с другой стороны, из-за малейшего отклонения в вероучении готовы тотчас же основать особую общину. Напротив, более свободные и благодарные участники какой-либо веры стремятся не только присутствовать в качестве бездеятельных зрителей, но и по мере возможности принимать живое участие в богослужении иных религий, назначение которого состоит ведь преимущественно в религиозном обнаружении, и этим путем любовно проникнуть в душу людей, исповедующих чуждую веру. Без наличности такого общения между членами обеих евангелических церковных общин было бы столь же невозможно думать об их соединении теперь, как и сто и триста лет тому назад, — даже там, где он более всего перемешаны между собой: поэтому, кто одобряет такое соединение, должен также одобрять и это общение. Конечно, католик, напр., может легче получать религиозное удовлетворение от всего евангелического богослужения, в котором он разве только ощущает некоторые пробелы, отчасти, по крайней мере, заменяемые иными

элементами, чем протестант от католического богослужения, в котором для него выражены положительные черты противоположности между обеими формами веры и в котором он, следовательно, находит многое, что не может для него быть выражением его веры. Но все же должна иметься возможность не только индифферентно воспринимать богослужение, но и многое из него усваивать через внутреннее преобразование, исправление, приспособление к своей вере; и лишь тот протестант, который способен на это, может сказать о себе, что он понимает тип католической веры и проверил свою собственную религию через сравнение с первой. С этим связано и второе, именно что лишь стремление к такому всеобъемлющему и всесвязующему общению есть истинный и безупречный принцип терпимости. Ведь если совершенно устранить возможность хотя бы отдаленного общения, то не остается ничего иного, как признать различия в формах религии лишь неизбежным злом. Совершенно так же терпимость во взаимных отношениях между государствами, имеющими различное устройство, основана на том, что между ними все же возможно общение; а где прекращается последнее, там выступает сознание мнимого права вмешиваться в чужие дела, тогда как это вмешательство правомерно лишь там, где какое-либо устройство действительно разрушающе влияет на соседние государства, и никогда это вмешательство не может быть обосновано рассуждением или мнением о своем превосходстве. Но всегда только узкие умы приписывают себе такое право; более свободные же стремятся всюду завязать общение и тем выразить всеобщее единство человеческого рода, чем отнюдь не ослабляется их любовь к строю жизни их родины; точно так же и в области религии истинная терпимость далека от всякого индифферентизма.

<sup>2</sup> Стр. 188. На этом суждении, конечно, лежит сильный отпечаток времени, когда впервые была написана эта книга, — того времени, когда еще не существовало никаких общих крупных интересов, когда каждый из нас оценивал свое собственное состояние лишь по своим особым отношениям и не было ни следа общественного настроения, когда даже французская революция, хотя в ней и ясно обнаружился характер мирового события, рассматривалась нами совершенно эгоистически и, следовательно, получала весьма разнообразную и шаткую оценку. Лишь позднее, во времена несчастья, как и во времена славы, мы снова узнали силу общих настроений, а вместе с этим вернулись и сознание и утешение общей религиозности. И еще теперь легко можно измерять одно другим. Ведь где в делах отечества вместо ожидаемых поступков есть только пустые слова, там и религиозность пуста, даже если бы она казалась ревностной до суровости. И где интерес к улучшению нашего состояния вырождается в болезненную партийность, там и религиозность вырождается в сектантство. Отсюда видно, что живое пробуждение естественного и здорового общественного чувства более содействует ясности в религии, чем всякий критический анализ, который при отсутствии таких импульсов слишком легко становится скептическим, как на то намекают дальнейшие слова этой речи, и что ослаблять великие

общественные интересы всегда значит также парализовать и направлять по ложному пути религиозность. Поэтому также религиозные общества, которые имеют тенденцию к обскурантизму, поступают хорошо, воздерживаясь от всякого соприкосновения с иными формами религии.

<sup>3</sup> Стр. 189. Здесь я кое-что изменил, опустил произвольное этимологическое сопоставление и ограничился исторической постановкой вопроса. Ведь если рассматривать многообразные деления одной и той же веры, то очевидно, что не все они равноценны. А именно, те из них, которые своеобразно изменяют целое, имеют естественную ценность и существуют правомерно; все же дробления из-за отдельных пунктов, не имеющих широкого значения для целого, — а такова большая часть направлений, отделившихся в первые века от общего тела церкви, обязаны своим обособленным существованием лишь упорству меньшинства, от которого исходил этот раскол; однако, кроме того пункта, в котором они отличаются от других, они ведь не пренебрегают и остальным, если только длительная полемика не заставляет их всецело сосредоточиться на этом пункте. Сектами же главным образом называются, — и заслуживают такого наименования, указывающего на добровольное выделение себя из целого, — те направления, которые всецело углубляются в немногие воззрения, по которым имеется разногласие, и остаются чуждыми всему остальному; основой для этого, конечно, всегда является какая-нибудь отдельная ограниченная, но сильная в своей ограниченности личность.

<sup>4</sup> Стр. 190. Значение, которое я придаю этому разногласию, я надеюсь, я уже достаточно объяснил. Но противоположность между персонализмом и пантеизмом, которое здесь изображается проникающим все три ступени, дает мне случай пояснить дело еще с иной стороны. Дело в том, что и на второй ступени — на ступени политеизма — нельзя не заметить этой противоположности; только она выступает менее отчетливо, как и вообще во всем несовершенном противоположности менее интенсивны. Ведь совершенно ясно, как мало единства имеется у большинства этих божественных существ в эллинской мифологии, если попытаться соединить все, что встречается в их истории — настолько мало единства, что для объяснения всего, что сообщается о каком-либо божестве, всегда необходимо ссылаться на многообразное происхождение культа каждого божества и на различные географические и духовные источники относящихся к нему мифов. И поскольку личность становится здесь шаткой, эти образы вступают в сферу символов; и многие божества чужого происхождения, на которые можно было перенести родные имена только потому, что последние и без того не обозначали определенной личности, всецело символичны, как, напр., Диана Эфесская, означающая всеобщую жизнь, *nature naturans*, которая прямо противоположна личности. В египетских же и в индийских системах базисом служит символический или иероглифический элемент; поэтому здесь в основе религии вообще не лежит личность, и такое чисто символическое выражение первопричин сознательно, собственно, не имеет

богов, а носит истинно пантеистический характер. Но драматическое или эпическое изображение природы таких символических или иероглифических существ придает им внешнюю видимость личности, и потому обе эти формы политеизма — персоналистическая и пантеистическая, — по-видимому, сливаются между собой; тем не менее в принципе они все же ясно различимы. Уже по аналогии мы можем заключить, что и на ступени хаотического воззрения или фетишизма имеет место та же противоположность; но вместе с тем ясно, что здесь ее еще труднее узнать и представить, потому что эти религиозные объекты, будучи как бы личинками божеств, которые лишь при дальнейшем развитии могут стать душами, почти не допускают точного наблюдения.

Стр. 191. Под названием натурализма я объединяю все формы религии, которые обычно обозначаются как культ природы, и которые все представляют в указанном выше смысле безличный политеизм. Здесь не исключается и культ звезд и даже культ солнца, который лишь по внешности монотеистичен, так как расширение знаний о мироздании тотчас же должно его превратить в культ звезд и, следовательно, в политеизм. Но это изменение обычного словоупотребления — ведь в других случаях слова «натуралист» и «натурализм» обозначают у нас нечто совсем иное — я могу ближайшим образом извинить лишь тем, что, как я надеюсь, каждый читатель, который только не думает об обычном словоупотреблении, легко и правильно поймет в связи с другими обозначениями тот смысл, который здесь имеется в виду. Однако я воздержался бы от такого словоупотребления, если бы обычный способ употребления терминов «натурализм» и «рационализм» в почти тождественном смысле и противопоставления обоих супранатурализму не возбуждал во мне уже тогда, как и позднее, неудовольствия и не казался мне вводящим в заблуждение, — о чем я высказался при другом случае. В это словоупотребление можно вложить некоторый смысл, и притом более правомерный, чем тот, который обычно имеется в виду, когда разум противопоставляется откровению; но противоположность между природой и откровением не имеет никакого основания, и чем более обсуждение этого вопроса будет исходить из такого противопоставления, которое не имеет для себя также никаких оснований в Библии, о чем ведь христианин должен всегда думать, — тем более весь вопрос будет затемняться.

<sup>6</sup> Стр. 191. Ожидание, что еще разовьются многие политеистические религии, высказано не наугад; оно основывалось тогда на воззрении, которое также намечено и во введении к моему «Вероучению», именно, что многие политические системы возникли из потенцированного слияния мелких идолопоклоннических племенных религий. Поэтому, пока еще существуют племена, которым ведомо только поклонение фетишам, такое историческое событие остается мыслимым; а в то время, так как христианское миссионерство находилось в почти совершенной дремоте, это казалось мне

естественным переходом к лучшему для этих наиболее грубых обществ. С тех пор эта вероятность значительно уменьшилась, и, напротив, увеличилась вероятность, что и эти общества могут быть непосредственно захвачены христианством.

Стр. 192. Выражение «ересь» было уже некогда в чести. Не только у эллинов так назывались школы философов и врачей, в которых, вместе взятых, ведь содержалось все врачебное искусство и вся наука, но, что для нас более существенно, то же самое имя носили у эллинистов различные догматические школы иудеев, а что на церковном языке установленная церковная вера не называется также православною или католической ересью, а это слово употребляется всецело для того, что отвергается — что этимологически совсем неправильно — это проистекает, очевидно, из того, что в иной связи Писание употребляет слово «еретический» в дурном смысле. Здесь я употребляю это слово в применении к положительным религиям в том же смысле, в каком оно применялось к эллинским школам, в которых в совокупности содержалась вся национальная философия. Ибо, конечно, плоха та философская система, которая не восприняла какого-либо подлинно философского элемента и не относит к нему в какой-либо форме все остальные элементы. И так как с положительными религиями дело обстоит точно так же, то можно прийти к заключению, что, когда все они разовьются, в них, вместе взятых, будет содержаться вся религия человеческого рода.

<sup>8</sup> Стр. 193. Это «создать» нужно, конечно, понимать с некоторым ограничением; я писал это с полным доверием, что каждый сам от себя сумеет внести это ограничение. Разумеется, моим мнением не могло быть, что истинный христианин лишь тот, кто мог бы сам быть Христом, если бы Христос не существовал уже до него. Но со мной согласятся, если я скажу, что каждый человек есть христианин лишь постольку, поскольку он, если бы жил среди иудеев дохристианской эпохи, выработал бы в себе идею мессианизма или по крайней мере воспринял бы и сохранял бы ее, и поскольку он среди язычников был бы убежден в недостаточности чувственного богопочитания и своим ощущением потребности в спасении как бы притягивал и привлекал к себе христианство. — Дальнейшие слова ведь достаточно ясно показывают, как мало здесь действительно имеется в виду допущение, будто некоторые или многие люди носят в себе зародыши совершенно новых религий, лежащих вне исторических форм религии, и призваны осуществить их.

<sup>9</sup> Стр. 194. Хотя я, собственно, имел бы право надеяться, что это место в общей связи не легко может подать повод к недоразумениям, я все же не хочу оставить его без небольшого исправления, которое относится и к самой мысли, и к ее выражению. Что касается, во-первых, выражения, то оно с виду придает мысли такой оборот, как будто в области религии возможно

сознательно стремиться к открытиям и намеренно что-либо создавать, тогда как ведь здесь все, что чисто и истинно, и тем более все новое, должно проистекать произвольно, наподобие вдохновения, из глубины души. Но кто обратит внимание на общую мысль и на связь всего рассуждения, того эта видимость не введет в заблуждение. Что касается, во-вторых, самой мысли, то она, по-видимому, выражена в слишком общей форме, причем не уделено достаточного внимания великому различию между отдельными видами религии. Ибо всякая религия высшей ступени, и более всего та, в связи с которой развилась законченная богословская система, должна быть в состоянии обозреть всю свою область. Задача догматики состоит в том, чтобы наметить такие очертания религии, в которых не только вмещалось бы все, что действительно уже развито в данной форме религии, но были бы и предуказаны все места для нового; и если мы обозреваем такие очертания, то мы вряд ли найдем какое-нибудь место совершенно пустым, а отдельные места будут лишь более или менее заполнены. Лишь в низших формах религии и в мелких сектах может встретиться то, что здесь утверждается; ибо в первых отдельные лица слишком мало разнятся между собой, чтобы подлинно дополнять друг друга, а что касается последних, то уже было указано, почему они имеют естественную тенденцию не овладевать всей совокупностью религиозного материала.

<sup>10</sup> Стр. 196. Оппозиционный характер, всецело проникающий эту книгу, делает весьма понятным для всех, кто представит себе тогдашнее время, почему я преимущественно защищаю дело тех, кто сводят начало своей религиозной **жизни** к определенному мгновению. Но это отнюдь не есть только попытка принудить к молчанию противников этого воззрения, в надежде, что они не сумеют надлежащим образом защититься. Напротив, позднее мне странным образом пришлось защищать это воззрение против одного выдающегося человека, почтенного, ныне давно уже покойного наставника одной весьма мною ценимой религиозной общины, вся практика которой собственно опиралась на эту предпосылку определенных мгновений нисхождения благодати. Он спросил меня, действительно ли я верю в такие мгновения и считаю их необходимыми, так что меня не удовлетворяет постепенное и незаметное возникновение и развитие религиозной жизни. На основании опыта он указывал мне то, что, конечно, бросалось в глаза каждому, кто внимательно читал многие биографии людей, имевших моменты озарения, именно, что у большинства из них после таких мгновений, когда они удостоверяются в божественной благодати, т.е. когда в них зарождается самобытноличная религиозная жизнь, рано или поздно наступают вновь периоды ослабления, когда они опять теряют эту уверенность, так что должны еще привступить моменты подтверждения, и, следовательно, можно по праву сомневаться, был ли первый или второй из этих моментов истинным исходным пунктом; и из такого сомнения само собою следует, что истина дана лишь в постепенных переходах, которые готовят такое первое мгновение и укрепляют его позднейшими. Я

обратил его внимание — и это я хочу и здесь еще раз напомнить, — что я не считаю эту форму единственной, а допускаю также незаметное возникновение и развитие, но что внутренняя истина дана лишь в единстве обеих форм, причем только в различных случаях то одна, то другая более выступает наружу; поэтому одно дело — постулировать такие моменты, и совсем другое — требовать, чтобы каждый мог их сам указать и засвидетельствовать, что помнит, когда они произошли, — как я это позднее развил также в одной проповеди; и на таком понимании мы сошлись. — Что же касается, в частности, того, как дело здесь представлено, именно что такой момент есть всегда нечто чрезвычайное, и что каждая возникшая этим путем религиозная жизнь должна быть совершенно своеобразной, то на это можно возразить двоякое. Во-первых, что уже в первую эпоху церкви, во времена воззвания апостолов, встречались массовые пробуждения христианского сознания и что и теперь иногда случаются такие как бы эпидемические пробуждения, не столько среди иноверцев, сколько преимущественно среди христиан, благочестие которых было заглушено мирскими заботами и делами. Если, поэтому, эти пробуждения нельзя считать чем-либо чрезвычайным, то, во-вторых, уже отсюда становится вероятным, что не каждый их результат будет чем-либо исключительным и своеобразным, тем более, что эти пробуждения часто бывают реакцией против широко и однообразно распространенной огрубелости или распущенности. Это подтверждается и опытом, который показывает, что в известные эпохи именно среди лиц, опирающихся в своей религии на такие явственно решающие мгновения, господствует до утомительности однообразная форма терминологии и одинаковая, часто весьма запутанная терминология в отношении связанных с этим душевных переживаний. Однако это тесно связано с непрочностью таких мгновений; и не в этом смысле моя речь противопоставляет обе формы религиозной жизни — внезапное ее пробуждение и постепенное развитие. В последнем всегда будет более преобладать общее единичное, проявляющееся здесь, что создано силой общего и подчинено последнему; своеобразное выступает в нем наружу более сдержанно и робко. Но таков же и характер религиозности, которая с виду опирается на такие внезапные мгновения. Проповедники, призывающие к религии, обычно выражают также лишь традиционный тип, который именно потому, что ограничивается немногими формулами, более всего способен потрясать тупые души, будь то отупевшие от ожесточения или от суетности. Такова сила, присущая этим проповедникам; и так как их воззрение требует таких моментов, то постоянно повторяющимся требованием их они действительно их готовят. И несомненная польза этого метода состоит в том, что в такие неоднократные мгновения прорывается наружу подготовленное потрясение и усиливается, сливаясь между собой, сознание полного ничтожества и сознание божественной благодати, — хотя то и другое имеет лишь весьма общий характер и вначале остается неустойчивым; — этим постепенно укрепляется религиозная жизнь, которая, однако, теснейшим образом связана с указанным типом и

именно потому остается робкой и убогой. Если люди, имеющие такую историю, скромно пребывают в своем кругу, то они нам ценные товарищи; и чем более также и люди, которые в мирском смысле высокообразованны и почитаемы, удовлетворяются в религиозной области этой ступенью, тем более трогательно это столь же возвышающее, сколь и смиряющее явление. Но все такие люди здесь не имеются в виду, так как в них не развилась своеобразная религиозная жизнь; и мгновения, из которых создается такая своеобразная жизнь и которые здесь разумеются, носят совсем иной отпечаток. Они возникают только в людях, которые уже и до того имели религиозное направление, но лишь в хаотической и неопределенной форме. Их источник не образуют следы внешних возбуждений; напротив, из постоянно возобновляющегося чувства недостаточности и несоответственности того, что дается извне, они подготавливаются тихой внутренней мечтой и тоской, в которой именно из такого отрицания развивается нечто положительное, так что последние глубины души ощущают Божество и, осознав себя самих, более или менее внезапно проступают наружу. Таковы эти редкие явления, о которых даже самый беглый наблюдатель не может думать, что он исчерпал их, обозначив каким-либо общим именем.

<sup>11</sup> Стр. 202. Здесь, конечно, разумеются не новые откровения, которые лежали бы вне кругозора данной религии; напротив, ни в одной положительной религии не может существовать стремление к таковым, ибо и стремление каждого существа естественно должно носить на себе отпечаток его самобытности. И мессианские надежды евреев не были таким стремлением к чему-то, выходящему за пределы иудейства, хотя они позднее и были осуществлены явлением Христа, выходящим далеко за эти пределы. И в этом, конечно, главным образом и состоит своеобразная связь между обеими этими формами религии. Но всякая религия, в меру своей жизненности, имеет подобную потребность найти в себе самой некоторое еще непознанное божественное начало; и именно поэтому историческая устойчивость каждой веры, объемлющей широкую область в пространстве и во времени, обусловлена тем, что она обладает некоторым нормативным элементом, к которому должно сводиться все новое. Где этот нормативный элемент отсутствует, там единство религии будет склонно к распылению; где, несмотря на его присутствие, все же возникают дробления, там крупнейшие из них будут всегда относиться к этому нормативному элементу. И в этом смысле можно, конечно, сказать, что спор между греческой и римской церковью есть спор между оригинальным текстом и переводом, а спор между евангелической церковью и первыми двумя есть спор между Писанием и преданием.

<sup>12</sup> Стр. 202. И это место по аналогичному основанию нуждается в небольшом пояснении, так как могло бы показаться, что здесь заслоняются великие всемирноисторические религии и достопримечательное отыскивается лишь в



более мелких организациях. В политической области мы, правда, привыкли к подобным вещам. Ведь многие государственные формы великих народов кажутся нам беспомощными и незначительными, тогда как устройства отдельных городов с ничтожной территорией восхваляются историками как шедевры политического искусства, и служат предметом многочисленных исследований. Но не так обстоит дело в области религии; ибо сильная религиозная жизнь, даже стесненная ограниченными формами, рано или поздно все же переступает границы народности, как это случилось даже в иудействе, и ничто своеобразное и внутренне сильное в этой области не может навсегда сохранить малый объем. Здесь, однако, речь идет собственно о том, что образовалось в сфере великих форм религии и, в частности, христианства; а в этом отношении справедлив совсем иной закон. Обширным и широко распространенным становится то, что легче всего проникает в массы, и таковым по общему правилу бывает воззрение, далекое от всего, что кажется крайностью, — воззрение, возможное лишь при заботливом учитывании всех сторон жизни, т.е. имеющее в известном смысле внешнее направление и потому, конечно, не содействующее внутреннему и своеобразному развитию. Таков преобладающий характер в христианстве того, что в старом смысле слова мы называем католическим; и так как большинство думает главным образом об этом, когда речь идет о христианстве, его характере и развитии, то мне казалось уместным здесь отклонить внимание людей, которые действительно хотят исследовать вопрос и в которых пробудился некоторый интерес к религии, от того, что навязывается своим большим объемом, и направить на более мелкие явления. Но при этом я имел в виду не столько еретические направления, которые выражают определенные односторонности, сколько отдельных личностей в церкви, которым не удалось удержаться в посредственности, или — выражаясь мягче — в той осторожной позиции, с помощью коей отдельный человек только и может сохранить блестящее положение среди католических элементов, а которые предпочли свою внутреннюю свободу и именно потому не убоялись неизвестности.

Стр. 204. Строго говоря, я никогда не держался мнения, что нравственное учение должно быть всюду одним и тем же. Но здесь мне было достаточно сослаться на общепринятый взгляд. Мне кажется, что мораль не везде может быть одинаковой; и все эпохи показывают, что она никогда не была везде одинаковой. Ибо форма ее по существу умозрительна, и может стать повсюду одинаковой не ранее, чем станет одинаковым само умозрение, на что не имеется никаких указаний именно в силу великой производительности последних веков в деле развития философских систем. Далее, и ее содержание не может быть всюду одинаковым; ибо хотя каждый, излагающий нравственное учение, исходит из идеала чистой человечности, но каждый видит его сквозь призму своей эпохи и своей народности. Поэтому всякое общеобязательное нравственное учение может содержать лишь самые общие нормы, да и последние лишь в таких формулах, в которые

можно подставлять различные значения, так что общеобязательность будет скорее кажущейся, чем подлинной. Тем не менее установленное в тексте положение сохраняет свою правильность потому, что мерило этих различий не одно и то же для нравственного учения и для религии. Ибо нравственное учение начинается всегда с подчинения частного, а, следовательно, и своеобразного, общему, и лишь в силу такого подчинения своеобразное приобретает право на моральное признание; поэтому, хотя, конечно, возможно построить столь же правильную систему нравственного учения или, точнее говоря, ту же самую систему, на противоположной предпосылке, тем не менее такое нравственное учение не смогло бы преодолеть общераспространенного чувства и приобрести себе признание. Напротив, в области религии все исходит из индивидуальной жизни, и чем своеобразнее, тем сильнее, общее же возникает лишь из замеченного сродства и близости. Поэтому многие, кто еще не осознали своих скрытых различий, могут держаться одной и той же формы религии; но одно и то же нравственное учение могут разделять и те, кто уже сознают свои различия, если только у них одинаковое понимание человеческих отношений; тогда как именно в этом понимании между людьми, исповедующими одну и ту же форму религии, могут иметься столь значительные разногласия, что для них невозможно иметь общее нравственное учение.

<sup>14</sup> Стр. 211. Ничто не выдает так сильно, с одной стороны, отсутствия чутья к сущности христианства и к самой личности Христа и, с другой стороны, вообще отсутствие исторического чувства и понимания того, как осуществляются великие события и каковы должны быть личности, которые являются их подлинным источником, чем скептическое воззрение на отношение апостола Иоанна к учению Христа; это воззрение ранее выступало с несколько робким утверждением, что Иоанн примешал от себя много чуждого в речи Христа; теперь же, укрепившись в тишине и вооружившись критическими аргументами, оно дерзает на более сильное утверждение, что Иоанн вообще не писал Евангелия, и что лишь позднейший автор изобрел этого мистического Христа. Но каким образом иудейский раввин с человеколюбивым образом мыслей, с некоторой сократической моралью, с некоторыми чудесами или, по крайней мере, с тем, что другие считали чудесами, и с талантом высказывать разумные сентенции и притчи, — а ведь при таком воззрении от него больше ничего не остается, и еще придется простить ему некоторые нелепости, передаваемые другими евангелистами, — каким образом, повторяю, подобный человек мог произвести такое действие, как создание новой религии и церкви, — человек, который, если бы он был таковым, недостоин был бы сравниться с Моисеем и Магометом, — постигнуть это предоставляют нам самим. Однако с этим воззрением нужно бороться более ученым оружием, и, конечно, друзья и почитатели иоаннова Сына Божия уже готовятся к такой борьбе. — Если же несколько ниже в тексте я говорил об этой скорби христианина (черты которой в Христе нам передают и другие евангелисты, если только сумеет

правильно понять их с помощью Иоанна), что она есть основной тон и христианской гордости, и христианского смирения, — то хотя и все согласится, что слово «гордость» применимо и к душевному состоянию, не заслуживающему никакого порицания, но все же может показаться несколько смелым признать ее христианским настроением; ведь в христианском умонастроении настолько существенное и преобладающее значение имеет смирение, что что-либо, подобное гордости, по-видимому, совсем не может возникнуть в этой области, хотя мы и не стали бы порицать такое настроение в гражданской нравственности. Я не хочу ссылаться на то, что я здесь сопоставил также страх и любовь, тогда как ведь любовь есть признак христианина, а совершенная любовь изгоняет страх, так что отсюда следует, что я имел в виду человеческое, т. е. несовершенное состояние. Нет, моя мысль состояла в том, что если в христианине отличать его личное самосознание, с которым он противопоставляет себя Христу, от того самосознания, с которым он переживает свое общение с Христом, то первое самосознание, даже если божественный дух добра уже значительно влиял на него, всегда может быть только смирением. Последнее же самосознание, которое состоит в усвоении всех совершенств Христа, должно быть противоположным первому; и я не знаю обозначения, которое сильнее выражало бы эту противоположность, чем слово «гордость»; а чтобы засвидетельствовать это чувство, мне достаточно напомнить о всех возвеличениях христианской церкви в наших новозаветных книгах. Но что в этой гордости содержится скорбь о том, что общение с Христом действительно ощущается еще в недостаточном объеме, — это ясно само собой.

<sup>15</sup> Стр. 212. Всегда довольно рискованно, и в особенности, как это здесь имеется в виду, в отношении неверующих, как бы основывать веру в Христа на чем-либо единичном в Нем. Ибо всякой единичной черте слишком легко может быть противопоставлена внешне сходная черта в другом человеке, причем бывает трудно вскрыть внутреннее и существенное различие последней от первой. Так иной фантазер, мнивший о себе более высоко, чем он того заслуживал, умирал за эту свою веру; и как часто заблуждение защищалось по твердому убеждению и с опасностью для жизни! Однако такая укорененность заблуждения — если только подлинный предмет веры не есть все же истина, к которой лишь присоединилось заблуждение — основана лишь на идиосинкразии, которая не может получить широкого распространения. Напротив, самосознание Христа сияет отраженным светом в вере всей толпы Его учеников и в радости всех мучеников этой веры; и такого действия, конечно, никогда не оказывал самообман какой-либо единичной души. К этому нужно еще присоединить, что в этой вере дело касалось не только внутренних явлений сознания, относительно которых человек всегда легче может ошибаться, и не только надежды на весьма отдаленное будущее, в отношении которого открывается свободный простор для фантазии; напротив, Христос должен был верить, что при

неблагоприятных обстоятельствах, совершенно явственных и легко обозримых, все же непосредственно выразится божественная сила этого сознания. Но все же обоснование своей веры на единичном остается всегда неполным, и точно так же остается всегда рискованной попытка через посредство единичных черт укрепить веру в других.

<sup>16</sup> Стр. 213. Заключительный итог этого рассуждения, именно, что Христос есть средоточие всякого посредничества, должен надлежащим образом связать все единичное в этом ходе мыслей и пополнить его кажущиеся пробелы. Тем не менее я желал бы обратить внимание читателя на то, что в моем трактовании вопроса сознательно подчеркнуто, что если даже допускать некоторое значение за тем различием, которое в то время имело большой успех, в качестве великого открытия, — именно за различием между учением Христа и учением о Христе, — то все же идея посредничества во всяком случае должна быть причислена к учению Христа, и наше учение о Христе есть не что иное, как сначала развитое верой, а потом санкционированное историей подтверждение и применение этого учения Христа. И если я отделяю Его школу от Его религии, то, как совершенно явственно свидетельствует заключение, это есть лишь различное рассмотрение одного и того же вопроса с двух разных точек зрения. Ибо идея спасения и посредничества, как центр религии — в этом и состоит религия Христа; поскольку же отношение этой идеи к Его личности есть исторический факт, и все историческое существование как учения, так и религиозного общества основано на нем, я называю эту историческую сторону дела общеупотребительным именем школы. А что эта школа для Христа есть лишь вторичное, первичное же — указанная идея, это явствует из приведенного здесь, равно как из того, что сначала Он возвестил царство Божие о Себе как грядущего, и лишь позднее — Себя как пришедшего. — Если несколько далее в тексте я говорю, что Христос стал посредником для многих, то я прошу вспомнить, что Сам Христос в одном месте говорит, что Он отдает свою жизнь как искупительную плату для многих; из моих слов не следует делать ограничительный вывод или по крайней мере такой вывод должен быть понятим в согласии с высказанным уже мною в ином месте воззрением, по которому действительно пережитое общение человека с Христом всегда ограничено и останется таковым, даже если христианство распространится по всей земле; напротив, чисто внутреннее и мистическое отношение Христа к человеческой природе, как таковой, я признаю безусловно всеобщим и безграничным.

<sup>17</sup> Стр. 213. То, что здесь сказано о Писании, быть может, покажется иным членам нашей церкви слишком католическим ввиду сближения того, что создается в церкви, с Писанием, тогда как католики признают это изложение ультра-протестантским, так как здесь не только не признается, что Писание опирается на авторитет церкви, но даже и объем самого Писания объявляется еще не законченным. Последнее имеет лишь гипотетический

смысл и предназначено для более резкого отделения внешней стороны дела от внутренней. Ведь если бы еще теперь могла найтись книга, написанная, напр., Марком или Лукой, или Иудой и имеющая все признаки подлинности, то, конечно, вряд ли нам удалось бы единогласно решить включить ее в канон; тем не менее она все же проявляла бы свою нормативную библейскую силу, если бы она носила в себе таковую, т. е. действительно была бы Библией. И, конечно, несомненно, что именно эта сила служила определяющим основанием для церковной практики, которая установила канон, тогда как церковное постановление могло только подтвердить эту практику.

<sup>18</sup> Стр. 216. Если читатель, сравнивая разные издания этой книги, не найдет этого места в предыдущем издании, то это не значит, чтобы оно было только внесенным мною добавлением; напротив, я предназначал его еще для второго издания, но снова вычеркнул его там, так **как** оно казалось мне слишком вызывающим. Теперь, когда эти времена уже прошли, оно может найти себе место как памятник того впечатления, которое производили на меня, да, конечно, и на многих, религиозные настроения того времени. Дело в том, что пресыщенность непонятым христианством выражалась тогда у многих не только в безверии, которое здесь отрицается, ибо мнение этих лиц, что если христианство лишено значения, то не имеет смысла и религия вообще, делает честь христианству; у немалого числа людей эта пресыщенность выражалась также отчасти в стремлении доставить внешние формы бытия естественной религии, тщетность чего уже обнаружилась в Англии и во Франции, отчасти в жажде щекочущих новинок, как у людей, которые мечтали о символизированном и гностицированном язычестве, о возврате к старым мифологемам, как о единственном спасении, и радовались, что фантазер Христос преодолен благодушнот резвым Зевсом.

### Пояснения к послесловию

<sup>1</sup> Стр. 220. Это суждение менее удивит теперь, чем когда оно было впервые высказано. Ибо в то время легко можно было думать, глядя на одну сторону, что обе церкви соединятся в неверии, в индифферентизме, или, глядя на другую сторону, полагать, что они скоро будут лишь двумя различными формами суеверия, которые различаются между собой лишь внешними и совершенно случайными чертами, так что каждый отдельный человек столь же хорошо может принадлежать к одной, как и к другой. Но в последнее время ряд событий, упоминание о которых здесь излишне, не только вновь оживили сознание реального значения этой противоположности, но и весьма отчетливо уяснили, как, собственно, относятся друг к другу обе эти церкви. И мы не можем отрицать, что подлинный центр этой противоположности лежит в Германии; ибо в Англии она хотя и сильна, но имеет скорее политический характер; напротив, во Франции она играет лишь весьма подчиненную роль. И конечно нам, немцам, надлежало бы прежде всего

уяснить эту противоположность в ее чистой внутренней сущности как исторически, так и умозрительно; к сожалению, об этом слишком мало думают, и такое уяснение и у нас заменяется страстной полемикой, так что если бы кто-либо из нас захотел говорить об этом предмете совершенно беспристрастно, то его единоверцы заподозрили бы в нем скрытого католика, а со стороны католиков он встретил бы навязчивые и льстивые попытки к сближению. Похвальные явления подлинной основательности и умеренности, которые получали бы признание, суть редкие исключения. Минуя поэтому совершенно рассмотрение современного состояния, я хочу в немногих словах наметить, к какому пункту, по моему мнению, сводится эта противоположность, если оценивать ее с точки зрения исторического развития. В обеих церквях существует бесспорная склонность замыкаться друг от друга и по возможности взаимно игнорировать друг друга; об этом достаточно свидетельствует почти непостижимое невежество в отношении учений и обрядов противоположной церкви. Эта склонность вполне естественна в массах. Ибо каждая сторона находит достаточно религиозного возбуждения и питания в своем узком кругу, и противная сторона представляется ей если и не столь нечистой, как иудеям — приверженцы иных религий (хотя часто недалеко и до такого настроения), то по крайней мере совершенно чуждой. Эта склонность преобладает в спокойное время и прерывается в массах лишь страстными вспышками, которые постоянно приходится наблюдать, когда одна сторона добилась какого-либо решительного преимущества над другой в политической области или во множестве отдельных случаев частной жизни. Но образованные слои общества, претендующие на обладание историческим сознанием, не должны разделять ни указанной косной замкнутости, ни такой всегда вредной страстности. Между этими слоями в обеих церквях должно иметь место живое, хотя бы и не прямое взаимодействие, пробужденное спокойным исследованием соперничество, направленное на усвоение всего, что каждый признает наилучшим в противной стороне. Ибо в силу противоположного характера обеих церквей каждая из них менее всего восприимчива к тем несовершенствам, которым более всего обременена противная сторона. Пусть католики испытают удовлетворение от того, как у нас религиозное направление, чем более оно выступает наружу, тем более препятствует впадению во всякого рода варварство; и если они не обманывают сами себя утверждением, что в этом отношении нет никакой разницы между нами и ими, то пусть они посмотрят, как далеко они могут пойти в этом содействии индивидуальной свободе. Мы же должны как можно более страстно ограждать ту же твердую позицию, которую католическая церковь сумела обеспечить себе во всех своих внешних отношениях с помощью своей сильной организации, и должны попытаться добиться такого же единства и организованности, но именно в нашем духе и не давая духовному сословию того положения в отношении мирян, которое противоречит духу нашей церкви. Такие целебные воздействия действительно встречаются, и от времени до времени люди сознают их результаты; однако они задерживаются

косной замкнутостью масс и прерываются моментами страстной борьбы. Поэтому цель этих воздействий вероятно еще не скоро будет достигнута, а до этого момента мы еще не сможем сказать, что напряженность отношения достигла предела и начинает ослабляться. Лишь тогда у обеих этих церквей возникнет общая задача оказывать живительное воздействие на почти совершенно омертвевшую греческую церковь, и, конечно, долгое время обе они должны будут прилагать все свои силы и средства, чтобы оживить этого мертвеца; и пока им это не удастся, обе они еще не смогут признать выполненной судьбу своего разделения.

<sup>2</sup> Стр. 220. Совершенно очевидно, что лишь редко случается, чтобы в странах, которые всецело принадлежат к одной церкви, какая-либо отдельная личность без побочных соображений и искусственных уговоров, в силу подлинного внутреннего влечения переходила в другую церковь. Точно так же в местностях, где обе церкви перемешаны между собой, мы совершенно спокойно воспитываем детей от браков между лицами одной веры в вере их родителей, и нам совсем не приходит в голову, что они могли бы иметь внутреннее влечение к другой вере. И если вообще различный национальный характер христианских народов не остался без влияния на пути, по которому прошла реформация, то разве нельзя допустить, что и это религиозное направление стало наследственным и врожденным? — Тем более, что ведь при переходе в христианство иноверцев мы считаем христианское сознание чистым и твердым не ранее, чем через несколько поколений. И поэтому для детей от смешанных браков можно было бы считать естественным, в качестве предварительной меры, не то, что сыновья следуют отцу, а дочери — матери, а что каждый ребенок следует тому родителю, с которым он и в других отношениях имеет унаследованные сходства. С другой стороны, однако, нельзя отрицать, что генетическое отношение между обеими церквями не благоприятствует допущению подлинно врожденной склонности к какой-либо из них, а скорее заставляет ожидать, что решение в пользу той или другой формы образуется на основе личного характера каждого человека. При этом воззрении для смешанных браков был бы естественным принцип, который сам собою соблюдается там, где отсутствует чуждое вмешательство, именно, что предварительно все дети следуют тому из родителей, который имеет более сильное религиозное сознание, так как под особым влиянием этого родителя сильнее всего развивается соответствующий религиозный элемент, но что потом спокойно и радостно ожидается, к какой форме склонится каждый при растущей самостоятельности. Если бы этот естественный порядок всюду соблюдался, и если отвлечься от того, к чему могут привести чуждые мотивы и воздействия, которые почти можно назвать насильственными, то случаи перехода в иную веру в зрелом возрасте, после того, как одна вера уже была с любовью воспринята и руководила жизнью, — перехода, который всегда вносит некоторую смуту, — были бы довольно редки; они встречались бы либо у таких личностей, которых и в остальных отношениях можно считать

исключениями и как бы созданиями каприза природы, либо же там, где неправильное руководство религиозной жизнью ярко осветило бы несовершенство и односторонность уже принятой формы веры и тем самым направило бы к противоположной вере; и случаи последнего рода еще теперь часто встречаются в обеих церквях.

<sup>3</sup> Стр. 221. Я думаю, что лишь для немногих понадобится обоснование самого этого суждения, что католическая церковь не только в старом смысле, но и в том смысле, в котором она противопоставляется евангелической, может отбросить авторитет папства и от монархической формы перейти к аристократической форме епископальной системы, причем противоположность между обеими церквями все же не будет устранена, и их соединение не будет существенно облегчено. Столь же несомненно, что именно этот папский авторитет — будем ли мы рассматривать его происхождение или изучать направление, которое он почти всегда принимал — более всего обнаруживает все ложные тенденции, выходящие за пределы церковной сферы. Но замечательно, что почти все, отпавшие от нашей церкви, становятся строгими папистами. Из этого почти неизбежно приходится заключить, что они все же не восприняли в себя подлинного характера католической церкви, и что им только суждено в двух различных формах засвидетельствовать свою религиозную неспособность.

<sup>4</sup> Стр. 222. Худо, когда именно конец труда легко может вызвать улыбку, которая способна стереть из сознания более ранние благоприятные впечатления. А это может здесь случиться в двояком отношении: во-первых, потому, что здесь высказано предположение, что Бонапарт может начать борьбу против протестантизма, тогда как он, напротив, позднее грозил своим переходом, и переходом большей части Франции, в протестантизм, и еще недавно подверглись преследованию протестанты южной Франции, как наиболее преданные ему элементы. Во-вторых, потому, что здесь почти предполагается, будто вся Германия принадлежит к протестантской вере, тогда как многие надеются, что рано или поздно она целиком или в значительной своей части снова станет католической. Что касается первого, то сказанное мною слишком точно выражает чувства, которыми мы были проникнуты в эпоху позора, чтобы я счел себя вправе исключить то, что было тогда написано. Так много было у нас отнято, что мы имели право опасаться и за наше последнее достояние, тем более, что Наполеон, бесспорно, совершенно иначе вел себя в протестантской Германии, чем в католической, и от него не могло остаться скрытым, что наше религиозное и наше политическое настроение по существу связаны между собой. Что же касается второго, то пусть всякий остережется смеяться слишком рано; и сколь твердо убеждение противной партии, столь же твердо и мое убеждение, что в Германии широкое распространение папистского католицизма по многим причинам необходимо связано с впадением во всякого рода варварство, тогда как свобода евангелической церкви останется



среди нас вернейшей опорой всех благородных стремлений, и что поэтому не может лежать на путях Провидения ослабить протестантизм и дать расширяться за его счет католицизму.

### **ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА ко второму изданию**

Так как эта книжка вышла из продажи, то я не хотел препятствовать ее новому изданию. Отчасти я благодарен ей за то, что она в почти неожиданной для меня мере привлекла ко мне благородные души и доставила мне друзей, обладание которыми мне весьма дорого; отчасти же отказ от нового издания мог быть ложно истолкован, как отречение от книги. И потому я приношу дань благодарности этим страницам, снова вызывая их к жизни и этим актом свидетельствуя перед читателями, что все высказанные здесь мысли по-прежнему присущи мне — насколько вообще образ прошлого существа может и должен быть подобен более зрелому человеку. Но только при этом я сознаюсь, что воспроизведение такого образца или даже улучшение его представляют слишком большие трудности в силу опасности затемнить его внутреннюю правду незаметным внесением позднейших черт, или же нарушить отношение к нему дружественных читателей изменениями, которые могли бы показаться произвольными. Поэтому я предпочитаю воспроизвести его со всеми недостатками, которые мне известны в нем, и — независимо от некоторых мелких литературных поправок, — внести только немногие изменения, которые были намечены мною вскоре после появления первого издания и, как мне казалось, содействовали устранению неясностей и недоразумений. Итак, если кто порицает что-либо не в изложении, а в содержании изложенного, пусть он приписывает это не мне в моем нынешнем состоянии, а все еще мне как прежнему автору. Но если найдутся люди, которые не умеют понять само настроение и не могут или не хотят отличить то, что относится к идее человека, от того, что затрагивает лишь его эмпирическое явление, — то я представлю им снова разогреть те пресные насмешки, которые раздавались кое-где и десять лет тому назад.

### **ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА к третьему изданию**

На вышеприведенное объяснение я ссылаюсь при этом третьем издании книжки, и хотел бы только сказать еще несколько слов по адресу тех, кому действительно остался непонятным замысел этой книжки. Человек, связанный со мной давнишней тесной дружбой, высказал весьма подходящее сюда и меткое суждение, именно, что явственная жизнь каждого человека колеблется между его прообразом и его карикатурой. Лишь самосозерцание, следующее первому направлению, может содержать в себе что-либо, заслуживающее публичного сообщения; другое же направление теряется в

темных глубинах единичной жизни и доходит до таких пунктов, которые, как уже сказал один мудрец, человеку было бы лучше скрывать и от самого себя. Здесь именно и представлена попытка, умолчав о последнем, высказать первое, с явным стремлением определить точки расхождения прообразов; и потому мнение автора истолковывается совершенно превратно, когда его упрекают в том, что он только разукрашивает себя самого и, расточая, как некий духовный Нарцисс, влюбленные слова своему собственному образу, еще громко возвещает их всему миру. — Из указанного замысла вытекает также то, что здесь самоанализ развивается в чисто этической форме, и что религиозный, в более узком смысле, элемент нигде не проступает в нем. Но я не хотел бы, чтобы это указание было принято за подтверждение мнения, будто религиозное самосозерцание может идти лишь в противоположном направлении, в сторону карикатуры. Напротив, давно уже у меня возникло намерение опровергнуть на деле и это одностороннее представление, и дополнить эту книжку аналогичным рядом религиозных монологов. Доселе, однако, время не позволило мне выполнить это.

**Берлин, декабрь 1821 г.**

## МОНОЛОГИ

### Обращение

Нет лучшего дара, который человек мог бы принести человеку, чем то, что он говорил самому себе в глубине своей души; ибо здесь даруется доступ к самому сокровенному — возможность прямо и без помехи заглянуть в свободное существо. И нет более прочного дара; ибо в твоей жизни тебе сопутствует радость, пробужденная чистым созерцанием друга; и внутренняя правда удерживает твою любовь и влечет тебя не раз возвращаться к этому созерцанию. Нет также дара, который ты мог бы легче оградить от чужих вожделений и козней: ибо в нем нет ничего соблазнительного, что могло бы привлечь внимание непризванных или быть использовано для дурной и низкой цели. А если кто и стоит в стороне, косыми взглядами озирая наше сокровище и указывая тебе на признаки поддельности, которых не воспринимает твой прямой взор, то пусть ни критиканство, дробящее цельное чувство, ни плоская насмешка не лишает тебя радости, как и я никогда не буду раскаиваться, что сообщил тебе мое достояние. — Возьми же этот дар, кто умеет понимать тонкое веяние духа! Пусть звучит твое внутреннее пение, гармонично вторя игре моих чувств! И то, что при прикосновении с моей душой пронизывает тебя, как нежный магнетический ток, или потрясает тебя, как электрический удар, да будет освежающим возбудителем твоей жизненной силы!

## 1 Размышление

Внешний мир, с его вечными законами и с самыми беглыми его явлениями, в тысячах нежных и возвышенных образов отражает для нас, подобно волшебному зеркалу, высшие и глубочайшие начала нашего духа. Но кто не повинуется громким требованиям своего чувства, кто не внемлет тихим вздохам порабощенного духа, — мимо тех бесследно проходят и благодетельные образы, тонкие воздействия которых должны обострять тупое сознание и играючи наставлять нас. Они даже не понимают истинного смысла и внутреннего назначения того, что измыслил **их** собственный рассудок и что он всегда должен воссоздавать. Так, мы разделяем бесконечную линию времени на равные промежутки, и точки этих делений часто определены произвольно чисто внешними и случайными основаниями: они совершенно безразличны для жизни, презирующей все размеренные шаги, и им ничто не хочет подчиняться, — ни здание наших дел, ни венок наших чувств, ни игра наших судеб; и все же мы думаем, что эти деления суть нечто большее, чем простое облегчение для хранителей чисел или драгоценный дар для хронологов; напротив, у каждого человека с ними связывается строгая мысль, что возможно деление жизни. Но лишь немногие проникают

в эту глубокомысленную аллегория и понимают смысл постоянно повторяющегося призыва.

Человек, по мнению многих, не ведает ничего, кроме своего бытия во времени и его скользящего падения с солнечной высоты наслаждения в страшную ночь уничтожения; выделяя в сознании представления и чувства и сливая **их** между собой, невидимая рука тянет нить нашей жизни, то свивая ее в тесный клубок, то снова развивая, — и вне этого нет ничего. Чем быстрее поток наших мыслей и чувств, чем богаче **их** смена, чем гармоничнее и теснее их соединение, тем прекраснее завершено великое художественное творение бытия; а кто еще сверх того может механически объяснить всю эту связь и показать скрытые пружины этой игры, тот стоит на вершине человечности и самопознания. Так они принимают отраженный образ своей деятельности за подлинное деяние, внешние точки соприкосновения своей силы с тем, что лежит вне ее—за свою глубочайшую сущность, атмосферу — за самый мир, вокруг которого она образовалась. Как могут такие люди понять призыв, содержащийся в том действии, на которое они бессмысленно глядят со стороны! Точка, пересекающая линию, не есть часть последней: она касается бесконечного столь же подлинно и непосредственно, как и линии; и в этой линии ты можешь всюду поместить такую точку. Так и мгновение, в котором ты делишь путь жизни, не должно быть само частью временной жизни; оно должно иначе созидаться и образовываться, чтобы возбуждать в тебе непосредственное сознание твоей связи с вечным и бесконечным; и всюду, где ты хочешь, ты можешь так

преграждать и прерывать поток временной жизни. Поэтому я с радостью вижу многозначительное напоминание о божественном в прекрасном призыве к бессмертному бытию вне области времени и вне подчинения его законам! Но те, кто не знают о призвании к этой высшей жизни среди потока беглых чувств и мыслей, не находят его и тогда, когда, не ведая, что творят, они измеряют время и делят земную жизнь. Пусть бы лучше они совсем не замечали того, что им надлежит знать! Если бы в их суетных делах совсем не сказывалось тщательное стремление последовать возвышенному призыву, они не оскорбляли бы так горько моей души. Но и у них бывают мгновения, которых они не считают беглым сегодняшним днем; однако они не умеют относиться к ним, как к вечности. Часто на миг, иногда на час, в лучшем случае на день они освобождаются от обязательства трудиться так рачительно, стремиться к наслаждению и познанию так усердно, как того в других случаях требует от них каждая мельчайшая часть их жизни, напоминая им, что она столь же скоро станет прошлым, сколь недавно была будущим. Тогда им становится противным воспринимать новое или наслаждаться, действовать или созидать; они садятся у берега жизни, но могут только с улыбкой проливать слезы над пляшущими волнами. Подобно тому, как мрачное безумие закалывает на могиле мужа женщин и рабов, так они на могиле года закалывают тщетную жертву — день, проходящий в пустых фантазиях.

Пусть не предается размышлению и созерцанию тот, кто все же не может постигнуть в нем внутренней сущности духа! Пусть не стремится вырваться из времени тот, кто в себе самом не ведает ничего, выходящего за его пределы! На какой берег он мог бы выйти из этого потока, и чего бы он мог достигнуть, кроме бесплодного страдания и горького чувства уничтожения? Он взвешивает сравнительную силу наслаждений и забот в прошлом, и хочет слить в единый уменьшенный образ, под фокусом воспоминания, свет, который еще мерцает ему из прошедшей дали. Другой созерцает плоды своей деятельности, и охотно вызывает в воспоминании свою жестокую борьбу с миром и судьбой; и радуясь даже малому, что ему удалось осуществить, он видит разбросанными по нейтральной почве безразличной действительности памятники, которые он создал себе из мертвого материала, хотя все осталось далеко позади его замыслов. Третий проверяет, чему он научился, и гордо шагает по расширенным и заполненным житницам своих знаний, радуясь накопленному им богатству. О, ребяческая игра суетного воображения! Один забыл о скорби, которую заставляла его переживать фантазия, и сохранить которую постыдилась память; другой забыл о содействии, которое оказывали ему мир и судьба, хотя теперь он склонен лишь враждебно относиться к обоим; и третий не учитывает старого, которое было вытеснено новым, мыслей, утраченных в размышлении, и представлений, загубленных учением; и никогда расчет не бывает правильным. Но если бы даже он был правильным, как глубоко язвит меня мысль, что люди могут назвать это самосозерцанием и видеть в этом самопознание! К каким убогим плодам

приводит это хваленое занятие! Фантазия хватается за верную картину прошедшего, не скупясь, изукрашивает ее новыми, лучшими чертами, рисует ее на пустом пространстве ближайшего будущего, и часто все же со вздохом оглядывается назад на ее первообраз. Так последним плодом этого занятия является лишь тщетная надежда, что наступит лучшее время, или обычная жалоба, что уходит все, что было так прекрасно, и что свеча жизни, тая со дня на день, все больше говорит о скромном конце дивного пламени. Так время, жестоко карая пустыми желаниями и тщетными жалобами, клеймит своих рабов, хотевших ускользнуть от него, и уравнивает худших с лучшими, уловляя и подчиняя себе всех одинаково легко. Кто вместо деятельности духа, которая тайно совершается в его глубинах, знает и видит лишь ее внешние проявления, — кто, не умея созерцать самого себя, составляет себе образ внешней жизни и ее изменений лишь из отдельных разбросанных впечатлений, — тот остается рабом времени и необходимости; все его мысли и мечты носят печать времени и суть его достояние, и даже когда он мнит созерцать самого себя, ему никогда не дано вступить в священную область свободы. Ибо в образе, в котором он хочет воспроизвести самого себя, он становится, подобно всему остальному, внешним предметом для себя; и все черты этого образа определены только внешними отношениями. Как ему представляется его бытие, что он при этом мыслит и чувствует, — все это зависит от содержания времени, от тех явлений времени, которые коснулись его. Кто животной душой ищет одних лишь наслаждений, тому его жизнь кажется бедной или богатой, смотря по тому, протекло ли в определенный промежуток времени больше или меньше приятных мгновений; и он созерцает этот образ с удовольствием или нет, смотря по тому, получилось ли в итоге хорошее или худое. Кто хочет создать себе красивую и славную жизнь, зависит от суждений других о себе, — от почвы, на которой он стоял, и от материала, который судьба предоставила его труду; и так же обстоит и с тем, кто стремится приносить пользу. Все они склоняются перед скипетром необходимости, над всеми тяготеет проклятие всеразрушающего времени.

То, что они чувствуют, глядя на жизнь, напоминает мне настроение, которое мы испытываем, когда искусная гармония многообразных звуков пронеслась мимо ушей и уже умолкла, и воображение терзается убогим отзвуком и скорбит о том, чего оно не в силах воспроизвести. И, конечно, жизнь тоже есть беглая гармония, возникшая из соприкосновения преходящего с вечным; но человек подобен музыкальному голосу, из которого проистекает эта гармония, и есть непреходящий предмет созерцания. Предо мною стоит его свободное внутреннее действие, в котором и заключается его истинное существо; и когда я его созерцаю, я чувствую себя на священной почве свободы, далеким от всех недостойных границ. Поэтому мой взор должен быть направлен на меня самого, чтобы не дать отдельному мгновению протечь как части времени, но чтобы удержать его как элемент вечности, и созерцать его как свободную внутреннюю жизнь.

Лишь для того есть свобода и бесконечность, кто умеет различать, что в нем есть его собственное я и что — посторонняя примесь, что в мире чуждо ему и что тождественно с ним, — для того, кто ясно разрешил загадку различения того и другого и их взаимодействия; в древних потемках этой загадки мучатся тысячи людей, покорно следуя за обманчивыми призраками, ибо их собственный свет погас. Внешний мир, — мир, лишенный духа, — есть для толпы величайшее и первое, дух же — только временный гость в мире, неуверенный в своем месте и в своих силах. Для меня же дух, внутренний мир, смело противостоит внешнему миру, царству материи и вещей. Не указывает ли сочетание духа с плотью на его великое сочетание со всем, что подобно плоти? Не воспринимаю ли я своими чувствами силу внешнего мира? Не ношу ли я вечно в себе самом вечные формы вещей? И не познаю ли я их только как ясное зеркало моего внутреннего существа? Люди толпы с благоговением и страхом чувствуют над собою гнет бесконечно больших и тяжелых масс земной материи, среди которых они кажутся себе самым мелкими и ничтожными; для меня же все это есть лишь великое общее тело человечества, которое принадлежит ему, как собственное тело принадлежит отдельному человеку, и которое возможно лишь через него и дано человечеству, чтобы последнее властвовало над ним и возвещало себя через него. Свободная деятельность человечества направлена на него, чтобы ощущать все биения его пульса, формировать его, превращать все в свои органы, оживлять все его части и отличать их присутствием царственного духа. Так земля есть для меня арена моей свободной действительности; и в каждом чувстве, как бы ни было оно, по-видимому, навязано мне внешним миром, даже в чувствах, в которых я ощущаю общение с великим целым, содержится все же свободная внутренняя деятельность. Ничто не есть только действие мира на меня, — нет, всегда также от меня исходит действие на него; и не иначе чувствую я свою зависимость от него, чем зависимость от своего собственного тела. Но что я поистине противопоставляю себе как единичному существу, что прежде всего есть для меня мир, отмеченный вездесущностью и всемогуществом, — это есть вечное общение духов, их влияние друг на друга, их взаимодействующее развитие, — возвышенная гармония свободы. И ей надлежит преобразовывать и развивать поверхность моего существа и воздействовать на меня. Здесь, и только здесь, лежит сфера необходимости. Мое действие свободно, но не мое воздействие на мир духов, ибо оно подчинено вечным законам. Свобода сталкивается со свободой, и то, что здесь случается, носит отпечаток ограничения и общения. Да, всюду первое начало — ты, святая свобода! Ты живешь во мне и во всех; необходимость поставлена вне нас, она есть определенный отзвук прекрасного столкновения свободы, возвещающий бытие последней. Себя самого я могу созерцать лишь как свободу; то, что необходимо, есть не мое действие, а лишь его отражение — элементы мира, творению которых я содействую в радостном общении со всеми. Ей принадлежат строения, которые я возвел на общей почве вместе с другими как мою долю в творении, выражающем наши внутренние мысли; ей принадлежит содержание то

нарастающих, то упдающих чувств; ей принадлежат образы, которые приходят и уходят, и все вообще, что попеременно вносит в сознание и уносит из него время, в знак любовной встречи духа с духом, в знак многообразно повторяющегося дружеского поцелуя между ними. Эта пляска ор, ее мелодия и гармония, следует ритму времени; но свобода устанавливает гармонию и указывает тональность, и все нежные переходы суть ее создания; они проистекают из внутреннего действия и из собственного чувства самого человека.

Так свобода есть для меня источник всего, первое и глубочайшее начало бытия. Когда я возвращаюсь к себе, чтобы созерцать ее, то мой взор уже удалился за пределы времени и свободен от границ необходимости; исчезает всякое гнетущее чувство рабства, дух сознает свою творческую сущность, для меня восходит свет Божества и разгоняет далеко вокруг меня туман, в котором печально блуждают другие. И каким я нахожу себя и познаю в этом созерцании, — это не зависит от судьбы или счастья, — от того, сколько счастливых часов выпало на мою долю, или что создано или укреплено моей деятельностью, и насколько удалось внешнее воплощение воли: ибо все это есть ведь не я сам, а только мир. Пусть действие, которое я созерцаю, было направлено на то, чтобы дать человечеству власть над его великим телом, питать последнее, обострять его органы, или мимически и художественно формировать его как отпечаток разума и души; насколько я нашел его при этом готовым воспринять мою деятельность, насколько легко было влиять на грубую массу и властвовать над нею силою духа, — все это, правда, указывает, насколько велико господство над этим телом свободы всех, и что может и что не может быть еще осуществлено; но этим не определяется внутренняя сила самого действия; самого себя я не нахожу лучшим или худшим в зависимости от того, были ли внешние условия действия более или менее благоприятными; и я не нахожу также, чтобы этим мир с железной необходимостью предуказывал мне меру моего значения. И подобно тому, как у сильной и здоровой души физическая боль не легко отнимает ее господство над телом, так и я сознаю себя свободно одушевляющим грубую материю и властвующим над ней, все равно, несет ли это мне скорбь или радость. То и другое свидетельствует о внутренней жизни, а внутренняя жизнь есть создание духа и его свободное дело. — Или моя действительность была направлена на то, чтобы определять человечество во мне самом, выразить одну из его сторон в своеобразной форме и точных очертаниях, и этим саморазвитием одновременно развивать мир, предоставляя обществу свободных духов самостоятельное и свободное действие; для взора, обращенного на эту задачу, остается безразличным, возникло ли непосредственно из этого вне меня что-либо, прочно утвержденное в сознании других людей, и связывалось ли тотчас же мое действие с действием других людей. Моя деятельность все же не была пустой; если только я сам в себе стал более определенным и своеобразным, то все же я положил основу и тому, чтобы действие другого человека рано или

поздно столкнулось с моим в иной форме, чем прежде, и в сочетании с ним явственно воплотило мое дело. Поэтому созерцание самого себя никогда не наводит на меня уныния, и никогда я не пою жалобных песен о разбитой воле и неосуществленных намерениях, подобно тем, кто не проникают в свои глубины и мнят найти себя лишь в единичном и внешнем.

Ясно сознавая различие между внешним и внутренним, я знаю, кто я есть, и лишь во внутреннем действовании я нахожу самого себя, во внешнем же — только мир; и то и другое я хорошо умею различать, не теряясь подобно тем, кто, блуждая во тьме, шатаются из стороны в сторону. Поэтому я также знаю, где надлежит искать свободу и ее священное чувство, вечно скрытое от тех, чей взор сосредоточен лишь на внешней деятельности и жизни людей. Как бы такой человек ни углублялся в тысячи обманчивых путей созерцания, и куда бы ни направлял свои мечты и мысли, даже если бы он легко достигал всего остального, — это понятие ускользает от его мышления. Он не только следует явным указаниям необходимости; в суеверной мудрости и в рабской покорности он должен искать ее и верить в нее даже там, где он ее не видит; и свобода кажется ему только личиной, под которой то в шутку, то ради сознательного обмана скрывается необходимость. Так как действие и мышление такого человека, поработанного чувственным миром, имеет лишь внешний характер, то он и видит во всем лишь внешнюю и разъединенную сторону. И даже себя самого он может признать лишь множеством беглых явлений, из которых одно всегда устраняет и разрушает другое, и которые в совокупности не могут быть постигнуты; перед его взором цельная картина его существа растекается в тысячи противоречий. Конечно, во внешнем действии одно единичное противоречит другому, действие устраняет страдание, мышление разрушает ощущение, и созерцание вынуждает к бездейственному покою живые силы, стремящиеся вовне. Но в глубине духа все едино, каждое действие есть лишь дополнение иного, и каждое содержит в себе иное. И потому созерцание выносит меня также далеко за пределы единичного, которое доступно обозрению в определенной последовательности и точном отграничении. Нет действия во мне, которое я надлежащим образом мог бы созерцать обособленно и о котором я мог бы затем сказать, что оно есть нечто целое. Каждое действие всегда ведет меня к целостному единству моего существа, ничто не разделено, и всякая деятельность сопровождает иную; созерцание нигде не встречает границ, оно должно всегда оставаться незавершенным, если хочет оставаться живым. И точно так же я не могу воспринять всего моего существа, не созерцая человечества и не уясняя себе своего места и положения в его царстве; а человечество — кто способен мыслить его, не отдаваясь стремлению мысленно погрузиться в неизмеримую область всех форм и ступеней духа?

Итак, лишь самосозерцание, и оно одно, дает мне силы выполнить возвышенное требование, чтобы проводить свою жизнь не только смертным в царстве времени, но и бессмертным в области вечности, не только в



земном, но и в божественном' мире. Мои земные действия легко уносятся в потоке времени, представления и чувства сменяются, и ни одного из них я не в силах удержать; быстро уносится и поле действия, которое я играючи подготовил себе, и на верной волне поток несет меня неустанно навстречу новому. Но как только я обращаю взор на свое внутреннее я, я вместе с тем сознаю себя в царстве вечности; я созерцаю жизнь духа, и ее не может изменить никакой мир, не может разрушить никакое время, ибо она сама создает" мир и время. И мне не нужно, чтобы час, отделяющий один год от другого, призывал меня к наслаждению вечным и раскрывал мне духовные очи, которые ведь у многих закрыты, даже когда сердце бьется и члены движутся. Кто раз вкусил от божественной жизни, тот хотел бы всегда вести ее; всякое действие должно сопровождаться созерцанием таинств духа; и тогда во всякое мгновение человек может также жить вне времени, как участник высшего мира.

Правда, даже мудрецы говорят: бурь умеренным и удовлетворяйся одним, жить есть одно дело, а погружаться в глубины созерцания—иное; когда ты быстро несешься в потоке времени по миру, ты не можешь вместе с тем спокойно созерцать свое внутреннее существо. И художники говорят: измышляя и творя, душа должна всецело растворяться в своем предмете, и не вправе знать, что она делает. Но мужайся, моя душа, не внемли рассудительному оклику! Спешь навстречу своей цели! Быть может, она иная, чем у этих людей. Человек способен на большее, чем он мнит; но даже стремясь к величайшему, он достигает лишь части. Если самое тайное внутреннее мышление мудреца может одновременно быть действием на мир вовне — сообщением ему мыслей и наставлением его, — то почему же это внешнее действие в мире, каково бы оно ни было, не может быть одновременно тихим созерцанием действия? Если самосозерцание духа есть божественный источник всякого творчества и искусства, и если он только в себе может найти то, что он воплощает в бессмертных творениях, почему же при всяком творчестве и воплощении, которое выражает всегда только его самого, он не может обратить взор и на самого себя? Не разделяй того, что навеки соединено, не дробь своего существа, которое не может лишиться ни действия, ни знания о последнем, не разрушая самого себя. Приводи в движение все в мире и осуществляй все, что можешь, отдавайся сознанию своих прирожденных границ, пользуйся всеми средствами духовного общения, обнаруживай своеобразное в себе и налагай свой отпечаток на все, окружающее тебя, трудись над священными творениями человечества, привлекай к себе все дружественные души; но всегда заглядывай в самого себя, знай, что ты делаешь, и постигни меру и форму своей действительности. Мысль, в которой они стремятся постигнуть Божество, вечно для них недостижимое, содержит все же правду прекрасного символа того, чем должен быть человек. Мир дан духу силою его воли; высшая свобода скрыта в его деятельности, которая выражается "в его многообразном действовании вовне; и неизменно сознавая самого себя и свою тождественность в этом

действовании, он живет блаженной жизнью. Итак, дух не нуждается ни в чем, кроме себя самого; и никогда созерцание не покидает предмета, никогда предмет не умирает ранее созерцания. Так они измыслили и бессмертие, которое они весьма нетребовательно ищут лишь по окончании времени, вместо того, чтобы искать его внутри времени и над ним, и их басни мудрее **их** самих. Ведь чувственному человеку внутреннее действие кажется лишь тенью внешнего деяния, и потому они поместили душу навеки в царство теней, и решили, что там внизу ее темная жизнь состоит в убогом отражении ее прежней деятельности. Но яснее Олимпа то, что скудное сознание изгнало в подземную тьму, и царство теней есть для меня уже здесь прообраз действительности. Для них Божество находится вне временного мира, и они навсегда освобождают человека по смерти от границ времени, чтобы он созерцал и восхвалял Божество; но уже в этой жизни дух витает над миром времени, и такое созерцание есть вечность и небесное блаженство бессмертного песнопения. Посему начни уже ныне свою вечную жизнь в неустанном самосозерцании; не заботься о том, что придет, не плачь о том, что ушло; но заботься не потерять самого себя, и плачь, если ты слепо несешься в потоке времени, не храня неба в себе самом.

## **2. Испытания**

Люди боятся заглянуть в самих себя, и многие из них рабски дрожат, когда они уже не могут под конец ускользнуть от вопроса, что они совершили, чем стали и что представляют собою. Самосознание страшно им, и исход его им неведом. Они полагают, что человек может легче знать другого, чем самого себя; они мнят, что обнаруживают лишь достойную скромность, когда после строжайшего исследования допускают все же возможность ошибки в расчете. Однако, лишь воля скрывает человека от него самого; суждение не может заблуждаться, если только человек действительно обращает взор на себя. Но именно последнего они и не могут, и не хотят. Жизнь и мир связывают их со всех сторон, и, намеренно ограничивая свой кругозор, чтобы не воспринять чего-либо иного, они видят всегда лишь смутное отражение себя и свою пляшущую тень. Другого человека я могу познавать лишь по его действиям, ибо его внутренняя жизнь сама никогда не предстоит моему взору. К чему собственно он стремился, — этого я никогда не могу непосредственно знать; лишь его действия я могу сравнивать между собой, и смею лишь неуверенно догадываться, на что подлинно направлялся его поступок, и какой дух руководил им. Но позор тому, кто и самого себя созерцает лишь как чужой — чужого! Кто не ведает и своей собственной внутренней жизни и уже мнит себя изумительно мудрым, когда улавливает лишь последнее решение, направленное на внешнее действие, и сравнивает его со сопровождавшим его чувством и с непосредственно предшествовавшим ему понятием! Как может такой человек когда-либо познать другого или самого себя? Что может руководить, при умозаключении от внешнего к внутреннему, произвольной догадкой того,

кто, не опираясь ни на что непосредственно достоверное, хочет подсчитывать одни только неизвестные величины? Постоянное предчувствие заблуждения внушает ему робость; темное чаяние, что итог обнаружит его задолженность, теснит его сердце; и беспокойно блуждают его мысли из страха перед той малой долей самосознания, которую он, к своему сожалению, должен носить в себе низведенной до роли надсмотрщика, и к которой он должен иногда неохотно прислушиваться.

Они, конечно, имеют основание опасаться, что если они честно исследуют внутреннее деяние, лежавшее в основе их жизни, то часто не найдут в нем разума и встретят тяжкое нарушение совести, — этого сознания человечности; ибо кто не созерцал последнего источника своего действия, не может поручиться, что и в непосредственном действии засвидетельствует свою принадлежность к человечеству и покажет себя достойным его. Такой человек либо никогда не начинал пряхсть нить самосознания, либо же снова оборвал ее, хотя бы раз предавшись внешнему представлению и низшему чувству и отрекшись от того, в чем яснее всего сказывается высшая природа; как же может он знать, не впал ли он в грубую животность? Созерцать в самом себе человечество и, раз найдя его, никогда не отвращать взора от него, — вот единственное верное средство никогда не сходить с его священной почвы и не утратить благородного чувства собственного я. Такова внутренняя и необходимая связь между действием и созерцанием, необъяснимая и таинственная лишь для глупцов и людей с косными душами. Истинно человеческое деяние возбуждает сознание человечности во мне, и это сознание не допускает иного деяния, кроме того, которое достойно человечества. Кто никогда не может возвыситься до этой ясности, того тщетно гонит во все стороны темное чаяние; тщетно он воспитывается и упражняется, тщетно измышляет тысячи благотворных искусств и принимает решения, надеясь насильственно вновь проникнуть в покинутый **им** круг общения; священные грани не размыкаются перед ним, он остается на непосвященной почве и не может избежать преследований раздраженного божества и позорного чувства изгнанное из отечества. Устанавливать правила и предпринимать попытки в царстве свободы есть всегда пустое и суетное начинание. Нужно единое свободное решение, чтобы быть человеком; кто раз решился на то, — всегда останется человеком; кто перестает **им** быть, тот никогда **им** не был.

С гордой радостью я еще вспоминаю время, когда я нашел сознание человечества и узнал, что отныне я никогда не утрачу его. Высокое откровение дано было мне изнутри, — его не вызвали никакие нравственные учения, никакие системы мудрецов: долгое искание, неудовлетворенное ни теми, ни другими, было увенчано светлым мгновением; свобода разрешила действием темные сомнения. Я вправе сказать: с тех пор я никогда не терял самого себя. Что они зовут совестью, то неведомо мне в обычном смысле; никакое чувство не карает меня, подобно **им**, и я не нуждаюсь в его

предупреждении. И с того времени я также не стремлюсь к той или иной добродетели и не радуюсь преимущественно тому или иному действию, подобно тем, кому лишь в беглой жизни и в ее отдельных проявлениях доступно — часто, к тому же, сомнительное — свидетельство разума. В тихом покое, с непоколебимой наивностью я непрерывно храню в себе сознание целого человечества. Охотно и с легким сердцем я часто созерцаю общую связь моей деятельности, уверенный, что я не встречу в ней ничего, от чего должен был бы отречься разум.

Если бы это было единственным, чего я требую от себя, — как давно мог бы я предаться покою и, завершив свое дело, ждать конца! Ибо моя вера стоит для меня непоколебимо твердо, и я считал бы позорной трусостью, которой не ведает моя душа, ожидать от долгой жизни последнего подтверждения моей уверенности, и боязливо сомневаться, не случится ли что-либо, что было бы в силах низвергнуть меня с высот разума и погрузить в животную темноту и чувственную обособленность. Но и мне даны в удел сомнения; когда описанная цель была достигнута, мне предстала новая и высшая цель; и самосозерцание, улавливая ее то яснее, то слабее, не всегда знает, на каком пути я приближаюсь к ней, в каком месте пути я стою, и колеблется в своем суждении. Но все же оно становится более уверенным и более подтверждается, чем чаще я возвращаюсь к старому исследованию. Но как бы далека ни была от меня достоверность, я стал бы лишь молча и без жалоб искать ее? ибо сильнее сомнений радость о том, что мне известна цель моих исканий и что я избегнул обычного заблуждения, которое на всю жизнь ослепляет многих лучших людей и препятствует им подняться до надлежащей высоты жизни. Долгое время и я удовлетворялся тем, что нашел разум; и почитая превыше всего однородность бытия, я думал, что для каждого случая есть только одна правда, что поведение должно быть для всех одинаковым и что один человек отличается от другого лишь своеобразием своего положения и места. Человечность, казалось мне, имеет различные обнаружения лишь в многообразии внешних действий; внутренний человек не должен быть своеобразно развитым существом, а всюду каждый сам по себе должен быть равен другому.

Так лишь постепенно находит себя человек, и не всем доступно полное самосознание! Когда человек, презирая недостойную обособленность чувственной животной жизни, приобретает сознание общечеловечности и подчиняет себя долгу, он не способен тотчас же поднять свой взор к высшей самобытности духовного развития нравственности, созерцать и понимать природу, созданную свободой и слившуюся с ней воедино. Большинство людей укрепляют себя в неопределенном промежуточном состоянии; правда, они действительно обнаруживают в себе все составные части человечества; но все, кто не восприняли мысли о своеобразии отдельного существа, подобны грубой массе камня, которому не хватало простора и покоя, чтобы, кристаллизуясь, достигнуть своеобразной формы. Мной же овладела эта

мысль. Ненадолго мог я успокоиться на одном лишь чувстве свободы; я спрашивал, для чего же тогда нужна личность и единство текучего преходящего сознания во мне? И меня влекло искать высшее нравственное начало, которое открывало бы смысл личности. Меня не удовлетворяло убеждение, что человечество должно существовать, как однородная масса, которая хотя и раздроблена в своем внешнем проявлении, но внутренне всюду тождественна. Меня удивляло, что, согласно этому убеждению, отдельные духовные образы людей приобретают характер устойчивого единства преходящих явлений без всякого внутреннего основания, лишь по внешним причинам, в силу трения и соприкосновения.

Так открылось мне то, что с того времени более всего возвышает меня; мне уяснилось, что каждый человек должен на свой лад выражать человечество через своеобразное смешение его элементов, чтобы человечество обнаруживалось всеми способами и чтобы в полноте пространства и времени осуществилось все многообразие, которое может таиться в его лоне. Преимущественно эта мысль возвысила меня и отделила от низшей и менее развитой окружающей среды; в силу ее я сознаю себя лично желанным и, следовательно, избранным творением Божества, — творением, которому дана особая форма и особое развитие; и свободное деяние, лежащее в основе этой мысли, соединило и тесно сплело в своеобразное существо элементы человеческой природы. Если бы я с того времени всегда столь же определенно чувствовал и столь же упорно созерцал своеобразное в себе, как я созерцал общечеловеческое в себе; если бы я самостоятельно осознал все действия и ограничения, которые суть результат этого свободного деяния, и неустанно следил за дальнейшим развитием всякого проявления моей природы, — то я не мог бы сомневаться и в том, какая область человечества принадлежит мне, и где мне искать общей почвы для моего места в мире и моих границ; я должен был бы точно измерить все содержание моего существа, знать каждую точку своих границ, и пророчески ведать, чем я еще могу быть и стать. Однако лишь с трудом и поздно человек достигает полного сознания своего своеобразия; не всегда он решает заглянуть в него, и охотнее направляет взор на общее достояние человечества, к которому он уже издавна прилепился с любовью и благодарностью; и часто он даже сомневается, следует ли ему, в качестве самобытного существа, как бы вновь оторваться от целого, и не рискует ли он, смешав чувственное с духовным, снова впасть в старую недопустимую ограниченность и замкнуться в узком круге внешней личности; и лишь позднее он научается надлежащим образом ценить свое высшее преимущество и пользоваться им. Поэтому прерванное сознание должно долго оставаться колеблющимся; самобытное стремление природы часто не замечается, и когда яснее всего обнаруживаются ее границы, то взор часто слишком легко скользит по этим очертаниям и прикрепляется к неопределенному целому там, где именно в отрицании сказывается самобытность. Я могу быть доволен тем, насколько воля уже одолела косность и насколько упражнение обострило взор, от которого

ускользает лишь небольшое. Если теперь я свершаю что бы то ни было по собственному духу и чувству, то воображение, для доказательства моей внутренней определенности, открывает мне тысячи способов, какими здесь можно было действовать в ином духе, не нарушая законов человечества; я вдумываюсь в тысячи духовных направлений, и тем отчетливее усматриваю свое собственное.

Но так как образ моего я еще не стоит передо мною завершенным во всех своих чертах, и так как его истинность еще не обеспечена мне неразрывной связью светлого самосознания, то и самосозерцание еще не может идти всегда равномерным и спокойным шагом; оно должно намеренно воспроизводить иногда все мои действия и стремления, всю историю моего я, и не может пренебрегать мнением друзей, которым я охотно даю заглянуть в свою душу, если их голос расходится с моим собственным суждением. Правда, я кажусь себе тем же самым, каким я был и прежде, когда возникла моя лучшая жизнь, только более устойчивым и определенным. Да и как мог бы человек, раз достигнув независимого и самобытного бытия, посередине своего развития и совершенствования внезапно найти в себе новое направление? Или как может оно "встретиться ему без его ведома? Что нам нередко кажется таким непонятным изменением в человеке, есть, конечно, либо обманчивая видимость, основанная на изменении внешних предметов, либо же исправление нашего прежнего воззрения, открывающее нам более глубоко внутреннюю сущность человека, о которой мы раньше судили слишком бегло и потому ошибочно. Главное же — либо я никогда не понимал самого себя, либо же я и теперь таков, каким прежде считал себя; и всякое видимое противоречие, если созерцание разрешит его, должно тем точнее показать мне, где и в чем скрыты и гармонически связаны последние концы моего существа.

Из всех противоположностей в призваниях и деятельности людей, в которых вместе с тем обнаруживается и различие их натур, для меня лично с наибольшей силой выступает следующая. Созидать в себе самом ясный образ человечества путем многообразной деятельности или воплощать его вовне с помощью искусных творений так, чтобы каждый понимал, что мы хотели выразить ими, — эти два направления слишком различны, чтобы они могли быть в равной мере уделены многим. Правда, кто стоит лишь в преддверии нравственности и, в качестве новичка, лишен точных мерил для самоограничения, тот склонен грубо перемешивать то и другое, оставаясь мало производительным в обоих направлениях; и потому и жизнь большинства людей колеблется между той и другой стороной. Но кто уже глубже проник в святилище нравственности, тот вскоре будет преимущественно отдаваться одному стремлению и лишь в скудной мере сможет соучаствовать в другом. Лишь в конце оба пути, по-видимому, снова сближаются между собой, так что их сочетание доступно только такому совершенству, которого редко достигает человек. Могло ли мне быть

сомнительным, какой из двух путей я избрал для себя? Я так решительно избегал всегда заботы о том, что нужно для развития художника, и так страстно стремился к тому, что полезно для собственного развития, что ускоряет и укрепляет его определенность, — что здесь мне не остается никакого сомнения. Художник с неразделенной любовью влечется к чему-либо из того, что может стать знаком и символом человечества; один роется в сокровищнице языков, другой преобразует в мир хаос звуков, третий ищет тайный смысл и гармонию в прекрасной игре цветов природы. В каждом творении, которое открывается им, они испытуют впечатление всех частей, связь и закон целого, и часто более наслаждаются искусным сосудом, чем таящимся в нем драгоценным содержанием. Тогда в них возникают новые замыслы новых творений, и эти замыслы тайно питаются в сознании и растут, хранимые в тихой замкнутости. Усердие не ведает покоя, планы и осуществления вечно меняются. Неустанное упражнение постепенно совершенствует художественную деятельность, более зрелое суждение укрощает и обуздывает фантазию, и этим путем творческая природа художника идет к своей цели — совершенству.

Мне же мое чувство открыло все это лишь в других, тогда как моей собственной деятельности это остается чуждым. Правда, я люблю с благоговением созерцать творения художников; но во всяком художественном произведении ярче, чем искусство его творца, для меня сияют отраженные в нем черты человечности; лишь в позднейшем размышлении я с трудом овладеваю самим искусством, и лишь немного постигаю в его сущности. Я свободно отдаюсь свободной природе, и когда предо мной выступают ее прекрасные, многозначительные символы, все они пробуждают во мне настроения и мысли, но я не испытываю могущественного влечения преобразить в самостоятельное творение и представить в иной, более определенной форме то, что я созерцал. И если я должен что-либо изобразить, то я никогда не дорожу тем, чтобы сгладить последние следы противодействия материала и насильственно добиться совершенства, как к тому стремится художник; поэтому я избегаю упражнения, и если я раз выразил в действии таящееся во мне, я уже не забочусь о том, чтобы действие часто повторялось во все более прекрасных и отчетливых формах. Свободный досуг есть мое излюбленное божество; в нем человек научается с непредвзятым чувством понимать и определять самого себя, в нем мысль основывает свое могущество, чтобы потом уже легко властвовать над всем, когда мир требует от нее и действий. Поэтому также, я не могу, подобно художнику, творить в одиночестве; в одиночестве у меня иссыхают соки души и останавливается течение мыслей; я рвусь наружу к многообразному общению с иными душами, — и не только для того, чтобы созерцать, сколько имеется человеческих черт, которые надолго, а быть может и навсегда, останутся мне чуждыми, и что, напротив, может стать моим собственным достоянием; нет, общение мне нужно и для того, чтобы через духовный обмен все прочнее утверждать свое собственное существо.

Ненасытимая жажда дальнейшего саморазвития не позволяет мне давать внешнее завершение действию, обнаружению внутреннего содержания; я бросаю в мир действие и слово, и меня не заботит, проникнет ли сознание зрителей и слушателей сквозь грубую шелуху, и удастся ли им найти внутреннюю мысль и мой собственный дух в несовершенном выражении. У меня нет ни времени, ни охоты спрашивать об этом, я должен идти прочь с того места, на котором я только что стоял, чтобы новым действием и новой мыслью по возможности довести до завершения в краткой жизни свое существо. Будучи нехудожественной душой, я ненавижу даже дважды повторяться. Поэтому я охотно свершаю все в общении: при внутреннем мышлении, при созерцании, при усвоении чужого я нуждаюсь в присутствии какого-либо любимого существа, чтобы за внутренним процессом тотчас же следовал духовный обмен, и чтобы сладкий и легкий дар дружбы облегчал мне согласоваться с миром. Так это было, так это и есть теперь, и я еще настолько далек от своей цели, что я навсегда отказываюсь искать чего-либо за ее пределами. Конечно, я прав, и это подтверждают и друзья, исключая себя из священной области художников. Охотно я отрекаюсь от всего, что я получил от них, если только благодаря этому я смогу признать себя менее несовершенным в том месте, в котором я укрепился.

Итак, пусть снова раскроется перед моим испытующим взором широкая область человечества, в которой обитают те, кто стремятся действовать лишь на самих себя, не создавая вне себя самодовлеющих творений, — кто мыслят лишь питать собственный дух всем окружающим и удовлетворяются многообразным обнаружением себя самих согласно требованиям места и времени. Здесь хочу я посмотреть, не найдется ли для меня самостоятельного места, есть ли во мне нечто гармоничное, или же внутреннее противоречие препятствует завершению облика, так что мое существо, будучи не в силах достигнуть совершенства, вскоре, подобно неудачному замыслу, обращается в пустоту и ничтожество. О нет, я вправе не бояться: в глубине души не возникает такое грустное предчувствие! Я сознаю, как все сплетено между собой, чтобы составить подлинное целое, я не ощущаю чуждого элемента, который теснил бы меня, и я не лишен ни единого органа, ни единого благородного члена, нужного для самобытной жизни. Кто хочет развить из себя определенное существо, тот должен быть способен воспринимать все, что не есть он сам. И здесь, в области высшей нравственности, парит та же самая тесная связь между действием и созерцанием. Лишь если человек в своем нынешнем поведении сознает свою самобытность, он может быть уверен, что не нарушит ее и в будущем; и лишь если он постоянно сознает свою обязанность созерцать все человеческое и сопоставлять всякое иное выражение последнего со своим собственным, он может сохранить сознание своей самости: ибо лишь через противоположение познается единичное.



Первое условие собственного завершения в определенном кругу есть общая восприимчивость; а как может последняя существовать без любви? Уже при первой попытке самостоятельного развития ужасное несоответствие между даваемым и получаемым должно было бы вскоре расстроить душу, вытолкнуть ее из колеи и совершенно разрушить или же ввергнуть в обыденщину того, кто хотел стать самобытным существом. О любовь, притягательная сила духовного мира! Без тебя невозможны самобытная жизнь и развитие, без тебя все растеклось бы в однообразную грубую массу! Правда, те, кто только и хотят быть такой массой, не нуждаются в тебе; им достаточно закона и обязанности, однообразного поведения и справедливости. Они не знали бы, на что употребить сокровище этого святого чувства. Поэтому даже малое, что им дано от него, они оставляют невозделанным; и не понимая этой святости, они беспечно смешивают ее с обычным достоянием человечества, забота о котором определена законом. Для нас же ты — первое и последнее. Вне любви нет развития, вне самобытного развития нет совершенной любви; одно дополняет другое, и оба растут в неразрывной связи. Я нахожу в себе соединенными оба великих условия нравственности! Я усвоил себе восприимчивость и любовь, и обе способности развиваются все далее во мне, явно свидетельствуя, что моя жизнь свежа и здорова, и что самобытное развитие становится все прочнее. Есть ли предмет, для которого было бы замкнуто мое сознание? Друзья, которые так склонны признавать в каждом одаренном друге мастера и художника определенной науки, часто жалуются, что меня нельзя принудить ни к какому ограничению, и что если иногда кажется, что я серьезно хочу сосредоточиться исключительно на одном деле, то всякая такая надежда оказывается обманчивой: ибо когда я достигаю какого-либо воззрения, то беглому духу моему свойственно опять спешить к иным предметам. О, если бы они наконец оставили меня в покое и поняли, что именно это и есть мое назначение, и что мне должна быть чужда мысль развивать науку в частностях, так как я озабочен лишь саморазвитием, хотя и с помощью знания, причем мне безразлично, явится ли дальнейшим последствием его развитие науки или нет! Если бы только они позволили мне сохранить восприимчивость ко всему, что они так усердно творят и делают, и если бы они признали достойным своих усилий то, что я развиваю в себе через созерцание их дел! Эти друзья своими жалобами свидетельствуют лишь в пользу меня; но в противоположность им иные, хотя и отличные от меня, но все же, подобно мне, стремящиеся проникнуть вглубь всей человеческой жизни, жалуются, что, в сущности, мой дух ограничен, что я способен равнодушно проходить мимо многих святых и суетным исканием споров губить в себе непредвзятый глубокий взор. Да, я прохожу мимо многого, но не равнодушно; да, я спорю, но лишь для того, чтобы сохранить в себе непредвзятый взор. Так и не иначе должен я поступать в согласии с своей природой, стремясь одинаково и к заполнению, и к расширению своего сознания. Где мое чувство наталкивается на нечто, еще неведомое мне в области человечества, там я прежде всего должен спорить — спорить не о

том, что нечто подобное существует, а о том, что оно не таково, или не только таково, как оно представляется человеку, в котором я его впервые замечаю. Позднее пробужденный дух, вспоминая о том, как долго он нес чуждое иго, боится снова подпасть власти чужих мнений; и где в новых областях пред ним раскрывается неисследованная жизнь, там он готовится с оружием в руках добиваться свободы, чтобы не впасть и здесь, как это бывало раньше, в рабскую зависимость от чужого влияния. Но раз приобретает таким путем новое воззрение, я уже не нуждаюсь более в споре; я охотно представляю существовать всем иным воззрениям наряду с моим, и восприимчивость мирно выполняет задачу **их истолкования и** проникновения в их точку зрения.

Таким образом, то, что часто кажется ограниченностью восприятия, есть лишь его первое пробуждение. Конечно, оно часто должно было обнаруживаться в эту прекрасную эпоху жизни, коща меня коснулось так много нового, когда мне явилось в ясном свете то, что прежде я только смутно чувствовал и для чего я только оставлял в себе пустое место! Часто это должно было враждебно затрагивать тех, кто были для меня источником нового знания. Спокойно смотрел я на это, веруя, что и они некогда поймут это, когда **их** сознание глубже проникнет в меня. И точно так же часто друзья не понимали меня, когда я, не споря, но и не сочувствуя, спокойно проходил мимо того, что в них быстро вызывало горячее и ревностное участие. Не все сразу может объять сознание, и тщетно мечтать о завершении его задачи в едином действии; оно идет вперед без конца в двояком направлении, и каждый человек должен иметь свой способ соединять оба направления, чтобы тем завершить целое. Мне не дано, когда что-либо новое соприкасается с моей душой, пламенным натиском сразу проникнуть в его внутреннее содержание и изведать его до конца. Такой прием не согласуется с духовной уравновешенностью, которая есть основной тон гармонии моего внутреннего существа. Обособить что-либо в своем сознании значило бы для меня быть выброшенным из средоточия моей жизни; углубляясь во что-либо одно, я только стал бы чуждым чему-либо иному, не овладев все же первым сполна, как своим подлинным достоянием. Я должен сперва сложить всякое новое приобретение внутри души и затем продолжать обычную игру жизни с ее многообразной деятельностью, чтобы новое сначала смешалось со старым и приобрело точки соприкосновения со всем, что уже было во мне. Лишь таким путем мне удастся постепенно выработать себе более глубокое и сокровенное понимание: размышление должно не раз сменяться практическим использованием, пока я могу сказать, что я сполна узнал что-либо новое и проникнул в него. Так и не иначе могу я приниматься за дело без нарушения моего внутреннего существа, ибо во мне саморазвитие и деятельность восприятия должны по возможности в каждое мгновение находиться в равновесии. Таким образом, я лишь медленно подвигаюсь вперед, и мне нужна была бы долгая жизнь, чтобы охватить все в одинаковой мере; но за то мне приходится отказываться от меньшего, чем другим: ибо

что я воспринял, то есть мое собственное достояние, и отмечено моей печатью; и чем бы моему восприятию ни дано было овладеть в мире, все это будет переработано мною и войдет в мою личность.

О, насколько богаче уже стала эта личность! Какое радостное сознание приобретенной ценности, какое повышенное чувство собственной жизни и бытия дарует мне самосозерцание, глядя на добычу столь многих прекрасных дней! Не тщетной была тихая деятельность, которая извне казалась бездеятельно праздной жизнью; могущественно содействовала она внутренней задаче саморазвития. Эта задача не была бы выполнена в такой мере при многообразно-пестром общении и деятельности, которые не соответствуют моей природе, и еще менее — при насильственном ограничении моей восприимчивости. И потому я могу только печалиться о том, что внутренняя сущность человека так плохо понимается даже теми, кто были бы способны и достойны всюду знать ее, — что даже из них столь многие не проникают взором от внешнего действия к внутреннему движению, или же мнят постигнуть последнее, подобно первому, из отдельных разрозненных частей, и потому чувствуют противоречия даже там, где все согласовано. Разве так трудно найти подлинный характер моего существа? Разве эта трудность должна оставить навсегда невыполненным самое дорогое желание моего сердца — все более раскрывать себя всем, достойным того? Да, и теперь, глубоко проникая в свою "душу", я нахожу подтверждение, что именно это есть влечение, которое сильнее всего движет мною. Это так, как бы часто мне ни говорили, что я замкнут и холодно отталкиваю священные предложения любви и дружбы. Правда, мне никогда не кажется необходимым говорить о том, что я делал и что со мной случалось; слишком мало ценю я все, что во мне принадлежит миру, чтобы останавливать на этом внимание того, кому я охотно раскрыл бы свою душу. Я не говорю также о том, что еще лежит во мне в темном и неразвитом виде, чему недостает той ясности, которая отличает мое подлинное достояние. Как мог бы я нести навстречу другу именно то, что еще не принадлежит мне? Для чего тем самым скрывать от него то, что я уже действительно есть? И как мог бы я надеяться, не возбуждая недоразумений, сообщить то, чего я еще сам не понимаю? Такая осторожность не есть замкнутость или недостаток любви; она есть священное благоговение, вне которого нет и самой любви; она есть нежная забота о святости и ясности высшего достояния. Как только я усвоил себе что-либо новое, как только я в какой-либо области двинул вперед свое развитие и свою самостоятельность, — не спешу ли я возвестить это словом и делом другу, чтобы он поделил со мною радость и, воспринимая рост моей внутренней жизни, сам обогащал себя? Как себя самого, люблю я друга: как только я признаю что-либо своим достоянием, я делю его с ним. Но потому и я, конечно, не принимаю столь большого участия в том, что он делает и что с ним случается, как этого требуют те, кто называют себя друзьями. Его внешние действия оставляют меня беззаботным и спокойным, если я уже понимаю внутреннюю сторону, из которой они проистекают, и знаю, что они

должны быть таковыми, ибо он сам именно таков, каков есть. Внешнее действие, как таковое, имеет мало отношения к моей любви, оно не доставляет ей столько пищи и не вызывает во мне столько изумления и радости, как в тех, кто менее проник вглубь действующего существа. И точно так же его исход не возбуждает во мне столь нетерпеливого ожидания, как в тех, для кого все зависит от счастья и удачи; исход этот принадлежит миру и должен подчиниться законам необходимости со всем, что из него следует; а что следует из него, что случится с другом, то он сам сумеет встретить свободно и достойно для себя. Остальное же не заботит меня, я спокойно смотрю на его судьбу, как и на свою собственную. Кто назовет это холодным равнодушием? Это есть лишь плод светлого сознания того, что в человеке есть он сам, и что принадлежит миру вне его, — того сознания, которое лежит в основе моего отношения к самому себе и на котором покоится мое самоуважение и чувство свободы: должен ли я менее следовать ему в отношении того, что касается друга, чем в отношении того, что касается меня самого?

Именно это и радует меня, что моя любовь и дружба никогда не имеют низкого источника, никогда не направлены на чувственное благополучие любимого, не смешаны ни с каким пошлым чувством, никогда не есть создание привычки, мягкодушия, и еще менее упрямой партийности, а всегда есть чистейшие деяния свободы и направлены только на собственное внутреннее бытие человека. Я всегда был замкнут для таких пошлых чувств; никогда благодеяние не выманивало у меня дружбы, никогда только одна красота не склоняла меня к любви, никогда сострадание не пленяло меня настолько, чтобы я видел в несчастье заслугу и признавал страдающего иным и лучшим, чем он есть; никогда согласие в единичном не покоряло меня настолько, чтобы я обманывался о различиях в глубочайшем содержании. Этим в душе был открыт простор для истинной любви и дружбы, и никогда не ослабнет мое влечение заполнить его возможно более богатым и многообразным содержанием. Где я замечаю задаток своеобразия в силу наличности его возвышенных заложников — восприимчивости и любви, — там я нахожу и предмет для своей любви. Я бы хотел с любовью обнять каждое самобытное существо, начиная с наивной юности, в которой лишь зарождается свобода, и вплоть до самого зрелого завершения человечности; каждому существу, в котором я это вижу, я шлю привет любви, хотя бы нам суждена была лишь беглая встреча, допускающая только намек на действительное проявление чувства. И я никогда также не уделяю своей дружбы по какому-либо мирскому мерилу или по внешнему облику человека. Взор мой облетает мир и время и отыскивает внутреннее величие человека. Много ли или мало охватило уже теперь его сознание, насколько он подвинулся в своем собственном развитии, сколько дел или творений он совершил, — все это не может определять моего отношения, и я легко утешаюсь при отсутствии всего этого. Я ищу только его своеобразного бытия и отношения этого бытия к совокупной человеческой природе; насколько я

нахожу первое и понимаю последнее, настолько есть у меня любви к нему; но доказать ему эту любовь я, конечно, могу лишь, поскольку он сам меня понимает. И потому-то, увы, она так часто возвращалась ко мне непонятой! Язык сердца не воспринимался, как будто я оставался немым; и эти люди действительно думали, что я был нем.

На близких путях часто бродят люди и все же не приближаются друг к другу; тщетно взывает человек, исполненный чаяний и жаждущий дружеской встречи: другой не внимает ему. В других случаях люди часто встречаются, хотя пути их далеко расходятся; и тогда кажется, будто это встреча навсегда, но она длится лишь мгновение: новое движение уносит каждого в иную сторону, и никто не понимает, куда исчез его спутник. Это часто случалось с моей жаждой любви; разве не было бы постыдно, если бы она не созрела, наконец, если бы легкая надежда не исчезла, сменившись мудрым предчувствием? «Столько поймет в тебе этот, и столько — тот; эту любовь ты можешь дать этому, но должен воздержаться от нее в отношении к тому» — так ко мне часто взывает умеренность, хотя порою и тщетно. Внутреннее влечение сердца не оставляет места для рассудительности; не может быть и речи о том, чтобы я питал заносчивое желание положить предел человеческой отзывчивости ко мне и моей любви. Я всегда предполагаю больше, чем есть, всегда возобновляю попытки и часто несу кару за свою ненасытность, теряя в самой попытке то, чем я уже владел. Но иной и не может быть судьба человека, который самобытно совершенствуется; и если это со мной случается, то это есть только вернейшее доказательство, что я самобытно совершенствуюсь. Чем более сознание направлено на общее, с тем большим кругом людей чувствует себя связанным человек; и тот, кто ограничивается одним кругом, мнит, что его соучастники тождественны с ним. Чем более самобытно все развивается во мне, тем более необходима общая восприимчивость и свободная любовь к чужеродному развитию для того, чтобы человек мог надолго любить и понимать меня. Подобно предполагаемой судьбе кометы, внутренне развитый человек соединяет много мировых систем, движется вокруг многих солнц. Теперь его радостно усматривает одна звезда, стремится его познать, и, приближаясь, он дружески огибает ее; потом она опять видит его в далеком пространстве, его образ кажется ей измененным и она сомневается, остался ли он прежним. Он же снова возвращается в быстром беге и встречает ее с любовью и дружбой. — Где найти прекрасный идеал совершенного союза? Дружбу, которая была бы одинаково совершенна с обеих сторон? Она возможна лишь там, где у того и другого восприимчивость и любовь почти безмерны. Но тогда вместе с любовью они и сами совершенны, и тогда наверно близок час, который, кажется, для всех бьет уже раньше — час, когда нужно снова отдать себя бесконечности и вернуться из мира в ее лоно.

### **3. Мирозерцание**

Сумрачной старости, полагают они, позволительно предаваться жалобам на мир; простительно, что взор предпочитает обращаться назад, к тому времени, когда собственная жизнь обладала полнотой силы. Радостная юность должна весело улыбаться миру, пользоваться тем, что есть, не заботясь о недостающем, и охотно доверять сладостным призракам надежды. Но истину, по их мнению, видит, и умеет судить о мире лишь тот, кто удерживается на верной середине между тем и другим, не предаваясь ни суетной печали, ни обманчивой надежде. Однако, такое спокойствие есть лишь бессмысленный переход от надежды к презрению; и речь такой мудрости есть лишь глухой отзвук замедляемых шагов, которые ведут **их** от юности к старости; такое довольство есть обман превратной вежливости, когда человек не хочет выдавать свою ненависть к миру, который скоро, ведь, покинет его, и еще менее хочет быть несправедливым к самому себе; такая похвала есть тщеславие, которое стыдится заблуждений, — забывчивость, не ведающая, чего человек жаждал в предыдущее мгновение, и косность духа, которая скорее удовлетворяется бедностью, где нужно затратить усилия.

Я не льстил себе, когда был юн; поэтому я не мыслю ни теперь, ни когда-либо льстить миру. Он не мог нести мне скорби, ибо я ничего не ждал от него; поэтому и я не буду из мести наносить ему удары. Я мало содействовал его нынешнему состоянию; поэтому я не испытываю потребности находить его более прекрасным. Но мне отвратительно гнусное восхваление, которое несут ему со всех сторон, в расчете, что дело в свою очередь будет хвалить мастеров. Об улучшении мира так любит говорить извращенное поколение, чтобы самому добиться репутации лучшего и чтобы возвысить себя над своими отцами. И если бы действительно из прекрасного цветка человечества уже несло сладостное благоухание; если бы на общей почве в неизмеримом числе созревали, преодолев всякую опасность, семена самобытного развития; если бы все жило в священной свободе и наслаждалось ею; если бы все с любовью обнимало друг друга и в дивном союзе несло все новые дивные плоды, — даже и тогда они не могли бы восхвалять состояние человечества более восторженно, чем теперь. Они говорят о нынешнем мире так, как будто гремющий голос их могучего разума уже разорвал оковы невежества; как будто они уже выставили, наконец, искусный образ человеческой природы, которая раньше была отобразена лишь как темное, едва различимое ночное видение, и как будто таинственный свет — ах, идет ли он сверху или снизу?—так дивно освещает все в этом образе, что ни одно здоровое око не может ошибиться ни в его общем облике, ни в его отдельных чертах; как будто, наконец, музыка их мудрости превратила грубое хищное своекорыстие в покорное и общительное домашнее животное и научила его искусствам; и мельчайший промежуток времени, который уже протек, был, по их мнению, полон новыми благами. Как глубоко я в душе презираю поколение, которое с еще никогда небывалым бесстыдством восхваляет само себя, почти не может уже

выносить веру в лучшее будущее и с презрением поносит всех, принадлежащих будущему, — и все это только потому, что этому поколению осталась неведомой в темной дали истинная цель человечества, и что оно не осмелилось приблизиться к ней почти ни на шаг!

Да, человек властвует ныне над телесным миром; он исследовал все его силы, чтобы употребить их на пользу своей внешней жизни; пространство уже не задерживает действия духа на тело, мановение воли созидает всюду деятельность, которой требует дух; все выражает свое подчинение велениям мысли, и всюду обнаруживается присутствие духа; вся мертвая материя кажется оживленной, и в сознании такой власти над своим телом человечество наслаждается еще никогда небывалой силой и полнотой чувственной жизни. Кому достаточно этого, кто видит в этом последнюю цель человечества, — пусть тот присоединит свой голос к этому громкому хвалебному хору. Человек справедливо гордится теперь этим могуществом так, как никогда не мог гордиться раньше; ведь как бы много ему еще ни оставалось свершить в этой области, он достиг уже того, что должен чувствовать себя властелином земли, что на этой собственной его почве нет уже границ для его попыток, и область невозможного все более сокращается. Общение, которое для этой цели связует меня с остальными людьми, я в каждое мгновение жизни ощущаю как дополнение моей собственной силы. Каждый трудится на своем определенном месте, завершает дело другого, неведомого ему человека, и подготавливает работу для третьего, который ничего не знает об его заслугах. Так общее дело человечества осуществляется взаимными усилиями на всем земном шаре; каждый ощущает действие чужих сил как свою собственную жизнь, и, подобно электрической искре, искусная машина этого общения проводит каждое слабое движение одного человека через цепь с тысячью звеньев и, усиливая его на пути, доводит до цели, как будто все эти звенья суть его собственные члены, и все, что они свершили, есть его собственное дело, выполненное в одно мгновение. И это чувство жизни, возвышаемой общими усилиями, присуще мне с большей силой и полнотой, чем тем, кто его так громко восхваляют. Моего чувства не стесняет обманчивая сила их смутного мнения, что не все равномерно наслаждаются тем, что все помогали создавать и сохранять. Ибо все они теряют только в силу бессмыслия и косности в созерцании; привычка со всех взимает свою дань, и всюду, где я высчитываю сравнительную величину ограниченности и силы, я нахожу одну и ту же формулу, лишь различно выраженную, и на всех распространяется равная мера наслаждения. Но и при этом условии я низко ценю все это чувство; мои мечты не сводятся к желанию, чтобы мир стал еще немного лучше в этом отношении; и если бы этим исчерпывалось все дело человечества, и оно нечестиво затрачивало бы на эту задачу всю свою священную силу, — то я видел бы в этом мучительную гибель. Нет, мои требования не останавливаются скромно на этом улучшении отношения человека к внешнему миру, даже если бы оно было доведено до высочайшей

вершины совершенства! К чему же эта высшая власть над материей, если она не содействует собственной жизни самого духа? Что хвалитесь вы этим внешним общением, если оно не содействует общению самих душ? Здоровье и сила, конечно, — высокие блага; но разве вы не презираете каждого, кто пользуется ими только для пустого блеска? Разве человек — только чувственное существо, которое может сполна удовлетвориться даже высшим чувством своей плотской жизни — ибо земля есть ведь его плоть? Разве достаточно духу того, что он обитает плоть, сохраняет и расширяет ее и сознает свою власть над ней? А ведь только на одно это направлены все их стремления, на одно это опирается их безмерная гордость. Они поднялись в сознании человечности лишь настолько, что от заботы о телесной жизни и благополучии отдельного лица возвысились до заботы о равном благополучии всех. К этому сводится для них добродетель, справедливость и любовь; в этом они громогласно прославляют победу над низменным своекорыстием; в этом для них — конец всей мудрости; лишь такие звенья они в силах разрывать в цепи неведения, лишь этому должен помогать каждый и для этого предназначено все общение. Какая превратная задача для духа — посвящать все свои силы, в интересах других, тому, чем он охотно пренебрегает для себя во имя высшего блага! Какая извращенность сознания — видеть добродетель в пожертвовании высшим благам ради столь низменного идолослужения!

Покорись же, душа, жестокой судьбе, которая заставила тебя увидеть свет в эту худшую и темную пору! Для твоего влечения, для твоей внутренней деятельности мало можно ожидать от такого мира! И твое общение с ним ты будешь ощущать не как увеличение, а всегда лишь как ограничение твоей силы. Так случается со всеми, кто ведают лучшее и хотят его. Сердце иного человека жаждет любви; ему ясно преподносится, каков должен быть друг, с которым он может связать себя через обмен мыслей и чувств для взаимного воспитания и духовного совершенствования, — какова должна быть возлюбленная, которой он может всецело отдаться и у которой может найти полную жизнь; но если счастливый случай не дает ему найти их в кругу его внешней жизни, на равной общественной ступени, то предназначенные друг для друга души тщетно вздыхают всю свою краткую жизнь, терзаемые одним желанием. Ибо все еще сковывает человека его внешнее общественное положение, место, которое не добывается им, а предназначено ему в этом убогом общении, и человек крепче привязан к этому месту, чем растение — к своей материнской почве. Почему это так? Потому, что они беззаботно гнетут высшую духовную жизнь, чтобы тем вернее, как они надеются, насладиться низшей жизнью. Поэтому не может расцвести ни радостное общение, ни свободная общественная жизнь; поэтому они ведут странный, почти монастырский образ жизни, обособившись в мелких, душевных кельях, и живут скорее по соседству друг с другом, чем совместно; поэтому они избегают всякого крупного союза, составляя лишь жалкое подобие последнего из многих мелких; и как отечество смехотворно раздроблено, так



же раздроблено и всякое отдельное общество в нем. Правда, есть люди, которые способны открытой душой воспринимать внутреннюю сущность человечества и разумно созерцать его различные формы, или впитать в себя природу и с любовью прильнуть к ее тайнам. Но они окружены дикой пустыней или бесплодной пышностью, в которой вечное однообразие не дает питания запросам духа; воображение, загнанное внутрь себя, впадает в болезненное состояние, дух поглощает самого себя в ложных грехах, и рождающая сила исчерпывает себя в уродливых созданиях; благоприятный ветер не уносит человека любовно в лучший климат, и нет благодетельного друга, который заботился бы об утолении жаждущего и приводил бы его к плодотворным источникам познания. Злосчастную судьбу черного раба, оторванного от отчей страны и любимых сердец и осужденного на низкий труд в далекой чужбине, — эту судьбу ход мира ежедневно уготовляет лучшим людям, которым не дано уйти к неведомым друзьям в свою истинную родину, и которые в тяжелой работе истребляют свою внутреннюю жизнь среди пустынной, вечно чуждой им обстановки. Есть люди, которых внутренне влечет стремление созидать художественные творения; но им не дано отбирать свой материал и осторожно и без вреда удалять из него непригодное, или, когда намечен стройный и величественный план, завершить и отделать его до конца во всех его частях. Дает ли им кто-либо недостающее, предоставляет ли щедро свои запасы, или завершает своими руками неоконченное? Нет, каждый должен стоять поодиночке и предпринимать то, что ему не удастся! Воплощению человечности, созиданию прекрасных творений недостает того общения талантов, которое уже давно осуществлено во внешней работе человечества! Художник замечает бытие других людей лишь в скорби, когда их оценка порицает в его творении то, что чуждо их гению, и ему суждено изведать, что действие его собственного прекрасного достояния преграждается требованием иного! Тщетно ищет человек в общении с людьми облегчения и помощи в том, что есть для него величайшее. Плоды, которые земля приносит в разных местах, описываются тысячами людей; я могу в одно мгновение узнать, где мне найти какую-либо вещь, в которой я нуждаюсь, а в следующее мгновение счастливцев может уже обладать ею; но лишь немногие способны находить души, с помощью которых может процветать их внутренняя жизнь, и для этого нет общения в мире; никто не занят тем, чтобы сближать людей, которые нуждаются друг в друге. И требовать такой помощи есть даже безумие и соблазн возлюбленным сынам нашего времени; а чуждое высшее и более тесное общение умов и желать содействовать ему вопреки обычной ограниченности и мелким предрассудкам — есть суетное мечтательство. По их мнению, лишь неразумное желание, а не нужда заставляет нас чувствовать теснящие нас грани; преступная лень, а не отсутствие благотворного общения внушает человеку недовольство миром и заставляет его пустые желания блуждать в далекой области невозможного. Но невозможно это только для того, чей взор на низкой плоскости нынешнего дня объемлет лишь ограниченный горизонт. Я должен был бы предаться скорбному

отчаянию и потерять веру, что человечество когда-либо приблизится к своей цели, если бы моя тупая фантазия была прикована лишь к реальному и к его ближайшим следствиям.

Все, что принадлежит к лучшему миру, стонет в тяжком рабстве! Все зачатки духовного общения низведены до служения земному общению; что полезно последнему, ограничивает дух и наносит ущерб внутренней жизни. Когда друзья заключают союз между собой, из этого должны были бы проистечь деяния, превышающие дух отдельного человека; каждый должен был бы предоставить каждому идти туда, куда влечет его дух, и лишь помогать ему указанием на его пробелы, не подменяя его мыслей своими собственными. Так каждый находил бы в другом жизнь и питание и всецело осуществлял бы свои задатки. Но как происходит это в мире? Для земных услуг один готов помогать другому, жертвуя собственным благополучием; сообщать знания и жизненный опыт, чувствительно сострадать скорби и облегчать ее есть для них высшее. Но и в дружбе таится всеща вражда против внутренней природы друга; они хотели бы отделить недостатки друга от его существа, а недостатком в нем они считают все, что было бы недостатком в них самих. Так каждый должен жертвовать своей самобытностью другому, и оба искупают свое сходство с другим изменой самому себе, если только твердая воля не остановит этой порчи, после чего ложная дружба долго болезненно колеблется между спором и согласием или внезапно обрывается. Горе тому, кто обладает мягкой душою, когда к нему привязался друг! Бедняга мечтает о новой и сильной жизни, радуется прекрасному времени, проходящему в сладостном общении; и он не замечает, как в мнимом благополучии дух его расточает себя и впадает в долги, пока не иссякнет его внутренняя жизнь, обессиленная и стесненная со всех сторон. Таков вид многих лучших людей, в котором едва возможно узнать очертания их подлинного существа; они искалечены дружеской рукой и отягощены чуждыми придатками. — Сладостная любовь связует мужа и жену, и они готовятся создать собственный очаг. Подобно тому, как самобытные существа исходят из лона их любви, так из гармонии их натур должна создаваться новая общая воля; тихий дом с его работами, порядками и радостями должен свободно свидетельствовать об этой воле! Однако всегда и повсюду мне суждено видеть обещанным прекраснейший человеческий союз! Загадкой остается для них их собственное действие, когда они заключают этот союз; каждый по-прежнему сохраняет свою волю, попеременно властвует одна сторона над другою, и печально каждый втайне подсчитывает, перевешивает ли выгода союза ту потерю чистой свободы, которой он стоил; и наконец каждый смотрит на другого, как на свой рок, и в чувстве холодной необходимости угасает пыл любви. Всех под конец равный подсчет приводит к равному итогу — пустоте. Каждое жилище должно было бы быть прекрасным телом, дивным созданием самобытной души, и обнаруживать собственную форму и черты; но почти все они становятся в тупом однообразии пустынной могилой свободы и истинной жизни. Делает ли она его счастливым, живет ли она

всецело для него? Делает ли он ее счастливой, готов ли он для нее на все? Находят ли оба высшее счастье в пожертвовании собой для другого? О, не терзай меня, образ скорби, глубоко таящейся позади их радости, признак близкой смерти, которая морочит их этой последней пустой видимостью жизни! — Куда делись древние сказания мудрецов о государстве? Где сила, которую должно давать человеку это высочайшее развитие бытия, где сознание, которое должен иметь каждый, — сознание себя частью разума, воображения и могущества родины? Где любовь к этому высшему самозданному бытию, — любовь, которая готова скорее пожертвовать узким личным сознанием, чем потерять это бытие, — которая скорее рискует жизнью, чем допускает убийство отчизны? Где предусмотрительность, заботливо стерегущая, чтобы искушение не коснулось отчизны и не погубило ее души? Где самобытный характер каждого государства, где дела, в которых он возвещает себя? Так далеко нынешнее поколение от всякого чаяния истинного смысла этой стороны человечества, что люди мечтают о лучшем общественном организме, совсем как об идеале человека; и кто живет в государстве, старом или новом, тот мечтает облечь в его форму все другие государства; и мудрец в своих трудах намечает для будущего образец государства и надеется, что некогда все человечество ко своему благу будет почитать этот образец, подобно символу; и все верят, что лучшее государство — то, которое менее всего ощущается и менее всего дает ощутить нужду в своем существовании. Кто, таким образом, считает величайшим созданием человека, с помощью которого он должен подняться на высшую ступень бытия, лишь необходимым злом, неизбежным механизмом, имеющим целью скрыть или обезвредить недостатки людей, тот должен ведь ощущать, лишь как стеснение, то, назначение чего — даровать высшую силу бытия.

Неизменный источник всех этих великих бедствий состоит в том, что у людей можно найти восприимчивость *лишь* к внешнему общению чувственного мира, и что они хотят все измерять этим внешним общением и все приспособить к нему. В общении чувственного мира всегда неизбежно взаимное ограничение; человек, который хочет продолжить и расширить свое тело внешним владением, должен предоставить другому простор для того же самого; где один стоит, там граница для другого, и каждый из них спокойно допускает это лишь потому, что он не в силах один владеть миром, и что чужое тело и достояние может пригодиться и ему. На это направлено и все остальное: умножение внешнего обладания имуществом и знанием, охрана и помощь против рока и бед, объединение, умножающее силы в борьбе против других — только это ищет и находит нынешний человек в дружбе, браке и отчизне; он не ищет помощи и усиления в деле внутреннего развития, обогащения новой внутренней жизнью. В этом, напротив, его стесняет всякое общение, в которое он вступает, начиная с первой связи в целях воспитания, когда юных дух, вместо того чтобы получить простор для жизни и усмотреть мир и человечество во всем его объеме, ограничивается чуждыми мыслями и

уже рано приучается к долгому рабству жизни. О, жалкая нищета посреди богатства! Бессильная борьба лучшей души, ищущей нравственности и духовного развития, с этим миром, который вместо них признает лишь право и веление, вместо жизни дает лишь мертвые формулы, вместо свободной деятельности любит лишь правило и привычку, и гордится высокой мудростью, когда ему удастся счастливо устранить какую-нибудь устарелую форму и создать что-либо новое, что кажется жизнью, но скоро само станет тоже формулой и мертвой привычкой! Что могло бы спасти меня, если бы у Меня не было тебя, божественная фантазия, и если бы ты не давала мне верного чаяния лучшего будущего!

Да, культура разовьется из варварства, и жизнь — из мертвого сна! И они уже налицо, начала лучшего бытия. Не всегда высшая сила будет дремать в потаенном состоянии; дух, одушевляющий человечество, рано или поздно разбудит ее. Если теперь земная культура людей возвысилась над той дикой властью природы, когда человек еще робко бежал от всякого проявления ее сил, — то не большой промежуток может отделять блаженное время истинного общения душ от нынешней детской поры человечества. Первобытный раб природы не поверил бы в это грядущее господство над нею и не понимал бы возвышенных чувств в душе провидца, чающего это господство; ибо у него отсутствовало даже представление о таком состоянии, к которому он не испытывал влечения. Так и нынешний человек не понимает, когда кто-либо указывает ему на иные цели и говорит об иных союзах и ином общении между людьми; он не постигает, чего лучшего и высшего можно еще хотеть, и не опасается, что некогда наступит состояние, которому суждено глубоко устыдить его гордость и его косное довольство. Если из того убожества, в котором даже взор, обостренный первыми успехами, едва замечал зачатки лучшего состояния, все же возникло нынешнее прославленное благополучие, — и если среди нашей нынешней хаотической дикости взор, тесно окруженный уже падающим туманом, прозревает первые элементы лучшего мира, — то неужели не возникает из нынешнего состояния, наконец, сам этот лучший мир, возвышенное царство культуры и нравственности? Это царство придет. К чему мне неуверенно отсчитывать часы, которые еще протекут, и поколения, которые еще пройдут до этого? Какое мне дело до времени, с которым, ведь, не чувствует себя связанной моя внутренняя жизнь?

Человек принадлежит к миру, который он помогал созидать; этот мир объемлет всю совокупность его желаний и мыслей, и лишь по ту сторону его он — чужестранец. Кто доволен нынешней жизнью и не ищет иной, тот — современник ранних полуварваров, заложивших первую основу его мира; он живет продолжением их жизни, с удовлетворением наслаждается завершением того, чего они хотели; а то лучшее, что они не могли объять, не может объять и он. Так я — чужестранец для образа мыслей и жизни нынешнего поколения, пророческий гражданин грядущего мира, влекомый к

нему живой фантазией и сильной верой и принадлежащий к нему каждым своим действием и каждой мыслью. Действия и страдания нынешнего мира оставляют меня равнодушным; лежа глубоко подо мной, он кажется мне малым, и взор легко обзревает извилистые круги его пути. Возвращаясь от всех потрясений в области жизни и науки к одной и той же точке и сохраняя прежний облик, нынешний мир ясно обнаруживает свою ограниченность и малый объем своих стремлений. Все, что возникает из него самого, не может подвинуть его вперед, а лишь движет постоянно в прежнем кругу; и я не могу радоваться всему этому, и никакая благоприятная видимость не внушает мне пустого, обманчивого ожидания. Но где я вижу искру скрытого пламени, которое рано или поздно истребит старое и возродит мир, там я ощущаю трепет любви и надежды, как бы влекомый к возлюбленным знаменам дальней отчизны. И где я стою, там должно быть видимо священное пламя, горящее чуждым светом, — грозное предостережение суеверным рабам современности, для разумеющих же — свидетельство власти духа. Пусть с любовью и надеждой приблизится каждый, кто, подобно мне, принадлежит будущему, и пусть все действия и речи каждого теснее смыкают и расширяют прекрасный свободный союз заговорщиков во имя лучшего будущего!

Но и это мир затрудняет по мере сил и стесняет всякое познание дружественных умов, надеясь загубить семя лучшего будущего. Деяние, возникшее из чистейшей мысли, дает простор для тысячи разных толкований; и часто случается, что самое бесхитростное поведение в духе нравственности принимается за смутное мирское сознание. Слишком многие украшают себя ложной видимостью лучшего, чтобы можно было довериться каждому, в ком хотелось бы видеть лучшее; со справедливым маловерием не решается подчиниться первой видимости тот, кто ищет братьев по духу; так единомышленники часто не узнают друг друга при встрече; ибо мир и время сдерживают смелость доверия. И потому у мужайся и надейся! Не ты один пустил корни в глубокой почве, которой некогда суждено выйти на поверхность; всюду зреют семена будущего! Продолжай по-прежнему искать всюду, где можешь: еще многих ты встретишь и постигнешь, кого, быть может, долго не узнавал. Так и ты будешь еще познан многими: вопреки миру, недоверие и подозрение в конце исчезает, когда одинаковое поведение неизменно повторяется, и одинаковое чаяние шлет частые призывы благочестивому братскому сердцу. Только смело налагай печать духа на каждое действие, чтобы близкие могли найти тебя; только смело высказывай миру мнения сердца, чтобы и дальние слышали тебя.

Правда, волшебство языка тоже служит более миру, чем нам. Язык дает миру точные знаки и прекрасный избыток для всего, что мыслится и чувствуется в мирском духе; он есть чистейшее зеркало времени, художественное творение, в котором открывается дух времени. Для нас он еще груб и неразвит и есть трудное средство общения. Как долго он сперва препятствует

духу достигнуть самосозерцания! В силу языка, дух уже принадлежит миру, прежде чем находит сам себя, и должен сначала медленно вырваться из его сетей; и если он, наконец, вопреки всем заблуждениям и извращениям, которые привил ему язык, достигает, наконец, истины, — как коварно изменяет тогда свою борьбу язык и тесно замыкает дух, чтобы он никому не мог сообщить себя и ни от кого не мог получить питание. Долго ищет он среди избыточного обилия, пока находит верный знак, под охраной которого может отослать свои глубочайшие мысли; но тотчас же враги ловят этот знак, вкладывают в него ложное толкование, и боязливо недоумевают получатель, от кого первоначально исходит это послание. Иногда издали приходит ответ одинокому; но он вынужден сомневаться, означает ли этот ответ то, что он разумеет под ним, и написан ли он рукой друга или врага. Зачем язык должен быть общим достоянием для сыновей духа и для детей мира! Зачем дети мира выказывают такую любознательность в деле высокой мудрости! Но нет, им не удастся смутить или запугать нас! Это есть великая борьба за освященные знамена человечества, которые мы должны сохранить для лучшего будущего и грядущих поколений, — борьба, которая решает все; но это и верная игра, над которой не властны счастье и случай, и в которой выигрыш дается всегда лишь силе духа и истинному искусству.

Нравственность человека должна быть одеянием и покровом его внутреннего своеобразия, нежно и многозначительно должна она облекать каждый благородный образ и, возвещая размеренность его членов, сопровождать каждое его движение. Нужно только сознавать святость этого благородного художественного творения, нужно ткать его все более прозрачным и тонким и все теснее облекаться в него; тогда неизбежно будет положен конец искусственному обману, и легко будет изобличить нечестивую, пошлую натуру, если она захочет являться в благородном и возвышенном образе. Знаток при каждом движении отгадывает рост и силу даже скрытых членов; тщетно магическое одеяние обманчиво скрывает пустое место: при каждом быстром шаге одеяние легко разлетается, и вскрывается внутреннее несоответствие. Так и постоянство и соразмерность нравственности должны стать и действительно станут безошибочным признаком внутреннего существа духа, тайным приветствием, по которому узнаются лучшие люди. Язык должен отображать самые сокровенные мысли духа; он должен передавать высочайшее созерцание и самое тайное размышление духа об его собственном действовании; и изумительная музыка языка должна истолковывать ценность, которую дух приписывает каждому своему действию, открывать самобытную шкалу его любви. Правда, другие люди могут злоупотреблять знаками, которые мы посвящаем высшему, и подменять святыню, на которую указывают эти знаки, своими мелочными мыслями и ограниченным умонастроением; но речь мирского существа звучит в ином тоне, чем речь посвященного; иначе, чем у мудреца, и в иную мелодию сочетаются у раба времени знаки мыслей; иное признает он первичным и выводит из него то, что для него более незнакомо и далеко.

Пусть только каждый делает язык своим подлинным достоянием, художественным целым, так чтобы взаимозависимость и переходы, связь и последовательность точно соответствовали строению его духа, и гармония речи передавала акцент сердца, основной тон умонастроения. Тогда среди обыденного языка возникнет еще священный и тайный язык, и непосвященный не сможет ни понимать его, ни подражать ему, ибо лишь во внутреннем настроении лежит ключ к его уразумению; каждый краткий переход в игре мыслей, каждый ряд аккордов в речи будет изобличать непосвященного.

О, если бы мудрые и благие стали постигать друг друга по нравственному облику и речи! Если бы недоразумения были вскрыты, если бы была проведена основная грань и выявилась внутренняя распря, то и победа была бы уже близка, взошло бы лучшее солнце: ибо свободное суждение и непредвзятое чувство юных поколений должны были бы склониться к лучшей стороне. Ведь только многозначительное движение возвещает присутствие духа, и только чудеса свидетельствуют о рождении божественного образа. И потому должно обнаружиться, что нет сознания внутреннего действия там, где отсутствует прекрасное единство нравственности и где последняя имеется лишь как холодное представление, как выбеленная бесформенность; должно обнаружиться, что не ведает самобытного развития и никогда не созерцал в себе внутренней сущности человечества тот, у кого, прочная твердыня языка, вынесенная изнутри наружу, распадается на мелкие обломки, у кого сила речи, которая должна потрясать душу, затрачивается на пустое бессмыслие и плотскую красоту, и высокая музыка речи превращается в праздную игру звуков, неспособную выразить самобытную сущность духа. Жить гармонично и следовать простой и прекрасной нравственности может лишь тот, кто, ненавидя омертвелые формулы, ищет своеобразного развития и потому принадлежит грядущему миру; истинным художником речи может стать лишь тот, кто свободным взором созерцает самого себя и овладел внутренним существом человечности.

Из тихого всемогущества этих чувств, а не из нечестивой насильственности тщетных покушений должно, наконец, проистечь благоговение перед высшим, — начало лучшей поры жизни. Содействие ему да будет моим делом в мире! Этим я уплачу свой долг миру и выполню свое призвание. Так моя сила соединяется с делом всех избранных, и мое свободное действие помогает человечеству приближаться к его цели на верном пути.

#### **4. Горизонты**

Правда ли, что все мы блуждаем на земле, повинуюсь чуждой силе и не ведая будущего, что густая завеса скрывает от человека то, чем ему суждено стать, и что слепая власть судьбы, или хотя бы чуждый произвол высшего

провидения — то и другое в этом отношении казалось бы мне одинаковым — играют нашими решениями, как и нашими желаниями? О, конечно, если решения суть только желания, то человек есть игрушка случая! Иные люди способны находить себя самих только в смене беглых чувств и отдельных мыслей, как их созидает действительность; вся их жизнь исчерпывается неверным обладанием внешними предметами, головокружительным созерцанием вечного вихря, в котором они сами движутся вместе со своим достоянием, и никогда они не проникают глубже в свое собственное существо; руководимые то одним, то другим отдельным чувством, они видят всегда лишь единичное и внешнее и хотят обладать им и относиться к нему, как им велит ощущение данного мига. У таких людей судьба может враждебно похищать предметы их желаний и играть их решениями, которые заслуживают быть игрушками; они могут жаловаться на непрочность, ибо в них самих ничто не прочно; собственная слепота кажется им густой завесой, и, конечно, должно быть темно там, где не сияет свет свободы; и они, очевидно, должны стремиться узнать, зависит ли господствующая над ними изменчивость от единой воли, управляющей всеми волями, или от бесстрастного действия столкновения многих сил, — и это стремление остается тщетным, ибо то и другое они мнят так, как их нельзя мыслить. Ужас должен охватывать человека, если он никогда не достигает овладения самим собой, если каждый луч света, падающий на бесконечный хаос, показывает ему, что он — не свободное существо, а только один из зубцов великого колеса, которое в своем вечном вращении увлекает его и всех остальных. Только надежда, — вечно возвращающаяся, вопреки всему опыту и сознанию, надежда на счастливую перемену **или** на **конечное** милосердие может быть **его** единственной опорой.

Благословенно мне, — в каждое мгновение, когда я вижу трепет рабов, вновь благословенно мне, возлюбленное сознание свободы! Благословенно тихое спокойствие ясного духа, с которым я весело приветствую грядущее не как своего властителя, а как свое собственное достояние, хорошо ведая, что оно есть и что несет с собой. От меня оно ничего не скрывает, ко мне оно приближается без притязания на владычество. Судьба властвует лишь над измышленными богами, которые не имеют основания воздействовать на себя, и над худшими из смертных, которые не хотят воздействовать на себя, — но не над человеком, который, как и надлежит, направляет на себя свое действие. Где граница моей силы? Где же могла бы начинаться во мне ужасная чуждая область? Невозможно для меня лишь то, что исключено первичным деянием моей внутренней свободы, слиянием ее с моей природой. Я не способен лишь на то, что противоречит этой свободе; но могу ли я и хотеть того, что уничтожало бы строгую волю, в силу которой я есть я? Кому представляется чуждой властью это ограничение, которое есть условие и сущность бытия, его свободы и воли, тот, на мой взгляд, есть жертва странного недоразумения. — И разве в этих пределах что-либо ограничивает меня теснее? Да, если бы я, даже в области нравственности и



культуры, когда-либо стремился к тому или иному определенному результату, если бы какое-либо единичное действие когда-либо было целью моего хотения, — то эта цель, в мгновение, когда я хочу овладеть ею, могла бы ускользнуть от меня, и я нашел бы себя подчиненным чуждой власти. Но если бы я пожелал обвинить в этом судьбу, то я упустил бы из виду главного виновника — самого себя. Но никогда со мной не может случиться ничего подобного! Ведь я всегда живу сознанием своего существа. Мое единственное желание — все более становиться тем, что я есть; всякое действие есть особое обнаружение этого единого желания; и так как я всегда могу действовать, то я и всегда могу действовать именно в этом направлении, и в состав моих деяний не входит ничто, чуждое этого мотива. Итак, пусть будет, чему суждено быть! Доколе я все направляю исключительно к этой цели, всякие внешние условия и внешние формы жизни для меня безразличны или даже одинаково ценны, если только они выражают природу моего существа и дают мне новый материал для его внутреннего развития и роста; доколе мой духовный взор непрерывно сосредоточен на этом целом, и все единичное является для меня лишь в связи с последним, — доколе я не теряю из виду того, что я прерываю, и всегда хочу даже того, чего не делаю, а то, что делаю, отношу к общей цели моей воли, — до тех пор моя воля властвует над судьбой и умеет свободно использовать любые ее дары для своей цели. Откуда берется эта изменчивость человеческой жизни, которую они так тягостно ощущают, как не из общения свободных существ? Она, следовательно, есть создание свободы и мое собственное создание. Как мог бы я участвовать своим действием в ее подготовке для других, если бы не требовал ее и для себя от других? Да, я громко требую ее! Пусть время несет мне многообразный материал для действия, для совершенствования и обнаружения моего существа! Я ничего не боюсь; всякий порядок и всякое внешнее условие имеет для меня одинаковую цену. Все, что может возникнуть из общей деятельности людей, пусть коснется меня, пусть возбуждает и движет меня, получая в свою очередь от меня новое движение; и в характере моего восприятия и впечатления я всегда найду свою свободу и сумею развивать через обнаружение свою самобытность.

Есть ли это пустой самообман? Кроется ли за этим чувством свободы лишь бессилие? Так обыденные души толкуют то, чего они не понимают. Но пустая болтовня самоунижения давно смолкла для меня; в этой распре между ними и мной в каждое мгновение судьей является действие. Они всегда жалуются, когда видят, что время проходит, боятся его прихода и остаются по-прежнему внутренне неразвитыми, сохраняя при всей изменчивости внешней жизни одну и ту же обыденную натуру. Есть ли хоть один пример, в отношении которого они были бы вправе отрицать, что могли бы иначе встретить случившееся с ними? И потому мне было бы легко еще сильнее сокрушить их среди их скорби и вырвать у покаянной души признание, что то, в чем они оплакивают внешнюю силу, было лишь их собственной

внутренней косностью, и что они, в сущности, не хотели того, что они лишь мнили хотеть. И, показав им эту низменную ограниченность их собственного сознания и собственной воли, я легко мог бы научить их верить в сознание и волю.

Но научатся ли они этому или нет, — вера, что ничто, встречающееся мне, не может задержать роста моего внутреннего развития и отклонить меня от цели моего действия, — эта вера жива во мне своей действенной силой. С того времени, как разум овладел моим бытием и мне стали присущи свобода и самосознание, я бродил по многообразным путям жизни. В наслаждении юношеской свободы я сумел отбросить ложную личину, — плод долгой и тяжелой работы кощунственного воспитания; я научился оплакивать краткую жизнь большинства людей, которые, даже если им удалось то же самое, потом снова отдаются новым цепям; я научился презирать тех, кто чувствуют себя бессильными и отжившими уже в самуюмогучую пору жизни, кто уже потерял последнее воспоминание о краткой грезе свободы, не ведают судьбы юности, которая только что начинает наслаждаться этой свободой, и хотели бы остаться верными старому порядку. В чужом доме мне открылось сознание прекрасного человеческого общения; я видел, как свобода облагораживает и правильно выявляет нежные тайны человеческого бытия, которые всегда остаются темными для непосвященного — для того, кто скорее лишь выносит их как неизбежные оковы природы, чем почитает их. В пестром хаосе мирских различий я научился пренебрегать видимостью и под каждым одеянием познавать природу и понимать разные языки, на которых она выражается в каждом кругу. Созерцая великие брожения, тихие и громкие, я научился понимать дух людей и видеть, как они привязаны всегда лишь к внешнему покрову; и в тихом одиночестве, которое было мне уготовлено, я созерцал внутреннюю природу, все цели, которые ставит человечеству его идея, и все отправления духа в их вечном единстве, и научился в живом созерцании правильно оценивать мертвые слова школ. Я ощущал радость и скорбь, мне ведома всякая печаль и всякая улыбка; и во всем, коснувшемся меня, с тех пор, как я подлинно живу, я черпал новое для моего внутреннего существа и приобретал силы, питающие внутреннюю жизнь!

И потому да будет мне прошлое залогом будущего; ведь это будущее есть то же, что и прошлое, и может ли оно причинить мне что-либо иное, если я сам остался тем же? Отчетливо и ясно я вижу перед собою содержание жизни. Я знаю, в какой мере мое существо уже развилось до прочного и замкнутого своеобразия; и я сохраню это своеобразие через равномерное всестороннее действие, в которое я вкладываю все единство и всю полноту своей силы. Могу ли я не радоваться всему новому и многообразному, если оно снова и на новый лад подтверждает мне истину моего сознания? Или я уже настолько уверен в самом себе, что не нуждаюсь в таком подтверждении, а имею право на неизменность покоя? Нет, по-прежнему я приветствую

страдание и радость и все, что мир называет благом и бедствием, ибо все это на свой лад осуществляет мою цель и открывает мне содержание моего существа! И если я только достигну этого, — какое мне дело до счастья! — Я знаю также, чего я еще не усвоил, я знаю области, где я еще витаю в неопределенно общем и уже давно болезненно ощущаю отсутствие собственного воззрения и собственного правила. Против всего этого уже давно выступает моя сила; и некогда мне удастся объять это действительностью и созерцанием, и тесно связать со всем, что уже есть во мне. Мне предстоит еще исследовать науки, без знания которых не может завершиться мое воззрение на мир. Многие образы человечности еще чужды мне; есть поколения и народы, которые я лишь поверхностно знаю по чужим изображениям; моя фантазия не может самобытно проникнуть в их умонастроение и сущность, и они не занимают определенного места в моем созерцании ступеней человеческого развития. Многие роды деятельности, более далекие моему существу, еще непонятны мне, и мне часто недостает самостоятельного суждения о их связи со всем, что велико и прекрасно в человечестве. Все это я усвою совместно или одно за другим; предо мной расстилаются прекраснейшие горизонты. Сколько благородных натур, которые совсем иначе, чем я, развили в себе человечность, я могу созерцать вблизи! Сколькими многосведущими людьми я окружен, которые из гостеприимства или тщеславия подносят мне в прекрасных сосудах золотые плоды своей жизни и заботливо пересаживают на родину растения чуждых времен и стран. Может ли судьба заковать меня и преградить мне доступ к этой цели? Может ли она отказать мне в средствах саморазвития и удалить меня от легкого общения с деятельностью нынешнего поколения и с памятниками прошлого? Может ли она изгнать меня из прекрасного мира, в котором я живу, в дикие пустыни, куда не доходят сведения об остальном человечестве, где в вечном однообразии меня тесно окружает со всех сторон пошлая природа, и где среди сперттого, испорченного воздуха взор не встречает ничего прекрасного и определенного? Правда, со многими это случалось; но мне это не может встретиться; я противоборствую тому, перед чем склонялись тысячи людей. Лишь продавая сам себя, человек попадает в рабство, и лишь того судьба смеет купить, кто сам себе назначает цену и сам себя выставляет на рынке. Что увлекает легкомысленно человека с того места, где хорошо его духу? Что заставляет его с трусливым безумием отбрасывать от себя свои лучшие блага, подобно тому, как моряк бросает чужое имущество в бушующие волны? Все это—только позорная жажда внешней прибыли, соблазн чувственного вожделения, которого уже не удовлетворяет старый выдохшийся напиток. Как может со мной случиться что-либо подобное, при моем презрении к таким теням! С трудом и усердием я завоевал себе место, на котором я стою сознательно, и с упорством я создал собственный мир, в котором может процветать мой дух; может ли беглый соблазн страха или надежды разорвать эту крепкую цепь, может ли суетная мишура увлечь меня из родины, из круга любимых друзей?

Но сохранить себе этот мир и все крепче связаться с ним есть не единственное, чего я требую; меня влечет и к новому миру. Немало новых связей надлежит еще установить, и новые законы еще неведомой любви должны определять мое сердце, чтобы открылось, как все это согласуется между собой **в моем** существе. Я испытал дружбу всякого рода; чистыми устами я прикасался к сладостному счастью любви, и я знаю, что подобает мне в том и другом, и ведаю закон моей нравственности. Но святейший союз еще должен поднять меня на новую ступень жизни, я должен слиться в одно существо с возлюбленной душой, чтобы моя человечность еще проявила свое прекраснейшее действие на человечество. Я должен еще узнать, как развивается во мне просветленная высшая жизнь после возрождения свободы, и как возрожденный человек зачинает новый мир. Я должен проникнуть в тайны прав и обязанностей отцовства, чтобы и высшая сила, осуществляющая свободу в отношении свободных существ, не дремала во мне, чтобы я мог показать, как верующий в свободу умеет охранять и оберегать юный разум, и как в этой великой проблеме ясный дух умеет распутывать прекраснейшее сплетение собственного и чужого. Не завладеет ли мною судьба именно здесь, в этом любимейшем желании моего сердца? Не отомстит ли мне здесь мир за упорство моей свободы, за высокомерное презрение к его могуществу? Где живет она, — та, с которой мне надлежит связать нить своей жизни? Кто скажет мне, куда я должен направиться, чтобы отыскать ее? Ведь достижение столь высокого блага стоит всяких жертв и всяких усилий! И найду ли я ее свободной, или, если она будет подвластна чужому закону, который преградит мне доступ к ней, то сумею ли я освободить ее от него? И если я добуду ее себе, — то разве непостижимое не играет часто самой сладостной и верной любовью и препятствует тому, чтобы с правом супруга сочеталось радостное имя отца? Здесь, наконец, каждый стоит на границе между произволом и таинствами природы, и мы не смеем даже желать победить своей волей эти таинства. И если прежде чужая свобода и ход мира тщетно пытались стеснить меня, то на этот раз я покоряюсь им. На многое способен здесь человек, и многое преодолевает сила воли и строгое стремление. Но если надежда и стремление тщетны, если все здесь противодействует мне, — побежден ли я здесь судьбою? Действительно ли она тогда воспротивилась росту моей внутренней жизни и смогла ограничить своим упрямством мое развитие? Невозможность внешнего действия не стесняет внутреннего деяния; и более, чем себя и ту, кого я жду, я пожалел бы мир: ведь он лишился бы одного из прекрасных и редких предметов, одного из явлений, которые заносятся в настоящее из добродетельной старины или из лучшего будущего, и на которых он мог бы оживить и согреть свои мертвые понятия. Мы, хотя и неведомо, принадлежим друг к другу, и воображение уносит нас в наш общий рай. Не тщетно созерцал я многие образы женской души и ознакомился с прекрасными путями ее тихой жизни. Чем дальше я сам стоял от границ брачной жизни, тем более тщательно я исследовал ее священную область; я знаю, что в ней правомерно и что — нет, я мысленно проследил

все формы нравственных отношений в браке, которые вскроет лишь далекое свободное будущее, и я точно знаю, какие из них подобают мне. Поэтому я знаю и неведомую женщину, с которой я мог бы тесно связать себя на всю жизнь; и я уже вжил в ту прекрасную жизнь, которая нам предстоит. И если теперь, скорбя в пустынном одиночестве, я многое должен устраивать и начинать, таить в себе и скрывать в молчании, и от много должен отказываться, в малом и великом, — то все же мне всегда живо преподносится, как все это будет иначе и лучше в той жизни. И так же наверно чувствует и та, которая так устроена, что может любить меня и что я могу удовлетворить ее, — где бы она ни находилась: одинаковое влечение, которое не есть одно пустое желание, возвышает и ее, как и меня, над пустынной действительностью, для которой она не создана; и если бы внезапно нас свело волшебство, то ничто не было бы нам чуждым, и мы легко и радостно шли бы по новому жизненному пути, как будто нас вынуждает к нему сладостная привычка. Поэтому и без такого волшебства мы не лишены этого высшего бытия в нас; мы все же созданы для такой жизни и развили ее в себе, и только внешнее ее выявление недоступно нам и миру.

О, если бы люди умели пользоваться этой божественной силой фантазии, которая одна только освобождает дух, возносит его над всяким насилием и ограничением, и без которой круг человеческой жизни боязливо замыкается узкими пределами! Много ли затрагивает каждого в кратком течении жизни? Сколько сторон в человеке должны были бы остаться неопределенными и неразвитыми, если бы его внутренняя деятельность направлялась лишь на то небольшое, с чем он действительно сталкивается во внешнем мире! Но люди столь чувственны в своей нравственности, что даже себе самим доверяют только там, где внешнее воплощение действия есть для них порука истинности их сознания. Тщетно стоит среди великого общения человечества тот, кто сам себя так ограничивает! Для него бесполезна возможность созерцать действия и жизнь людей; и ему суждено безнадежно жаловаться на косную медлительность мира и на вялость его движений. Такой человек всегда желает для себя новых отношений, новых внешних возбудителей деятельности, и новых друзей, после того, как прежние друзья, насколько могли, уже оказали действие на его душу; и всюду жизнь кажется ему слишком медленной. Но если бы даже жизнь ускорила свой ход и захотела повести его тысячью новых путей, разве мог бы он в короткий промежуток времени исчерпать бесконечность? То, чего эти люди не могут помыслить даже в желании, я приобретаю внутренней деятельностью своей фантазии. Она восполняет мне то, что недостает действительности; в силу ее я усваиваю себе каждое отношение, которое я встречаю у других; дух внутренне движется, преобразует все в согласии со своей природой, и предвосхищает с верным чувством, как он стал бы действовать. Обыденные суждения людей о чужой жизни и деятельности, — суждения, высчитанные на основании пустых формул мертвыми буквами, — суть, конечно, плохая

опора; и позднее они действуют совсем иначе, чем они прежде судили. Но если творчеством фантазии руководит внутренняя действительность — а так это должно быть всюду, где есть истинная жизнь, — и если предвосхищенное деяние есть чистое сознание этой внутренней действительности, — тогда созерцание чужого повлияло на дух, как если бы это чужое было действительно его собственным достоянием, и он сам проявил свое действие вовне. Так я и впредь, как и доселе, буду овладевать всем миром в силу этой внутренней деятельности, и я лучше использую все в тихом созерцании, чем если бы и внешнее действие должно было в быстрой смене сопровождать всякий образ. Так всякое отношение запечатлевается глубже, оказывает более определенное действие на дух, и в свободном, непредвзятом суждении проявляется чище отпечаток собственного существа. И то, что потом действительно приносит внешняя жизнь, есть лишь подтверждение и испытание прежнего, более богатого внутреннего опыта; но развитие духа не ограничено убогой мерой внешней реальности. Поэтому я столь же мало жалею на медлительность судьбы, как и на ее слишком быстрый и извилистый ход. Я знаю, что моя внешняя жизнь никогда не выразит и не воплотит всесторонне моего внутреннего существа. Никогда не предоставит она мне широкого поприща, где мое действие затрагивало бы благо тысячи людей, и где я мог бы внешним образом доказать, что все на свете есть для меня ничто по сравнению с единым из высоких и священных идеалов разума. Никогда, быть может, я не вступлю в открытую распрю с миром и не смогу показать, как мало нарушает внутренний покой и тихое единство моего существа все, что мир может дать мне или взять у меня. Но я надеюсь, что я в себе самом ведаю свое отношение к таким событиям, ибо душа моя давно уже подготовлена и развита для всего этого. Так, живя в тихом уединении, я все же стою на широкой, обильной действиями арене мира. Так, союз с возлюбленной душой уже заключен в душе одинокого, прекрасное общение существует и образует лучшую часть жизни. Так я наверно удержу и любовь друзей, мое единственное драгоценное достояние, что бы ни случилось в будущем со мной или с ними.

Люди обыкновенно боятся, что дружба не будет длиться долго; изменчивой кажется им душа, друг может стать иным, а вместе со старым настроением исчезает и старая любовь, и верность есть редкое благо. Они правы: ведь поскольку они вообще ведают что-либо за пределами полезности, каждый из них любит в другом лишь легкий покров, облекающий душу, ту или иную добродетель, подлинный внутренний смысл которой они никогда не исследуют; и если это растекается перед ними в волнах жизни, то они не стыдятся после многих лет признаваться, что они ошиблись в человеке. Мне не дана ни прекрасная внешность, ни что либо иное, способное сразу пленять сердца людей; и все же каждый, не проникший в мое внутреннее существо, измышляет себе такую видимость. И вот, во мне любят то доброе сердце, которого я не хотел бы иметь, — то скромность, которая есть во мне нечто совсем иное, чем они думают, — то даже рассудительность, которую я от

души презираю. Поэтому такая любовь уже часто покидала меня; но она и не принадлежит к тому достоянию, которое мне дорого. Мое достояние есть лишь то, что я вечно сызнава добываю себе; как мог бы я считать своим то, что возникает из этой видимости, измышленной их тупым зрением? Моя совесть чиста: я не обманываю их; но поистине, я не допущу, чтобы ложная любовь преследовала меня долее, чем это выносимо для меня. Мне стоит хоть раз проявить свое внутреннее существо так, чтобы не оставалось места для недоразумений, — мне достаточно хоть раз подвести их к тому, что я таю, как драгоценность, в своей душе, и что для них невыносимо, — и я освобожден от мучения сознавать, что меня считают своим и любят те, кто должны были бы отвернуться от меня. Охотно я возвещаю им свободу, плененную ложной видимостью. Но я не сомневаюсь в тех, кто хотят любить действительно меня самого, мое внутреннее существо; крепко объемлет их моя душа и никогда не покинет. Они познали меня, они созерцают дух, и, раз полюбив его, как он есть, они должны любить его все глубже и вернее, чем более он развивается и выявляется перед ними.

В этом достоянии я столь же уверен, как в своем бытии; и я не потерял еще ни одного существа, любовь которого была мне дорога. Ты, кому суждено было покинуть наш круг в свежем расцвете юности, посреди быстрой радостной жизни, — да, я смею обратиться к возлюбленному образу, который живет в моей душе, живет вместе с моей жизнью, любовью и скорбью — никогда не покидало тебя мое сердце, моя мысль проследила твое дальнейшее развитие, как ты сам осуществил бы его в себе, если бы пережил новое пламя, возжегшее мир; твоё мышление соединилось с моим, и беседа любви между нами, взаимосозерцание душ никогда не прекращается и продолжает действовать на меня, как будто ты живешь рядом со мной, как бывало. И вы, возлюбленные друзья, что пребываете еще в этом мире лишь вдали от меня и часто шлете мне свежий образ вашего духа и вашей жизни, — что значит для нас пространство? Мы долго были вместе и все же более далеки друг от друга, чем теперь: ибо что есть близость, как не общение душ? Чего я не вижу в вашей жизни, то я представляю себе; вы близки мне во всем, что есть во мне и вокруг меня и что должно жизненно затрагивать ваш дух; и немногие слова подтверждают мне все или наводят на верный след, где еще возможно заблуждение. А вы, окружающие меня' ныне со сладостной любовью, вы знаете, как мало меня мучит желание блуждать по земле; я твердо стою на своем месте и не покину своего прекрасного достояния — возможности в каждое мгновение обменивать с вами мысли и жизнь; где есть такое общение, там — мой рай. Если над вами властвует иная мысль, да будет так: для нас все же нет удаленности. — Но смерть? Что же такое смерть, как не большая удаленность?

Мрачная мысль, неумолимо сопутствующая каждой мысли о жизни и будущем! Конечно, я могу сказать, что друзья не умирают для меня; я вбираю в себя их жизнь, и их действие на меня никогда не прекращается; но

меня самого убивает их смерть. Жизнь дружбы есть прекрасный ряд аккордов, основной тон которых смолкает, когда друг покидает мир. Правда, тон этот продолжает еще звучать в длительном внутреннем эхо, и музыка не прерывается; но вместе с другом умерла созвучная гармония, для которой я был основным голосом и которая принадлежала мне, подобно тому, как гармония во мне принадлежала ему. Мое воздействие на него прекратилось, часть жизни погибла. Своей смертью каждое любящее существо убивает других, и у кого умерло много друзей, тот под конец сам умирает от **их** руки, когда его дух, отторгнутый от своего влияния на людей, которые были его миром, и оттесненный назад к себе самому, начинает сам себя пожирать. Двоjakим бывает неизбежный конец человека. Погибнуть должен тот, у кого непоправимо нарушено равновесие между внутренней жизнью и внешним бытием. Погибнуть должен и тот, у кого оно иначе нарушено, — кто, достигнув последнего завершения своей самобытности, окруженный неисчерпаемо богатым миром, не имеет уже никакой задачи для внутренней деятельности; всецело заверщенное существо есть Бог, оно уже не может выносить бремени жизни, для него нет места в мире человечества. Итак, смерть необходима; приближение к этой смерти да будет моей высшей целью! Я хочу тесно и крепко прильнуть к друзьям и охватить все **их** существо, чтобы каждый, покидая меня, сладостными муками приближал меня к смерти; и я хочу достигать все большей завершенности, чтобы этим путем душа все более приближалась к желанию смерти. Из обоих этих начал всегда состоит смерть человека, и потому не все друзья меня покинут, и никогда также я не достигну полной завершенности. В прекрасной соразмерности, в согласии с природой моего существа я буду со всех сторон приближаться к этой цели; это счастье обеспечено мне моим внутренним покоем и моей тихой, богатой мыслями жизнью. Для существа, подобного моему, высочайшее благо состоит в том, чтобы внутреннее совершенствование переходило и во внешнее воплощение, ибо, завершаясь, каждое существо приближается к своей противоположности. Мысль оставить в художественном творении мое внутреннее · существо, и с ним — весь дарованный мне образ человечества, тождественна для меня чаянию смерти. Как только я начал сознавать полный расцвет моей жизни, во мне возникла эта мысль; теперь она растет с каждым днем и приближается к определенности. Я знаю, в силу свободного решения я оторву эту мысль еще не дозревшей до конца от нутра своей души, пока жизненное пламя еще не выгорело во мне. Но если бы я дал ей созреть, если бы я дал завершиться этому творению, тогда, как только верное отображение явилось бы в мир, мое собственное существо должно было бы погибнуть: оно было бы завершенным.

## **5. Юность и старость**

Бой часов и движение солнца на небе отсчитывают мне часы и годы, и я знаю, что, живя, я неустанно приближаюсь к смерти. Но приближаюсь ли я и



к старости, — к той бессильной, тупеющей старости, на которую так горько жалуется все, когда незаметно исчезает счастье радостной юности и гордое чувство внутреннего здоровья и полноты? Почему же они дают исчезнуть золотой поре и со вздохом подставляют шею добровольно избранному ярму? Я также некогда думал, что **мужу** не подобают уже права юности; я хотел приучить себя к большей тишине и осмотрительности, и, мудро поставив себе целью отречение, подготовиться к более мрачной поре жизни. Но духа не могли удовлетворять тесные границы, и вскоре я стал раскаиваться в обедневшей трезвой жизни. Тогда, на первый же призыв, ко мне вернулась радостная юность, и с тех пор она всегда держит меня в своих спасительных объятиях. И если бы я теперь знал, что вместе с потоком времени от меня унесется юность, то я лучше добровольно бросился бы навстречу смерти, чтобы страх перед верным злом не отравлял мне всякое благо, доколе, наконец, мое бессильное бытие не приведет меня к еще худшему концу.

Но я знаю, что этого не может быть — ибо это не должно быть. Неужели духовная жизнь, свободная и неизмеримая в своей основе, должна иссякнуть у меня ранее, чем земная жизнь, которая уже при первом биении сердца содержала в себе зародыши смерти? Неужели фантазия не будет вечно направлена со своей обычной полной силой на прекрасное? Неужели исчезнет легкое и радостное сознание, и душа не будет так быстро и любовно склоняться к добру? Неужели я должен со страхом внимать волнам времени и видеть, как они меня подтачивают и буравят, пока я не распадусь на части? Скажи же, сердце, сколько раз до этого конца мне будет дано счесть тот промежуток времени, который только что истек, пока во мне была эта отчаянная мысль? И если бы я мог сосчитать это, то тысяча или один раз было бы мне одинаково мало. О глупец, мнящий по признакам времени прорицать о силе духа, мерилom которого никогда не может быть время! Ведь и небесные тела в одинаковое время не проходят одинаковые части своего пути, и ты должен искать высшего мерилa, чтобы понять их движение; неужели дух должен подчиняться более убогим законам, чем они? Но он и не следует им. Многими рано завладевает ворчливая, нищая, безнадежная старость, и враждебный дух срывает цветок их юности, едва только он распустился; у других долго сохраняется сила духа, и седую главу возвышает и украшает пламя очей и радостная улыбка уст. Почему я не могу в счастливой борьбе отражать нападение скрытой смерти еще дольше, чем тот, кто долее всех сохранял полноту жизни? Почему я не могу, не считая годов и не внимая разрушению тела, силою воли удержать у себя до последнего вздоха возлюбленную богиню юности? В чем же, если не в воле, основание этого различия между людьми? Разве дух имеет определенную меру и величину, что может расточить и исчерпать себя? Разве действие истребляет его силу, и разве он теряет что-либо при каждом своем движении? Те, кто долго наслаждаются жизнью, — разве они скупцы, мало тратившие свою силу на действия? В таком случае всякая радостная и свежая

старость была бы постыдна и позорна: ибо презрения заслуживает тот, кто скупится в юности.

Если бы такова была судьба и мера человека, то я хотел бы лучше втиснуть в узкий промежуток то, на что способен дух; я хотел бы иметь краткую жизнь, чтобы оставаться юным и свежим, пока это возможно! Для чего слабо разливать лучи света по широкой плоскости? Сила духа не проявляет себя в этом и ничего не осуществляет. Для чего беречь действенность и растягивать ее в длину, если при этом ты должен ослабить ее внутреннее содержание и если в конечном итоге все же не может получиться больше, чем ты имел с самого начала? Лучше блестяще расточить жизнь в немногие годы, чтобы ты мог наслаждаться своей силой и обозревать, чем ты был. Но не такова наша судьба и мера: такой земной закон не может загнать дух в свои формулы. На чем может сломиться его сила? Что теряет он от своего существования, когда действует и сообщает себя? Что может истребить его? Яснее и богаче, сильнее и здоровее чувствую я себя теперь после каждого действия: ибо в каждом деянии я усваиваю нечто из общего питательного материала человечества, и, растя, мой образ приобретает большую определенность. И обусловлено ли это только тем, что я теперь еще поднимаюсь на высоту жизни? Конечно, да; но когда же внезапно изменится это прекрасное соотношение? Когда же я начну не расти в деянии, а, напротив, гибнуть? И как будет мне возвещен этот великий поворот? Если он наступит, то я должен буду познать его; а если я его познаю, то лучше мне умереть, чем в долгом убожестве созерцать на себе самом человеческое ничтожество.

Исчезновение мужества и силы есть зло, которое творит себе сам человек; старость есть пустой предрассудок, позорный плод темного вымысла, будто дух зависит от тела! Но я знаю, что это — вымысел, и его гнилой плод не отравит мне здоровой жизни. Разве дух обитает в волокнах тела и тождествен с ними, так что должен сам терять гибкость и становиться мумией, когда они костенеют? Оставим телу, что принадлежит ему. Когда органы чувств тупеют, и отображение картины мира слабеет, то неизбежно тупеет и воспоминание, и многие удовольствия и наслаждения становятся слабее. Но разве это есть жизнь духа? Разве это есть юность, вечности которой я поклоняюсь? Для чего же другие люди рядом со мной имеют лучшее тело и более острые органы чувств? Разве они не будут около меня, как и теперь, готовые к любвеобильным услугам? Печаль о разрушении тела есть моя последняя забота; какое мне дело до него? И разве несчастье для меня, если я сегодня забуду о том, что было вчера? Разве мелкие события одного дня образуют мой мир? Разве представления единичного и реального в узком круге, который определен присутствием моего тела, есть вся сфера моей внутренней жизни? Кто в низшем сознании не ведает высшего назначения, кому юность любезна лишь тем, что она дает больше чувственного богатства, тот имеет основание оплакивать нищету старости! Но кто смеет утверждать, что сила и полнота великих священных мыслей, которые дух творит из себя,

также зависит от тела, и что восприятие истинного мира требует употребления внешних органов? Разве для созерцания человечества я нуждаюсь в глазе, нерв которого уже теперь, в середине жизни, начинает тупеть? Или нельзя любить тех, кто достоин любви, без того, чтобы кровь, которая уже теперь движется медленнее, быстрым потоком пронеслась сквозь узкие сосуды? Или сила воли зависит от силы мускулов, от мозга могучих костей? Или мужество—от чувства здоровья? Ведь это чувство обманывает и тех, у кого оно есть; смерть таится в незаметных уголках, внезапно бросается оттуда на человека и объемлет его с наглым смехом. Разве мне мешает, что я уже знаю, где она обитает? Или повторяющаяся боль и страдания всякого рода могут настолько угнетать дух, что он уже неспособен к своему собственному, внутреннему деланию? Но ведь противодействовать этим страданиям есть тоже его дело, и они также служат поводом, чтобы в сознании зарождались великие мысли. Для духа нет зла в том, что лишь изменяет направление его деятельности.

Да, я хочу сохранить до поздних лет неослабленный дух, и никогда не должна исчезнуть свежая бодрость жизни; что радует меня ныне, должно радовать меня всегда; воля должна остаться твердой, а фантазия—живой, и я не допущу, чтобы что-либо вырвало из моих рук волшебный ключ, отмыкающий мне таинственные врата высшей жизни, и чтобы во мне погасло пламя любви. Я не хочу видеть пугающее многих бессилие старости;" я даю обет могучего презрения ко всякому бедствию, которое не затрагивает цели моего бытия, и себе самому я клянусь сохранить вечную юность.

Но не отрекаюсь ли я, вместе с худым, и от хорошего? Разве старость, по сравнению с юностью, есть только слабость? Что же почитают люди в седилах, даже в тех, которые не сохранили ни следа вечной юности — этого прекраснейшего плода свободы? Ах, часто в них почитают только то, что воздух, которым они дышали, и жизнь, которую они вели, были подобны погребу, в котором труп дольше сохраняется от разложения; часто народ почитает их как святые мощи. Дух подобен для них виноградному соку, который, как они мнят, даже при плохой породе становится лучше и ценится выше, когда стареет. Но нет, они так много говорят об особых добродетелях поздних лет, о трезвой мудрости, о холодной рассудительности, о полноте опыта и об изумительной, спокойной завершенности в знании пестрого мира. Прелестная юность есть для них лишь преходящий цветок человечества, старость же и все, что она несет духу, есть зрелый плод. Лишь тогда дух до конца очищен воздухом и солнцем, лишь тогда достигает полной зрелости внутреннее ядро человеческой природы и готово для наслаждения разумеющих. О северные варвары, неведающие лучшего климата, где одновременно блещет и плод, и цвет, и оба всегда соперничают между собой своей роскошью! Разве земля так холодна и сурова, что дух не может подняться до этой высшей красоты и завершенности? Конечно, не каждый

обладает всем прекрасным и благим; но дары разделены между людьми, а не между периодами жизни. Каждый есть особое растение; но, что бы он ни был, он всегда может одновременно цвести и приносить плоды. Все, что может соединиться в одном человеке, все это человек может иметь и сохранять одновременно; он это может — и должен.

Откуда приходят к человеку рассудительная мудрость и зрелый опыт? Даются ли они ему свыше, и требует ли высшее предопределение, чтобы он получал их не раньше, чем отцветет его юность? Я чувствую, как я их теперь приобретаю; именно движущая сила юности и свежая жизнь духа создает их. Озираться во все стороны, — вбирать все в нутро души, преодолевать силу отдельных чувств, так чтобы ни слеза радости, ни слеза печали не туманила духовного взора и не затемняла его образов, — быстро переходить от одного к другому и в своих действиях ненасытно изображать через внутреннее подражание действия других — в этом и состоит бодрая жизнь юности, и это же есть созревание мудрости и опыта. Чем подвижнее фантазия, чем быстрее деятельность духа, тем скорее растет и создается и мудрость, и опыт. И когда они уже возникли, неужели тоща человеку не подобает более та бодрая жизнь, которая их создала? Разве они когда-либо бывают завершенными, эти высокие добродетели? И если они возникли в юности и силой юности, то разве они не нуждаются всегда в той же силе, чтобы все далее расти и осуществляться? Но с пустым лицемерием люди обманывают себя в отношении своего прекраснейшего блага, и глубочайшая основа этого лицемерия есть ограниченность и неведение. Подвижность юности, полагают они, есть дело того, кто еще ищет, а искать не подобает тому, кто стоит у конца жизни; он должен украшать себя мудрой тишиной, этим священным символом завершения, и спокойствием сердца, как знаком полноты рассудка; человек в старости должен вести себя так, чтобы уже не казаться ищущим и не сойти в могилу среди насмешек над своим тщетным начинанием. Так говорят эти люди; но их мудрый покой есть лишь косная неподвижность, и пусто их спокойное сердце. Лишь кто искал дурного и пошлого, пусть славится тем, что он все нашел! Бесконечно то, что я хочу познать и охватить, и лишь в бесконечном ряде действий я могу всецело определить самого себя. Я хочу никогда не потерять чувства, которое гонит человека вперед, и желания, которое, никогда не удовлетворяясь тем, что уже было, всегда идет навстречу новому. Слава, которой я ищу — это знать, что моя цель бесконечна, и все же никогда не останавливаться в своем движении, — знать, что на моем пути встретится место, которое поглотит меня, и все же ничего не изменять в себе и вокруг себя, и не задержать шага перед ним. Поэтому человеку подобает вечно двигаться с беспечным весельем юности. Никогда я не буду считать себя старым, пока я не буду завершенным; и никогда я не буду завершенным, потому что я знаю свою обязанность и хочу ее. И не может также быть, чтобы красота старости и юности противоборствовали друг другу; ибо не только в юности вырастает то, из-за чего они славят старость, но и старость в свою очередь питает свежую жизнь

юности. Ведь все признают, что юность лучше расцветает, когда о ней заботится зрелая старость; так и собственная внутренняя юность человека украшается, когда он достиг того, что дарует духу старость. Опытный взор скорее обозревает сущее, скорее воспринимает все тот, кто уже знает много сходного, и горячее должна быть любовь, проистекающая из высшей ступени собственного развития. Так сила и радость юности должны остаться у меня до конца. До конца я хочу каждым своим действием растить в себе силу и жизненность, и каждым актом саморазвития увеличивать свою любовь. Я хочу сочетать юность со старостью, чтобы и старость обладала полнотой и была проникнута живительной теплотой. На что же жалуются люди в старости? Во всяком случае не на то, что есть необходимое следствие опыта, мудрости и развития. Разве сокровище хранимых мыслей притупляет восприимчивость человека и лишает для него прелести новое, как и старое? Разве мудрость со своим твердым словом под конец становится робким сомнением, задерживающим всякое действие? Разве саморазвитие есть самосжигание, превращающее дух в мертвую массу? То, на что они жалуются, есть лишь отсутствие в них юности. Отчего же **им** недостает юности? Потому что в юности **им** не доставало старости. Двояким должно быть это сочетание. Уже теперь в могучем духе должна быть сила старости, чтобы она могла удержать в тебе юность; тогда позднее юность будет охранять тебя против недостатков старости. Тот унижает самого себя, кто сначала хочет быть юным, а потом старым, кто сначала хочет признавать лишь то, что они восхваляют как черты юности, а позднее следовать лишь тому, в чем они видят дух старости; жизнь не выносит такого разделения своих начал. То и другое есть двойственная деятельность духа, которая должна совмещаться во всякое время; и развитие, и совершенство состоят в том, чтобы человек все живее сознавал их различие и ясно отделял задачу каждой из них.

Для самого растения высшее есть цветок, прекрасное завершение индивидуального бытия; для мира высшее в нем есть плод, оболочка для семени грядущих поколений, дар, который должно приносить каждое самобытное существо, чтобы чужая природа могла приобщить его к себе. Так и для человека радостная жизнь юности есть высшее, и горе ему, когда она уходит от него; но мир требует, чтобы он стал старым, дабы возможно скорее созрели его плоды. Ты должен раз и навсегда упорядочить свою жизнь. То, чему слишком поздно научает людей старость, куда насильственно влечет **их** время в своих оковах, — то, в силу свободного избрания могучей воли, пусть уже теперь лежит в основе твоего отношения ко всему, что есть мир. Где цветок жизни добровольно зачинает плод, там да будет этот плод сладостным наслаждением миру; и пусть скрыто лежит в нем оплодотворенное зерно, которое некогда разовьется для новой самобытной жизни. Что ты даруешь миру, да будет плодом, легко отделяющимся от растения. Но не жертвуй в ложном великодушии ни малейшей частью своего существа! Не давай, вскрывать своей сердцевины, не давай срывать с себя ни единого листка,

который вбирает для тебя питание из окружающего мира! Но и не созидай в гнев обманчивого нароста, бесформенного и не дающего питания, если где-либо тебя разъедает губительный червячок; нет, все, что не есть для тебя самого рост твоей формы или развитие новых органов, да будет истинным плодом, созданным внутренней любовью духа, как свободно воздвигнутый памятник юношеской жизни. И если самобытная жизнь уже создала этот плод, пусть он постепенно выступает наружу из своих покровов; и тогда пусть он развивается далее согласно законам внешнего действия. Тогда пусть позаботится о нем мудрость и трезвая рассудительность, чтобы действительно пошло на пользу миру то, что добровольно посвятила ему любовь. Тогда осмотрительно взвешивай средства и цель, заботься и озирайся кругом с мудрой боязливостью, проверяй свою силу и работу, дорого цени свои усилия и жди терпеливо и без досады счастливого мгновения.

Горе, если юность во мне, свежая сила, опрокидывающая все, что ее стесняет, легкость души, вечно стремящаяся вперед, посвятила себя делу старости, и с плохим успехом в чуждой области внешней деятельности растрачивала силу, которую она отнимает у внутренней жизни! Так могут погибать лишь те, кто не ведают всего богатства жизни и, не понимая священного влечения, хотят быть юными во внешней деятельности. Они хотят, чтобы плод созрел в одно мгновение, подобно тому, как цветок раскрывается в одну ночь; одно решение вытесняет другое, и ни одно из них не завершается; и в быстрой смене противоположных средств разрушается каждое начатое дело. И когда они так в тщетных попытках расточили лучшую половину жизни, и ничего не сделали и не осуществили именно там, где действие и осуществление было их единственной целью, — то они проклинают легкость души и быструю жизнь, и им остается только старость, — слабая и нищая старость, как она должна быть там, где юность изгнана и истреблена. Я не буду злоупотреблять юностью, чтобы она не ушла и от меня; я не буду пользоваться ею в чуждой области для неподходящего ей дела; я буду удерживать ее в границах ее царства, чтобы ее не коснулась никакая порча. Но в этом царстве она должна властвовать ныне и всегда с нестесненной свободой; и никакой закон, имеющий право повелевать лишь внешней деятельности, не должен ограничивать мою внутреннюю жизнь.

Всякое действие во мне и на меня, не принадлежащее миру и образующее лишь мое собственное развитие, пусть носит вечно цвет юности и развивается с прекрасной беспечной радостью, следуя лишь внутреннему влечению. Не подчиняйся никакому порядку, который предписывал бы тебе, когда ты должен созерцать или постигать, когда ты должен скрываться в себе или, наоборот, проявлять себя! Радостно пренебрегай всяким чуждым законом и отгоняй всякую мысль, которая хочет обозначить в мертвой букве

свободную изменчивость жизни! Не слушайся, когда тебе говорят, что сначала должно быть закончено это, а потом — то! Иди вперед легкими шагами, как и когда тебе это нравится: ведь в тебе живет и сохраняется все, что ты свершаешь, и ты находишь все это, когда возвращаешься назад. Не давай себя запугивать мыслью о том, что получится, если ты теперь примешься за то или это! Из всего этого не получится ничего иного, кроме тебя самого: ибо все, что ты можешь хотеть, принадлежит к твоей жизни. Не желай быть умеренным в действовании! Сохраняй всегда бодрую жизнь; никакая сила не пропадает, кроме той, которую ты, не использовав, задерживаешь в себе. Не желай сегодня чего-либо только для того, чтобы иметь возможность завтра желать иного! Стыдись, свободный дух, чтобы в тебе одно служило другому; ничто не должно быть средством в тебе, ибо одно столь же ценно, как и другое; и чем ты стремишься стать, становись ради него самого. Не поддавайся бессмысленному обману, будто ты должен хотеть того, чего ты не хочешь! Не позволяй миру повелевать тебе, когда и что ты должен совершать для него. Гордо насмехайся над этим бессмысленным притязанием, мужественный юноша, и не терпи гнета. Все есть твой свободный дар: ибо в твоём внутреннем действовании должно возникнуть решение что-либо делать для мира; и не делай ничего, кроме того, что со свободной любовью и радостью проистекает из нутра души. Не допускай, чтобы твоей любви ставили какие-либо границы, чтобы ей предписывали меру, характер и длительность! Ведь она есть твоё достояние; кто может требовать её? Ведь её закон таится только в твоей душе: кто же смеет там повелевать? Стыдись в самом святом следовать чужому мнению! Стыдись ложного стыда, что они не поймут, когда ты скажешь вопрошающему: вот источник моей любви! Что бы ни случилось вне тебя, не давай стеснять себя в полноте и радости своей внутренней жизни! Кто пожелал бы смешивать несовместимое и угрюмо смотреть на себя самого? Не скорби, если ты не можешь быть чем-либо или делать что-либо! Кто пожелал бы с пустыми желаниями глядеть на невозможное или корыстным взором смотреть на чужое благо?

Так свободно и радостно движется моя внутренняя жизнь! Когда и как время и судьба могли бы научить меня иной мудрости? За миром я оставляю его права: я стремлюсь к порядку и мудрости, к рассудительности и умеренности во внешнем действовании. Да к чему мне и пренебрегать тем, что легко и с готовностью дается, что добровольно проистекает из моего внутреннего существа и действия? Все это без труда и в изобилии приобретает тот, кто созерцает мир; но созерцанием самого себя человек приобретает и то, что уныние и слабость не могут приблизиться к нему: ибо из сознания внутренней свободы и её деятельности возникает вечная юность и радость. Этим я завладел, с этим я никогда не расстанусь; и потому я с улыбкой смотрю, как слабеет свет моих очей, как пробивается седина, в светлых кудрях. Что бы ни случилось, мое сердце не сожмется: до смерти останется свежим пульс моей внутренней жизни.

